ИВАН ЕВДОКИМОВ

КОЛОКОЛА

РОМАН

ЗИФ




ЗИФ

ИВАН ЕВДОКИМОВ

КОЛОКОЛА

РОМАН

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Напечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий“, Москва,
Пименовская улица, дом 16,
в количестве 7000 экз.
Главлит № 75333.
1927.

НА ЗЕЛЕНОМ ЛУГУ, НА ЧИСЛИХЕ, В ЕХАЛОВЫХ КУЗНЕЦАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах улицы были узкие. Мостили улицы там фашинником еще при царе Косаре. Проточные канавки в дождяные дни всплывали там паводками, а из канавок шел нехороший дух. Ходили тогда по бревнышкам или перескакивали с фашины на фашину. На каждой улице стояли кабаки, чайные, съестные, а на крестах — ларьки с хлебом и квасом. У кабаков валялись вповалку пьяные: всё видно. У кабаков стоял бабий и мужичий горлан. Бабы в ярости строгали своих пьяниц, совали им по загривкам, а потом, натруждая большие животы, тащили их домой, обшаривали на ходу карманы и увертывались от пьяного размаха.

В получку бабы становились у кабаков на дежурку. Сговорчивые мужики из бабьих рук выпивали по стаканчику, озорники куражились и пропивали всё. Выли тогда бабы на крыльце, грозили кулаками кабатчикам и вытирали передниками обидно-унылые слезы.

Перед праздниками улицы гавкали глотками, балалайками, гармошками, ухали песнями, бухали по земле сапогами, сапожищами.

В праздники к постовым городовым на подмогу и устрашения ради прибавляли из участков по конному городовому на конец. Постовики стояли на своем месте, а конные ездили взад и вперед и не давали собираться кучками. Ребята сидели на заборах в обшарашку и кричали: н-н-нó, ннó, н-н-н-ó. Городовые сердито оглядывались на заборную конницу. Где можно было подступиться лошадям, сгоняли ребят и замахивались плетками. А ребята сваливались внутрь дворов, выжидали, как отъедут, высовывались в калитки, в проломы и на скору руку пускали из рогаток мелким камнем. Лошади привскакивали на месте и махали хвостами. Конные городовые хватались за спины и

скакали на выстрел, злобно стучали в ворота, вызывали хозяев... Выходили бабы, жалели городовых, а потом истошно визжали в защиту своих дитёв.

Для отвода глаз мужики урезонивали баб и подбавляли тем жару бабьему сердцу.

Так до сумерек—время городовым по участкам ехать—с ребятами и бабами, до поту, до надсады, воевали городовые. Вечерами тут посторонним посетителям раздавали затрещины: называлось это „поход дать“.

Побаивалась ходить на Зеленый Луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы благородная публика!

Жил тут рабочий люд разного званья: ткачи, мыловары, кожевенники, каменщики, бондари, слесаря, токаря, полотеры, сапожники, железная дорога. Жили грудно, в обхватку, в обнимку. Из окошка в окошко решали дела заводские, любовные, сплётенные. Зимами раздевши перебегали друг к другу. В город, на чистую половину, ходили только по большой нужде—на базар да за покупками. И то—больше бабы. Покупали не часто—не часто и ходили. Рабочие частили в город после Петрова дня продавать на базаре утятню. На Петров день рабочие артелями уходили за двадцать верст к Николе Мокрому за утками, настреливали уток тьму—лучшие стрелки считались—и продавали потом домоседу-горожанину. Еще первого мая, раз в год, завелось так в недавнее время—выходить на главную улицу и показывать кому следует рабочее изделие—красный флажок.

На бульваре тогда—бульваром благородная публика отгораживалась от черной городской стороны—с большим выбором пропускали в город. А где же убережешь? По задворкам да по закоулкам пробирались к условленному месту. Не все тогда ворочались назад. Ночью нагрянывали гости, шарили в домишках, перерывали скарб, лазили по чуланам, по чердакам, по сараюшкам. Увозили. По улицам рыскали в темноте соглядатаи. Сигали на огонек за ситцевыми занавесками, сторожко и с опаской прикладывали уши к опушкам—не гудит ли где человеческий улей? Подсматривали кое-где и не без прибыли, кое-где знали и подсмотреть.

Беспокойная сторона Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы!

За Зеленым Лугом, на выезде, на московском тракту, махали черными крестами-крыльями коровинские мельницы-столбянки

и крупоруши. А поодаль от них на холмике белела часовня белорижцев. Еще подальше плавало на много верст между луговин, осок и камышей низкобережное озеро Чарымское. Не жил там человек, не дымилось его жило. Зимой бегали там матерые волки в метелях и месячных ночах, наскакивали на мужичьи обозы, шли за обозами, светили дороги красными вспыхами волчьих взглядов, выли на поджарое свое брюхо, рвали отставшую сучонку на шерстяные кусочки, заблудшего человека уносили в сугробы: нищий люд—богомолки, богомольцы—уложили чарымские дороги косточками.

Веснами Чарыма набухало подо льдом. Колобродили вливные речки с луговин. Качало Чарыма день-другой от берега до берега ледяную свою упаковку. Потом трескалось посередине, выливались закраины через кромочки берегов, убегали вспять речки, речушки, льды плыли в луга лебяжьими косяками поверх ивняковой, ольховой щетины, Чарыма ухало ветрами, дуло холодными пышка́ми на город,—надевай шубу.

Не видать и конца-краю Чарыме. Утопли луга, осоки, камыши, сгинули под серебряной крышей людские дороги, только один Никола Мокрый качался белым кораблем вдалеке, будто объезжал свою мокрую землю—едет-едет, а доехать не может.

Доливалось Чарыма до белорижцев, до коровинских мельниц, скатывалось до городской околицы, топило Свешниковскую ма́нуфактуру, кожевенные заводы Бурлова, мыловаренные Марфушкина, кирпичные Прилуцкого, останавливалось у насыпи чугунки, у депо, у слесарно-механического Мушникова.

Высыпала тогда мелкая рабочая челядь к разливам, перескакивала с кочки на кочку, ладила досчатые плоты, на колышках в одиночку правила по летним дорогам, по полянкам, по канавам с лопухами и крапивой. Добиралась она до капустных огородов, выдёргивала в наклоне огородные колья—прорывала заторы, перескакивала на льдины и катила враскачку в улицы.

Лопались с лязгом льдины будто железные цепи, челядь барахталась в крутне, плыли по воде шапки, картузы, орущие ребячьи головы. Выскакивали из домов бабы, мужики, папки и мамки. Мамки плакали и жалостливо протягивали вперед руки, наклоняли в дугу корпуса, папки с бранью лезли в разлив, брели тяжело в высоких охотничьих сапогах, хватали за шиворот с мясом ребят и вытаскивали на сушу. Мамки драли за волосы челядь и волокли домой на обсушку. Но челяди разве есть уём?

Доплывали ребята на плотах до белорижцев, залезали на крышу часовни, обнимали разноцветную, как набоечный подол сарафана, главку и усаживались верхом на князьке. А ветер хлестал полотнищами парусов, хотел сдуть с крыши, сердитые облака поводили усами, ветер наклонял головы, ёжил...

Плот обрывало с привязи, уносило...

Хохотали озорники, богохульствовали, храбрились на князьке.

А сумерки словно подкрадывались со всех сторон... Вместе с сумерками приходил в гости страх и щекотал спину. Все дальше и дальше казался город, будто относил его разлив, города не было, вместо города стояли у далеких пристаней в огнях ночные пароходы. Вздувались огни—и тухли, тускнели, убавлялись...

По разливу неслись, как улетающие птицы, вопли:

— Спаси-и-ите! Помоги-и-те! Ма-а-ама! Па-а-па!

Плакало материно сердце от надрывных ребячьих голосов, взбаламученно толокся народ в улицах, а не подступишься за темнотой к белорижцам.

Всё неясней, всё тише в ночном ветре доносились голоса.

— Ой, касатики!

— Дитятки, несчастные!

— Да спасите же, спасите, нехристи!

— Сама спасай.

— Стервецы!

— Поезжай на сарафане!

— Шкуру спустить надо с мягкого места!

— Дьяволята!

— Замерзнут в ночь. Простынут.

— Ой, закоченеют!

— На крыше сидят.

— Снесет ветром.

— Ручки устанут держаться—и распустятся!

— Как же, братцы?

— Лодку бы!

— Где ее возьмешь?

— Ой, и што мне горе-горькой! Сенюшка, Сенюшка, батюшка!

— И пошто тя нечистый понес, баловня окаянного!

Позванивали во мраке льдины, терлись друг о друга с курлыканьем, шушукала вода, выл ветер тысячами глоток—и нет-нет в ветряном хоре плакал жалкий кричонок:

— Ма-а-ма!

Спасальщики разжигали костер у самой воды, только бы не подмочила. Красные мухи винтили густо в темноте, красная метла мела темноту, кидалась в разные стороны, задевала за крыши...

— Не дело надумали,—ворчал старик,—пожара как бы не было. Искра на ветру хуже керосину.

— Спалим улицу. Кто отвечать будет?

— Вишь, какой ветрина!

— Не бросать же ребят без помоги!

— Им разглуска.

— Сердце у ребят, поди, скакуна перескачет с перепугу!

— С огнем легче: людей видят.

— Слышишь?

— Домой просятся. Плачут.

— Часовенки бы не снесло.

— Ну! Часовня сделана на заказ. Не снесет.

— Подмыть может.

— Ах, наказанье, право! И костер неладно, и ребят жалко!

— Не подкидывай, не подкидывай много! Пожарные увидят и нагрянут: не расхлебаешь каши!

— И как их туда угораздило, негодников?

— Поркача им завтра прописать надо.

— Достать бы только сперва: а дёра будет. Неделю назад оглядываться не перестанут.

— Кстати отцов с матерями отодрать как следует. Чего смотрят? Ребят наделали, а наставить уму-разуму не хватает в калабашке!

— Разве за ними уследишь, дурень? Сам маленьким не бывал? Мы сами с тобой все детство на заборе просидели. Ребенок—мышá шустрее. Ты отвернулся в сторону, а его и след простыл, будто дождинка в воду упала.

Ночь спала над Чарымой, над белорижцами. Темным небесным одеялом закрылись звезды, бледная немочь месяца, беленые млечные холсты. Чуялось—клубили, завивались, бодались там облака под шалым ветром, гонимые по небесным бездорожьям.

Ребята не сводили глаз с костра и охрипло-закоченело кричали о помощи.

Все убывал и убывал люд. К свету оставались у костра одни отцы и матери. Натаскивали отовсюду досок, чурбаков, сколачивали большой досчатый плот.

Как только брезжили чарымские волны, мелькала белая грудка белорижцев, сталкивали плот и отчаливали... Гнали отцы плот, изгибались на кольях, а ребята на коньке, как воронье, прижимались друг к другу, додрагивали последней дрожью, молчаливо звали плот глазами...

Плот подшмыгивал к часовне, отцы хватались за крышу и снимали ребят на досчатое судно.

— Сво-ло-чи!

— Негодя-я-и!

— В воду головой, паршивцев!

Отцы сверкали глазами, а на берегу ждали мамки с платками, с шубенками, вскрикивали на каждый качок плота, тянулись к воде, наклонялись над ней...

— Ва́нюшка!

— Сеня!

— Мишанька!

Закутывали, обнимали, целовали, волокли домой...

— Промерзли?

— Голубчики наши!

— Да разве так можно!

— Озорники!

— Я вот ему задам дома. Он у меня будет, сукин сын, баловать!—шипел отец.

Шли-бежали. В спину бил, злобясь, ветер с Чарымы, подгонял шаг.

Паводок стихал. Смеялся Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы над ребячьим озорством. Смех и горе. А матери озорников не могли наговориться о своем счастьи.

— Святые угодники, Манефьюшка, оборонили детей наших, белорижцы батюшки,—говорила мать Ва́нюшки матери Мишаньки,—не разгневались они на детей малых, несмышленышей... Те ведь по детскому своему разуму на крышку святую с баловством залезли. Виданное ли дело—всю-то ноченьку на ветру, на юру, в худой одежонке, провертеться на коньке, не простыть, смертынька не пришла, кашля и того нет знику! Без божьей помощи разве усидеть, не сдуть ветру? Да, как щепочку, такой ветер от земли подымет ребенка, не то что с крыши! Мужиков больших у костра шатало за домами, за деревьями, а тут на самом виду! Мой-то Кирила стегал Ваню, ярился, как бык, а я у него на руке повисла, оттормошила, не дала... Ночью мне будто в уши кто нашептал: поняла я все, все поняла...

— И я, и я не дала парнишку лупцовать,—отвечала мать Мишаньки,—у мужика сердце к порядку привыкло: ему обед к свистку, жена бы портки стирала, ребята сидели тихо-смирно, люди бы ничем не попрекали. А как это можно сидеть ребятам старыми стариками? Детство-то бывает не один раз? Насидятся еще, в рот воды набравши, как образумятся. Я твои слова, Анна Ивановна, будто сама в себе слышу.

— Дай вот только обсохнуть хорошенько земле, обещание я дала, Манефьюшка. Пойду к белорижцам, поклонюсь им за Ва́нюшку. Мой супруженек лясы точит—отчего, грит, за нашего Ваньку святые пристали, а в прошлом году в полую воду пятеро ребятишек утопли в Чарыме? Так, бескрестник, и говорит, зубы околачивает. Может, потому и потопли, что в родителях веры не было! Не узнаешь всего на свете, Манефьюшка, отчего и как что бывает! Я вот иду летом у часовеньки, не пройду мимо, какая ни висит на вороту спешка, беспременно зайду. Мне, может, белорижцы добром и отплатили за мое уважение!

— Чего там говорить, Анна Ивановна,—святое это место. Не поставят часовенку где не след...

— И озеро Чарымское по святости произошло. В часовне видала иконку: будто город какой, не наш теперешний, стеной деревянной обнесен, а вокруг стены татары, татары, что те поля ржаные народу! Норовят, видишь, город в полон взять... Подальше там, в уголку, река течет: отвели злодеи реку от города. Ни хлебушка, ни водицы в городе нету. И явись тут на поле два воина в белых одеждах, как Борис и Глеб, вот как раз на месте часовенки—и начни они татарву крошить саблями... Бьют-бьют, перебить не могут: татарина, как песку в поле. Хоть и святые ангелы белорижцы были, а где же двоим осилить тысячи? Поустали. А народ на стенах сидит и на чудо глядит. Где бы на подмогу, а им и невдомек. Ангелам тоже людей на подмогу звать не приходится! Бог увидел—ангелов татары-то одолевают, рассердился, махнул рукой на престоле... Рухнула под татарами земля, откуда ни возьмись вода, а в воде рыба... Так озеро Чарымское на этом месте и очутилось. Народ от страха вповалку на землю. Поди, день лежал: голову боялся поднять от земли. Нашелся тут в городе дурачок Гришанька. Он народ-то дубовой палкой ну колотить по спинам, с земли подымать. Открыли тут ворота городские, пошли всем народом к озеру Чарымскому, а святые белорижцы на холмике лежат, благоухание от них идет ангельское.

Похоронили их с почестям на том самом месте: однодневную часовенку выстроили. Гришанька народу открыл—отчего ангелам смерть пришла. В силе своей ангельской обнадежились. Господь бог в наказанье им послал смерть, как и простым людям посылает. Вот какие, Манефьюшка, прежде страсти на свете были: бог людям показывался! А белорижцы как были спасители нашего города, так и остались. Кто им почтение оказывает, тому и удача и помощь в нуждах. Бог-то, видишь, души не чаял в дурачке в Гришаньке: из-за него и город спас от татар. Чарымское—божье озеро. Бурное оно, сердитое. А отчего бурное? На дне бог оставил татар живьем. Живут они там тысячи лет, стоят будто лагерем, на город глядят. Бог им тоже в наказанье за Гришаньку да за ангелов обет дал: не будет-де вам смерти, покуда город не возьмете. Так сказал, а с места татары сойти не могут. Вот они и плачут и кричат тысячи лет, руками машут, головами трясут, на́ воду дуют, оттого и бури на Чарымском.

— Сама, сама слыхала, Анна Ивановна, как кричат. Шла я по бережку, в девках еще, погода такая ветреная, будто насквозь ветер продувает—и стало вдруг не по себе так... Присела я на песочек, кровь глаза обожгла ровно, а в ушах гудут человечьими голосами... у-у-у... татары проклятые. Едва ноги со страху от земли отделила.

— Другие бабы смеются, Манефьюшка, к мужикам подыгрывают, а я верю—так это и было.

— Безо всякого сомненья, Анна Ивановна. Такое дело разве можно выдумать? Вместе пойдем к белорижцам. От сиротства избавили, заступники!

— Обсыхало бы только скорее!

Разлив стоял неделю, медленно отплескиваясь назад, оставляя льдины на дорогах, на огородах, на потопленных низких сараюшках, на собачьих будках. А в канавках, в ложбинках, в задворных прудах застревала чарымская рыба. Ловили ее тут намётками и вершами.

Пятился разлив и оставлял по себе короткую память: каждый год особенную. Долго еще летали над улицами чайки, кричали о рыбе, белыми гирьками сваливались за ней в мельчающую воду ложбинок.

По центральным улицам носилась пыль, серели оконные стекла, морил жар, в белых туфлях ходили женщины по начищенным метлами мостовым, а над Зеленым Лугом, над Числихой,

над Ехаловыми Кузнецами, как в огромной прачечной, повисал балдахином седой пар чарымских вод.

Кашлял в тумане прохожий человек, закутывался тепло, глядел себе под ноги, а земля, будто мокрое белье в чане, хлюпала под ним.

И везли тогда по полой воде на кладбище каждый день хоронить рабочих от Бурлова, от Марфушкина, от Свешникова, от Мушникова. Везли, а за гробом кашляли Марьи, Агафьи, Лизаветы, а за платья держались пристяжные—ребята с мокрыми носами. Увозили, а убыли не было: другие вставали на пустопорожнее место у станков, у котлов, у красноrожих печей, в проходных будках.

И сколько же народу рабочего на свете—не переведешь!

До Петровок—считали бабы—гостил туман-кашлюн, пока не высушали его рабочие груди, пока не впивался он и малым и большим весь и без остатка в нутро.

В первый бестуманный вечер, как на праздник, вылезали посидеть на крылечках, на скамейках под окошками, встретить лето, поглядеть на чистое вечернее небо, какое оно есть.

Переводились туманы, попросыхали улицы до первых дождей, можно было проходить в начищенных сапогах, кабаки торговали хуже и хуже, кабатчики сидели у дверей и шелушили семечки, белые шестерки от нечего делатъ лежали брюхами на подоконниках, ловили мух, мужики с бабами проходили мимо, не глядели, кабатчики напрасно делали зазывные поклоны.

Катил летний хозяин по небу золотобровый, обрастала земля зелеными шкурами, наливались деревья ветками, листочками, плодами, шумела над землей мука белая, мука черная, мука пшеничная, от загару растрескивались просёлки, большаки, тропинки,—пережёг, перепалил золотобровый, выпил весенние речки, ручьи, зачерпнул золотыми пригоршнями из больших рек, озер и морей.

Несло над землей болотною гарью, дымом трав, дымом цветов, крепким ржаным ветром, жаром зажженных глин и песков... Захлебывались на земле, как на горячем поду, и чистая и черная сторона городская.

А ночью на Числихе у Флора и Лавра сторож бил в набат: пожар на Числихе.

В тесных улицах долго и тревожно пáхнуло гарью. Просыпался обеспокоенный человек ночью—снился ему пожар—и крестился. Будто смирнее становилось на Зеленом Лугу, на

Числихе, в Ехаловых Кузнецах, замолкали гармошки, песни, на сердце ложилась тоска, когда у соседа был неостывший покойник.

А потом, вдруг, в Ехаловых Кузнецах на всю улицу шум. Журжак с журжей не поладили, вынесли сор на улицу. Журжа в разодранной юбчонке выскочила в окошко, закричала, завизжала. Пьяный журжак выскочил за ней без пояса, с сапогом... На углу засвистел в свистульку городовой, схватил журжака. Завысовывались из окон, из дверей, из ворот, из калиток головы, подолы, сапоги, руки... Побежали со всех концов. Журжа плакала, закрывая стыдливо голый зад. Журжака ругали, пересмеивали, вязали веревкой и вели в участок.

Журжак упирался, как козел, обеими ногами, бодался головой, оглядывался назад через плечо и кричал на журжу:

— Ре-е-е-жиком заножу!

— Что деется, что деется, молодые хорошие!—шамкали старухи.

Журжака толкали в спину, тащили, помогали итти коленком. Журжа глядела вслед, жаловалась бабам на житье горькое, на побои журжацкие... Бабы стыдили за срам и жалели.

Отшумев, отсмеяв, отспорив, люд весело расходился. Мужики, разогретые журжей, лезли к бабам, те брыкались, посылали к журже, не откидывали руки от обнимки, льнули... Ребята-журженята сновали по улицам, названивая в звонкие колокольцы глоток. А журжа покачалась-покачалась за воротами, выглянула на улицу и, крадучись, заспешила в участок—освобождать журжака...

И опять жизнь пошла по своему кругу, как часовая стрелка, шагая по черным ступенькам.

У кабака Митюша Козырь вперепляс плясал с гулящей девкой и визглявил:

У-стюшкина ма-а-ть
Собира-а-лась помирать,
Ей гроб теса-а-ть,
Она по полу пляса-а-ать...

По улицам ночью ходил буян Иван Просвирнин со своей артелью. В темных закоулках колотили встречного и поперечного, паляли из бульдогов, показывали большие самодельные ножи, с уханьем уходили в ночь, хохоча и слушая во мраке, как бежит напуганный человек по колкому фашиннику.

Приходили родйны, свадьбы у Флора и Лавра, в Рóщенье, на Крови, на Подóле, приходили гостйны, праздники, именины, похороны. Любили, плакали, смеялись, пели на черной рабочей стороне...

Рвали рассветный и вечерний воздух гудки, ныли над крышами рабочих домишек, замолкали с воем, оставляя долго не умолкавший звенящий зуд в улицах, в тупиках, в переулках...

Над жизнью, над горем, над радостью, никогда не уставая, валил густой сажный дым красных фабричных труб. Будто стояли они дозорными, стерегли люд на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, ходили за ним по пятам, загоняли в свои рыжие корпуса-корабли изо дня в день от шести до шести, от шести до шести.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стычка произошла в Ехаловых Кузнецах.

Иван Просвирнин катил свое большое тело на кривых ногах посередь дороги, давил крепко и густо сапожищами весенний чавкающий снег, мотал большой черной головой каждому своему шагу и нёс на-отлете стиснутый кулак, как маленький котелок.

За ним подхрамывал Клёнин, уставал догонять, напрягался через силу, да шел враскачку Кукушкин, засунув руки в карманы ватного пиджака.

Навстречу не торопясь двигался Егор Яблоков. Сжав зубы, паля злыми темными глазами, Просвирнин положил на грудь Егору широкую пятерню, скомкал ее вместе с отворотами пальтишка, уперся в снег колесами ног и тряхнул.

Клёнин и Кукушкин невесело заухмылялись, пряча глаза где-то за плечом Егора.

Спокойно глядя в темную муть бесившихся глаз Просвирнина, Егор остановился.

— Ты помни, Егорка,—зашипел Просвирнин,—мы тебе пересчитаем ребра! Ты не мути на заводе. Двум медведям не жить в одной берлоге. По-о-нял?

Егор наморщился, крепко и твердо оторвал руку Просвирнина от пальто, своротил с дороги и сказал:

— Хорошо. Я понял. Но и ты кое-что запомни!..

Просвирнин тяжело и грузно захохотал вслед уходившему Егору. Клёнин тихо подхохатывал, а Кукушкин щурился пьяными глазами.

— Егорка! Слышь, Егорка!—кричал Просвирнин.— Отчаливай к себе в Сормово! Ты нам не ко двору. Оглянись, что ли! Не беги!

Егор быстро уходил, глядя себе под ноги и ёжась в пальтишке.

— В другой раз!—сказал Кукушкин.—Никуда не уйдет. Пошли дальше!

— Мы-ста сормовские! Мы-ста путиловские!—кривлялся звонко и вызывающе Клёнин, переступая с ноги на ногу.

— Мы ему спесь выбьем, ребята, беспременно!—рычал злобно Просвирнин.

Вечером в окошко Егора забарабанили. Егор отвел в сторону ситцевую занавеску и вздрогнул. К стеклу прилипли глаза Просвирнина. Они смотрели в упор и не мигали—черные, горящие. Просвирнин потянул раму.

— Отвори, Егорка! Надо поговорить. Выдь на улицу!— и криво усмехнулся, продолжая тихо барабанить по стеклу.

Егор задернул занавеску, прислушался к заскакавшему под рубашкой сердцу, вытер вспотевшие вдруг руки о штаны, подошел к столу и сверху в стекло затушил лампу.

— Идет!—сказал торжествующий голос Просвирнина.

На крыльце затопались. Кто-то пересмехнул.

— Отойдите, ребята, на дорогу!—опять сказал Просвирнин.

Егор слышал в темноте, как ходили в груди часы, и будто каждый удар услышал бы всякий, кто зашел в комнату. Он ждал. Его ждали за окном. Устали ждать. Снова тихо забарабанили. Барабанили долго и настойчиво. Егор порывался к окну и останавливал себя.

— Егорка!—звал Просвирнин.—Егорка! Трус! Выдь на минутку! Честное слово, не тронем. Поговорим по душам, Егорка!

Что-то долго и несвязно говорили на крыльце, а потом опять барабанил Просвирнин.

— Егорка! Хуже будет! Выходи на мировую.

Егор, скучая, пережидал, когда уйдут. Ныло где-то внутри, в горле сохло и жгло.

Уходя, топтались на крыльце, заглушенно ругались, бросили в окно мокрым снегом. Ночью проходили мимо дома с песнями и гармоньей, останавливались, всходили на крыльцо, шарили

раму... Егор отодвинул кровать к задней стенке и вертелся всю ночь... Так и началось главное.

За Егором следили, подстерегали его, вели с ним задирающие разговоры на заводе, на улице. Рабочая сторона твердила, шептала, думала о ссоре, ожидала развязки. Егора, крадучись, предостерегали. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы робели перед пьяной удалью Просвирнина, терпели давно и молча шум и грохот просвирнинской артели. По ночам боязливо слушали топот проходивших по фашиннику ног, уханье и рёв песен, плотнее прикрывали рамы, тушили огни, с опаской выходили за ворота, прятались к заборам, убегая от голосов шнырявшей во мраке артели. Городовые заискивающе усмехались на проказы Просвирнина и козыряли ему днем. В кабаках, трактирах Просвирнин пил и ел, ни за что не платя. Вваливался он с опущенной черной головой, хлопал наотмашь дверью, подходил к стойке и кричал:

— На-л-л-ей!

За ним подходили другие. Бежали шестерки, размахивая ручными салфетками. За столиками рабочие будто приседали и становились вровень с бутылками, с пивными кружками, стаканчиками. Затихали пьяные. Кабатчики услужливо торопились, хватали графины, выплескивая щедро водку дрожащими руками, наливали через края...

— Закусочки-то, закусочки-то!—стрекотали голоса.

— Н-не на-до!—хрипел Просвирнин.—Нал-ли-вай ребятам.

У стойки темной грудой громоздилась просвирнинская артель, пожирала закуску, лазила руками в тарелки, опустошала графины, роняла и била посуду, харкала и сплевывала на пол, топталась на плевках—и гомонила между собой, не глядя ни на кого в трактире.

Потом артель проходила на чистую половину. Шестерки таскали туда графины, бутылки, подносы с закусками. Рявкала трехрядка просвирнинского музыканта Сашки Кривого „Дунайские волны“ и наполняла кабак плачем и стенанием. Просвирнин запевал, артель подхватывала—начиналась гульба. Из кабака, кто поосторожнее, поспешно уходили.

Иногда уходить не удавалось. Просвирнин рассаживался у стойки и никого не выпускал. А то обходил столы, всматривался в лица, наклоняясь низко горящими глазами, поднимал руку и бил. Завязывалась драка. Бились кулаками, стульями,

выхватывали ножи, валили на пол, хрипели на полу и топтались ногами.

Трактир пустел. Тогда Просвирнин подходил к кабатчику, накреняясь вперед своим широким, как полотница дверей, телом, как бы гладя, брал его за бороду, всматривался в открытые глаза, убегавшие в стороны, и шипел, злобно беснуясь:

— Зов-в-и полицию!

Кабатчик робко делал улыбку. Как собака перешибленной лапкой, махал рукой и выдавливал подобострастно:

— Куда уж, Иван Иванович? На друзей жалоба—срам.

Просвирнин держался за бороду, скрипел всеми зубами, подрагивал лицом и быстро отдёргивал руку. Кабатчик вытирал на лбу пот, метался за стойкой, переставлял посуду, выдвигал кассу в замешательстве, звенел рюмками.

Просвирнин молча качался у стойки и, наконец, протягивал поверх графинов и закусок темную и грузную ладонь.

— На артель царских!

Кабатчик радостно совал кредитку и пожимал лапу, со смешком закрывая ее своей ладошкой. Сашка Кривой играл марш, шестерки распахивали двери, и артель гуськом вышагивала на улицу. Так Просвирнин поочередно обходил все кабаки и трактиры на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

Хмуро и молчаливо бил он кувалдой весь день в кузнечном цеху после бессонной ночи, пил коростными губами воду из бачка, глядел на горящее железо красными глазами и косился на бригадира.

В шесть часов за проходной будкой собиралась из разных цехов его артель и вместе шла в город.

Ночью к ней прибавлялись свешниковские, бурловские и мушниковские. Артель выходила на гулянку.

Была у Просвирнина журжа—Аннушка, мойка на винном складе. Девушки бегали от Просвирнина. Увидал он Аннушку на улице и стал ходить за ней неотступно. И пьяный и трезвый болтался у ворот Аннушки, сидел на мостках и поджидал, опустив голову в землю, просиживал ночи, бил у ней стекла, ломал палисадник. Потом пришел к ней ночью и сделал ее своей журжей. Аннушку утром вынули из петли—отходили. А на другой день она сама пришла к Просвирнину и осталась у него.

Когда приходил Просвирнин в ярость на улице, перегораживала его артель поперек улицу, разгоняла гулянку, била

и громила кабаки, разворачивала перила,— бежали бабы к Аннушке и звали ее.

Аннушка торопилась с бабами... Тогда люд смеялся. Просвирнин останавливался с занесенной рукой, оглядывался по сторонам, застенчиво улыбался, утихал, охватывал огромной рукой за плечи маленькую, как девочку, Аннушку и, покачиваясь, смолкая, ступая в короткий шаг с ней, уходил.

— Что подол делает!—гоготал люд сзади.

А потом нещадно били Кукушкина, Клёнина, отрывали планки у гармоньи Сашки Кривого, выдергивали волосы у Алешки Ершова, гнали их с улюлюканьем и гамом вдоль улицы. Ребята на подмогу отцам пуляли по ним из рогаток, бабы кидали чем попало и визжали.

Потом приходила расправа с обидчиками. Просвирнин вымещал за товарищей: пускали в ход ножи, трости, кастеты, проламывали головы, дробили ноги, укорачивали жизнь. Били заодно городовых, отнимали шашки и ломали, били проходящую публику, стаскивали извозчиков с сиденья, гоняли по улицам на извозчичьих клячах, бросая их у кабаков, попадали в участки, где их, в свою очередь, в холодных били пожарные.

После побоев подолгу отлёживались на квартирах и сидели неделями в арестном доме на Кобылке.

Стихала тогда жизнь на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, мирно и трудно катясь надсадной работой, плясками, песнями... Аннушка ходила — краше в гроб кладут.

Но дни прятались за дни. Будто на многих тройках с колокольцами, с ширкунцами вдруг вырывался Просвирнин из-под запора и наверстывал потерянные драки, буйства, поножовщину.

— Вышел!—говорили на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

— Изводу на него нет!

На всех фабриках и заводах раздавался гул от первой ночи, повисали над каждым угрозы расправы. Из месяца в месяц, из года в год.

Егор работал с Просвирниным на железной дороге в мастерских. Цехи были рядом: токарный и кузнечный.

Еще не освоился Егор в мастерских, но уже знал всю подноготную Просвирнина: нашептали товарищи, наговорили ночные крики на улицах. А на пятый день Просвирнин подошел в перерыв к станку и сказал:

— С тебя, Яблоков, надо литки с поступлением! Ставь четверть! В получку разопьем. Иде-ет?

Токаря кругом засмеялись.

— Дешево и сердито,—продолжал Просвирнин.—Без отступного ничего не выйдет.

Егор близко всмотрелся в Просвирнина и ответил:

— Я не пью.

— Невелико дело. Мы за тебя выпьем. Верно, ребята?

Токаря снова засмеялись, но ничего не сказали.

— Так приготовляй четверть, Яблоков,—уходя, кинул Просвирнин,—дожидаться будем. Не ты первый, не ты последний. Порядок такой.

Красный, Егор усмехнулся и сощурил левый глаз щелочкой.

— Посуленого три года жди. Не пришлось бы тебе, Просвирнин, из своей четверти наливать!

— Поглядим ужо.

Токаря обступили Егора.

— Чорт с ним—поставь! Беда будет!

— Со всех берет. Изувечит, разбойник. Все откупались. Раз пристал—не отвяжется. Ты не знаешь его. Плюнь! От греха подальше.

Егор твердеющим голосом заговорил:

— Нет, ребята, этому потакать нельзя. Свой со своего тянет! Его надо в выучку. Он на испуг берет.

— Смотри, Яблоков, каяться будешь. Эта сволочь не в пример другим... Нахрапом возьмет.

В получку снова пришел Просвирнин.

— Яблоков, как насчет литок-то?

— Да все так же,—отсмеивался Егор.

— Не поставишь?

— Не поставлю.

— Твердо?

— Как камень.

— Твердый ты человек. Только мы не таких твердых видали,—угрожающе загнусил Просвирнин.—Без магарыча ты со мной каши не сваришь. Попомни!

Токаря заотодвигались и стали уходить.

— Я с тобой каши варить и не собираюсь.

— Так... так...—раздумчиво догнусавил Просвирнин,—в наш приход со своим уставом, как попы говорят...

Проходила получка за получкой. Просвирнин приставал. Пьяный поймал Егора на улице и затащил к себе. Дома обхаживал Егора.

— Ты со мной подружись, Яблоков,—бормотал он,—я за тебя, ты за меня. В кулак зажмем завод, как у Аннушки!

— Ты и так завод в кулаке держишь,—отвечал Егор.

— Один ты покориться мне не хочешь. А я тебя согну. Честное слово, согну. Ты передо мной, как моля перед щукой. Я заглотну тебя.

— Костей во мне много.

— А я костоправ. Чавк, чавк и—готово.

И когда Егор вырвался от Просвирнина, тот высунул голову в окошко и долго глядел ему вслед пьяными глазами, будто примеривался, с какого места лучше схватить Егора.

На другой день Егор встретился с Аннушкой. Остановились. Встретились еще раз. Поговорили, а потом зачастили встречами, держали друг друга за руку и не могли накупаться: он в серой, она в синей воде глаз. Люди увидели. Сказали Просвирнину. Тот приметнее заскользил взглядом по Егорову лицу, а взгляд—будто уголь горячий выскочил из красной топки.

И началось: артель на артель—артель Яблокова, артель Просвирнина. Аннушка с фонарями на лавочке у дома сидела, а из окошка с нее глаз не сводил Просвирнин, травинкой доставал до щеки. Вдруг затихло на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах после фонарей Аннушкиных, будто шайку свою распустил атаман. Целый месяц Просвирнин ни с кем не сказал на заводе слова, не видали пьяным на улицах, сидел дома сидень-сиднем.

— Очухался, дьявол!—говорил люд.

— Стережет Аннушку.

— Ай да Яблоков!

— В середку ударил.

— В середку не в середку, а около этого.

— Не сдобровать ему, мастеровщинка! Могилевской губернией смердят делишки. Просвирнин, он за Аннушку под кувалду ляжет. И баба тоже сера. Напополам к обоим прилипла.

— Чья только возьмет? Егор—тот исподтишка, ребята, ножку подставит,—Ванюха с оглоблей разбежится, а Егор его и пырнет...

— Ишь ты! Егора руку держишь?

— А ты чью? Кому не насолил три раза на хлеб Просвирнин?! Кому?

— Да ясно, всем.

— Общее дело. Просвирнин—хуже болезни у нас. Сторона наша—из-за него двор нечищенный: вывозить надо. Зажал, прохвост, всех кучей и в одиночку, как лёд в половодье в зажорах.

— Отдубасить его, чтобы закашлялся... чтобы не для чего было с постели вставать—заживет вся сторона без шуму и скандалу. Ведь выйти, ребята, нельзя без опаски! Бабы, будто запрещенные, с сумерек носу не показывают на улицу.

— Гляди за Егором—и весь тут сказ! Он не промахнет!

А Просвирнин с артелью опять забушевал. Вырвался с черной половины на бульвары, выкорчевали в ночь все скамейки, покидали в канавы, повыдвигали вверх тормашками на дороге и кресты, перегасили фонари, пооборвали телефонные проволоки и переплели улицы.

Утром водили на допрос. Никто не показал против. Обошлось.

Он гулял, а Аннушка, видели, к Егору ходила: полушалок на глаза.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С субботы на воскресенье занабатили на Подоле, на Крови, в Рòщенье. Задернулось темное небо кумачом с горошком—искрами, поплыли багряные облака по красному киселю, занырями вороны, в беспамятстве, с головешками рядом и закричали коротко и дико.

На Числихе из окошка через дорогу баба на ухвате горшок соседке в окошко подает: не домá—растопка огню. Занялась улица, будто прострелило огнем целый порядок, а крыши тут и там повязались красными платками. Побежал народ с ведрами, с пожитками, с малыми ребятами на руках; заверещали свиньи, свинушки, замычала телка, замяукала на трубе кошка, примерилась перескочить огонь и на лету вспыхнула красной головешкой; баба, сарафан на голову, кинулась в дым и смрад, вынесла обгорелый узел с тряпьем; Иван Просвирнин в вышибленное окно выкидывал Аннушке всякую рухлядь, рубаха на

нем шаяла, жгла; напротив затягивали домишки мокрой парусиной и поливали с крыш из ведер и леек.

Огненный паводок разливался без уёма, как чарымские воды весной. В треске углей, в сухом шуме красной огненной воды плескались острые людские крики, рубили разогретый воздух неугомонные голоса суетившегося люда, и горько плакали детишки.

В улице было тесно от народа. Одни стояли и глядели блестящими, отражающими огонь глазами, другие носились с вещами в окна, двери, складывали вещи грудками на улице, проталкивались с бранью между ленивого люда. Вместе с другими заводскими Егор едва волочил ноги от усталости. Аннушка сидела на своем скарбе и мельком, когда проходил он с кладью, касалась серыми дозорами глаз до его темных от сажи рук и разорванного пиджака. Проходил мимо Просвирнин, таща в одиночку кадки с огурцами, с капустой, набитые одежонкой сундуки, деревянные кровати, поднявшие над ним раскаряченные ноги с паутиной и пылью. Аннушка глядела на его круглые и кривые ноги, уминавшие развороченный фашинник. Он косился на нее острым зовущим взглядом.

Из города любовались на алые крылья зарева: каждый год горели Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы. Побаивалась ходить благородная публика на черную сторону! Посылала пожарные машины. Пожарные гнали из города с колокольцами и трубили в медные рога. На мосту у бульвара машина села колесами в деревянную труху, лошади вырвали передок и проскочили в переулок без машины. Пожарные побежали за лошадьми, тпрукали; шатались из стороны в сторону факелы, как пудовые свечи в церкви, и поджигали ночную темноту. Другая машина по кальям и вымоинам ползла в объезд с Кобылки, доползти не могла.

А Числиха горела не торопясь, выгорала, сколько надо. Подпрыгивал на лошади пожарный верховой со свечой, опрометью кидался обратно, швыряясь факелом, прискакивал снова. Пожарные бросили машины, прибежали с багорцами, с топорами. Медные головы заполыхали от огня зеркалами. Багорцы заковылялись в воздухе—тянись, не тянись—не дотянешься—нет подступа, невтерпежку от огня. Пожар дул жаркими воротами красных губ—отодвигал и люд и пожарных. Голоси, не голоси, бабы,—до пустыря выгорит!

Просвирнин уселся около Аннушки и заглянул ей в лицо. Аннушка повела уныло в сторону и передохнула. И сразу

Просвирнин стиснул кулаки, наклонился вплотную к ней, трясущимися губами зажевал воздух и полувывизгнул:

— Я... тебе... гляделки вышибу!

Аннушка сжала плечи, будто хотела спрятать в них свою маленькую голову, передвинулась на другой узел и чуть прикусила губы мельчайшими зубками.

— Я ему... кишки выпущу... Перемигивается! Не вижу, думаешь, я? Стибрю вот сейчас при всем народе... и в огонь его брошу... Из-за тебя на пожар пришел. Узлы наши таскал, сволочь. Твои узлы...

Аннушка вдруг засмеялась и зажала рот, испуганно оглянувшись на осуждающие людские глаза. Просвирнин недоумевающе раскрыл губы. Аннушка быстро, как колокольцы под дугой бегут, зашептала ему:

— Аника, дурак, воин! Егóра разве знал, у кого пожар? Головой, как бабьим подолом, сплетни подбираешь! Постыдись! Для растравы тебе говорят! А ты, как бык, рогами бодаться! Говори лучше, где жить теперь будешь? Такого разбойника никуда добрые люди и не пустят.

— Не наводи тень, Анна,—успокоенно отвечал Просвирнин,— я тебе замок, знаешь, куда, повешу? Не до житья мне теперь. Наплевать мне на все.

— Что, на улице кровать поставишь? Спи без меня. Сам к Егору толкаешь, пьяница! Позвать, что ль, Егора сюда? Посмеяться над тобой, кожулей?

— У-у!—заскрежетал Просвирнин зубами.—Дохлая кошка.

Пришли пешим строем солдаты к шапочному разбору, перегородили улицу, оцепили вещи, отогнали люд, не подпускали к пожару. Огонь к утру устал, будто застыдился своего ночного разбоя, улегся на последних красных венцах срубов.

И опять золотобровый вышел из-под земли, кинул золотыми веретенами в землю, опутал ее золотой пряжей, зазвенел на золотых шапках церквей, поплыл золотой лодкой по чарымским глубинам, золотыми листами расплавился в окнах на Числихе.

Покатилось, как раззолоченная карета, утро. Шипело и шаяло и тлело пожарище.

Будто выдернули у Числихи зубы во рту, оставили гнилые корешки на разводку—печи голландские, русские, чугунки... Стояли они на пепелище каменными застывшими чернецами.

Вон на шестке опрокинулся глиняный горшок с обожженной кашей. Вон торчало опаленное уцелевшее крыльцо с распахнутыми дверями, а кругом—обгорелая пустота. Вон два столба остались от ворот, как две поднятых к небу обугленных кумельки. Вон скворешник покачивался на длинном шесте, словно игрушечная курная изба.

Улицу заняли столы, табуретки, укладки, деревянные кровати, кадушки, корыта, детские санки, глиняные корчаги и нечищенные ведерные самовары.

Ушли пожарные. Разбрелся понемногу праздный люд по домам. Погорельцы сидели на своем закопченном скарбе и молчали. Около баб влёжку спали ребятишки. Постарше играли землей, дрались, жаловались матерям.

Заводские кучками толпились около погорельцев, ободряли баб шуткой, голосом, доброй усмешкой.

— Мы вот тоже в третьем годе погорели, ровно с купки нагишом на улицу выскочили. Думали—шабаш: из построя вывалились навсегда. А ничего. Обошлось. Забывать стали.

— Забудешь тут!

— И пожар из-за ничего вышел—из трубы печку выкинуло.

— Кому смешки, а кому слезы каменные.

— Из одёжи что осталось?

— Одежду-то всю вытаскали. В чулане деньги сгорели.

— Чулан денег был?

— Чулан не чулан, а на первое обзаведенье хватило бы.

— Деньги—дело наживное. Сам на сверхурочные насядет. Товарищи помогут. Оправитесь, матка! Вишь, ребята из песку дом строят. Значит, дело будет.

Бабы повертывали головы к детишкам и горько усмехались.

— Страховку, братцы, всем надо делать. А мы всё отлыниваем, думаем, надувательство. В городе кажинный дом с бляхой от страхового общества. Как пожар, сорвал бляху—и в карман. На другой день—в контору. Подаешь бляху, а тебе деньги отгребают лопаточкой. Пожарный заработок!

— Наши дворцы в страховку не примут. Страховщики норовят по каменной части... Где безопасно...

— А как же в деревне? Там только церкви каменные да фундаменты: на тыщу верст пол-аршина.

— Мужики обществом страхуют в земстве.

— И нам так надо: собраться улицей.

— Бе́з года неделя на Ехаловых был пожар. На Зеленом Лугу на одной неделе три раза загоралось. Смотри—теснота-то какая! Не дома стоят, а штабеля с дровами, деревянный порох. Чиркни спичку—и пошло. Удивленье берет—горим мало. Другой раз думаешь—на растопку живем. Ребят бы только вытащить на случай пожара.

— И пожарные тоже черти... к концу пожаловали. Дураки, ходят надо всем городом на каланче: глаза по ложке, а не видят ни крошки.

— Пожарные не при чем. Тут никто не поможет, когда к огню подступа нет.

— Городскому голове по шапке надо. Вот что. Думе. Они, брюханы проклятые, около своих домов щебеночкой усыпают, панельки устраивают, садики разводят, а нам от городских денег ни шиша не остается. Мы на болотине дохнем, в грязи, в канавах. Разве у нас улицы? Не улицы у нас, а скотий прогон в деревне осенью. Как тут не гореть, когда к нам никакая помощь не доскачет из-за мостов да из-за дорог. А и доскачет—пользы не больше. Где у нас вода, водопровод? Из бочки пожарной да из ведерка пожар такой заливать—смех. Такое приспособленье для самоварной трубы впо́ру, а не для пожара.

— С мостков и начинать надо.

— По-настоящему, всю нашу стройку следовало спалить к чорту,—сказал Тулинов.—Ровное место оставить. Навалить заново земли, укатать катками, как бульвары делают, размежевать по ниточке и каменных домов настроить. Улицы тоже в камень. И чтобы не гуськом по улице ходить, а шестерке лошадей в любом месте поворотиться. Водопровод, там, в каждую квартиру, газ, электричество. Так за границей живут рабочие.

Старик токарь Кубышкин насмешливо ухмыльнулся на Тулинова и заскрипел тоненьким, как у девочки-малолетки, голоском:

— Ишь ты, поскакун какой! Приехал из Америки на зеленом венике! Дай тебя одернуть маленько. По книжке говоришь. Не подумал, какие капиталы надо для этого? Да я, может, в каменном доме, ты меня спроси, и жить не желаю! Мне деревянной давай.

Егор подтолкнул Тулинова под локоть и засмеялся. Тулинов разъярился на Кубышкина:

— Ну, что же? Можно, кому надо, деревянных настроить Капитала хватит. Объяви нам всем на улучшение нашей жизни, да мы все бы помогли устройству.

— Да! На словах помогли. Сам первый лататы бы дал. Заграница, заграница! Дальше своей перéгороды не бывал, а тоже заграница! Побасенки одни. Там, небось, рабочим не много чище нашего живется! Сколько мастеров в России из немцев? Чего им надо у нас, ежели у них благодать? Лезут— отбою нет. У себя житье славят, а лезут к нам. И выходит по пословице—всякий кулик свое болото хвалит.

Вдруг Просвирнин замотал своей тяжелой головой и зарычал на Кубышкина:

— Чего же тебе тогда надо, чортова перечница? Не знаешь? Ты куликом и выходишь, раз не способствуешь хорошей жизни.

Кубышкин ёрзнул на месте, поперебирал ножками и запищал:

— Потише, потише, Ваня! У старого человека язык может поперхнуться со страху или от параличу отнимется. Ты вот у нас до того доспособствовал жизни на Числихе, во святые угодники тебя надо.

Все засмеялись, громче всех засмеялась Аннушка. А Просвирнин не спускал глаз с Егора. Егор это чувствовал, пересилил себя и будто ничего не слыхал. Тогда Просвирнин оборотил свое лицо к Аннушке и прикрикнул на нее:

— А ты чего, дура? Что тебя ангелы тешат?

— Какое уж тут ангелы!—хохотала Аннушка.—До ангелов ли тут, когда о тебе разговор идет!..

Аннушка остановилась, бросилась глазами в Егора и лукаво спросила:

— Правда, Егóра?

Просвирнин зашевелился на месте; все переглянулись. Егор смущенно кашлянул и не ответил ей. Кубышкин зазвенел дальше:

— Языком, Ванюша, не много наспособствуешь! Ты делом способствуй. Ежели бы человеку дать такие руки, как он в мыслях своих раскладывает, да он бы с неба все лишние звезды поснимал.

— И поснимаем,—заволновался Тулинов.

— По-твоему, пентюх,—опять вмешался злыми глазами и дрожащим голосом Просвирнин,—лучше рылом в чей-нибудь сапог тыкаться? Ваксу на рожу переносить?

Тут рассердился Кубышкин.

— Бормота ты, бормота! Вошь всегда думает о себе не меньше, как о слоне. Вот и мы так. А на самом деле рубаха на тебе есть, а ворота у рубахи нету. Ты, Ваня,—кузнец, а повадка у тебя баринова, баринова, анбиции в тебе, как пару в котле.

— От таких, как ты, и горим,—завизжал в негодовании Тулинов.—Где бы всем заодно, душа в душу, по согласу... У тебя один смысл, у другого тысяча смыслов. Соедини зараз—гора треснет. А по-твоему, наплевать друг на дружку. Я тебе скажу для примера. Смотрит с неба луна. И всё равно ей, что мост, что человек, потому—дура она. Ты на луну похож.

— А ты—брехун брехунович! На одном месте не две вырастают разные ягоды? Посмотреть на тебя—будто пальто на тебе сидит, а оно, видишь, рядом повешено. Ты с налету думаешь. А налетишь на столб, лоб не устоит. Ты столб подрой сначала, покачай его, он и ляжет. Улучшение жизни от себя приходит. Всех ты обвинил—и пожарных, и Голову, и Думу, а себя позабыл. Мы спьяна огнем пренебрегаем, осторожности у нас нет, в порохе закуриваем...

— Лысина у тебя, как у апостола, а рассужденье, как у быка у пестрого. Песочница ты старая!—бросил злобно Просвирнин.—У-х! Так рука и зудит у меня. Всё к чорту надо перекувырнуть! Всё вверх пупом надо поставить! И нас всех к чорту! Спалить, сжечь, в ступе истолочь!..

— Ты, ты, Кубышка!—кричал во всю мочь Тулинов, прыгая на месте,—ты уставился в одну точку—мигать разучился. От самих да от самих... Мы-то отчего такие, не подумал? Оттого, что на сквозняке живем, дует во все пазы, во все щелочки, спина от работы колесом, глаза в землю глядят—деньги ищут, не потерял ли кто? Я тоже хочу удовольствия. Обмыться я хочу от грязного положения. Почему им можно, а мне нельзя? По-твоему, попал человек в лужу, век ему сидеть в луже? Правильно я говорю, Егор?

— Правильно, правильно,—отвечал Егор,—я за тебя стою.

Просвирнин оскалил зубы на Егора и задирающе швырнулся словами:

— Яблоков за чужих баб стоит, а больше ни за кого. Он баб улещивать мастер. Ты, Тулинов, держи от него свою бабу подальше.

Швырнулся словами Просвирнин и приподнялся на руках, будто хотел прыгнуть на Егора.

— Отстань с глупостями!—заюлил Тулинов.—Дай до шабашу спор довести. Кому—чего, а тебе все одно! За своей бабой следи! На чужих баб нечего тыкать. Была бы сучка, кобель найдется!

Аннушка весело захохотала. Заводские поддержали смешком. Фекла-Пегая, вдова, по ляжкам себя похлопала и насмешливо на Просвирнина надвинулась:

— Егор Петрович не тебе чета! Любая баба не откинет такого молодца.

Просвирнин потемнел и обвел всех загоревшимися глазами:

— Бабий угодник!

Егор и тут промолчал, пряча свои глаза за глядевшую на него в упор Аннушку.

Старый Кубышкин схватил Тулинова за пиджак и подтянул к себе.

— А я, а я тебе скажу—жизнь улучшение помаленьку делает. Ты, ты не Тулинов, а Петушков. Ты, как петух, зря горланишь.

Тулинов взъярился на старика:

— Да кой чорт, наконец? Мне вот годов немного, а лет двадцать помню назад. За двадцать годов на Числихе два фонаря новых поставили да пять полицейских будок срубили. Какая мне от этого корысть? Я будто гляжу в окошко с постоялого двора на жизнь, а она—чужая, а мы—приезжие...

— Ты заносишься не по плечу, Тулинов! Не в этом главная суть. Хлеба край—везде рай, нет ни куска—везде тоска.

— Тебе и хлеб-то Христа ради подают. Как собаке голодной на весу показывают, на нос кладут. И сыт ли ты по-настоящему, вот что скажи. И много ли ты сыт-то? Рай твой вешнего снега недолговечнее. Навалится хворь из-за спины, капиталов твоих на чуни не хватит. Не от болезни, сначала от голоду ноги протянешь.

Кубышкин засмеялся мелким, дробным, как песок, смехом.

— Помирать все равно: что на полу, что на постеле. На Числихе мрут, на городу мрут. Смерть—баба расхожая. В комнату войдет—ни крестом, ни пестом от нее не отмашешься. Господь бог, я тебе скажу, не только что людей, лесу не уравнял. Ежели я прозываюсь Микиткой,—Митрея из меня не сделаешь. Ваше степенство так и останется вашим степенством. В тебе пустая зависть живет. Ты, видно, около студентов пиджаком потерся. Они заразительные.

Тулинов махнул рукой.

— С тобой говорить—только мертвого смешить.

— А у тебя, видно, загривок нетронутый. Не насовала тебе жизнь вот сюда, сюда, как следует...

Кубышкин потыкал себя под бока, в шею, в губы, подергал себя за кустики волос около лысины, в живот себя кулаком пырнул...

— Ты на готовое в жизнь пришел и артачишься... Конь ты с норовом, больше ничего. Легко с места тронуться, а попробуй обжиться на новом: слезы по заднему месту потекут. Поумнее нас с тобой люди порядок установили. Знали, что делают. Не тронь его, щебнем завалит, браток. Со временем все придет, чему притти надо.

— Само придет?—сердито нахмурился Егор.

— Само не само, а придет. Не от нас с тобой, а от жизни. Раньше вот человечье мясо за говядину считали, а нонче разве ты станешь кушать человечину?

Фекла-Пегая, вдова, рассердилась на старого Кубышкина, затолкала, затормошила его, закричала над самым ухом:

— С голоду не то что человечину, крысу с головки обсосешь. Нам не привыкать голодать. Ты вот брюхо-то из-за пояса распустил чего? От голоду? Жир копишь, пониманья для других людей лишился. А?!

— Постой, баба, ноги мне давить на старости лет,—отпихнулся Кубышкин,—поотдались малость. Я тебе скажу—отчего с комара дождик скатывается. Оттого, что комар жирный. Вот и я такой жирный. А тебя от голоду на колокол похоже разносит. Смотри, у тебя сиденье-то, будто карета.

Фекла застыдилась, откачнулась от старика и выкинула напоследок:

— Чем укорил, пень старый! Нездоровьем укорил. Мне хуже хомута карета-та эта. Назад брюхо перевешивает.

— А ты не поддавайся,—засмеялся Кубышкин.—Грузило спереди подвяжи.

Тулинов сморщился на старика и с сердцем сказал ему:

— Ты все притчами говоришь, от дела бегаешь. Ездиют на вашем брате, кому ездить охота, наездиться не могут. Где бы всем миром лес корчевать, ваш брат на карачках ползает, дорогу загораживает другим. Тьфу!

— Ох вы, корчевальщики! — обиделся Кубышкин.—Двум собакам щей не разлить, а туда же! Проветрись, парень,

проветрись от угару! Угар у тебя, должно быть, в голове от пожару?!

— Эх, народишка!

Снялись солдаты с охраны. Разбрелся, нехотя двигаясь, остальной люд. Зазвонили к утрени у Флора и Лавра, на Подоле, в Рóщенье.

Шаяло и тлело пожарище и дымило над погорельцами. А они сидели часами терпеливо и молча.

На полдень заныли гудки у Свешникова, у Марфушкина, у Мушникова. Торопливо шли мимо рабочие с работы и на работу, сумрачно взглядывали на шающую рану пожара, опинались около погорельцев—и уходили.

— Где сам-то?

— Квартиру ищет.

Бабы жевали хлеб, кормили грудью детей, закрывали груди снятыми с головы платками, застраняли от мух полусонных сосунов, застраняли от золотобрового, глядевшего на землю через золотую трубу в темечко, в слипшиеся жаром мешочки век.

Пошел люд от обеден. Стали подъезжать одиночки-ломовики на дрогах. Задвигались, как живые, столы, кровати, укладки, корчаги и замелькали над улицей, усаживаясь на дроги в тесноту, друг на дружку верхом. Люд дружно помогал. Оклали вещи, освободили улицу от постоя, и возы со скрипом поползли по Числихе на новые квартиры. Бабы несли детей, мокрыми глазами прощались с привычными наседалами, оглядывались на свои старые кухни и крылечки, оступались о фашины. Мужья шли рядом с возами, поддерживали дорогую кладь в ухабах и рытвинах, подставляли плечи под накренивавшиеся возы, заботливо одергивали слабнувшие веревки увязок.

— На Зеленый?

— В Ехаловы?

— На Кобылку?

— Квартира ничего. На дворе свой колодец.

— Тараканов зимой выведем—выморозим.

— Оклейки нет—беда. Газетами оклеена.

— Цена подходящая.

— Свиней есть где держать?

— В дровеннике сделаем помещение.

— Прилуцкие там живут. И скорняки.

— От завода малость подальше. Ходьбы больше.

— Раньше вставать.

— Спать теперь некогда. Сызнова надо к ко̀лышку приваться. Эх, все дымом вышло! Будто теперь и беднее нас на свете нету!

— Отойдем. Судьба и попа женит!

Последний уехал Просвирнин. Он стерег свой скарб, усевшись на железный сундук; он не сводил усталых от бессонницы глаз с пожарища и хмуро здоровался с проходящими рабочими. Никто не останавливался около него, обходили груду вещей второпке и не оглядывались. А спины ухмылялись над сторожем. Сашка Кривой принес водки. И они роспили, попеременно булькая в рот из горлышка.

Аннушка ушла искать квартиру. Вернулась она поздно с ломовиком, к вечерням. Просвирнин засуетился около нее, Сашка Кривой начал складывать вещи на дроги. Поехали. Аннушка грустно шла за возом, как будто на возу стоял гроб. Просвирнин робко заглядывал на нее сбоку и молчал.

Вдруг она остановилась и злобно сказала ему:

— Ты не ходи! И Сашки не надо! Потом придешь. Насилу пустили. У Спаса на Болоте за углом третий дом. Я одна. Ломовик поможет.

И пошла.

Просвирнин и Сашка Кривой отстали, немного поподошли, остановились, Сашка Кривой громко чему-то засмеялся, а потом повернули обратно.

После запора кабаков и трактиров Просвирнин в разорванной вдоль спины рубахе, без шапки, с пивной бутылкой в руке, впереди своей артели переходил из улицы в улицу и скандалил. Сашка Кривой разводил на гармонье. Кукушкин тащил железную трость и хлестал по воротам, по палисадникам, по рамам. Клёнин носил пиджак Просвирнина и во все горло горланил, кончая и начиная снова, без передышки и остановки:

Милка моя,
Подманилка моя!
Не успела подманить—
Стали люди говорить!

— Эх, говорить!—стонал во всю грудь Просвирнин и размахивал бутылкой.

Артель топотала и ухала на улицах, била прохожих, щупала баб, загинала подолы, тащила в темноту от фонарей, бабы

кричали и вырывались под хохот гуляк, звенели и рассыпались оконные стекла, стекла фонарей, где-то плакали, кричали, в темноте слышался свист полицейских, будто кто беспрерывно бросал на фашинник костяные шарики, и они катились сотнями, тысячами с фашины на фашину.

Под утро ворвались на Кобылке в публичный дом, разогнали гостей, заперлись там, выпили все вина, всю водку, ходили попеременно в зеркальную комнату и брали голых проституток на полу, на коврах...

С ревом и гвалтом снова выкатились на улицу, шатались от палисадника до палисадника бегущими ногами, ломились с заднего крыльца в трактиры и яростно стучали по ставням.

На Зеленом Лугу вдруг наткнулись на Егора, вынырнувшего из переулка.

— А-а-а!—закричал Просвирнин, схватил его в обхват вместе с руками, стиснул, дрожа и воя, впился ему в глаза черными огнями глаз, еще раз крепко прижал к себе, словно боясь упустить, а потом быстро оттолкнулся и с размаху ударил по лицу.

Кинулась, беснуясь, вся артель к Егору, смяла его, сдавила, закружились, как крылья мельницы на ветру, кулаки над ним, сверкнул лунным блеском нож. Егор пронзительно закричал никому не знакомым плачущим голосом. Потом крик смолк, но кричало еще в утреннем свете затихающее эхо, и другое, сухое, деревянное эхо сразу возникло в улицах: по фашиннику убегали от перекрёстка. Егор остался лежать темной грудкой на дороге.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На Крестовоздвиженскую ярмарку подул ветер с гнилого угла. И раздулся на две недели. На Покров пришла настоящая осень. Коровинские мельницы днем и ночью махали черными крестами крыльев. Чарыма вздулось беляками и выкатилось на луговины. Сивые невода тумана оплели Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Будто выжимали на небе невода, и дождь мокрыми вениками мел крыши, улицы, мостовые. Проточные канавки пузырились, и пузыри гонялись друг за другом. По желобам с крыш бежали дождяные воды и лились через края в замачиваемые кадушки. Ветер, как ястреб, треплющий

птицу, кидался на деревья, и, как летящие перья терзаемой птицы, летели алые и темно-бронзовые листья. В глотки труб забирался туман и глушил гуд, а ветер подхватывал его, как легкий пух, и отшвыривал за город, за Чарыму. По скользким деревянным тротуарам, с работы на работу, подняв воротники пальтишек и пиджачонков, бежали рабочие, бабы шлепали заброженными подолами, волоса бабьи слиплись с платками, водовозы с мешками на головах катили по мостовой, а в бочках бултыхалась и кулькала вода.

В октябре Егор первый раз пришел в мастерские. В руках не было прежней уверенности, они подрагивали. Глаза Егора напряженно следили за ними. В перерыв обступили токаря и зашумели.

— Побледнел, Егор! Как выжил только! Ножом, стерва!

— И за что, спрашивается?

— Боком ему вылезет за это!..

— Пулю в рот, сукину сыну!

А потом из котельной показался Просвирнин, увидал Егора, поперхнулся кашлем, постоял вдали и, нахмурясь, повесив голову на грудь, пошел прямо к станку. Токаря перестали шуметь. Пододвинулся вплотную, ухмыльнулся, оглядел всех и сказал:

— Что за шум, а драки нет?

Никто не ответил Просвирнину, а только Егор уперся глазами в глаза.

— Тебя нет—нет и драки.

Просвирнин невесело покривился, вытер черной ладонью запотевший лоб, отвел глаза в сторону, к дверям, замешался, искоса уставился на Егора и выдавил хриплым горлом:

— Будто так?

Вдруг громко засмеялся старый токарь Кубышкин. Просвирнин перевел глаза на него и злобно крикнул:

— Чего тебя прорвало? Мешаешь вести сурьезный разговор!

Старик смолк. Просвирнин внимательно вгляделся в него, обвел токарей недовольными глазами, опустил нерешительно голову и протянул руку Егору.

— Поздороваться охота: давно не видались.

Токаря охнули и зашевелились. Егор качнулся к Просвирнину, но тут крикнул резко и торопливо Кубышкин:

— Не давай... не давай ему, прохвосту, руки! Не заслуживает он!

И толкнул протянутую руку к полу.

Просвирнин задёргался, глаза заморгали, он трудно передохнул и отступил, покрасневший, назад. А тогда зазвенел тонко и на весь токарный цех Тулинов:

— Разбо-ойник! Сво-о-олочь!

Закричал и замахал снова руками Кубышкин; закричали, захлебываясь, все, один за одним...

— В маши-и-ну его!

— Управиться с ним!

— Поножовщик!

— Своего брата колет, гадина!

Просвирнин подумал глубоко, будто заглянул в себя, отрывчато, дрожа, швырнул слова:

— Поглядим—посмотрим! Кто кого? А только Егорке и Тулинову скажу—им это дело задаром не пройдет!

— Ладно! Иди себе,—загудели токаря.—Найдем на тебя управу! Погоди. Будет, побаловался!

— Заготовляй домовище!

— Мерой не ошибись!

— Пускай Аннушка саван шьет!

— Мы тя, дьявола, успокоим!

— Что на самом деле, ребята? Прямо житья нет! В щель зажал!

— Всем миром надо на него! По-деревенски!

— Плакальщиков не будет!

Просвирнин враскачку дошел до выхода, повернулся, прислонился к косяку и, напоследок, насмешливо сказал:

— Чур, от своего слова, ребята, не отказываться! Уговор такой!

— Дело ясное!—ответил за всех Кубышкин.—Я и то постариковски на гулянку выйду. Иди себе тихим ходом. Не поя и не кормя—врага не наживешь, просвирка чортова!

Токаря весело засмеялись и затормошили Кубышкина.

— Спасибо, ребята, в обиду не дали,—сказал Егор.—Держись теперь крепче друг за друга. Поодиночке ему не попадайся. Артелью надо.

— Ты остерегайся пуще всех,—заботился Тулинов,—на тебя у него сердце в горячке. Полоснет, другой раз не так счастливо отделаешься.

— Всю, всю шайку надо вывести из слободы—и Кукушкина, и Клёнина, и тальянщика этого... С корнем выдернуть надо,—

волновался Кубышкин.—Посадка была сурьезная, выполоть надо того сурьезнее. Подчеревок ему опростать начистую, штобы червяку делать было нечего... Вот как надобно...

Сережка обнял старика за спину и пощекотал мизинцем.

— О! Разошелся на старости лет, что те молодой! Кипяток, а не человек! С таким старшиной в зажим всю волость возьмем.

— Просмеёшь, сосун,—весело отбрыкнулся Кубышкин,—стариковская закалка крепкая! И помирать не страшно, впору... Стариков-то, вон, и в библии хвалят! Потому опытности много. А Ваньке гостинец в хребет надо. С ручкой, ехидна, подкатился к парню! Потрошил недавно... а тут... с ручкой... У! У! Егор, приготовил, што ли, гостинец? А? Братишка в кармане?

Егор задумался и улыбнулся старику.

— Есть!

— То-то! Не сдрейфишь? Рука не закачается? Качки не даст?

— Нет!

— Мне, старику, стыдно в слободе жить под запором, а об вас и разговору нет. Свой брат все мозоли обступал, и загривок горячий от его колотушек...

И на второй и на третий день проходил Просвирнин токарным цехом, ни на кого не глядя, торопясь к дверям. Тулинов подмигивал ему вдогонку, а Кубышкин довольный бормотал:

— Будто шелковый. Во ка-а-ак пугнули, двуглавые орлы!

И, подумав, добавил:

— Может, без смертоубийства обойдется? И так исправление наступит? А, ребятки?

Сережка сердито накинулся на старика.

— Что, задние ряды проверяешь?

— Я... я... ежели всем цехом—по перегородам не хожу,—залепетал Кубышкин.

— Нет, Силантий Матвеевич, так не обойдется. Сам ты сорвал мировую. Просвирнин, как ремень на маховике: зубами не разгрызешь,—вмешался Егор.

— Ну, што ж, ну, што ж, тогда и устосаем,—сговорчиво и тревожно согласился Кубышкин.—Вы заедала... мы подмогала...

Сережка не мог простить старику.

— Подмогало ты языком, вижу, а на деле как бы Ваньке косушку не поставил в угощенье!

— А ты больно прыток!—рассердился Кубышкин.—Што я такое худово сказал али сфальшивил? Старика бы чем уважить,

скажи старик слово неподходячее, к примеру, а он ему радрадешенек в бороду харкнуть... Молодой да ранний, ястреб!

— Не пуши, старик, хвостом. От тебя самого скороговорку слыхал: нашего „понамаря никому не перепонамарить, покуда сам не перепонамарится!

— А тьфу мне на тебя, злыдня!—плюнул Кубышкин и виновато наклонился над работой, недовольно шевеля седой грядкой усов.

Из мастерских уходили артелью.

За Просвирниным ковылял Клёнин, и, руки в карманы, шагал Кукушкин. Проходили широкое поле от мастерских до слободы и глядели искоса друг за другом. Шли медленно и крепко ступали по размокшей от дождей глине, давали обгонять себя другим рабочим. На Числихе расходились в разные стороны.

Тут на Числихе на пятые сутки встретил Егор Аннушку. Издали слились серые и синие воды глаз. Аннушка свечкой, сквозь ветер и дождь, горела навстречу. Егор оглянулся. Всюду шли люди. Аннушка торопилась, не отрывая глаз от Егора. На руке у нее поскрипывала маленькая корзинка, и торчал из нее высокий лычей моркови. Как близко сходились, Егор быстро кинул в ветер и дождь, неслышно для других:

— Не останавливайся, Аннушка! На Чарыме... Утром... Завтра...

Аннушка поняла, сразу сошла с тротуара и, не поглядев больше на Егора, перешла по улице на другую сторону.

Егор сожмурился под козырьком картуза. Сердце засмеялось частым боем. В глазах мелькал серый выношенный сак Аннушки, и шли быстро-быстро-быстро мокрые от дождя полусапожки, а пониже шерстяного чулка торчком стояло пестрое маленькое ушкó.

Навстречу шли бабы, девушки в таких же саках, но Егору они были чужие и ненужные, он давал им дорогу, на ходу здоровался—и шел дальше, забывая о встречах.

Ночью ныла просвирнинская рана в боку. Егор осторожно гладил ее по рубчику, пока не начинала гореть она от тепла, и пока не начинало палить бок... А тогда рана замолкала, засыпала, и глаза смежались, покойно укладывались в запавших ямках.

И снилось Егору окно, а в окне на виду вырастала зеленая и нежная ботва моркови, заполняла тесно окно, свешивалась в комнату зелеными хвостами, обрастала стены, потолок, пол...

Потом в окне, раздвигая зеленые перышки моркови, показывалась Аннушка в белом платке и радостно звала:

— Его́ра!

Егор просыпался и кидался глазами к окну.

За занавеской серело раннее утро, лил осенний плакун-дождь, ветер хлопал на крыше прохудалым железом. Под клекот дождя Егор опять забывался. Открывался тогда потолок, и мокрое небо шаталось над головой. А по небу летели угольники летних птиц. Вытянув с высоты над кроватью шеи, они кричали что-то Егору. На кровать капал частый, ситяной дождь. Егор закутывался и не мог закутаться. Ветер срывал одеяло, надувал его пазухой, трепал... Птицы спускались все ниже и ниже; он видел маленькие круглые бисеринки глаз. Птицы летели густо, тесно, задевали крыльями лицо, ресницам негде было укрыться... По подушке прыгали воробьи и долбили в раковинки уха. Вдруг из-за подушки поднялась стая горластых журавлей и загородила свет, как дымом. Пронеслась... Покружила высоко белая лебедь и села на грудь, распушив крылатое платье.

Егору стало душно и страшно, он закричал, но не услышал своего голоса. Тут рванул вихрь... И птиц и одеяло сорвало вихрем, понесло кувырком в небо. Откуда-то показалась Аннушка. Егор схватился за железные столбики кровати и проснулся. Кололо в ране редкими уколами. Будто продергивали в рану нитку с иглой и выдергивали обратно.

Егор дрожал от холода. Руки были дряблы, сводило их легкой судорогой, под кожей горели искры, а в стекло капал дождь мокрые жалобы: кап, кап, кап, кап, кап...

Снова Егор забылся, скорчившись грудкой. Опять летели птицы над кроватью—и не было уже ни потолка, ни стен, ни пола. Кровать стояла на желтой мокрой глине, а кругом раскрылись поля. В полях, как солдаты лагерем, с винтовками в козлах, стояли бронзовые суслоны ржи. Несло туман, заволакивало небо, подносило туман к кровати. Из тумана выбежала Аннушка. Егор протянул к ней руки. А за Аннушкой, тяжело ступая через полосы, шел на огромных ногах Просвирнин. Аннушка бежала, а Просвирнин шел. И она не могла убежать. Егор закрыл в страхе глаза—и спустил ноги с кровати.

На заводах пели шестичасовые гудки. Егор вслушался и узнал свой гудок. Ветер стих. Гудки были так отчетливо ясны, словно кричали они тут рядом, на дворе. Егор остался.

За стеной вставал квартирный хозяин, сапожник Корёга.

Он кряхтел и стучал деревянными колодками. На кухне квартирная хозяйка щепала лучину для самовара. Егор прилег на кровать, шаря налитую снами голову. В висок бил уверенный и грузный молоточек. Голова горела. А сердце тревожно колебалось, как лист на течении.

Гудки перестали кричать. На кухне загудел в самоварной трубе огонь. Егор втянул густой и жирный запах кожи. Кожей пахли стены, потолки, пахла его комната, кожаный запах был в одежде, в дыхании. Егор задумался о Корёге, встававшем с утренними гудками в собственном заводе, на кожаной табуретке, продавленной годами. Сон прошел. И нельзя было уже уснуть снова. Он сравнил себя с Корёгой. И он всю жизнь, где бы он ни был, где бы ни ночевал, когда бы ни ложился накануне, просыпался в шесть. Словно в шесть утра весь мир гудел гудками и будил спящих. Егор под стук молотка Корёги зажмурил глаза и увидел, как шадровитый Тулинов, подбоченясь, стоял у станка, прошел в котельную Просвирнин, оглядел мертвый станок Егора, остановился... Может быть, он побежит домой к Аннушке?

„Прогул... прогул",—подумал Егор и улыбнулся.

Табельщик отметит его: в бригаде неполная смена. Бригадир поведет рыжим усом. В получку ему недоплатят...

В окна опять забил, как ласточка крыльями, частый и широкий дождь.

Егор быстро спрыгнул с кровати и торопливо стал одеваться. Корёгу звали на кухню пить чай.

— Один гвоздок... один гвоздок забью!—выкрикнул Корёга.— Чичас! А то колодка выскочит.

— Ну, шишлюн старый! На базар пора мне иттить! Опосля заколотишь!

— Ка-а-к можно!

И Корёга сильно и уверенно загремел молотком.

Егор вышел задами через огороды на другую улицу, осмотрелся и заспешил к заставе. Он нахлобучил картуз и поднял воротник пальтишка. Дождь стрекал стальной крошкой по картузу и скатывался на грудь, впитывался в спину, мочил воротник.

Егор обогнул подальше коровинские мельницы. У мельниц уже стояли ломовики с возами под брезентом. Битюги переступали косматыми клёшами ног и встряхивали навстречу дождю

гривастыми головами. За белорижцами Егор вошел в кустарник, побежал к Чарыме, беспокойно щурясь на пустые чарымские луговины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Горбыль поднимался у Чарымы за кустарником, а на нем росла высокая, обглоданная весенними льдами сосна. Неподалеку от сосны стояла убитая молнией дуплистая береза. К березе с обеих сторон привалил кто-то на борта две старых дыроватых лодки. Егор заглянул под них, снял мокрый картуз, встряхнул, вытер руки о подкладку пиджака и, наклонившись, подлез под прикрытие. Под лодкой лежало умятое прелое сено. Егор растормошил сено, перевернул и, набрав в руку и сжав комком, заткнул дыру в днище. Дождь перестал капать. Егор прилег на сено. В жидком тумане будто где-то надымили валежные костры, вдалеке краснели заводские огни в верхних этажах, а из труб текли черные дымные реки. Под ними махали крыльями мельницы. Над городом подымались низкие дымки растопляемых печек. Клубами серой шерсти, стогами, ватными кипами запрудили небо облака и неслись и неслись над городом, над фабриками и заводами.

Егор слушал бивший о лодку дождь, глядел на заводы, на мельницы, на город, на убегавшие от него облака, и весь мир казался ему огромной, никогда не перестающей работать мастерской. И вот даже его сердце все стучало и стучало, не уставая работать, как Корёга стучал о колодку, как вертелись на заводах колеса машин, дымились и топились печки, потрескивали, как шел нужный земле дождь. Егор задумчиво разрывал травинку на тонкие, колечком свертывавшиеся волокна и разглядывал у самых глаз.

Аннушка подошла незаметно и юркнула под лодку, и он вздрогнул от неожиданности уже у ней на груди. Она прижалась к его губам, прикрыла его собой, схватила его за плечи и вдавила голову в сено долгим, могучим поцелуем. Оторвалась... вздохнула... и опять прижалась крепко и больно. Губы раздались, и белые зубы Аннушки раздавили губы Егора. Он тихо простонал и положил ее с собой. Охватив ее одной рукой за шею, другой рукою он, суетливо ища пуговицы, расстегнул мокрый сак Аннушки и откинул полу. Аннушка

изогнулась, сунула обе руки к нему под пальто и сжала за спину, не выпуская пересохших и горевших губ, вбирая их в рот, глотая его дыхание.

Под лодкой было почти темно, но Егор видел зовущие, стыдливые глаза Аннушки и дрожавшие легкой зыбью ресницы. Капал на днище лодки настойчивый и упорный дождь, пахло сеном, землей, гнилым деревом и размокшей смолой.

Они устали, ослабели... Руки Аннушки перестали сжимать... повисли. Свалились на холодную отсыревшую землю, как подрубленная, увялая ботва. Егор положил свою голову рядом с головой Аннушки. Волосы их переплелись и спутались. Аннушка потянулась, повернулась вдруг к Егору боком и зашептала:

— Егóра, я, кажись, затяжелела! Никогда так не было... Дитё от тебя будет...

Егор раскрыл сытые глаза и отвалился от Аннушки, как наевшийся ребенок от материнской груди. Аннушка уткнулась в его плечо.

Так они долго и молча лежали. Потом губы нашли друг друга снова. Егор целовал свежие холодные яблоки щек Аннушки и грел маленькие паливщие уши. Аннушка водила ресницами по его лицу и часто мигала.

Вдруг она приподнялась на локте, отстранила Егора, внимательно поглядела на него и звонко расхохоталась.

— Ха-ха!—смеялась Аннушка.—Ну, и фатера у нас! Ха-ха! Нашли местечко полюбовнички, нечего сказать! На юру... под зонтиком!..

Посмеялась и нахмурилась. Егор потянулся к ней. Аннушка уперлась руками в грудь Егора.

— Будет, Егóра! Побаловались—и будет. Хорошенького понемножку! Лодке, поди, стыдно глядеть на нас! Будто... в первый раз!..

Егор не послушался и стиснул Аннушку.

— Тебе что: ты мужья жена!

— Я с Ванькой сплю через пень в колоду. Постничаю... Право, Егóра! Он несолощий. Пьяный в стельку приходит каждую ночь. Не до того... У порога чурбаном свалится и спит. А ты... ненасыта, ненасыта... покойничек мой милой!

Аннушка прижалась к Егору, задумалась, задрожала вся, губы горько сморщились... Егор тревожно зашевелился и дрогнувшим голосом залепетал:

— Аннушка! Аннушка! Ты что?

И начал стирать с ее рук слезы.

— Мне... жа-а-лко тебя,—зашептала Аннушка, — думала... не увидимся. Ванька пришел тогда после пожара, спала я, сдернул одеяло... закричал... Реви не реви, потаскуха, кончил теперь Егорку... В сердце у меня как дёрнет... Будто когда на машине... вагоны дёргает. А я гляжу на него спросонья. Испугалась Ваньки. Первый раз испугалась по-настоящему.

Аннушка всхлипнула и обняла Егора за шею, не справляясь с бежавшими густо слезами.

— Ванька за волосы вцепился... и трясет. А у самого глаза выскочить хочут... За тебя... и за свою жизнь заплакала я. Ванька стащил с кровати голову так к себе к глазам самым... впился, как дьявол на картинке: узнать на душе всю подноготную хочет...

Аннушка передохнула и часто задышала на грудь Егору.

— Об Егорке плачешь? А самого трясет, как на морозе лошадь у кабака... мужики когда запьянствуют на весь день в деревне. Тут я... схитрила... вывернулась, замазала Ваньке буркала враньем...

Аннушка усмехнулась сквозь слезы.

— Засудят теперь тебя, поножовщик! За решетку захотел... Молодость свою гноить... в Сибири.

Аннушка остановилась и засмеялась. Засмеялся Егор, целуя ее в мокрые глаза.

— Ванька как отскочит... Будто шатнулся из стороны в сторону... Захрипел мехами-то. Полкомнаты враз проглотил. Да ка-а-к хлеснется мне в ноги... да ка-а-к заплачет!.. Гляжу я ему в спину, а спина широкая, будто комод, в грязи вся, пиджак горбом ходит... Едва унялся, чорт! Прощенья просил, тебя жалел, рассказал все, как было. Просидела я у окошечка до обеден. Будто заново прожила жизнь...

Аннушка замолчала.

— Ну, ну?—жаднел Егор.

— Што ну, ну? Тебе чего?—пошутила Аннушка и блеснула взглядом.—Тебе интерес опустя пору, а мне каково было, не знаешь? Немилой рядом... на постеле... а милой на тот свет ушел навсегда.

— Ушел и обратно пришел.

— Пришел-то пришел, да надолго ли?—тревожно сказала Аннушка.—Ох, я и смеюсь и плачу, и радость у меня внутри

как птичка поет. А где-то под сердцем, дальше дальшего, опасно, грозится будто кто-то, останавливает радость...

Над лодкой вдруг затрепали крылья, и закаркала ворона. Аннушка охнула. Егор поморщился.

— Слышишь, слышишь?—испуганно затвердила Аннушка.— Не к добру это! Как разговор подслушала! Откуда и взялась... А? Егóра! Я боюсь. Что-то будет?

Ворона пересела на убитую молнией березу и снова закричала жалобно и горько.

— Пустое! Вороны кричат перед дождем. И человека они чувствуют. Летела мимо... услышала—говорим—и закричала, дура!

— Так ли, Егóра?

— Потом... может, кто идет по лугу...

Они прислушались. Колотился о днище серый воробей-дождь. Егор осторожно высунулся из-под лодки, осмотрелся кругом. И тогда третий раз закричала в страхе ворона, поднялась с шумом с березы и кинулась через Чарыму.

— А, чорт!—выругался Егор и насмешливо упрекнул Аннушку.—Вороны испугалась. Просвирнина на цепочке водишь, а перед вороной в бегство.

Аннушка сидела молча. Она провела по волосам, пригладила их, повеселела. Она похлопала Егора по руке. Он задержал руку и прижался к ней щекой.

— Дальше... хорошее начинается,—заговорила Аннушка.— Сижу я так... плачу под платком. Разузнать о тебе охота, поглядеть на тебя. А боюсь встать с места. Ванька вскочил со сна. И ко мне. Спрашивает, как маленький, что делать? Хитрее хитрого будто кто подсказывает мне. Я Ваньку ругать. На завод не ходил, говорю. Все и узнают. Ванька вьюном...

Егор остановил Аннушку, заглянул ей в глаза и грустно сказал:

— Ты—хитрая. Ваньку обошла, а меня сразу позабыла насовсем?

Аннушка виновато покраснела и низко опустила голову. Она отворотилась от него и долго молчала. Трудно вздохнула потом и опять зашептала:

— Я... я... испугалась... баба я. Косточки у меня тонкие... не мужиковские. Ты не сердись, Егóра! Сызъянила перед тобой. Такая уж я слабенькая и нечистая на совесть.

Егор положил к ней на колени свою голову.

— Где же мне было: я робкая. Участь у меня такая непраськая, обидная.

Егор улыбнулся и поколотил шутливо пальцем по ноге Аннушки.

— Нет, право, не вру, Егóра. Ванька мой надоумился. Беги, говорит, узнай. И побелел весь... На что черный, а тут белее благородной барышни сделался. Я на улицу. Бабы—кто во что горазд. Кастят меня... заплевали всю. А мне бабьи слова, будто горох в стену. Не таковская я. Не вольна я в своем сердце. Не я первая, не я последняя в любви. Несут меня ноженьки, сами переставляются... в больницу... Пашка—сиделка знакомая—и шепнула мне—доктор, грит, ничего... до свадьбы заживет... Задирчиво так смеется: дотаскалась, стравила мужиков? Видно, сказала так, а самой жалко стало: видно, больно уж лицо у меня сморщилось. И пожалела: жив-де живехонек, не такие раны видывали, скачи себе кобылкой дóмой. Как сказала, будто разгладилось у меня сердце внутри. Иду домой, а улица-то, а небо-то, а слобода-то наша—ух, веселые, приветливые... Завеселел и Ванька...

Аннушка склонилась к Егору и закачала его голову на коленях, весело смеясь. Егор сел рядом с ней, обнял за спину и заговорил близко у лица:

— Аннушка, уходи от Просвирнина!..

Аннушка забилась в руках.

— Што ты, што ты! Кончит он и тебя... и меня... за один раз. Не говори, не говори, Егóра, не дело. Знаю я... не помирился ты с ним... Он опять распалился на тебя. Не кажись ты ему на глаза. Сиди больше дома. Сегодня я...

Аннушка поперхнулась словами, скосила на Егора лукавые, смеющиеся глаза.

— ...думала не ходить... а... сама пришла. А ну, как он узнает? А ну, как он застанет нас здесь под лодкой?

Аннушка испуганно вытянулась, жадно и напряженно вслушиваясь, как шел дождь, и Чарыма тихо плескалась о берег.

— Ты совсем стала напуганная... Это ты видишь? Для него ношу.

Егор вынул из пиджака темно-сизый браунинг.

Аннушка застранилась от револьвера.

— Убери! Убери! Не надо... не надо! Брось его, брось его!

Егор спрятал браунинг. Аннушка прильнула к нему горячая и нежная, покорная и гибкая.

— Мы любим, как воры. Зачем нам скрываться?—сказал Егор.

Аннушка целовала лицо, руки, шею Егора, и вместе с поцелуями приходило забытье, слова путались, горела голова, и густое горячее дыхание мешало думать. Они срослись в ласке, обвились руками-ветками и дрогнули...

Аннушка опомнилась первая, оторвала свои влажные губы и спрятала глаза под острыми ресницами.

Под лодкой посветлело.

— Пора, Егóра, пора. Ванька обедать придет. Я пойду. Сперва я. Ты посиди, покуда не войду в город. Не увидал бы кто!

— Когда придешь?—держал за руку Егор.

— Знак дам, не кличь меня, как пойду... Будто за нуждой заходила под лодку, ежели попадется кто навстречу. Не выглядывай зря!

Аннушка на ходу поцеловала Егора, встряхнула сак и выскользнула из-под лодки. Вдруг опрометью вернулась, обняла долгим упругим обручем рук, вздохнула на груди и умоляюще заглянула под ресницы.

— Егорушка! Стерегись Ваньки!

Она тихо сошла с горбыля, одергивая платье и скидывая с него прильнувшие травинки. Егор подполз к краю лодки и глядел на сполстившийся, облежалый сак Аннушки, на пестрое ушко полусапожка. Он провожал ее взглядом. Луга были пусты. Аннушка быстро и прямо шла к городу.

Егор выждал. Он ушел от лодки вглубь луговины, нашел на размытом берегу Чарымы гладкую темно-синюю плитку, круглую и маленькую, как олашка, помахал ею в руке, а потом сильно и твердо кинул. Камень свистнул и, скача, заскользил по легкой ряби Чарымы...

В полдень Просвирнин сидел за столом против Аннушки, молча ел и беспокойно оглядывал ее. Аннушка сторожко и незаметно ловила его взгляд.

— Што в рот воды набрал: ничего не говоришь?—сердито и насмешливо бросила Аннушка.—Дела не веселят? Али что сказать хочешь, да смелости не хватает?

Просвирнин покосился на нее.

Аннушка взмахнула острыми, как ножи, глазами на Просвирнина и обозленным голосом крикнула:

— Чего на меня сыщиком глядишь? Не вижу, думаешь, я? Какого нанюхался опять бабьего подолу, ревнивой чорт?

И от обиды Аннушки Просвирнин вдруг прояснел, смяк, радостно взглянул на нее.

— Не шуми, Анна,—задумавшись, сказал он.—Будто в ушах кто ковыряет от твоего крику. Я это так... с устатку. Давай хлебать по-хорошему!

Хитрый, как зверь, глаз Аннушки скользнул и упал в ложку, резнул ее обглоданные деревянные края.

С обеда закричал свисток. Аннушка провожала Просвирнина на работу и заботливо спрашивала на крыльце:

— Табак-то взял?

Просвирнин пошарил в кармане и кивнул головой. Аннушка защелкнула задвижку, встала у окна и, подбоченясь, смотрела долго и уныло, как катилось по улице, покачиваясь деревом на ветру, большое черное тело Просвирнина.

Ночью, лежа в кровати, Аннушка говорила ему вразумительно и тихо:

— Я как увидала—на базар ходила—обиды и твои и мои мне в лицо... На другую сторону от противного зазнайки перешла, не то что што... Пройти мимо из-за тебя тошно, а ты... Местечка из-за него во мне не осталось немятого...

Просвирнин виновато вздохнул.

И казалось Аннушке от тяжелых объятий Просвирнина—навалилась на нее широким и мокрым днищем лодка на горбыле, а на убитой молнией березе с запрокинутыми сухими сучьями к небу каркала ворона о чьих-то человечьих жалобах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Надуло с Чарымы серо-сизые облака, и в ночь они обвалились на землю белым заячьим пухом. Тут прихватило первую порошу ядреным утренником, и снег обжился. К заговенью рванули враз метели, навыли, нашипели, намели снегу, как на Рождество. На Введенье была оттепель. Шел густой, проливной дождь. Разбил он укатанные дороги в тяпушку, смыл с крыш без остатка белые башлыки, приземил печечный дым до застрехов, а небо заголубело, поднялось выше, будто весной. Трое суток шаталась погода, а на Федора Студита снова заледенело. Затянуло к утру небо грузными и брюхатыми облаками: будто нависли полати над землей. А с полатей потихоньку,

понемногу, с передышкой просыпалась сперва белая колкая крупа, застрекотала по крышам, по ледяной дорожной корочке, за крупой повалил самоходом, все расходясь и расходясь, мягкий, ужимистый снег. На другое утро выстрелил мачтой дым из трубы, и морозное рыжее солнце заблестело негреющим круглым окном. Зима обосновалась.

Тулинов ходил в баню со своим парнишкой. Мишутка бежал по морозцу впереди и нес узел с бельишком. Месяц рассветился на небе, будто серебряное солнце. На Кобылке была светлынь. Мишутка подпрыгивал на одной ножке, скакал в сугробы и с кряхтеньем вылезал на дорогу.

— Озорник!—унимал отец.—Начерпаешь в катаньки снегу: насмока будет. Перестань, говорю!

— Папка, прыгни разик,—не слушаясь, говорил Мишутка.— Кто дальше прыгнет?

— Я вот тебе прыгну по шарикам. Отстань вертеться сорокой!

Мишутка пошел смирно, оглядывался на отца, потом вытащил из-под мышки узел и стал его подкидывать над головой, весело крича и ловя на лету.

— Не набалуешься ты, заноза?—сердито окрикнул Тулинов, когда узел упал на дорогу, Мишутка поскользнулся и растянулся рядом.—Сломаешь еще ногу, балуючи. Ишь, месяц отчеканил снег-то, как рельсы... скользко.

Мишутка взвился с дороги, кинул еще раз-другой узелок и пошел вровень с отцом, натянув на уши глубокую шапку.

— Что, уши мерзнут?—забеспокоился отец.

— Щипает их.

— А ты побеги. Скоро дойдем. Мамка самовар наставила. Хватим чайку—холод и отойдет. Мамка кренделей купила.

— Сушки?

— Нет, витушек.

— Я витушек не люблю.

— Люблю—не люблю! Ешь, чего дают. В витушке, дурачок, больше сдобы, она мягкая, с телом... А сушка, как трава. Один звон на зубах. Ну, скачи, скачи, не отставай!

Завернули за полицейскую будку. Тут Мишутка, увидав городового в овчинном тулупе, сидевшего на тумбе и дымившего из стоячего воротника цыгаркой, зашептал отцу:

— Знаешь, папка, как мы летось этого городового с ребятишками обошли?

Тулинов оглянулся на городового, быстро шагнул вперед и наклонил ниже голову к Мишутке.

— Он на посту уснул днем. Мы с ребятами подкрались к нему, к самому... Гришка ремешки у шашки и перерезал. Ножик у Гришки вострый. Одним нажимом толстую ветку срезает. Мы шашку и уволокли. Ка-а-к Гришка резанул ремешки... городовой... он пошевелился, а проснуться и не подумал. Глядеть мы на него ходили без шашки. Близко-то боязно, мы издали. Стояли-стояли мы... городовой глядел-глядел, да ка-а-к побежит за нами... А мы... давай ходу. Гришка бежит, а через плечо на него повернулся и нос показывает. Догадался городовой. На другой день шашка у него была новенькая... Хорошо, не признал нас, а то было бы нам... Пожалуй, папка, за это и в тюрьму садят?

— Хорошим, хорошим делом бахвалишься,—сердито заговорил Тулинов.—Вот домой придем, как спущу тебе штаны да по распаренной заднице намозолю вицей! Разве мыслимо так безобразничать? От земли не видно, а поступки подстать большому хулигану.

— Так не я же, папка, а Гришка. Я за кампанию бегал. Я первый и убежал.

— Трус ты, значит, выходишь, а суешься. Догони вас тогда городовой, отца бы натаскали по участкам, дрянь! Не смей больше никогда с Гришкой ходить. Увижу, кожу спущу с хребта.

— А мамка знает. Она меня за подволоски натаскала.

— Так и следует. Мало еще за подволоски, волосы надо начистую выдергать, все волосья...

Мишутка замолчал и понурил голову. Тулинов мельком повел на него глазами, ухмыльнулся в бороду и покачал головой. Любопытствуя, стыдясь, обдумывая свои слова, Тулинов спросил:

— Куда шашку-то дели?

Мишутка обрадовался несердитому отцовскому голосу и залепетал весело:

— Шашка, папка, оказалась тупая: не рубит. Гришка наточил лучше своего ножичка. На Чарыме мы верстовые столбы рубили. Ка-а-к дашь, так в дерево и вопьется. Иступили всю. Кончик отломился. Видно, о гвоздь ненароком ударилась. Бабы шли мимо... Мы испугались, чтобы не увидели. В Чарыму далеко-далеко закинули. Потом ныряли, как бабы прошли, опускались в воду с ручками, не могли ошарить.

— Новое дело! На привязи тебя, баловника, придется держать дома. Кто тебе велел в Чарыме купаться, дьяволенок? Есть речушка Ельма, в ней и купайся. Насилу тут не потонешь, а то в Чарыме... И потом столбы рубить! Казенное добро портить! Скажи мне тогда, я бы тебя разуважил, озора!

— А я больше не буду, папка,—серьезно сказал Мишутка.

— Не надо, не надо, Мишенька! Баловство до добра не доведет. Большой вырастешь, стыдно будет.

— Тебе тоже было стыдно?

— Чего стыдно?

— А всего. Сам ты рассказывал, озоровал-то как маленькой в деревне. У лошади из хвоста волос-то на лёску дергал. И как лошадь-то лягалась. Зуб-то тебе на переду выкорчевала.

Тулинов засмеялся и шутливо поддал ему рукавицей ходу по шапке. Мишутка опять понесся бегом, высоко закидывая большие материны катаньки. Он остановился вдалеке и стал разглядывать месяц. Подошел отец.

— Папка, ты остановись,—попросил Мишутка.

— Это зачем такое? Новые выдумки!

Но остановился около Мишутки.

— Отчего мы идем—и месяц идет за нами. Нейдем—и месяц остановился. Отчего это, папка?

— Месяц по небу ходит безо всякой остановки. Будь у него ноги, как у человека, ты бы и увидал, как он все идет-идет-идет—и не останавливается. А теперь он круглый. И незаметно, как он идет, а будто стоит.

За углом, у кабака, заиграла гармонья, и кто-то на всю улицу вывел пронзительным и тонким голосом:

Здравствуй, ми-и-лая моя-я,
За пор-р-ог запнулся я-я-я!..

И много пьяных нескладных голосов подхватило:

За пор-рог запнулся я-я,
Да-а здравствуй, м-ми-лая моя-я!

Затопали ноги, хлопнулась стеклянная дверь со звоном, отскочила и еще раз хлопнулась, захрустел снег...

— Папка, это Просвирнин!—испуганно шепнул Мишутка.

Тулинов остановился, попятился назад и дрогнувшим голосом тоже шепнул:

— Нет, это Кукушкин!

Из-за угла вышла черная, пьяная просвирнинская артель и повернула посередь дороги. Сашка Кривой, шатаясь, широко разводил меха гармоньи, Кукушкин запевал, артель, шарашась вразброд, подхватывала.

— Папка, побежим!—дернул Мишутка отца.—Бить будут!

Тулинов опомнился, взял Мишутку за руку, оглянулся на пустую месячную улицу, помялся на месте и пошел навстречу. Его узнали. Просвирнин громко и довольно захохотал. Тулинов свернул в снег, съежился под шапкой, но ему заступили дорогу.

— Ночевали здорово!—запищал Клёнин.—Та-в-а-рищ Тулинов! В баньку ходил?

— Тащи его!—крикнул Кукушкин.

Сашка Кривой перестал играть, подпрыгнул к Тулинову и пнул его из-под гармоньи в живот. Тулинов выпустил руку Мишутки, протяжно ойкнул и упал в снег. Мишутка громко прокричал и с ревом кинулся к отцу. Его отшвырнули. Тулинова сдернули со снега, поставили на ноги и трепали по дороге, кидая от кулака на кулак, отшибая застраняющие руки, валились от пустых размахов в снег, трудно вставали и ныряли снова в черную кашу тел головами вперед. Били молча, только взыгрывала на задеваемых ладах гармонья Сашки Кривого, стонал Тулинов, и звал на помощь жалобный, тоненький, отчаянный голосок Мишутки. Мишутка кружил с узелком под мышкой вокруг драки, совался под ногами, просовывал руку в кучу, хватал отца и тянул к себе.

Вышли за ворота и калитки бабы, мужики, но не смели подойти, шумели между собой, кричали... Из кабака ковыляли пьяные, лезли в драку, размахивали руками, падали в снег, сшибаемые локтями и ударами наотмашь. У дальней полицейской будки суетился городовой, скидывал тулуп на руки какой-то бабе. Поддерживая колотившую по ногам шашку, он бежал по дороге и резко свистел...

Сашка Кривой вдруг развел гармонью и заиграл „Дунайские волны“. Артель пошла... И напоследок Просвирнин, выскочив, ударил Тулинова по голове сверху.

Кровь полилась по виску, по волосам. Мишутка размазал ее на отцовской щеке, вымазал свой нос. Люд подбежал от ворот и калиток, прикладывали к голове снег, размахивали руками, всхлипывали...

— Кровь, кровь унять надо!—звонко звенели бабьи суматошные голоса.—Ой, ой, изойдет кровью!

Артель раздалась надвое, пропуская городового. Тот было остановился. Но артель обошла его, соединила свои крылья и двинулась дальше.

Городовой растолкал голосивших баб и важно заговорил:

— Кто-о? Что-о? Кого?

Мишутка, показывая на плевавшего багровой слюной отца, горько и возмущенно кричал:

— Это Просвирнин! Это Просвирнин! Он ударил кистенем!

Тулинов поднялся с дороги. Слабо и устало он сказал сыну:

— Погоди, Мишутка, не вопи. Подь-ко, дай сюда узелок.

Бабы поддержали на весу узелок и помогли его развязать. Тулинов сунул Мишутке развалившееся бельишко, скомкал в руке платок и зажал пробой на голове.

— Матушки! Чавкает!—охнула баба.—Девоньки, чавкает!..

— Кто такой будешь?!—допрашивал городовой.—Из-за чего драка вышла? К чему тутотка мальчонка? Кому в свидетели иттить? В участок надоть для протоколу. Кто што скажет? Айдате в участок!

Тулинов положил одну руку Мишутке на голову, а другую держал на алевшем платке. Он недовольно посмотрел на городового.

— Какой там участок? Без протоколов обойдемся!

— Без протоколов!—зашумел люд.

— Не первый раз головы ломают!

— Не железная, не заржавеет голова, зарастет пуще прежнего.

Пьяный рабочий влез в толпу и задыбал, заикаясь, перед городовым.

— Ты... ты... разбойнику дорогу... открыл. А... а... на-а-с в участок!

Люд весело и довольно загоготал.

— Квартира у меня рядком,—проговорил Тулинов бабам,—живо дойдем. Мишутка, ходи ножками. Самовар, поди, убежал.

Городовой схватил пьяного за грудь и тряс его. А тот, не стоя на ногах, валился на него и клюкал носом в плечо городовому.

Тулинов с Мишуткой пошли. За ними начал расходиться люд. Двери кабака звенели стеклами, отскакивали, щелкались, впуская и выпуская народ. Городовой громко, бесясь, вопил:

— По какому праву пьян? По какому праву приставанье делаешь?

Городовой свистел в свисток, будто сыпали мелкую щебенку через железную решетку, просеивали, мельчили на ухабистую дорогу—и раскатистый треск и свист кружились в жадной и гулкой поморозне Кобылки.

Мишутка, давясь всхлипываньями, жальчиво спрашивал:

— Папка, тебе больно?

Отец, зажимая зубы, дыша носом, выравнивая голос, отвечал:

— Не больно, Мишутка, не больно! Большой вот вырастешь, отплатишь за батьку!

Мишутка горько плакал.

— Отплачу... Как еще отплачу! Я из ружья выпалю!

— Пали, пали, Мишутка, не давай себя в обиду.

Месяц огибал верными дорогами ночное небо, закрывал звезды, просвечивал серебряной струей канву легчайших облаков и шел за Мишуткой без остановки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С полдня пришел на работу Тулинов с перевязанной белой головой. Мастерские заформотали. Рабочие глядели в пол и думали о белой голове Тулинова.

— Отыгрывается! До челяди добрался!

— Уговор, ребята, дороже денег!

— Случай бы только!

— Случая ждать—три года прождешь!

Во весь остальной день не спорилась работа, будто вхолостую шавкали передачи, был только шум в ушах и надсмехающийся скрежет колес, колесенков, железа, чугуна, пыльного дерева.

Просвирнин, лениво неся свое тело, скучая, прошарашился в паровозосборный цех с мастером. Мастер шел бочком, сбочку трусливо мигал на лохмача глазками и торопился за ним. Токаря угрюмо глядели исподлобья. Старый Кубышкин плюнул и растер ногой. Сережка тихонько просмеялся.

— Забрало, старина?

— Заберет тут!—буркнул Кубышкин.—Э-эх ты, ходовая!

Кубышкин сосредоточенно заработал, потом скоро придержал станок и опять плюнул, отшвыривая ногой упавший кусок железа.

Обратно прошел Просвирнин, забирая ближе к станкам, насмешливо поглядывая на молчавших и отвернувшихся токарей. Он увидел белую голову Тулинова, покривил щекой и вызывающе крякнул. Никто не отозвался ни взглядом, ни словом. Токаря затаились, будто вбежал в мастерскую зверь.

А после гудка молча и согласно пошли за Просвирниным, толкались о него в проходной будке, шарили любопытными и жадными глазами его спину, черную кужлявую папаху с продранной макушкой, высокие, кожей подбитые валенки.

По полянке с тусклыми коптилками немногих фонарей вливались в мастерские и выливались из мастерских две черных изогнутых ползущих дороги. К ним подбегали со сторон черные людские тропки, а между тропками, как редкие кустики, шли рабочие в одиночку, ныряя в снегу.

Токаря наступали на задники Просвирнину. Сашка Кривой отстал и беспокойно шнырял глазом назад, наводя его на токарей, как на прицельную мушку, и нацеливаясь белком. Кукушкин и Клёнин торопливо обогнали токарей. И как хромал мимо Клёнин, Сережка весело закричал:

— Рупь пять! Рупь пять! Рупь семь гривен! Рупь семь гривен!

Клёнин сбился с шага, скожурился в пиджаке, запнулся, удерживаясь на хромоножке, неловко замотал руками. Позади громко и густо захохотали.

Сережка завопил:

— Рупь двадцать! Рупь двадцать!

Тогда Просвирнин оглянулся. К нему подскочил Сашка Кривой, Кукушкин и Клёнин, сразу повернулись лицом—и загородили дорогу.

Токаря надвинулись... Старый Кубышкин внезапно взвизгнул, выругался, сшиб с Клёнина вязаную шапчонку, вцепился в волоса, свалил Клёнина и, беспрерывно визжа, сел ему на спину, тыча носом в снег и шаркая его по снегу лицом. Сашка Кривой затопался, завертелся на месте. Кукушкин прыгнул на Тулинова и дёрнул его за повязку. Разматывалась белая марля, а Сережка рвал губы Кукушкина острыми крючьями пальцев, а на спине у него висел Анс Кенинь, с размаху швыряя кулаком по бокам. Сашка Кривой осел с испуга, кружил по дороге, кричал и бестолку грозился. Мясников подскочил к нему,

легко и стремительно ударил по кривому глазу, валя на дорогу. Тут Просвирнин вырвал одним рывком Кукушкина и пнул Сережку тяжелой гирей кожаной обсоюзки катанька в подчеревок. Руки у Сережки впились в живот, он присел и закатался воющей собачонкой под ногами. Просвирнин грузно и тяжко заработал котелками кулаков, сминая под собою головы, руки, плечи, будто меся черное мохнатое тесто из человечьих тел. Тогда Егор полез за пазуху, вырвал из-за пазухи револьвер и выстрелил. Все мгновенно отпрянули с дороги, замерли, только выл Сережка, и хрипел Сашка Кривой, перемогаясь под Мясниковым. Егор выстрелил второй раз.

Первым побежал Кукушкин. Просвирнин схватил на дороге свою папаху и понёсся за Кукушкиным, громыхая катаньками. Бах-бах-бах—стрелял Егор, гонясь за ними. И вместе побежали крики, рев, гвалт... Токаря кинулись вдогонку, оставив на дороге стонавшего Сережку. Старый Кубышкин трусил вслед и визжал—визжал отчаянно, падал, вставал, захлебывался усталостью. Сашка Кривой убегал в сторону, проваливаясь в снег, и слышно было, как о штаны хлесталась и терлась кожаная куртка. Клёнин вылез из сугроба к Сережке с разодранным в красные червяки лицом и пнул его здоровой ногой. Сережка взвизгнул, поймал ногу, ухватился за нее, дёрнул, свалил его и, яростно хрипя, сдавил горло. Клёнин вывертывался и кусал ему руки. Обессилев, ругаясь, они сели на дороге, тяжело дыша и жалко отплевывая окровавленную слюну. К ним подходили отовсюду рабочие, окружая темной навалившейся грудкой Поднимали—и отряхивали снег.

Просвирнин с Кукушкиным пробежали заставу и через старое пожарище свернули в огороды.

Перезаряжая на бегу кассету, Егор замедлил бег. Просвирнин с Кукушкиным уходили. Тулинов, держа растрепанные на голове клочья марли, наддал, оббежал Просвирнина, схватил его за подсилки, рванул и уронил на себя. Просвирнин вырвался, оттряхнув Тулинова, вскочил, но тут добежал Егор и вплотную выстрелил.

Просвирнин закричал долгим плачем, упал на колени, скорчился, обвил свою шею крепко рукой и захрипел:

— Егорка! Чорт! Не тр-р-онь!

Егор, дрожа, прикусывая себе губы, близко у лица качнул револьвером, изогнулся весь, сдавил протянутую к нему руку Просвирнина и выстрелил в грудь. Просвирнин ткнулся носом в снег.

— И Кукушкина... и Кукушкина!—кричал Тулинов.—Он в сарай забежал. Дай мне револьвер!

Тулинов вырвал у Егора револьвер. Набежали с криком токаря, окружили лежавшего Просвирнина, оглянулись к дальним фонарям на поляне и замолчали, прислушиваясь, как хрипел и свистел носом Просвирнин, глядя, как содрогались ноги, и сводило их медленными рывками.

— Выходи!—кричал Тулинов.—Выходи, говорят!

И заглядывал в распахнутые настежь обгорелые ворота сарая без крыши. Потом злобно и вполголоса прошипел:

— А-а-а! В уголок забрался!

И раз и другой пальнул из ворот в серую неясную полутемноту. Кукушкин крикнул—и смолк. Старый Кубышкин опомнился и тревожно проговорил:

— Будет ужо палять! Народ взбаламутим. Нишкни, ребята, теперь!

Кубышкин кинулся к Тулинову, выхватил у него револьвер и полез в сарай. Тулинов зажал голову руками и опустился у ворот на снег.

— Где ты тут, сукин сын?—послышался спокойный и ровный голос Кубышкина,—Откуковала кукушечка?

Вдруг все вздрогнули и поморщились. Громко и жалобно зарыдал Кукушкин в сарае.

— Дедушка! Дедка! Не тронь, пожалей!

И вслед сказал ласково Кубышкин:

— Дурень, да нешто убивать тебя лезу! Выходи, ежели жив, на народ! Показывайся! Кончили драку. Одного устосали— и хватит. Не реви дуром! А то застрелю на самом деле.

Кукушкин робко выходил из сарая с повисшей, чужой рукой, сторонясь сидевшего на проходе Тулинова. Токаря безмолвно уставились на остановившегося неподалеку Кукушкина.

— В руку тебя?—спрашивал Кубышкин.—Так тебя и надо, негодяя. Жалко, што в башку не попало. Атаман-то, вишь, лежит-поляживает, в аду ему черти уголья разгребают. В свидетели теперь пойдешь: доказывать на нас, стерва!

Токаря задвигались, обступили Кукушкина, будто боясь выпустить. Тулинов часто задышал за спиной у него.

— Ну, что молчишь?—крикнул Егор.

— Говори!—хрипнул Тулинов.

— Будет оплошка!—сказал равнодушно Анс Кенинь и крепко взял Кукушкина за руку.

— Так, как, ребята, решаете?—спросил Кубышкин.—Один ответ теперича гуртом, а не в розницу.

Токаря теснее сжались около Кукушкина. Тот вдруг снова захныкал:

— Не буду, не буду, товарищи! Убейте, не выдам!

Токаря подумали, переглянулись. Анс Кенинь выпустил руку.

— Мотри, Кукушка лешева!—угрожающе пододвинулся Кубышкин,—слова держись! В могиле достанем. Дело не шуточное: Сибирью пахнет. Смекнул?

И Кубышкин постучал кокотышками по голове Кукушкина. Тот послушно замотал головой. Еще раз все подошли к Просвирнину, прислушались, перевернули его на спину, склонились к нему. Большие, как две стеклянных пробки, глядели раскрытые мертвые глаза.

— Вот и дождался Ванька!—проговорил Кубышкин со слезами в голосе.—Вот и достукался! А чево бы не жить, дьяволу, по-людски? Попаданье хорошее вышло.

— С двух раз,—сказал Егор.

— Гляди, Кукушка, и твоя копеечка не щербата. Рядом нарошно лежать не пришлось. Обмозговывай себе на ус, хлебаючи. Может, себе на шею не застрелили! А? Как говоришь?

Кукушкин серьезно и твердо ответил:

— Один раз поверь, дедко!

— Ну, то-то! Так хорошо. По-товарищески.

Кубышкин погладил Кукушкина по спине.

— Ребята, таскать будут сильно... Бери наизготовку: видом не видал, слыхом не слыхал. Расходись теперь, кто куда... на вынос...

Токаря стали расходиться. Кубышкин наклонился к уху Егора и зашептал:

— Пистолет-то я упрячу. Штука денег стоит. Тебе нынче не приходится показывать ножа перочинного.

Кукушкин, прижимая простреленную руку к груди, пошел с Кубышкиным. Старик бодро шагал по крепкой снежной дороге, покашливал и тряс бородой. Кукушкин чувствовал, как в рукав сочилась кровь, и рубаха прилипала к садевшей и нывшей в руке дырке.

— Придешь домой,—учил старик,—рубаху долой, на рану ковш воды, самого холоднячку: штобы зажало ямку-то, и ржа от пули вышла, ниточки там от рубахи смыло. Тополевой примочки хорошо в рот-то открытой, в устье приложить. Есть

примочка в хозяйстве? Нет. Можно и без примочки. Лаком еще заливают. Лак есть? Есть лак, лаком и залей. Дома-то, кто посмекалистее, чистой новиной туго-натуго, до-отказу пускай руку завязывают. От натяжки мясо к мясу прилипнет и, глядишь, срастется лучше прежнего. Не хулигань потом. Жизнь на волоске удержалась. Ты што, ты пристяжной, а вместе с коренником плеть и по тебе угадала. Да мало, да мало! Гляди, о зароке не забудь. Ваньке туда и дорога. Об нем там давно скуку имели. Сволота был покойник, царство небесное. Стынет вот теперь на морозе. Собаки нос отгрызут. Не жалко нисколько. Ребята бы не ответили! Ты крепко, смотри, держись. Баб пуще всего остерегайся. Пристанет серой, а ты молчи. Стой на одной ноге, как Симеон Столпник полгода в столбе на одной ноге стоял. Бабий язык как флаг на ветру качается, вредит делу хуже вереда. Сашку Кривого повидай. Заткни ему остальной-то глаз. Клёнину скажи—мало ему, мостолыге, ребра проверены, молчок-де—другую ногу сломаем. Он червяком изовьется—и смолчит, подлый человек. Всем своим скажи. Наших ребят ни в какую не проведешь! Конец слободе маяться. А ты сам опосля радоваться не перестанешь. И от сего дня первый товарищ. Нутро-то у тебя, Кукушка, не все пропито?

Кукушкин пересилил боль и шум в ушах, покривил лицо усмешкой и тихо простонал:

— Есть еще маленько...

— Нам много и не надо: будет и маленько. Где уж много ожидать от такой паскудной жизни!

Кубышкин дошел до своей квартиры на Зеленом Лугу и остановился.

— Отворачивай оглобли,—живо и улыбаясь проговорил старик,—не забывай, Кукушка, обещаново! Утречком вся каша заварится. Раньше Ваньку найдут, может, ночью. Нет, ночью отдых свой бережет полиция. Не сплохуешь? Ну, в добрый час! С войны не с войны, а рука на привязи! Задавай топтуна!

Кубышкин зашаркал в калитку. Взялся за кольцо, обернулся к уходившему Кукушкину и закричал вдогонку:

— Лаком залей густо-нагусто. И пе-ре-тя-ни!

Кукушкин остался один. Он шел все тише и тише, перемогаясь, посовываясь на бугорках. Снег скрипел под ногами как-то по-новому резко, больно, и каждый скрипок отдавался в ране. Так бывало прежде дома, когда мать на кухне точила

ножик о ножик, и лязг царапался внутри, хотелось не слышать лязгающих зубами ножей. Вместе с болью будто перешел дорогу Просвирнин и помешал итти. В голове закувыркалось, зазвенело, разбилось, будто он свалился головой, животом, руками в каменистый бочаг, в желтые пенки взмученной воды. Потом дно оттолкнуло, поддавая в пятки, и голова проломила упругую звонкую крышку воды, вода кисло залила нос, горло и слепила глаза.

Кукушкин привалился к перильцам, приткнулся губами к ним и жадно слизал тонкую плёнку снега. На перильцах осталась оттаявшая черная вымоинка, как дубовый листок. По улице шел люд взад и вперед. Люд с опаской сворачивал с тротуара и осуждающе прищуривал глаза.

Шли бабы, остановились и насмешливо заговорили:

— Что, родименький, неможется?

— Мать моя, назюзюкался-то как! Гляди-гляди, губищами-то снег огребает, что те лопатой!

— Не нашел, пьяная харя, места почище?

— Эй, парень, язык занозишь!

Бабы прошли, весело названивая голосами. От снега в голове посветлело. Придерживаясь за перила, охраняя болевшую руку, Кукушкин поплелся. Он добрел до Аннушки. Постучал в окно. В окне заколебался прыгающий ламповый свет. Аннушка не торопясь сняла со стены лампу, вышла в сени и, загораживая ладонью огонь от ветра, отворила дверь. Отворила и сморщила брови.

— Нет его, не пришел. Чего надо? Где разошлись? Спозаранку за пьянку?

И потянула закрыть дверь. Кукушкин заторопился...

— Аннушка, Ваньку... пристрелили!

Аннушка вскрикнула. Лампа закачалась, закланялась в руке.

— На всполье... На пожарище... Мне руку насквозь... Сказать зашел о Ваньке...

Зазвенело в голове, будто сбросили с высоты стеклянную посуду. Одну и другую. Он опустился на ступеньку.

Скоро Аннушка выбежала из дверей, завязывая на бегу платок, задела его по лицу, не заметив, шубенкой—и кинулась по улице. Отовсюду бежали бабы, ребятенки, рабочие.

На пожарище уже толокся люд. Аннушке дали дорогу. Горел на снегу маленький ручной фонарь и багрово светил на лежавшее тело. Лицо Просвирнина было закрыто папахой.

У изголовья, на широком березовом полене стояком, с шашкой между разошедшихся ног, сидел городовой. Аннушка всхлипнула. Колени пригнулись. Она сняла папаху с лица — и зарыдала. Городовой пошевелился, поднял папаху, закрыл снова лицо и недовольно сказал:

— Не приказано трогать покойника. Как есть, так и должно быть. Плачь, плачь, а рукам воли не давай!..

Люд сердито и возмущенно загудел, зазвенели колокола и шиpкунцы бабьих голосов.

— Нам што, — оправдывался городовой, — мы по службе поступаем.

Аннушку отвели к сараю и посадили у ворот. Оставили одну. Люд расступился в стороны, чтобы видно было покойника. Аннушка прижала голову к коленям, дрожала от тихого плача и тихо укоризненно шептала:

— Ой, Егóра! Ой, Егóра!

ГОЛУБОЙ ДОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дом был голубой, с мезонином. Дед любил все голубое. Завещал подкрашивать. И подкрашивали. В доме было тринадцать комнат. Бабушка приказала в боковушке сделать перегородку: стало четырнадцать комнат. Кормилец с тех пор не плакал в трубе. Внучка в „описи прибылых и убылых вещей“ называла боковушку „комнатой двенадцать А“; она сомневалась в существовании чорта, но число тринадцать признавала опасным.

В коридоре лежала, раскарячась, широкая, как фургон для перевозки вещей, печь. На старинных кафлях лиловыми, зелеными и голубыми красками были изображены зайцы, собаки, птицы, женщины и мужчины. На кафлях с мужчинами написано было под глазурью: „кто мя исхотит“, „хочу ее поуняти“, а на кафлях с женщинами другие надписи: „всегда мне покорен“, „сие мне угодно есть“; зверюги были оставлены без надписей, кроме птицы, под которой значилось: „нос свой очищает“.

Дед за два дня до смерти прожег набрюшник у печки. Сорок зим он просидел без приключений у печки—тут приключилось, и его позвали на тот свет без промедления и задержки.

Из коридора в мезонин штопорилась желтая лесенка—пробегала кошка, можно было по скрипу сосчитать, сколько в лесенке ступеней. У входа на лесенку стояли, как два часовых, две деревянных колонки. За печкой, под паучьей вуалью, постаивали дедовские часы Ивана Логинова 1792 года, с маятником вроде донышка от небольшого боченка. А к часам громоздились кованые сундуки-головники, комоды красного дерева, шкафы, брюхатые шифоньеры. Тут, будто терраса с отвалившимися по переду перильцами, лежал диван с обмятым сиденьем: дедушкин зад был и широк и грузен.

Когда дед был молодым, до женитьбы, принимал на этом диване женщин. Раздевался он до-нага и шубу надевал на нагое тело, укладывался на диван и притворялся больным. А потом схватывал женщин, клал с собой и запахивал шубой...

Часы уже не ходили лет сто. В кузове часов прятались дети, когда играли в прятки. Но еще удобнее было прятаться в шкафу, будто в крытом крыльце, под висячими на коромыслах дедушкиными сюртуками и под бабушкиными платьями-колоколами. Дети залезали туда, прикрывали дверцы и ждали, пока кто-нибудь по надобности не откроет шкафа. Тогда они рычали и хватали открывальщика за ноги, ноги дрожали, а хозяин ног вскрикивал от испуга, совал в темную шкафную пасть руку, вытаскивая проказника на свет.

В тринадцати комнатах густо стояла мебель: толстый человек задевал то за павловское кресло, то за николаевский диван. Как убирали комнаты, таскали и волочили по полу деревянных стариков, будто пароход грузился у пристани, и по подмостям матросы катили бочки, везли тачки с мешками, сваливая их в грохочущее пароходное пузо.

В кабинете у дедушки по стенам были шкафы с книгами. За прозеленевшими от пожилого возраста стеклами, прижавшись друг к другу, в тисненых переплетах, как лакеи в золотых ливреях, а по-бабушкину, как в иконостасе, стояли книги второе столетие. Из кабинета, с цветными стеклянными шлемами на голове, в перемычках, выходила на террасу о двух полах дверь. Через цветные шлемы, уходя на ночовку, солнце ложилось на паркет цветным одеялом. На дедушкином столе против двери белело чучело зайца. Дедушка любил зайцев и разводил их до самой кончины. Похоронить дедушку не успели, пришла заячья смерть: на поминках зайцев съели, только чучело оставили на своем месте. Потом из тринадцати комнат, из коридоров, из передних, из-под кресел, из-под диванов, из-под плинтусов вымели мешок мохнатых заячьих орешков и в саду прогорошили гряды для удобрения. Потом долго проветривали комнаты, не глядя на погоду, кутались в платки, надевали шубы от холода, маялись флюсами, а терпели, выводя заячий дух.

За домом дедушка разбил десятину под сад. Насадил в середине кружало из тринадцати лиственниц и каждой лиственнице дал женское имя: Марья, Агафья, Алевтина, Аграфена, Роза, Чеслава, Амалия, Тамара, Сара, Мэри, Псиша, Мадлэн и Королек.

Как пополнели лиственницы, от посадки лет через пятьдесят, дедушка в круглых мраморных медальонах развесил на лиственницах золотые имена своих любовниц. Бабушка никогда не всходила на кружало, а дед любил там качаться в гамаке.

За кружалом, на островку, в темно-зеленом ошейнике водяных лилий белела колонная беседка-ротонда. Росли тут густо, непроходимо сирени, как рожь растет. На островок был радугой перекинут мостик, а под него подплывала, гуляя, белая лодка „Лебедь“.

По высокому забору, как щучьи зубы, торчали гвозди. Раз забрались в сад воры, дедушка спустил собак, воры побежали, полезли на забор, один вор от торопки повис на шулятиках. Дедушка принес вора в дом на руках. Долго лечил рваное место травами, пока не затянуло рану розовой лапкой, пока вор в окно не выскочил и не убежал с дедушкиным халатом. Забор выходил на пустырь, на проезжую дорогу. Дедушка любил забавляться невинными забавами. Приказал он в заборе навертеть дырок, подолгу дежурил у дырок и проходящую публику поливал из диделевых чиркалок водой.

Дом деревянным своим гербом, от которого осталась одна львиная лапа, ёрзавшая на гвоздике и скрипевшая в ветреную погоду по опушке, выходил на бульвар против Зеленого Луга. Там, за опущенными шторами, за фикусами, за столетниками, за чайными розами, за лаврами, за лилиями, за пальмами, наскучив менять мужей, привередничая от женских болезней, желтая и серая, как запыленная охра на заборе у дороги, жила Александра Александровна Брянчанинова с замужней дочкой Людой, с женатым сыном Анатолием, а при них—невестка Галина, зять Вольдемар Пуговкин; в мезонине жил жилец—учитель Тур, на кухне Аграфена да Пелагея, под ногами собака Карушка и кот Василий Васильевич.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сегодня с утра Александра Александровна терла себе виски, нюхала нашатырный спирт и щупала пульс, ожидая паралича сердца. Лечась от полноты, она накануне покушала лимон и потом запила его молоком. К полдню Александра Александровна расхворалась. Она сидела долго и настойчиво в некоем

укромном месте, испуская оттуда подавленные стыдливо стоны. Она сидела, а другие бегали в сад, за сирени. На кухне Пелагея с Аграфеной передразнивали Александру Александровну и кряхтели, заливаясь веселейшим смешком.

Люда с рюмкой подошла к маленькой дверце и осторожно поскреблась ноготочками:

— Мамочка, иноземцевых капель!

Александра Ачександровна сняла крючок и зашептала в щелку:

— Как ты кричишь, мой друг! Тише! Ах, Люда, я так страдаю!

Она просунула два пальца в щелку, и рюмка исчезла за дверью. Люда ждала. Скоро пустая рюмка просунулась обратно, и в щелку опять зашептал испуганный голос:

— Очень крепко... Не слишком ли много ты накапала, мой друг?

— Нет, мамочка, нет.

— Не стало бы крепить меня?

Дверь защелкнулась крючком. Люда подходила несколько раз, прислушиваясь к мамочкиным стонам. Потом подошла Аграфена, застучала в дверь кулаком и закричала:

— Барыня, мужик дров навалиает! Будешь, што ль, брать?

— Ах!—стонала за дверью больная.—Дура набитая! Отойди!

— Дрова нужны, чего отойди! Последнюю ношу принесла из дровенника.

— Боже мой! Скажи Людочке, ты не понимаешь, я занята...

Аграфена отошла с ухмылкой в глазах, недовольно бормоча:

— Тоже, занятие подумаешь, в нужнике сидеть!

Вечером болезнь надула живот у Александры Александровны, он распух, отвердел, как большой барабан в оркестре. На живот клали бутылки с горячей водой, завернутые в ручные салфетки, разглаживали живот беленным маслом, затягивали в набрюшник, закутывали и подтыкали одеяло со всех сторон. На ночь поставили у кровати дубовое дедушкино судно, с грохотом волоча его из сеней. Ночью Александра Александровна бредила, часто звонила в колокольчик, вызывала Пелагею и умоляющими глазками глядела на нее.

— Пелагеюшка, ты не сердись на меня! Мне страшно одной. Всякие приходят несуразные мысли в голову. Даже пот пробивает. Ты сядь на стул—вон туда в уголок, подальше от кровати—от тебя пахнет кухней. Я не могу выносить кухонного запаха—меня мутит.

— Мне спать надо,—бурчала Пелагея.

— Я знаю, Пелагеюшка, но как же я?

— А мне какое дело? Я не железная. День работай—и ночь не спи. Мне это, барыня, не по карактеру. Я баба сырая. Я сама могу захворать от непросыпу.

— Ой, ой, Пелагеюшка, матушка! Ой, потри у пупка! Ой, клещами схватило! Тащит! Тащит!

Александра Александровна загромыхалась на кровати, перебирая пальцы запотевших рук.

Пелагея обрушилась коленками на пол, сунула шершавую руку под одеяло, нащупала пупок и начала винтить около пупка, разгорелась от работы, взмокла, ладонь запалило огнем и всю руку. Александра Александровна зажмурила глаза и вся вытягивалась. Пелагея работала, как на кухне, серьезно, основательно, важно, сбила одеяло, простыню, колебала кровать...

Александра Александровна уже недовольно говорила:

— Пелагеюшка, дует: закрой одеялом. Потише, потише, ты раздавишь мне живот!

— Чево животу сделается? Живот растягивается будто резина. Кровь надо разогнать по кишкам—легче будет.

— Спасибо, спасибо, Пелагеюшка, достаточно, не тряси больше меня.

Пелагея поднялась с колен, вытерла руку о простыню и, зевая, молча остановилась у кровати. Александра Александровна взглядывала на Пелагею из-под ресниц и удовлетворенно журчала:

— Ты сядь, немножко посиди, Пелагеюшка!

— Спать надо, не сидеть,—сердилась Пелагея.—Вон они, петухи-то орут!

— А тебе очень хочется спать?

— На то и ночь дана, штобы спать. Кому ночью спать не охота?

— Я не могу спать. Я не хочу.

— Захоти—и уснешь. Зажмурь так глаза, будто от солнышка, крепко-накрепко и считай—раз баран, два баран. Сотни две насчитаешь баранов—беспременно слюнка из роту вытекёт—и позабудешься.

— Я попробую, Пелагеюшка, я попробую.

— Благодарить будешь, барыня, средство это верное.

— Хорошо бы. Я тебе сделаю, Пелагеюшка, подарок. Ты не оставляешь меня больную.

— Покорно благодарю, барыня, не позабудь только, как утречком очкнешься!

— Ну, может быть, не завтра, а как-нибудь к случаю... Я очень ценю твою любовь ко мне... Все спят. Весь дом молчит. Одной так жутко. А ты—со мной...

— А-а-а!—зевала Пелагея.

Александра Александровна тревожно слушала зевоту. Пелагея, отзевав, маялась на одном месте, одергивала на себе рубаху, чесала зад и говорила:

— Я на кухню пойду, барыня? Что в самом деле—я не нанималась сидеть ночами! За матерью у нас в деревне дочь первая ухаживальщица. Людмила Григорьевна ночку может и без свово супруга обойтиться, поухаживать за мамашей. Ваш хлеб-то уплетают за обе щеки—за ушами пищит!

Александра Александровна строго прервала Пелагею:

— Убирайся к себе на кухню, раз не хочешь быть в комнатах. Разбуди и пошли ко мне Людочку. Осторожно, смотри, разбуди! Не взбаламуть весь дом!

Пелагея весело юркнула из спальни и зашлепала босыми ногами по коридору. В тишине гулко запрыгал стук по дому, кашлянули половицы, прошуршали обои, и будто кто-то за обоями пошарил невидимой рукой. Александра Александровна поморщилась и пошептала что-то корочками губ. Люда быстро набрасывала на себя капот в темноте. Муж шептал:

— Людок, у тещи опять поносная смерть?

Люда отшептывала:

— Володька, это свинство! Пелагея может услышать. Мамочка действительно страдает.

— Поэтому будить людей надо?

— Ты не будись—тебя она не зовет.

— Этого бы еще не доставало!

Пелагея лезла за Аграфену на кровать и зло бормотала:

— Окаянная сила! Мужика бы тебе для разглузки! Не дрыхнется! Обожралась—и прёт из нутра.

Александра Александровна радостно манила рукой входящую дочь, тянула к себе и целовала в лоб.

— Людочка! Вольдемар не проснулся?

— Нет, мамочка, он спит, как медведь зимой.

— Какой завидный сон! А я в тревоге. Мне смертельно страшно. Пелагея нагрубила мне: ей сон дороже человеческих страданий! Бесчувственное животное! Ты одна у меня, Людочка!

Ты не посетуешь на свою старенькую маму! Побудь со мной, пока я не усну.

— Хорошо, мамочка, я побуду, я с удовольствием. Может быть, тебе надо что-нибудь сделать?

— Нет, ничего. Ты сядь на коврик рядом. Помолчим. Мне говорить тяжело. Я скоро усну в твоем присутствии.

Люда села на коврик, прижалась головой к кровати и слушала, как под одеялом булькал и переливался мамочкин живот. Она отталкивала сон, но глаза задергивались веками, ноздри втягивали маленькими хоботками затхлый запах постельного белья, человечьего пота, ночникового воздуха...

— Людочка, ты уснула?

Люда спросонья раздельно отвечала:

— Н-е-т, ма-мо-ч-ка!

А голос будто задумывался на последнем слоге.

— А у меня остыли бутылки...

Люда молчала. Александра Александровна раздраженно теребила ее за рукав.

— Ты что, ты что, мамочка?—просыпалась дочь.

— Люда, не хитри! Ты заснула. Все... все спят... одна я...

— Мамочка, тебе кажется. Я не сплю,—бодрилась Люда.— Я совсем не хочу спать.

— Друг мой, не лги! Я не осуждаю тебя.

— Уверяю тебя, мамочка!

— Ты несносна, Людмила! Я же вижу. Что я сказала?

— Когда, мамочка?

— Последние слова...

— Последние слова? Ты ска-за-ла последние... сло-ва... я... я... забыла.

— У меня остыли бутылки!

С полу дуло. Люда подвертывала под себя капот, ежилась, как от просыпанной по спине холодной дроби, кашляла.

— Что же делать, мамочка?

— Надо поставить самовар. Надо разбудить Пелагею.

— Неловко, мамочка, она недавно легла.

— Ах, вам неловко, а мать должна мучиться!

— Я поставлю сама.

— Но зачем же самой? Пелагея—здоровая баба, она поспит днем. Пойди, подними ее.

Люда, пошатываясь, ушла. Александра Александровна вслушивалась в разговор на кухне и морщила лоб от ожиданья...

Охнул старый паркет, будто кто-то переступил в комнате и пошаркал ногой, шмыгнула мышка под обои. Александра Александровна побледнела, по телу выступила испарина, рука задрожала вместе с язычком колокольчика. Люда вернулась на звонок с напуганными глазами, будто в них еще колотился колокольчик.

— Мамочка, воды нет, такое несчастье! Пелагея грозит завтра уйти от нас. Она очень недовольна.

— Боже мой! Боже мой! Какая мука! Я всем, всем в тягость! Все против меня!

— Ну, успокойся, мамочка, не говори так. Я заплачу.

Люда припала к изголовью матери и стала вытирать ее влажный неровный лоб.

— В одну из таких ночей я умру в этой комнате,—плакала Александра Александровна,—и никто, никто не увидит моего последнего вздоха. Все будут рады избавиться от старой женщины-брюзги...

Дочь закрыла ладошкой рот матери, не дала говорить и прижала седую голову на мягкую подушечку своей груди.

Под утро Александра Александровна заснула, похрапывая под тяжелым одеялом, вздрагивая мелкой морозной дрожью. Люда на цыпочках ушла из комнаты, оглянувшись в дверях на белое большое тело матери. Люда устало сняла капот, залезла под теплое одеяло к мужу, сунула свои маленькие ледяные ножки между ног мужа, прикорнула, прилипла к его широкой спине, вцепилась обнимающими руками поперек живота и, медленно отдрагиваясь озябшим станом, начала впитывать густой жар его тела и нагретой постели.

Володька проснулся, сжал ледышки ее ног, весь придвинулся к ней, потянул за руки и зашептал:

— Зяблик ты мой! У тещи понос кончился?

Люда шутливо затолкала его подбородком в спину и стиснула руками крепкий живот:

— Володька, не фамильярничай!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Александра Александровна проснулась за-полдень. Проснувшись, она пролежала минутку, не шевелясь, прислушиваясь к животу, а потом начала тихонько гладить его. Наболевший

живот сопротивлялся глаженью легким нытьем, поуркивал где-то вглуби, как поуркивает кошка за шкафом, докушивая мышь. Александра Александровна печально охнула. На колокольчик пришла Пелагея с чулками. Александра Александровна медленно села на кровати и протянула ногу. Пелагея натаскивала чулок и со смехом щекотала подошву.

— Отоспалась, небось, барыня! Добрые люди наработаться успели. Скоро павжнать пора. Ишь, ноги-то как налились — будто водянка! А всё ото сну нездоровье.

Александра Александровна молча наклонилась, пощупала толстую розовую ногу, покачала головой, а от нажима на ноге осталась ямка и долго не проходила.

— Шарь не шарь—дело косарь!—насмешливо гудела Пелагея.

— Перестань молоть вздор!—рассердилась Александра Александровна.—Делай свое дело. Какая сегодня погода?

— Нет, барыня, ноги от погоды не раздувает,—не унималась Пелагея.

Александра Александровна захлебнулась своим голосом и взвизгнула:

— Дура, я не об этом спрашиваю! Оставь мои ноги в покое. Мне погоду нужно знать.

Пелагея спокойно выпрямляла пальцы в чулке.

— Погода—ничего. Лучшего желать нельзя. Собаки, высуня язык, бегают.

— У тебя постоянно эти глупые поговорки и нелепые сравнения.

— Мы, барыня, сызмалетства в чужих людях. На кухне-то нас некому наставить. Поговорочка другая умного слова стоит. Веселье от нее делается в душе.

— Только не от твоих поговорок.

— Да разе они мои, барыня? Они деревенские. Я што?

— Ты не в деревне живешь, а в благородном доме. Не смей мне никогда говорить этих глупостей!

— Молчок, барыня, не заикнусь больше, тресни моя пестёрка!

Александра Александровна изнеможенно улыбнулась и, опершись на плечо Пелагеи, встала, переступила несколько шагов, морщась от боли в ногах.

— Походи, походи маленько, пускай через силу,—бормотала Пелагея,—ноги надо ходьбой разминать. В ногах дурная кровь застоялась от брюха.

Александра Александровна послушно хромала по комнате, выпячивая большой живот, обтянутый панталонами, мельком взглядывала на себя в зеркальное полотнище, косившее живот на сторону белым надутым мешком, и горестно гримасничала.

Пелагея тормошила постель, бегала на заднее крыльцо вытряхать одеяло, матрац, накрывала и убирала постель, взбивая подушки. Выкатила дубовое судно. Александра Александровна отдернула шторы, вытолкнула окно и отковыляла от сквозняка в сторону. Она села к бабушкину туалету с облезлыми боковинами, разглаживала отёки под глазами, хмурилась, хмуро прикрывала липкую отвислую грудь. Издали в зеркало ухмылялась через плечо Пелагея. Щеки у нее были алые, гладкие, шелковые, волосы черные, будто черное дерево на бабушкиной шкатулке, а глаза ясные, как косые капли дождя на солнце.

Александра Александровна невесело впивалась в нее глазами. Под ложечкой набухала тоска и быстро поднималась к горлу. И она сердито спрашивала:

— Почему вечером не было воды? Мне самой ходить на реку от двух прислуг? В следующий раз я пошлю тебя среди ночи за водой.

— Воды, барыня, было много, полная кадушка. Сами же по бутылкам розлили. За вечер-то пять раз самовар подогревали—не напасешься. А с речки ведра, барыня, не шутка таскать,—спина треснет. Ведерко принесешь, а другое погодишь...

— Вот, вот,—лень, я знаю. А за что я плачу деньги? Как можно на ночь оставаться в деревянном доме без воды? А если пожар? А если кто заболеет? Ты, например, сама заболеешь?

— Так што же? Заболею—туда мне и дорога. Што с водой, што без воды. Ах, барыня, барыня, от воды здоровья не прибавится! Пожару ежели быть, ведерком не зальешь. Пожарные вон, у губернаторского дома пожар был, из водопроводу реку вылили, а дом сгорел, как свечечка.

— Чтобы была, была, была!—закричала Александра Александровна, покрасневшая и разгневанная,—не о чем рассуждать. Твое дело исполнять приказания, а не рассуждать. Я плачу тебе жалованье.

— Што жалованьем попрекаете? Как так всё по-вашему было бы, мыслимое ли дело? Вы бы, барыня, меня што нехорошее заставили делать, а отвечать кто будет? Мало ли по

хозяйству воды за день-то уходит! Водовоз нам всю бочку и не подумает отдать: для всех домов возит. На речку-то, барыня, к слову сказать, я не нанималась ходить. Я не лошадь. Опричь как из нашего дома, никто не ходит на речку. Хорошие хозяева прислуг тоже жалеют.

— Ты так, ты так? Сама виновата, а обвиняешь других? Я не держу тебя. Я тебе сегодня же выдам паспорт.

— Воля ваша, барыня, понапрасну только в сердце входите!

— Убирайся отсюда!

Александра Александровна от волнения прихромала к раскрытому окну, загородилась шторой от простуды, из-за шторы вбирала, как насосом, воздух в себя и вытирала с лица проступивший пот.

Пелагея стучала-гремела на кухне. Трещала жестяная самоварная труба, прыгала вьюном по полу конфорка, хрястнула разбитая тарелка. Пелагея гневалась. Отволновавшись, Александра Александровна позвала Пелагею, и та, насупившись, принесла в большой красной руке кофейник, поставила его на круглый столик около туалета, одернула ковровую салфетку, а заодно и свое платье, и вдруг весело сказала:

— Кофейку, барыня! За ночь-то, поди, отощала!

Александра Александровна просветлела:

— Хорошо, Пелагеюшка, я выпью.

На кухне Пелагея с Аграфеной шептались, затыкали носы, только груди от смеха ходили ходуном и плескались под кофточками.

— Ла́чет!..

— Прихехе своего вспоминает!

— Скоро в нужник побежит!

— Пойдем за уши держать!

Кухарки между делом забавлялись над Александрой Александровной. Они слышали ее голос в кухонном чаду и плитяном зное, шипели на нее, как масло шипит на раскаленной сковородке.

Александра Александровна протянула унылый день, а как пришло новое утро, все недуги разлетелись испуганными птицами. Александра Александровна ходила по всему дому, распоряжалась, играла на рояли, читала любимого своего писателя Монтепена, забавлялась с котом Василием Васильевичем, кидая клубок ниток в зале и подтаскивая к себе. Василий

Васильевич гонялся за клубком, вспрыгивал к ней на колени толкал пушистой мордой в грудь и выпускал когти, а потом взбирался к ней на плечо и, уткнувшись усами в прическу, мурлыкал. Александра Александровна прогуливалась с ним из комнаты в комнату, снимала по пути с мебели соринки, пушинки, сдувала пылинки и оставленные Анатолием опилки от выпиливания замысловатых узоров на коробочках. Потом она вышла в сад с Василием Васильевичем и по мостику поднялась в беседку. Василий Васильевич спрыгнул на землю и начал гоняться за вертевшимися в сиренях воробьями.

Александра Александровна присела на лавочку и задумалась на кубовое небо с белыми цветами облаков, на свистящих ласточек, летавших вокруг звонницы у Спас-на-Болоте, на румяные, как щеки Пелагеи, яблоки, горевшие в глубине сада незажженными фонариками. Прошел мимо Анатолий с обнаженной загоревшей грудью, бормоча какие-то стихи и разводя руками, не замечая в рассеянности матери. Александра Александровна поглядела ему вслед и покачала головой.

Пришла Пелагея к мостику и стала чистить песком кастрюлю, расшарашив упругие красные ноги. Кастрюля шмыгала у нее в руках черными боками, терлась о песок, потом быстро начала гореть медным золотом с блистающими разводами. Пелагея отставляла кастрюлю от себя и, перекладывая голову с одного плеча на другое, любовалась возникающим блеском. Довольная, она еще пуще стала тереть кастрюлю и громко запела:

У меня милёнков тридцать,
Побежала я топиться,
Прибежала на реку—
Все сидят на берегу.

Мимо нашего окна
Пробежал телёночек,
Я телёночка за хвост—
Думала милёночек.

Пелагея остановилась, перестала тереть кастрюлю, задумалась, поглядела куда-то в глубь сада зорким взглядом и уставилась в темную, густую от тины воду, будто видя там золотое дно с самоцветными камнями и гуляющими по нему рыбками. Вдруг снова шаркнула кастрюлю, откинула наотмашь попавший в песке камень и рассыпалась еще звонче, чем начала.

Дай бог бури, дай бог граду
Убить бурого коня,
Штоб не ездил на свиданье—
Не расстраивал меня.

Спаси, господи, помилуй—
Меня миленькой покинул
И соломкой затрусил,
Штобы комар не укусил.

Александра Александровна раздвинула залезшие под крышу беседки сирени и прищуренными смешливыми глазками уперлась в алый влажный рот Пелагеи, раскрывавшийся песней:

Месяц светит, как целковый,
Ясны звезды—четвертак,
Мой милашка бестолковый,
С посиденки ушел так.

Тут Пелагея для чего-то потопала ногой, расцвела глазами и шелками щек, перевернула кастрюлю броском на руках и взвизгнула, ухарски замотав головой:

Говорил, у палисаду
Боле разику не сяду...
Дорогой, не осердись,
Боле разу не садись.

— Не очень-то нужно!—добавила Пелагея, будто разговаривая с кем,—найдется вашего брата!

Александра Александровна зажала рот и безмолвно затряслась сразу головой, плечами, грудями.

Пелагея сказала, а потом грустно сморщилась, вздохнула, повела рукой по кастрюле замедленно и осторожно и тихо, протяжно, печально заклокотала:

Походили мои ноженьки
Дороженькой любой,
Заросла теперь дороженька
Отавой зеленой.

Александра Александровна громко засмеялась в беседке и похлопала в ладоши.

Пелагея вскрикнула, выпрямилась и выпустила кастрюлю из рук. Кастрюля покатилась в воду и утонула. Пелагея увидала Александру Александровну и загремела на весь сад:

— Ах, барыня, от испугу у меня росток подался. Кастрюля утопла. Шестом теперь доставай, поди. Чужой человек, думала, в биседке.

— Спой еще, Пелагеюшка!—сказала Александра Александровна.

— Ну, нет, шалишь, барыня! Я для кустиков пою, в одиночку—и так осрамилась при господах за наши деревенские завирушки. Кастрюлю вот доставай теперь из-за пенья-то, ворона неповоротливая! А где она—и не уследишь!

Пелагея низко наклонилась над водой, отгоняя рукой наплывавшую тину и открывая большие, сизые, как голуби, глаза.

— Ты скорее, скорее, Пелагея,—тревожно проговорила Александра Александровна,—кастрюлю засосет тиной. Надо быть осторожнее. Она стоит денег.

— Не видать, дьявола!

— Ты смотри внимательнее. Ты пощупай палочкой.

— Есть когда тут с палочкам прохлаждаться. Неглубоко, барыня, в луже-то? По титьки будет?

— Я не знаю.

— Тонуть начну, мужиков покликай. Утону—бла́знить вам буду по ночам,

— Постой, постой!—закричала Александра Александровна.— В саду Анатолий. Я позову его.

— Ну-у!—пренебрежительно воскликнула Пелагея,—он в ковшике потонет. Я сама. От этого помогальщика корысти меньше, чем от воробья.

Пелагея подняла подол до живота, запахнула его на спину, повернулась к Александре Александровне белым задом и, держась за ветку сирени, полезла тихонько в воду, шаря дно ногами. Александра Александровна жадно смотрела на крепкий зад, как огромная, очищенная от кожицы осенняя репа.

Вот репа поплыла в воде, тина облепила ее, поползла в промежности. Пелагея одно рукой вздернула платье выше на спину, тина хлынула по спине—и остановилась. Пелагея отыскала ногой кастрюлю, встала в нее и, волоча по мягкому дну, стала пододвигаться к берегу. Вытащив кастрюлю, Пелагея сердито кинула ее далеко от себя. Придерживая у грудей загнутое платье, Пелагея оглядела свое потемневшее и зазеленевшее от тины тело, потом быстро расстегнула пуговицы у кофточки и через голову обнажилась вся.

Александра Александровна беззвучно смеялась и тряслась жидкими, набухшими под белым платьем грудями. Пелагея скинула с живота густой слипок тины, оглянулась по сторонам и захохотала:

— То ли не тигра, барыня, я? С крапинками!

— Мойся, мойся скорее,—сквозь слезы говорила Александра Александровна.—Перейди по мостику сюда. Тут вода чистая.

— Да, перейди! Барин увидит. Отцышкни его подальше! Из-за кустов, неровно, шаст на самую масленицу!

— Он далеко. Не бойся. Анатолий, Анатолий!

— Э-ге!—отозвался Анатолий.

— Не ходи сюда. Сюда нельзя.

— По-че-му? Что такое?

— Я позову тебя.

— Хо-ро-шо!

Крепко шлепая босыми ногами, согнувшись станом вперед, поддерживая дыни грудей, Пелагея грузно промчалась по мостику и присела под сиренью. Потом вошла в воду, заплескалась, засновала, как челнок в кроснах, мокрыми руками по спине, по животу, по круглым, как два серпа, бедрам. Пестрое от тины тело засияло, забелело, как белая сирень в каплях росы. Бесстыдное рыжее солнце навело на него свое золотое зеркало, смахнуло искры воды с него пушистыми лапками, окатило его нежно-розовым душем лучей.

— Помогай, барыня!—весело выкрикнула Пелагея,—кастрюля-то чья? Не моя, поди!

Александра Александровна заторопилась из беседки, сходя по ступенькам. Пелагея испуганно взглянула на Александру Александровну и смущенно забормотала:

— Ой, как же можно, барыня! Виданное ли это дело? Тюфельки запачкаете. Не надобно, не надо! Ой, да и што же это за срамота! За язык меня дуру кто тянул! Стыдобушка, стыдобушка-то какая! Люди просмеют, барыня, ежели кто узнает! Ой, не грязнитесь, барыня, понапрасну!

Александра Александровна, смеясь, подошла к ней, трудно наклонилась к воде, зачерпнула в пригоршни воды и стала поливать на спину, а потом стала гладить по спине, проводя от шеи до зада и обратно. Пелагея молча торопилась домыться и ойкала.

— Какое дело! Какое дело! Барин-то не идет? Надоест ему ждать и придет! Што, право, барыня, насмех делаете! Я сама, я сама! Не надобно, барыня!

Александра Александровна замочила в воде широкие открытые рукава платья, с них бежала вода и лилась на белые туфли.

— Тебе не достать до спины,—тихо говорила она,—я помою тебе спину. Ты не стесняйся. Вот уже ты блестишь.

Александра Александровна прислонилась к Пелагее, гладила, шарила ее, взяла в руки обе груди и надавила бронзовые соски, задержала их, растерянно усмехаясь.

— Будет, будет, барыня! Ой, как и благодарить только!— стыдилась Пелагея.—Чистенькая я, как дитё из корытца! Не трожь титьки!

Александра Александровна разогнулась сильно и задохлась. Пелагея кинулась обратно по мостику, прямая и белая, как огромная лебедь. Она накинула на себя одежду и звонко и радостно начала смеяться, хлопая себя по бедрам.

— Вот так кастрюлька! Вот так и почистила! Ха-ха! Ой, грехи, право, на белом свете! Купка, не купка, а вроде купки, барыня, вышло! Барина-то позвать надо: чего ему на дежурстве сидеть.

Александра Александровна устало вошла в беседку и кивнула ей головой.

— Анатолий!—негромко она позвала сына.—Теперь можно.

Анатолий с недоумевающим видом показался из-за беседки и остановился в нерешительности, взглядывая то на мать, то на Пелагею.

Александра Александровна, усмехаясь, спросила:

— А? Что? Интересно? А вот и не скажу!

Пелагея, лукаво посматривая на Анатолия, опять чистила кастрюлю.

— Странно!—обиженно сказал Анатолий.—В своем саду нельзя свободно двигаться. Какие-то тайны!

И пошел через мостик по направлению к дому, отворачиваясь от Пелагеи.

— Барыня, не говорите никому,—серьезно просила Пелагея, как ушел Анатолий,—проходу молодые господа не дадут. Што хорошего!

— Не скажу, не бойся! Зачем им говорить? Ничего особенного и не случилось.

И уходя в дом, Александра Александровна предостерегающе добавила:

— Не урони снова кастрюлю. Осторожнее.

Пелагея шаркала изо всей мочи, кряхтя и сопя над кастрюлей.

Прибежал Карушка, понюхал ее, высунул язык, как кусок ветчины, ткнул мордой в кастрюлю и, получив удар по носу, шарахнулся в сторону, оседая на задние лапы.

Василий Васильевич протрусил мимо Пелагеи, неся настороженную мордочку по следам Александры Александровны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

К полдню расплавился воздух вокруг и потек в раскрытые окна дома щедрым густым жаром. Золотые квадраты солнца шелушили паркет, выжигали темно-синие шторы и цветную мебель, сушили в горшках чайные розы, пальмы, лилии. За завтраком сидели красные и потные, вяло кушали и тяжело дышали, выпивая пузатые графины кваса.

Александра Александровна затворилась к себе, сняла легкое белое платье и прилегла на кожаный диван. Кожа дивана жадно впила ее пот и охладила разморенное и усталое тело. Спокойно и тихо вздымался большой живот в панталонах.

Александра Александровна лежала неподвижно, жмуря глаза в пухлых темноватых подглазниках, собиравшихся в сморщенные комочки. По голым рукам ходили мухи. Легкое прикосновение мушиных ножек было неприятно, но не было охоты шевельнуться. Полетала муха около лица и села на нос, крутясь на нем. Александра Александровна сдула ее губами и опять замерла надолго.

Потом толкнула в виски и отозвалась в сердце забота: Александра Александровна вспомнила о пустой бабушкиной шкатулке, из которой утром она вынула последний золотой.

Александра Александровна поднялась и позвонила в колокольчик. В комнату заглянула Пелагея.

— Найми извозчика в банк.

Пелагея побежала на соседнюю извозчичью биржу. Александра Александровна оделась и поджидала у окна, опираясь на малиновый зонтик. Пелагея, скромно сидя на краешке сиденья в пролетке, босая, со сбившимися волосами на щеки, довольная, подкатила к дому на белой лошаденке.

— Полтинник, барыня, взад и вперед!

Александра Александровна медленно вышла к извозчику, осмотрела лошадь в перламутровый лорнет и, прежде чем сесть, спросила:

— Лошадка у тебя не с норовом, дружок?

— Хе!—осклабился извозчик.—На таком камню, барыня, лошадь смирнее пролетки.

— Ну, вот и хорошо: не растрясет.

— Куды там растрясет, барыня!

— Рессоры у тебя исправные? Ты их осматривал?

— Будьте покойны, барыня! Нам без осмотру нельзя. Как со двора долой, не то што пролетку, а и лошади-то заглянешь под хвост. Хе-хе!

— Ты веселый, голубчик, я вижу!—усаживалась Александра Александровна, поддерживаемая под локоток Пелагеей.

— Веселья у нас хоть отбавляй, барыня!—смеялся извозчик.—С господами ездишь, навеселишься за день-то. С одним одно веселье, с другим—другое.

— Да, вы ведь, извозчики, хорошо зарабатываете, я слышала! Затем на вольном воздухе вы закаляете свое здоровье....

— Мы — народ могутной, што говорить!

Александра Александровна раскрыла зонтик. Лошадь тронулась. Березовые бульвары зеленели шелковыми кронами; солнце золотыми прожекторами раздвигало густоту крон и лежало поперек крепко укатанных желтых бульварных каналов; на скамейках сидели в белых чепцах няни, около них копались в песке беленькие детишки; везли детишек в колясках, на пышных кружевных подушках; стояла коляска с поднятым желтым верхом над сонным гуляльщиком; брел по бульвару нищий-старик с суковатой палкой, с лысиной как второе, померкшее солнце... По дороге припорашивала пыль из-под лошадиных копыт, расседалась с фуканьем под колесами, пылила редких прохожих, летала серым дымом над Пятницким заросшим осокой прудом.

Александра Александровна подъехала к банку, где лежала ее выручка от продажи последней „Ильинки“. Рассчитаны, высчитаны были деньги с запросом на много лет вперед, чтобы хватило, чтобы не пришли черные безденежные дни. Тут же лежало завещание на дом и на несъеденные пустоши за Николой Мокрым.

Извозчик дожидался у банка. На обратном пути извозчик говорил:

— Хорошая это штука банк, барыня! Но! пошла! Дома держать деньги по нонешним временам—не рука. За один раз не при чем останешься. Влезет вор, к примеру, в форточку,—всех капиталов лишит... Да, пожалуй, на голове рубаху завяжет узлом, а то кишки выпустит из брюха. Конешно, банк для тех, кого деньги любят. Нашему брату банк не к чему, потому нечего в ём нам делать. Капиталам нашим в кисете простор. У вас, поди, барыня, много денег? Сколько именьев, поди, строенья, одежи всякой загранишной?

Александра Александровна засмеялась.

— Ты мне нравишься, извозчик! Я очень люблю простых людей. Я тебе охотно скажу. Я не богаче тебя.

— Хе-хе! Поверить нельзя, барыня!

— А ты поверь.

— У вас не те добытчики, барыня, как у нас. Веры насильно нет. Ежели бы денег не было у вас, не пошто и в банк ездить. Мы вот только с чужим деньгам к банку приворачиваем да на окошки глядим.

— А мы, голубчик, вывозим из банков. У нас капиталов становится все меньше и меньше. Как ты сказал, добытчиков у меня совсем нет. Сын с женой, дочь с мужем—и все живут на мой счет.

— Да, это хорошего мало. На шарамыжку, значит, живут. Нет, вот у меня так парни работники... и бабы ничего. Крестьянство правят в деревне—из десятка не выкинешь. Еду я своим овсам али там оржаными, будто на глаза какая блажь находит—похвастать охота.

— А мне нечем, нечем хвастаться!—сокрушенно сказала Александра Александровна.

Проехали бульвары, заворотили к голубому дому, извозчик натянул вожжи, тпрукнул у крыльца и оборотился:

— А вот и скатали!

Александра Александровна открыла ридикюль, загораживала ладошкой от извозчика кредитки и, роясь в мелочи, говорила:

— Давно я хотела спросить, да все забывала... Скажи мне, извозчик, почему вас называют, скажи без обиды, Ваньками?

Извозчик недовольно зашаркал задом по сиденью и сердито забурчал:

— Господам делать нечего, вот и называют всякими названьями.

— Я, дружок, никогда так не называю, но мне очень любопытно...

— Чево тут любопытного, когда человека ругают нехорошими словами?

— Ну, все-таки. Почему дано такое прозвище?

— Не могу знать, барыня, не иначе—первый извозчик на свете Иван был.

— Может быть! Может быть! Да, да, это ты верно! Вот ведь не придет в голову такая простая мысль: первый извозчик был Иван.

Александра Александровна подала деньги извозчику.

— Прибавьте, барыня, матушка,—любуясь новеньким серебром, сказал извозчик.—Овес нынче больно дорог стал. И харчи тоже недешево стоят. Гривенничек на чай не пожалейте!

Александра Александровна торопливо вылезла из пролетки и полуиспуганно ответила:

— Достаточно, достаточно, дружок, такая была ряда. Я счет деньгам сама знаю. И экипаж у тебя очень тряский, неудобный. В следующий раз уж... подороже...

Александра Александровна свернула зонтик и поворотила извозчику широкую кружевную спину из кремового шелка.

— Э-эх!—кряхтел извозчик,—хи-и-ми-ки!

И помолчав, закричал:

— Барыня! На вашей бирже стоим завсегда. Ехать придется—зови Ефима Топорищева, фамиль наша.

Александра Александровна, не оборачиваясь, кивнула головой.

Вернувшись к себе, Александра Александровна заперла комнату, вытряхнула из ридикюля деньги, пересчитала, несколько раз ошибалась, складывая на бумаге карандашом цифры трешников, пятерок, десяток. Потом вынула из бабушкина туалета бабушкину шкатулку, положила туда деньги, осторожно умяла их пальцами, покрыла чековой книжкой и заперла.

И как всегда бывало, когда Александра Александровна вынимала деньги из банка, она расстраивалась, сердито ходила по комнате, вздыхала, раздраженно кричала на Пелагею, снова начинали ныть застарелые женские болезни, и бодрые минуты удалялись, казалось, навсегда. Александра Александровна больше

не выходила в этот день из комнаты, улеглась в кровать, в кровати обедала, никого не допускала до себя, кроме Пелагеи, радостно и озабоченно бегавшей на колокольчик до поздней ночи. Раздражение не прошло и на другой день. Утром вошел Анатолий и смущенно сказал:

— С добрым утром, мама.

— Что так? Что с тобой?—насмешливо протянула Александра Александровна.—Ты нездоров? Ты по ошибке зашел? Давно уж не бывал у меня в комнате. Чему я обязана твоим посещением?

Анатолий покраснел и засмотрел злыми глазами. Тогда Александра Александровна закричала:

— Сколько тебе?

Анатолий неопределенно сделал пальцами и молчал.

В дверь ревниво заглядывала Люда.

Александра Александровна сердито достала из карельского бобика с вечера заготовленную кредитку и подала ее Анатолию, держа за краешек двумя пальцами. Еще накануне Александра Александровна разбирала все свои кредитки и откладывала на утро в бобик самые засаленные.

Анатолий небрежно сунул кредитку в карман, помялся, постоял на одном месте и часто замигал.

Александра Александровна невесело ухмыльнулась и скрипуче сказала:

— Сошлись сын с матерью, и поговорить не о чем... Ну, иди теперь, Анатолий, до следующего раза.

Люда ластилась целый день к Александре Александровне, предупреждала ее желания, обнимала ее за талию, заглядывала глубоко в глаза и долго крепилась.

— Ты меня интригуешь,—легонько улыбаясь, говорила Александра Александровна,—ты о чем-то хочешь спросить? Ну, спрашивай!

Люда тихонько шептала на ухо:

— Мамочка, у тебя был Анатолий?

— Был, был,—тоже шептала Александра Александровна.—Ты же знаешь! Ты же заглядывала в двери!.. На вот тебе твои булавки...

Александра Александровна вкладывала ей в руку кредитку и нетерпеливо снимала со своей талии Людочкину руку.

Люда словно загорала от солнца смуглым блеском и целовала мать в дряблую щеку...

На Александру Александровну, ей казалось, обрушился весь город.

Александра Александровна платила по счетам водовозу, прачкам, полотерам, в лавки, отдавала жалованье Пелагее и Аграфене, замо́к у бабушкиной шкатулки звенел и звенел, шкатулка становилась глубже и вместительнее, а раздражение Александры Александровны доходило уже до ментолового карандаша: она холодила лоб и виски.

Пелагея раньше времени сделала кровать Александре Александровне и катила в комнату, как нагруженную тачку, дедовское дубовое судно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В шесть часов вечера подавали обед. За круглым столом на снопе тонких ножек—в старину любили, чтобы деревянные ножки мешали настоящим ногам—располагалась Александра Александровна рядом с Людой и Анатолием, а напротив сидели Володька и невестка Галина. Люде хотелось сидеть с мужем, Анатолию хотелось сидеть с женой, но Александра Александровна считала их маленькими и держала при себе.

Александра Александровна молча оглядывала свою семью и глотала маленькими осторожными глотками суп. Люда подливала суп мужу, брату, обнося невестку. Анатолий морщился и шаркал на стуле, словно ему кололо сиденье. Галина Сергеевна спокойно кушала, подливая себе сама. Александра Александровна и Люда смотрели за ее рукой, переглядывались, мигали Володьке, но тот старался спрятать свои глаза в тарелку. Александра Александровна иногда предупреждающе кашляла, а Люда шипела, будто над столом кружилась пчела. Анатолий тогда с розовым, вспотевшим внезапно носом нескладно трещал стулом, приподымался и несвязно бормотал:

— Га... Галин... Га...

Александра Александровна осуждающе вглядывалась в пушистый от усов рот сына и насмешливо спрашивала:

— У тебя паралич? Что за га-га-га?

Анатолий кидался глазами в мать и громко отрезал:

— У меня хуже, чем паралич!

Александра Александровна поводила плечами под коробившимся платьем. Люда наклонялась к рукам матери и, глядя снизу на брата, говорила:

— Анатолий, у тебя на усах капуста!

— Где? Где?—в страхе тараторил Анатолий.—Не может быть!

Он хватал салфетку и крепко обтирал усы, разглядывая на салфетке мокрое место.

Тогда Галина смотрела большими темными глазами на Люду, та кидала серые взоры навстречу, и они сходились на поединок, вздрагивая и загораясь от встречи.

Обед проходил в молчании, только стучали о фарфор ножи, звенели стаканы, шаркали переставляемые под столом ноги, да Пелагея носила кушанья, хлопая дверью и шатая стол, когда ставила на него блюда и миски. Шумно расходились из-за стола. Но на другой день нетерпеливо ждали шести часов. Анатолий часто подводил стрелку вперед, взбираясь на стул в столовой, брюхо у Анатолия быстро голодало. Раз в неделю приходил заводить часы часовой мастер и каждый раз удивлялся на часы, уходившие вперед каждую неделю по-разному.

Засиживались за столом подолгу, когда за обедом был гость. Тогда не скрещивались кóсы глаз невестки и золовки.

И вот уже вторую неделю обедали с глазу на глаз. У Александры Александровны были приступы почечуя. Она сидела за обедом на большой пуховой подушке, отчего голова ее приподымалась над столом, как на стуле у зубного врача.

— Ты думаешь ничего, Люда, я кушаю суп?—сказала печально Александра Александровна.

— Суп нежирный, мамочка! Ничего, по-моему!

— Я опять провела ужасную ночь. От поросенка я откажусь. Ты не находишь, гренки сегодня не отличаются от черствой булки?

— Да, мамочка.

— Эта Аграфена вгонит меня в гроб. Суп пахнет дымом и какой-то горечью. Ты бы, Люда, понаблюдала за ней. Малейшая неосторожность, и желудок замучит меня.

— Я непременно понаблюдаю, мамочка.

— Ты строго прикажи ей, чтобы она процеживала суп. В супе остались волокна накипи, а в накипи—жир. Мне жир очень вреден: я могу умереть от несварения желудка.

Анатолий повернулся к матери и тревожно заговорил:

— Но почему ты, мама, не пригласишь доктора? Может быть, все это очень опасно?

Александра Александровна сделала безнадежно ручкой и горько задумалась, потом тихо промолвила:

— Ах, твои заботы, Анатолий! Ты, Анатолий, не услышишь даже, когда твоя мать умрет, занятый только своими делами.

Анатолий растерянно оглядел всех, побагровел и резко бросил:

— Какими же мне, я не понимаю, заниматься делами?

Мать расслабленно вздохнула и сжала жирные губы.

— Оставим это, Анатолий!

— Знаешь, мамочка,—вдруг испуганно сказала Люда,—Пелагея опять оставила ложку в молоке!

Александра Александровна заволновалась.

— Что ты говоришь? Ты сделала ей замечание?

— Да, я сказала.

— Ах! Эта Пелагея меня раздражает. Она никак не может усвоить самых обыкновенных вещей.

— Да. А живет у нас несколько лет. Она пришла еще до женитьбы Анатолия.

Анатолий кашлянул и уперся в стол глазами. Галина вскинулась вся к Люде и недоумевающе спросила:

— При чем тут женитьба Анатолия?

И перестала кушать.

— Я просто хотела определить,—многозначительно и лукаво протянула Люда,—с какого времени Пелагея живет у мамочки.

— Довольно глупое определение!—резко швырнул Анатолий словами, заливаясь краснотой от лба до шеи.

Все тяжело замолчали.

— А вот и сладкое!—прервала молчание Александра Александровна,—но я буду без сладкого. Анатолия и Люду мы также оставим без сладкого. Они не могут ужиться в ладу даже за обедом.

Пелагея, уходя, хмыгнула носом. Александра Александровна скосила на нее сердито брови.

— Люда, тебе не кажется,—подозрительно, вполголоса, проговорила Александра Александровна,—груш было больше?

Люда посмотрела на вазу с грушами и с жаром воскликнула:

— Да. Это Аграфена. Она—воровка.

Галина резко двинула стулом и торопливо ушла из столовой. Анатолий, дожевывая кусок груши на ходу, протягивая руки, кинулся за нею. Из коридора доносился его тревожный, просящий голос:

— Гали-и-ночка! Гали-и-ночка!

— Она смешна!—недовольно прошипела Александра Александровна.

— Она же деревенская учительница!—подшипела Люда.

— Но ты, Люда, чрезвычайно неосторожна: говорить при ней о Пелагее! Она может понять.

— Пусть, пусть узнает!

— Фи, фи, Люда! Анатолию же будет хуже.

— Этому колпаку так и надо.

— Людок!..—попросил и голосом и глазами Володька.

Люда угрожающе закричала на него:

— Володька! Ты не вмешивайся! Я знаю твои шуры-муры с этой кошкой. У вас дружба.

В столовую вернулся, будто придавленный непосильной тяжестью, Анатолий, сел на диван и закрыл лицо руками.

— Не при-ня-ла?—проскрипела мать.

Анатолий промолчал—и вдруг, отшвырнув от лица руки, взвизгнул на сестру:

— Я... я в следующий раз в тебя запущу вилкой! Я плесну на тебя супом!.. Я... я плюну!

— Ана-то-лий! Замол-чи-и!—строго вмешалась мать.

Люда озлилась и вспыхнула:

— А я расскажу ей... твоей... репетиторше... про твои шашни с Пелагеей...

— Она не поверит, не поверит тебе... Я сам кое-что расскажу про тебя Володьке.

Володька засмеялся, подсел к Анатолию и громко на ухо протрубил ему:

— Я, Толька, всё знаю про свою жену. Можешь не рассказывать. Я даже знаю больше, чем знаешь ты.

— Твоя жена дура, дура!—взвыл возбужденно Анатолий.— Я всегда стеснялся ее при народе. Она всегда была дурой!

Александра Александровна зажала уши и со стоном пошла из столовой.

— Я не могу... я не могу... Анатолий, ты груб, ты ужасно груб!

Люда вышла за матерью, потом рывком раскрыла дверь, сделала нос брату, оглянулась назад и спокойно, плавно, внимательно, вкрадчиво спросила:

— Анатолий! Я пришлю к тебе Пелагею?

Анатолий ухватился за голову, горько замотал ею, затрясся весь, отчаянно восклицая:

— Как глупо! Как глупо!

— Пустяки!—сказал Володька и закурил папиросу, делая дымные колечки и попадая в них пальцем.

— Но как же!—стонал Анатолий.—Ты понимаешь, Володька, мать нарочно наняла Пелагею, как только увидела во мне мужчину. Ты понимаешь, приходила целая рота наниматься кухарок. Мне велено было из-за двери смотреть, какая понравится. Ах, как мне стыдно! Галина не должна знать!

— Брось рассказывать—всё знаю,—смеялся Володька,—теща была сводней!

— Нехорошо, понимаешь, про мать говорить... А иногда у меня в голове возникают чудовищные слова. Я просил несколько раз отказать Пелагее. Положение у меня, понимаешь, нелепое. Подействуй ты как-нибудь на свою дуру. Она не любит Галиночку и... и хочет ей неприятности. Поговори с матерью. Она тебя уважает. Только Людка не должна знать.

— К чему это?—возражал Володька.—У Пелагеи—золотые руки. Другой такой Пелагеи больше на свете не существует. Теща не согласится.

— Понимаешь, я терплю мученическую муку. Я скажу тебе по секрету... Когда никого дома нет, Пелагея приходит ко мне и... тащит... меня на кровать. Я запрусь на крючок, она... стучит, понимаешь, на весь дом кулаком по двери.

— Ну, ну, а ты?

— Что я? Положение у меня, понимаешь, идиотское! Как ей отказать—скандал устроит. Она издевается надо мной... Ляжет на Галиночкину кровать и... глупо смеется... рукой меня манит... Я... как вор... как преступник... ну, ты сам понимаешь! Гадина шепчет мне на ухо: „Толенька, дролечка моя!“ А у меня кости болят от ее рук. Ужас, мерзость, трагедия!.. Я после нее... сижу, понимаешь, дураком и верчу палец о палец...

— Хо-хо!—залился Володька,—бой-баба! Лип к ней, теперь не отлипнешь!

— Я тебе, как другу, открылся. Не говори Людке. Что мне делать, что мне делать? Понимаешь, она мне свиданья

назначает за городом, когда долго не удается поймать меня в доме. В коридоре встретится... щекочет... или щиплет меня... Так вульгарно... по заду... хлопает. Я, понимаешь, страдалец, самый настоящий страдалец!..

— Ха-ха!—заливался Володька, давясь папиросным дымом,— молодец, молодец Пелагея! Как она нашего барина оседлала! Ох! Хо-хо! Ха-ха! Надо будет при случае рассказать Галине Сергеевне!

— И ты... и ты издеваешься?—в отчаянии бормотал Анатолий.—Галиночка не перенесет этой пошлости! Зачем, зачем, ну, зачем я связался с этой грязной бабой? Это все мать, мать, это ее домашняя... гастрономия!..

— Не валяй дурака, Анатолий,—серьезно выговорил Володька.—Теща сводничала из-за любви к тебе, здоровье твое драгоценное оберегала.

— Это ужасно, ужасно, Володька! Мне надо уехать и увезти Галиночку. Я буду служить, работать... Мне надо начать новую, чистую жизнь...

— Никуда ты не уедешь! Служить ты не можешь и работать не можешь. Плюнь на все. Пускай идет, как идет...

— Но ведь плачет душа!.. Томится... Я хочу избавиться от прошлого и... не... могу.

— Не представляйся зря—я тебя вижу поперек. Разве тут в Пелагее дело? Ты с Аграфеной не спал? А до Аграфены сколько было? Каяться устанешь!

— С Аграфеной... один раз...

— Да потому, что она тебя на соборного звонаря променяла. Я вот подучу ее, чтобы она отбила тебя от Пелагеи.

— Ты все смеешься, Володька, а у меня на сердце слезы.

— Никаких слез у тебя нет. Слезы у тебя—химические. Ты просто жеребец. Твой дед тебе по наследству распутную кровь подарил. И от тещи попала кровинка.

— Неловко, Володька, неловко. Мне вот даже тебя стыдно. Так бы все нутро и выплюнул куда-нибудь. Забыть, забыть все, увлечься чем-нибудь, а я ничего не люблю, кроме женщин. Ах, все это ерунда! Все это не так! Галиночка—единственная женщина, перед которой я преклоняюсь... Прошлого нет, нет, его не было, там была только... физиология. Галиночка не должна знать обо мне ничего грязного! Ты подействуй на Людку, я прошу тебя. Она влюблена в тебя. В ней наша похабная кровь... Ты оттолкни ее одну ночь, и она все для тебя сделает.

Володька наморщил лоб, как старое дерево в складках у дороги.

— Для чего я буду это делать? Ты пакостничай один. Мне, может быть, даже выгодно рассорить тебя с Галиной Сергеевной.

— Что? Что ты говоришь?—испуганно закричал Анатолий.— Ты этого не сделаешь!

— А может быть, сделаю!

— Но почему? Галиночка так к тебе хорошо относится. Ты раздавишь ее... Я виноват, я гадок, но Галиночка!.. Володька, ты откажись от своих слов!

— А если я люблю Галину Сергеевну?

Анатолий раскрыл свои огромные зеленые глаза, зарозовел весь, протянул вперед руки и залепетал:

— Ты... ты... ты с ума сошел! Я... я не отдам тебе ее... Я... я... ты... ты можешь нравиться... ты! Что я говорю?.. Я... конечно... шучу.

Володька захохотал на всю столовую и вдруг злобно заговорил:

— Ты дурак! Я тебе отомстить хотел за твою подлость. Ты ведь подл! Ты никого не видишь вокруг себя по-человечески, ты носишься, как с писаной торбой, со своими маленькими и жалкими настроеньицами. Ты—хам, самый настоящий хам! Ты мне предлагаешь проделать гадость с твоей сестрой, лишь бы тебе вывернуться из неловкого положения! У тебя нет даже братских чувств! Ты поместил бы свою сестру в публичный дом, ежели бы ты мог и если бы тебе была выгода! Ты продал бы ее торговцу живым товаром за одно свое маленькое желание. Ты мне мерзок!

Анатолий остолбенел, завизжал, вспрыгнул с дивана, словно из спинки дивана выскочили все пружины и вытолкнули его.

— Как ты смеешь так говорить! Кто тебе дал право меня оскорблять!

— Паяц!—спокойно забурчал Володька.—Не из-за тебя, из-за Галины Сергеевны прикрою твое исподнее белье! Нам с ней обоим приходится терпеть унижения в твоей семейке!..

Анатолий, вдруг просветлевший после слов зятя, заскакал на одной ножке.

— Володька, Володька, ты, право, понимаешь, меня не понял!

Володька поднялся и, не сводя с него упорных глаз, уходя, сказал:

— Чего тебя понимать? Ты виден, как чернильное пятно на белом. И ты глуп, как месячный щенок. Ты вот и сейчас забыл продолжить свое искусственное негодование! Какая ты шкапотина!.. Запомни это!

Анатолий завертелся в столовой, пнул загнувшийся край ковра, скатал на столе хлебный шарик и—задумался.

В столовую вошла Пелагея. Анатолий вздрогнул и быстро перешел к раскрытому окну, поворотясь к Пелагее спиной. Пелагея неторопливо убирала со стола, гремела тарелками и недовольно говорила:

— Нагадили-то, нагадили-то сколько! Половины не сожрали, остальное свиньям!

Потом подошла к Анатолию, отодвинула его упругим, как надутая шина, горячим плечом, осклабилась на него белыми зубами, заглянула сизыми, воркующими голубями глаз под ресницы ему и стала вытряхать в окно скатерть. Зад ее, обтянутый ситцевым платьем с лиловыми разлапистыми цветами, дрожал и колыхался в глазах Анатолия, а через плечо, жадно повернутые к нему, ласкали глаза и атласные глянцы щек. Анатолий бросился из столовой.

Пелагея выронила в окно скатерть, разъяренно оборотилась вся и прокричала вслед обиженным и дрогнувшим голосом:

— Заяц! Заяц! Заяц!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Каждый вечер, из года в год, в десять часов в столовой сверкал серебряный самовар, окруженный фарфоровыми чашками с позолотой фабрики Гарднера. Казалось, что на синюю скатерть спрыгнули большие церковные купола с Василия Блаженного и стали маленькими.

К десяти часам собирались все Брянчаниновы. Из мезонина приходил жилец—учитель городского училища—Тур. Потом приходили завсегдатаи—Кирик Чернов, Никита Витковский и Федя Ветошкин, студенты, приятели Анатолия. А за ними приходили приятели приятелей, подруги Люды и старые друзья Александры Александровны. Когда кто-либо из привычных

посетителей не приходил, о нем беспокоились, посылали с Пелагеей записку, а на другой день встречали восклицаниями и возгласами, словно он вернулся из кругосветного путешествия пешком и еще не обмахнул пыль с сапог. Зимой желтые огни гасились около часа, и снег хрустел под спешливыми шагами расходившихся гостей. Витковский и Ветошкин жили рядом. Они добегали до своих крылец, не надевая шинелей в рукава, в накидку. Чернов завертывал за угол. Другие уезжали на извозчиках, скрипели калошами по бульварам, скрывались в Заречье, в центральные улицы, в узкие старые переулки Козлёны, Жен Мироносиц, Пустыньки. Летами чай собирали в беседке. Первого мая выносили туда большой железный сундук, по рисунку инея на обивке называемый „морозом“, устюжской работы, с замысловатыми звенячими замками, недоступными для воровских фомок. Сундук стоял в беседке до бабьего лета, когда перебирались с вечерним чаем в дом. В сундуке хранилась особая чайная и столовая посуда, употреблявшаяся летом. Пили чай при свечах. В ветреную и дождливую погоду пролеты беседки задергивались плотной парусиной. На кухню подавали сигнал в большой рупор, как на пароходе. Выдумал рупор Анатолий. Он и вызывал прислугу.

— Покричи,—говорила Александра Александровна.

Анатолий снимал рупор с гвоздика на колонке и гудел:

— А-а-гра-фе-на-а! Пе-ла-гея-я!

— Э-эй! – отзывались глухо и далеко с кухни и наставляли в окна внимательные уши.

— С-со-ли!

— Вто-ро-е!

— Са-мо-ва-а-р!

Сначала смеялись, а когда рупор, забытый на гвоздике на ночь, украли ребятишки, лазившие за ягодами, и пришлось почти подбегать к самой кухне для вызова кухарок, бегать надоедало, бегали по очереди, то заказали новый рупор. Иногда в рупор Володька играл военные сигналы, а Витковский декламировал: „Укажи мне такую обитель“ и „Брат мой, усталый, страдающий брат“.

Сад наполнялся тогда густыми и дикими звуками, грохотала гулкая жесть, дребезжала, раскалывалась с металлическим скрежетом, царапала воздух и будто заставляла самые деревья морщиться, изгибаться ветками и дрожать недовольной корой.

В беседке зажимали уши и хохотали, а на крылечках соседних мещанских домишек говорили:

— Барыня кантует!

— Дикасится на старости лет!

Постовые городовые приходили в Рождество и Пасху с поздравлением, приходили еще почему-то в юбилейный день основания „общества вольной пожарной дружины“, получали по рублю и равнодушно внимали нарушению тишины и общественного спокойствия в летнюю пору. Выходили недоразумения с вновь назначаемыми городовыми, но они улаживались после первого объяснения, когда городовой уходил от барыни, ухмыляясь кухаркам и предупредительно закрывая голубую калитку от посторонних осуждающих глаз.

Александра Александровна любила сама разливать чай, Люда передавала. Оберегая свое здоровье от ночной прохлады, Александра Александровна к одиннадцати уходила в дом, Люда пересаживалась на ее место, а на место Люды садился Володька.

— По регла-мен-ту-у!—кричал Анатолий в рупор.

Из-за яблонь, сквозь лиственницы, в двенадцатом часу загорался желтый огонь в мезонине: то приходил из города Тур. Он уклонялся от чаепития в саду: давно и настойчиво он кашлял, гнил легкими, выхаркивая их весной и осенью красными плевками.

Анатолий кричал в рупор:

— Тур! Иди чай пить!..

Галина Сергеевна отнимала рупор и не давала звать Тура. Но чаще Анатолий успевал прокричать. Услышав звук трубы, Тур медлил, волновался, раздумчиво стоял у окна и слушал, как смеялись в саду, как будто смеялась сама ночь, смех вкрадывался ответно в сердце и будоражил его. Потом он переводил близорукие свои глаза на небо, видел подмигивающие ночники-звезды, месяц в серебряной упряжке, курившиеся трубы облаков, и вздыхал, ероша волосы. Ему становилось жалко не насмотреться на эту ночь со звездами и месяцем, закрыть окно и отгородиться старой, скрипевшей петлями рамой от смеха и веселья беседки.

А голоса звали:

— Тур! Тур! Тур!

Вот и сегодня они звали, и Тур беспокойно прислушивался.

Тур обмотал горло теплым шарфом, поднял воротник пиджака, как краешек у противня, спустился по наружной лестнице

во двор и, внимательно глядя на свои ноги, осторожно ступал между гряд и клумб на колеблемое в беседке, будто расплавленная медь, пламя свечи.

— Тур! Тур! Тур!—кричал рупор.

— Я не Тур, а Туркин,—тихо сказал он, входя в беседку.

— Иначе—заблудший Тур, представитель самого скучнейшего на свете учения,—произнес Чернов, широкий, как итальянское окно, склонившийся к столу белой рубашкой с кубовым галстуком.

— Заматорелый во утробех!—прооктавил Витковский, прищурившись глазками как жолуди в темноте ресниц.

— Зачем вы пришли? Вам вредно!—укоризненно сказала Галина Сергеевна.

— Пустяки!—отмахнулся Тур.

— Ему вредно только женское общество,—сказала Люда,—он потом не может долго спать.

Тур закашлялся.

— Да, женщины очень утомляют. У меня здоровье, как у киевских богатырей,—Чернов погладил свою большую грудь,—а я тоже ношу женщину в груди и не могу спать.

— Вам лучше носить тяжести,—засмеялась Галина Сергеевна.

— Можно и тяжести. Женщина стоит любой тяжести.

— А я предпочитаю женщин носить на руках,—зазвенел весело Анатолий.

Галина Сергеевна потупила глаза и легонько покраснела. Люда усмехнулась за самоваром. Федя Ветошкин задумчиво посмотрел на Анатолия и, скрывая усмешку в складочках губ, выговорил тихо:

— Анатолий находится под влиянием рассказа о похищении сабинянок. Он вчера прочитал об этом в старой исторической хрестоматии. Володька ему принес.

— Да,—вставил Володька,—он при мне прочитал раз пять о сабинянках и хочет написать собственный рассказ.

Анатолий не ответил, насупился и начал жадно глотать чай.

Густая и теплая темнота, как нагретые человеческим телом меха, обнимала и окутывала ночной сад, подгорала на свече и падала чернотой наземь.

— Так вот, Тур,—сказал Витковский,—мне тут один мужик припомнился: рубят у отца беседку в саду—„люди, говорит,

барин, на свете становятся все меньше и меньше, а машины все больше и больше". Это сравнение, я тогда же подумал, очень подходит к марксистам. Они механизируют людей.

— Ну да, ну да,—оживился Тур,—все это очень хорошо, очень остроумно, очень образно. Мужики мастера говорить присказками. Но вы-то чего с такой охотой повторяете мужицкие каламбуры? Повторяете будто какое откровение! Будто какую-то самозащиту видите в мужицкой наблюдательности! А я вам скажу, друзья, законы исторического развития общества непреложны. И как бы вы ни кудахтали, как бы вы ни возмущались их железной необходимостью, они свое дело делают. Не человек механизируется, труд механизируется и будет механизироваться. И только в этом—благо...

— Ах!—перебил Чернов,—машины заменят человека, человеческий труд сведется на-нет—и начнется гармоническое развитие личности. Все это мы знаем и слыхали. Но какая в этом непреоборимая тощища и скука. Я вот электротехник. Мне ли, казалось бы, не понимать и не ценить техники, а я ненавижу ее. Она, проклятая, просвечивает электричеством внутренности человека... Вместо кишок, вместо расстройства желудка организует этакий аппарат, аккумулятор, двигатель... Марксисты, особенно наши российские, напоминают мне огородников. Посадит этакий самый марксист-огородник семя на гряду и сидит над ним, как кура на яйцах, дожидается, когда семя выйдет на волю. А ничего и не выходит...

— Положим,—возражал Тур,—редкое семя пропадает в почве. Вы рассуждаете, как рассуждали ваши старые бабушки. И вы—в этом смысле—реакционеры. Мы вот тут жуируем, чаи распиваем да разговоры разговариваем, а заглянуть бы сейчас на Числиху, в Ехаловы—что там делается?

— Я знаю,—вставил Володька,—что они там делают: денная смена пьет по кабакам, а ночная смена на работе мечтает напиться завтра.

Тур горячился, кашлял и прикладывал крепко к губам платок.

— Пускай, пускай, а все-таки за ними будет победа. Как только они поймут свою историческую роль, они молотом, как кузнецы кувалдой, железной бабой, разобьют вдребезги классовое общество.

— И откуда в тебе эта тупость мысли, Тур?—глядел и говорил с сожалением Чернов,—и эта глупая мечтательность? Надо сотни лет, чтобы раскачать тупую и серую рабочую

массу, не говорю уже о России, где надо во сто раз больше времени. А что с мужичками будете делать? В фабричном котле будете вываривать? Да пойми ты, если бы рабочие, предположим невозможное, захватили власть в стране, мужики бы их вручную смололи на жерновах, как муку мелют.

— Может, так и случится: до поры до времени всякое загадывание—пустое дело. Путь к счастью наверное даже будет кровавый и тяжелый, но по какому другому пути можно притти к счастью? Никаких других путей нет. Все другие пути—обман пролетариата. Рабочие—цемент нового мира!

— Пошлости, пошлости говоришь,—сердился Чернов,—казенные истины, казенный ты человек, Тур!

Где-то в саду забила крыльями спросонья птица и взлетела в деревьях, другая птица заворковала, затоковала, зашелестело дерево в темноте, словно пролился невидимый фонтан на землю... В беседке замолчали и прислушались к птичьему бреду.

— А я вот,—вдруг сказал Володька,—смотрю в жаркий день на мух, особенно после обеда, и думаю: а ведь мухи-то на-аши ходят по скатерти. Я—собственник.

Тур серьезно мешал ложечкой в стакане. Свеча доплывала в подсвечнике, капая на подстановку. Пламя извивалось, распрямлялось широкими языками по темной бронзе, как распрямляется примятый ногой на лугу мак.

— Рано или поздно,—ни к кому не обращаясь, мигая на свечу, тихо говорил Тур,—мир устроится. И, может быть, скорее, чем мы думаем. И наша задача—приближать это устройство. Я буду счастлив, если мне удастся пробудить сознание хотя бы у одного рабочего...

Кирик Чернов засмеялся и завсплескивал руками.

— Ты—счастливый человек! Ей-ей, ты счастливый! Тебе не о чем думать! У тебя все додумано до конца: на такой-то странице то-то, на такой-то то-то. У тебя на мозгах нанесена этакая схемка, чертежик, профиль пути... Бытие определяет сознание—и баста. Пролетарии всех стран, соединяйтесь—другое баста. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Лассаль, Карл Каутский, Плеханов—третье баста. У тебя перед глазами фантастические рабочие чуть ли не завтра восстанут, перекувырнут мир вверх тормашками и начнут из пальца высасывать демагогический рай. От всей этой брандахлыстики получается не рай, а раёшник. Твои герои недалеко еще отошли от зверей.

Им надо еще доказывать полезность мыла, а ты их делаешь пупом земли. Развращаете вы их своей болтовней. Жалкая кучка интеллигентов выдумала себе очередных богов и ползает перед ними на четвереньках. Одни мужиков славят, другие—рабочих. А мужики пропагандистов—урядникам, а рабочие—администрации.

— В Европе,—вставил Ветошкин,—кое-какие данные есть для скучных выкладок Маркса, а у нас впору бы выучить вежливости городового.

Тур возмущенно захрипел:

— Вы... вы комнатные люди! Вы послушали бы, что говорят рабочие. Вы послушали бы, как они относятся к японской войне! Вы рабочих только у кабаков видите. В рабочем нутре урчит, бродит, там назревает революция...

— Ха-ха!—захохотал Анатолий,—нарывает революция!

— В некультурной стране революция?—спросил Витковский.—Может быть, даже социальная революция!

— В мезонине у него резолюция!

— Ах, Тур, Тур!

Уже таяла и вторая свеча. Ночь отодвигалась от беседки. Сквозь сирени угадывалось, будто разрастались по саду белые цветы и захватывали одну полянку за другой, белили темноту, прогоняли ее из заросших аллей. В беседке молчали, словно забыли все человеческие слова и никак не могли вспомнить их снова.

Люда складывала грудками посуду.

Володька перетирал полотенцем и носил в сундук.

Тур поднялся первым и тихо заковылял по саду. За ним уходили другие.

У крыльца Тур, волнуясь, говорил вполголоса:

— Вот вы увидите, вы увидите! Вы слепые... Она идет, идет...

— Дойти только не может!

— Скачет мальчик на палочке!

— Ужо́ тебя городовой!

— Не шутите громко,—предупреждала Галина Сергеевна,—это становится опасно. Везде рыскают сыщики. Вчера в Земской управе в библиотеке был обыск.

— Правительство... то́ понимает надвигающуюся для него опасность,—шептал Тур,—обыски, аресты, ссылки, виселицы... А вы благодушествуете! А вы спокойно спите!..

— Ты не спишь зато, и другим мешаешь спать, бродишь ночами над головой у нас с Галиночкой!..

Володька и Люда закончили уборку посуды. Люда зевнула и, вытягиваясь, положила руки на плечи мужу. Володька жадно схватил ее, поднял и понес между влажных кустов сирени, черной смородины, акаций. Люда прижалась к нему, закрыла глаза, подставляла лицо под ночную росу, кидавшуюся с веток холодными каплями.

Снова сходились в беседке. Пили ненасытными губами молодость, поцелуи, жизнь, не считали вечерних часов, закатов, опадающих рос. Трубил Анатолий в рупор, Тур прятал в кармане платок с красным горошком, тлели взгляды на оплывавших свечах, струились смехом, негодованием, спорами...

Текли лета́. Земля, как дно золотого океана, прорастала цветами, зелеными травами, плодами. Над землей шелестели пахучие полы ветров, будто подбирали они все запахи цветущих долин, лесов и цветников земли. В густом цветочном воздухе ходили бронзовые женщины с обнаженными шеями и носили упругие, не устающие рожать животы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несколько раз в году устраивались званые вечера. Тогда приходили дальние родственники, знакомые для званых вечеров, барышни для танцев и нужные в житейских обстоятельствах люди. Столы тогда уставлялись в зале. Накануне Александра Александровна выезжала в банк. Пелагея и Аграфена надевали выходные сарафаны и получали по белому переднику из железного сундука в коридоре. На столах было тесно от кушаний и вин, как на прилавке в гастрономическом магазине. Когда Витковский и Анатолий поочередно вылезали из-за стола и выходили, покачиваясь, из зала, Александра Александровна давала знак выкатывать столы в столовую. Алая Пелагея ловко выметала сор, Ветошкин топал ногой. С кухни приходили старичок-тапер с пробором на голове, в клетчатом пиджаке с малиновым галстуком и садился за рояль.

Танцовали за-полночь, обхватывая крепко и горячо женские талии, оставляя на белых платьях потные пальцы рук, касаясь ненароком грудей, вздрагивая от прикосновения ног и запахивающегося на колени платья.

На разогретых диванах, в тесноте, в полуобъятиях пылали кипятком крови и сдерживали дыхание. С диванов жадно смотрели, как плыли мимо, кланялись и дрожали белые вазы женских торсов, как из белых ваз вырастали розы, васильки, колокольчики женских голов, а вокруг ваз обвивались черные руки-змеи мужчин. В гостиной играли в преферанс старички, старухи, неуклюжие и некрасивые молодые люди, не имевшие надежд на обладание женскими сердцами, любившие по бульварам и на ночных улицах.

Званые вечера были похожи один на другой, как похожи были одна на другую белые колонны в зале, вставшие в хоровод по паркетному полу.

Званый вечер был под Ильин день. После ужина тапер сел за рояль. И пары закружились.

Анатолий бродил за женой и шептал ей в уши:

— Гали-и-ночка! Мы уедем из этой пошлости... мы в голубые края... и... и... разные страны...

Галина Сергеевна, супя брови, как два крыла ласточки, шептала:

— Уйди от меня: ты пьян! Не давай повода издеваться!.. Не замечай меня...

— Володька!—шептала полупьяная Люда и клала ему на колени горячие руки,—на тебя смотрит Галина. Я ей не позволю, я ей устрою скандал. Ты—мой!

— Пускай смотрит эта кикимора,—шептал Володька, захватывая пересохшими от вина губами кромочку розового уха жены,—ты мой, мой шип-шип-лёночек!

Люда звонко засмеялась, кровь кинулась ей в лицо и осталась ожогами на щеках.

— Пойдем в комнату... сейчас... при всех...—бормотала Люда.

Глаза ее полузакрылись и глядели на Володьку в узкие щелки через золотую травку ресниц.

— Скоро, скоро... Когда уйдут...

Люда жала руку Володьки и острым ногтем мизинца колола ее.

Приятели Анатолия сплетничали за колоннами, разглядывая Люду.

— Похабная семья! Мамаша для сынка и для дочки пример... добродетели...

— Да. Она толк знает...

— Ты подумай, она последнего своего мужа совершенно замучила... изревновала. Болван такой был... Говорят, постоянно сидел на кухне около кухарок. Любил помогать картошку чистить. Никому не давал щепать лучину для самовара. Наготовит белую груду и... доволен. Потрудился, видите ли! Так вот—достаточно увидать Александре Александровне—пуговица у него на жилетке не застегнута, выходила из себя. Устаревать стала: боялась за своего заскребыша... Как бы не отбили кухарки!

— Ха-ха!

В креслах приятельницы Александры Александровны умильно глядели на танцующих и обменивались дружескими шопотками.

— Все труднее и труднее, Мария Ивановна, становится жизнь. Вы подумайте, мясо стоит четырнадцать копеек, масло тридцать пять!

— Ах, не говорите, дорогая, все, все поднимается в цене. Мы с вами в один год вышли замуж: мясо стоило шесть—семь копеек, масло—пятнадцать. А теперь, а теперь!

— Мы доедаем последний лес.

— Вы продали Миглеевскую дачу?

— Я так плакала, плакала... Муж проиграл в клубе земские деньги, надо было внести в кассу—и к тому же дочери на выданьи... Жалованья не хватает. Пришлось расстаться с дачей. А лес-то, а лес-то какой! Корабельный лес! Купчишка Кирпичников приобрел. Уже вырубает. В Кореневе остался один дом. Требует большого ремонта. Крыша протекает, обвалилась терраса, в прошлом году упали хоры. Едва-едва спаслись дети: играли они в зале. Счастливый случай: чуть-чуть не на головы свалились хоры.

— Вот, скажите, холили-холили дачу и вдруг... Мы тоже не знаю как сводим концы с концами. Через два—три года, кроме жалованья мужа, не останется решительно никаких доходов. И местность, знаете, под городом очень беспокойная и опасная. Мужики по полгода на фабриках, снюхались со студентами, с революционерами, нахватались от них верхушек... Представьте, два месяца назад на дверь в канцелярию мужа осмелились налепить ночью какой-то безграмотный листок. Мужиков в этом листке призывали не платить подати, не ходить в солдаты, и даже против религии были кощунственные слова. Хуже того—там сказано про земских начальников. Степочка мой с тех пор выезжает в волость с большой опаской.

Того больше боимся мы за него. Эти хамы могут подстеречь в перелесках, у мостов—приходится и ночью ездить—и убьют... Вы слыхали, как они жестоко расправляются с конокрадами?

— Да, да, да.

— Эти звери стали очень распущенными. В деревне пьянство, разбой, разврат.

— Как доживем только свой век?.. Дворянство падает. Наша уважаемая Александра Александровна тому наглядный пример. Вы подумайте, вы подумайте, она выдала свою дочь за какого-то канцелярского писца без роду и племени.

— Кто он такой, я точно не знаю! Где она его откопала?

— Вы видите, у нее расхожий двор. Где-то ее вечный студент Толенька познакомился с ним и притащил в дом. Говорят, с Людочкой было что-то неблагополучно... Она увлеклась цирковым атлетом. Необходимо было потушить начинавшийся скандал. Этот писец только что вернулся раненый из Манчжурии. Без места, без куска хлеба, он с радостью приютился на готовые хлеба. Людочка, конечно, втюрилась в него по уши—она на мужчин неразборчива—и стала дамой...

— Ха-ха! Как это зло сказано!

— Правда, он мужчина видный. И, говорят, очень неглупый. Но проходимец. Смотрите, смотрите, как кокетничает с ним Людочка! Даже неприлично! А знаете, чем он теперь занимается?

— Ну, ну?

— Он—букинист.

— Ха-ха! Ха-ха!

— Букинист Пуговкин! Ха-ха!

— Но может быть, это выгодное занятие?

— Полноте! Но хотя бы и так! Срам-то какой! Зять столбовой дворянки—букинист! Ха-ха!

— Толечка не далеко ушел. Он ухаживал за моей Зиной. Слава богу, что я избавилась от такого зятя. Пожалуй, Пуговкин лучше.

— Я... слышала... Зиночка... плакала...

— Ах, что вы! Это досужие разговоры. Зиночка едва от него отбилась. Он так к ней приставал! Она даже, оскорбленная, не пожелала быть на его свадьбе.

— Женился он на простой учительнице. Приданого—одни учебники. Людочка и невестка терпеть не могут друг друга.

— Я слышала—невестка себе на уме. Держит себя очень высокомерно, несмотря на низкое происхождение. Толенька у ней под башмаком. Ее побаивается сама Александра Александровна. И вообще, говорят, она—революционерка.

— Не разберешь тут толком. Опасный дом. Александра Александровна будто бы души не чает в зяте, а может быть, и... еще что-нибудь?

— Хи-хи! Ах, что вы! Она же старуха!

— Императрица Екатерина Великая до восьмидесяти лет жила с молодыми мужчинами!

— Конечно, Александра Александровна... старая распутница, между нами будь сказано... От нее все может статься!

— И будто бы Пуговкин добивается склонности у Толечкиной жены. Людочка ревнует. У них происходят безобразные сцены. Анатолий, как рехнувшийся, ходит за женой, не видит и не слышит... Горшки за ней выносит... Подумайте, я слышала, даже кухарки тут замешаны вместе с господами...

Дамы закрыли платками рты и подавленно засмеялись, искрясь друг на друга задвижками глаз, дошептывая на ухо рассыпавшийся бисер дружеских излияний. Люда, танцуя, остановилась около них и, запыхавшаяся, упала на порожнее кресло. Дамы приникли к ней.

— Милочка, как ты похорошела!

— И раздобрела!

— Тебя мы не узнаем!

— Твой муж—душка! Высокий, стройный!

— У него военная выправка!

— Он, кажется, георгиевский кавалер?

Люда знала цену расспросам. Она зарозовела и вспыхнула внутри, как огонь под жаровней, но приветливо заулыбалась и, задышав вместе с колотками сердца под корсетом, отвечала, делая трубочкой рот:

— Он простой солдат. Но он мой муж—и этим все сказано.

Люда поднялась с кресла, протянула руки, на талию к ней легла рука кавалера, и, качнувшись луками крепких бедер, она, как легкий экипаж, покатила по круглому залу.

— Действительно, этим все сказано!—недовольно шепнула одна дама другой.

— Но не уйти ли нам после такого приема?

— Она неучтива!

Александра Александровна, кончив играть в карты, обходила гостей. Дамы поспешно усаживали ее рядом с собой.

— Людочка—вострушка!

— Она, кажется, вполне счастлива?

— Как трудно жить!

— Молодежь веселится!

— Пусть попрыгают!

— Придет время—насильно не заставишь себя сделать лишний шаг.

— Анатолий... вот кончит университет...

— Невестка со странностями, но она женственна...

— Она служит в Земской управе?

— Не хочет есть мой хлеб. Анатолий каждый месяц приносит ее жалованье мне и получает его тут же от меня на мелкие расходы.

Александра Александровна засмеялась. Дамы покачали головами—и все трое, склонившись друг к другу, начали вытирать заслезившиеся от смеха глаза.

— Подходит старость. Болею. Очень маюсь животом. Зиночка выходит замуж?

— Как будто бы, не знаю еще!

— Скрытная, скрытная!

— Нет, право!

— Тур у вас живет давно?

— Да. Он ведь воспитанник моего покойного мужа. Тот подобрал его в своей деревне как способного мальчика. Я привыкла к нему, как к своему. Мы же и окрестили его из Туркина в Тура. Вы посмотрите, у него действительно голова походит на голову тура. Вы бывали в Зоологическом? Он застенчив, словно девушка в брачную ночь. Как-то Людочка выскочила на него в одной сорочке. Ха-ха! Тур закрыл лицо руками и отвернулся к стене. А та, плутовка, поборов смущение,—он же не похож на мужчину,—встала позади и принялась гладить по волосам. Потом с хохотом убежала.

Дамы быстро переглянулись и хитро заулыбались. Александра Александровна сделала вид, что не заметила, и продолжала со смехом:

— Мой дурачок Анатолий и посейчас его дразнит. Тур, говорит—и погладит себя по затылку. Тур краснеет и шевелит пальцами. Уморительно! Так веселится молодежь!

Александра Александровна кивнула головой дамам и перешла к другим гостям.

Дамы заговорили вполголоса, придвинув вплотную кресла.

— Уморительно! Нечего сказать!

— Нет, какие у них вольные нравы!

— Я больше ни ногой в этот дом. Да, да. Будут приглашать, я скажусь больной.

— И я. Это невозможно!

— Эти постоянные сборища молодежи! Две молодые дамы. Я многих гостей встречаю в первый раз. Я не знаю, какого они круга!

— Какой-то своеобразный колорит на этих званых вечерах.

На диване в гостиной Ветошкин, бледный и злой, бурчал Зине:

— Зачем ты привезла свою мать?

— Но как же, Федя, было сделать?—оправдывалась Зина.— Ее тоже пригласили.

— Ты отправь ее—и останься.

— Это немыслимо. Мы встретимся завтра.

— Ты придешь ко мне?

— Нет, неудобно. Могут узнать. Я жду тебя в четыре у Герасима Преподобного.

— Не обманешь?

— Отделаюсь от жениха—и приду.

— Ты прогони его совсем. Он у тебя отвратительный!

— Лучше тебя.

Зина шутливо поколотила веером по его лицу и перебежала в зало к матери.

— Мама, я так утомлена... я затанцовалась... я хочу домой.

— Вот как! Послушайте, Антонина Ивановна, не мы, а нас, стариков, тащат домой с бала!

Галина Сергеевна стояла у колонны с Туром и что-то тихо говорила ему. Тур глядел из-под очков, блиставших под спустившимися на лоб волосами.

Анатолий подбегал, дыбал на тонких ножках, подтаскивал приятелей... Они обступили говоривших и дышали им через плечи. Анатолий шумел визгливо и резко:

— Смотрите, ребята, Тур у меня публично отбивает жену! Ха-ха!

Галина Сергеевна угрожающе, вполголоса, процедила на ответ:

— Толя, надоело и... противно. Прошу тебя!

— Гали-и-ночка!—бормотал Анатолий,—я... я от преизбытка чувств!

Галина Сергеевна неловко отодвинулась к Туру от покачнувшегося мужа.

Приятели потащили Анатолия.

— Пойдем, Толька, ты, брат, пока что здесь лишний... Еще успеешь надоесть!

— Галиночка,—испуганно спрашивал Анатолий,—я лишний? Я лишний?

И пытался вырваться из рук приятелей к жене.

Галина Сергеевна долго и внимательно смотрела в бегавшие по сторонам глаза мужа, тот не выдержал ее укоризненного, грозившего взгляда, махнул ручкой, смялся, повернулся на каблуках, бороздя паркет, и отошел.

— Ему не надо пить,—сказал Тур,—он делается странным. Таким бывает человек, когда потеряет что-нибудь ценное для него.

Галина Сергеевна отыскала глазами в толпе Анатолия и отвела их к Туру.

— Вы не знаете его. Он ревнует меня. И становится... неприятен.

Тур покраснел, закашлялся, смял в кулаке платок, приложенный к губам, и сунул его, вжал в карман, будто боясь, что платок упадет нечаянно на пол.

— Ко мне?

— Ко всякому мужчине. И даже к женщине.

— Нелепо как! Как нелепо!—пробормотал Тур и вытер проступивший под серыми кисточками волос на лбу горячий пот.

Володька сидел среди стариков в маленькой гостиной. Его держал за отворот пиджака друг дома старичок Лихарев и гнусавил:

— Владимир Васильевич, петровского времени у меня все выдающиеся тиснения налицо. Восемнадцатый век у меня представлен так—пальчики оближешь. Маленький провал имеется в эротике. Вы мне, друг любезный, я пришлю вам записочку, подыщите один ассортиментик... Вам я советую собирать ex-libris'ы. Могу, конечно, в обмен на недостающие у меня книги предоставить вам дублеты имеющихся у меня ex-libris'ов, так сказать, положить начало вашей коллекции. Могу вам посоветовать продолжать начатое было мною в молодости

коллекционирование типографских опечаток и всевозможных книжных ляпсусов. Чрезвычайно увлекательнейшее дело, оставленное мною по непредвиденным, чисто служебным обстоятельствам моей разъездной по губернии службы в должности следователя. С величайшей готовностью уступлю вам сорок малого размера папок с вырезками, вы сами понимаете, конечно, за соответствующее предоставление мне разыскиваемых мною и неуловимых доселе книжных инкунабул. Собирание ex-libris'ов и типографских опечаток не требует специальных знаний и подготовки. Вам, как начинающему, это будет весьма подходящее коллекционирование.

Володька почтительно поблагодарил старичка и дерзко посмотрел ему в глаза.

— Благодарю вас, Иван Дмитриевич, но я думаю заняться составлением словаря всех книг в нашей губернии, вывезенных, разворованных и мошенническим путем попавших к собирателям.

Лихарев, Иван Дмитриевич, изумленно вглядеся в собеседника.

— Но... какая цель? И... где у вас соответствующая подготовка?

— Цель—доказать вредность коллекционирования, развращающего собирателей, делающего их опасными членами общества.

— Вы меня мистифицируете, дорогой Владимир Васильевич!—дрожащим голосом воскликнул старичок.—Коллекционирование—великая цель жизни. Коллекционеры—высшие существа не от мира сего на земле. Если бы все образованные люди начали собирательство в его бесконечных разновидностях, все задачи политической и социальной истории человечества были бы разрешены. Коллекционирование—это удаление в пустыню, аскетизм. Во всем мире прекратилась бы борьба партий, парламентов, классов. Человечество отреклось бы от всяких будничных интересов. А вы хотите заниматься каким-то уголовным розыском среди коллекционеров, этих лучших существ культуры... При ваших взглядах на коллекционирование, трудно понять, почему вы посвятили себе прекрасному, с моей точки зрения, посредничеству по доставлению высшей радости собирателям, выискивая для них по таинственным подвалам и чердакам памятники человеческого ума и гения—книги всех времен и народов! Вы вашей затеей, надеюсь, которую вам осуществить не удастся, нанесете вред культурному собирательству. Я первый откажусь покупать у вас и не пожелаю вас видеть у себя,

предполагая дурные цели вашего посещения. Я бы сказал даже больше — в проекте предполагаемого вами труда скрывается тайная оппозиционная мысль—ошельмование представителей интеллигенции и дворянства, занимающихся собирательством. Ваши цели встретят осуждение у всякого благомыслящего человека.

Анатолий, ухмыляясь, подошел во время разговора к Лихареву и вытянулся. И как только тот кончил, Анатолий пьяно обнял старичка и закричал:

— То́к! То́к! То́к! Иван Дмитрич, а когда возвратятся в дедушкины шкафики плавающие-путешествующие книжечки... этакие золоченые... этакие маленькие крошки... хи-хи... с амурчиками, огурчиками, симпампурчиками?..

Старички весело заперекидывались глазками.

— Годик, а то и другой годик,—продолжал Анатолий,—они в безвестном отсутствии... не показываются... а местечко в шкафу пустенькое... братцы их скучают, Иван Дмитрич! Мы, может, с Володькой торговать хотим дедушкиными книгами? Нам... эти книжечки... топ-топ... капитал составят!..

— Так его, так его, старого греховодника!—незаметно подплыла Александра Александровна,—торговать не торговать, а сувенирчики дедушкины на место... на место...

— И будут, и будут, дорогая!—зажмурился Лихарев, целуя руку, знакомую губам сорок лет.

— Когда же они будут?—не переставала улыбаться Александра Александровна.

— Скоро, скоро, скоро!

И вдруг, приятно отулыбавшись удалявшейся Александре Александровне, старичок повернулся к Володьке и обиженно сказал:

— Я, к крайнему сожалению, Владимир Васильевич, должен просить у вас объяснения касательно вашего поведения. Не счесть ли мне ваши слова о почтенном деле собирательства и не менее достоуважаемых собирателях и коллекционерах как очень прозрачный намек о находящихся у меня книгах из библиотеки, ни в коем случае не связанной с вами, выданных мне моей дорогой и близкой по духу Александрой Александровной на прочтение и ознакомление?

— Ива-а-н Дмитрич! — опять вмешался Анатолий и пьяно обнял старичка,—не увиливайте! Придется вам книжечки на полочку поставить... Дружба дружбой, а... а книжечки врозь...

Я к вам завтра, угодно не угодно, приеду за малюточками.. Приеду, приеду, Иван Дмитрич!

— Постой, братец!—оттолкнул его Лихарев.—Ты через градус!.. Дай кончить. Я жду ответа, Владимир Васильевич.

Володька уперся неморгающими глазами с ответом в них в беспокойную зыбь глаз старичка—и выдавил:

— Я не думал, Иван Дмитриевич, что вы собираете еще книги по черной магии и отгадываете чужие мысли. Впрочем, как вам угодно, так и понимайте!

— Ну, хорошо, очень хорошо!—засеменил другой старичок в прюнелевых сапожках,—недоразумение исчерпано! Иван Дмитрич получил удовлетворение и... всё по-хорошему

Коллекционер продвинулся бочком и вытолкнул себя в залу.

— Этакие эти занозы молодые люди!—недовольно протянул он примостившемуся к нему старичку.

— От греха подальше!

— Глядит не мигнув, сказав дерзость старому человеку!

— И так это грубо... откровенно... книжонки пустые... Правда, они бы не помешали, вы понимаете, для полноты собрания, так сказать—для округления, но я завтра же, завтра же их отошлю... с благодарственным письмом и... с таким, знаете, деликатнейшим намеком царице моих молодых чувств, Александре Александровне,—благодарю, не ожидал.

— Вот, вот, вот!

Часовая стрелка перекачнулась за двенадцать. Старичок-тапер чаще и чаще сбивался и нажимал педаль. Меньше и меньше кружило пар. Танцы оканчивались само собой. Аграфена второй раз кормила на кухне тапера.

После танцев играли в фанты, в почту, в кошку-мышку, в шарады. Анатолий посылал одну за другой записки Галине Сергеевне: „Галиночка! полюби твоего сирого для мира Тольку“. И Галина Сергеевна отвечала: „Комедиант! Ты сегодня ничего не получишь“.

Анатолий шарашился объясниться с женой, наклонялся к ней с умоляющими, ненасытными глазами. Она говорила ему вполголоса:

— Я уйду к себе, если ты подойдешь ко мне еще раз. Мне стыдно. На тебя гримасничают.

Анатолий отошел, замолк, прислонился к роялю, беспомощно вытянув по лакированной спине рояля свою руку. Ему носили новые и новые записки, он, не читая, складывал их стопочкой.

Зало шумело. Звонко вскрикивали девушки в мужских руках. Смеялись и хлопали в ладоши над неловкими игроками в кошку-мышку, над несуразными ответами шарад.

Анатолий безучастно глядел и скучал.

Володька показал глазами Люде на брата и шепнул:

— Или дошел... или представляется перед новой шашней!

А Люда вдруг злобно сжала пухлые губы, отчего они стали похожими на красную пушистую ткань, и бросила резко:

— Что тебе от него надо? Тебя никогда не любили так женщины, как моего брата!

Володька сделал преданные глаза:

— Кис-кис-кис!

Люда заулыбалась и поёжилась, почувствовав пониже корсета осторожно прильнувшую к горячему бедру горячую руку.

Перед рассветом разъехались последние гости. По комнатам устало раздевались Брянчаниновы и Пуговкины, в мезонине ходил Тур. Аграфена с Пелагеей проветривали комнаты через раскрытые окна и двери, дежурили, пока кислый запах папирос, сигар, вин, цветов не выдымится на улицу.

У НИКИТЫ НА ПОГО́СТЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Всю зиму шли с Чарымы тучи с снежной поклажей и разгружались на погосте у Федора Стратилата, на На́волоке. Давно садили сосну за каменной оградкой, но не поднималась она выше человеческого роста, обламывало ей голову снегами, раздавалась она только в ширь и хирела. Высокое, прямое дерево сосна, не любит она тучности! Впрок шла кладбищенская костяная земля сереброобровому тополю и сизому ветляку, а глубокая снежная наваль пуховой периной грела сосуны-корни. Как обтаивал снег по весне, черной решеткой лежали у комлей сломанные веточки, ветки тополей и ветл. А не убывало. Когда приходило время рядиться на Троицу, трескались припухлые от зеленого сока и клея почки и складно развертывались листками. С прохладцей скатывалась полая вода с погоста, подмывала могилы; поклончивое дерево ветла изгибалась за водой, а тополя мокрогубые и вверх лезли и в обхват полнели. Будто и не было сердитой, ломучей дереву зимы. И густели на погосте с избытком дерева от солнечного согрева тенистой рощей-плескуньей.

Церковную сторожку тополя обложили осадой, трубу закрыли лапами, нависли бровями-наличниками над окошками. Никита сторож лазил с топором каждую вёсну, сек, рубил, крушил тополя, они снова неунимчиво налезали. А на корню срубить жалко, бок обтесать того жальче—погорбишь дерево. Так и стояли хозяевами.

— Тополь, как гнилой зуб,—говорил Никита.—Распаршивое растенье! А попробуй без тополя! Зимой с погоста сдует. А то за ночь на голову заместо шапки сажень белого товару накладет. Так-то, племяш! И от тополя служба немалая!

Сережка смеялся и поддакивал.

— И нам кстати.

— И вам усторóнье хорошее.

Другой год в сторожке у Никиты собирались заводские и фабричные кружки: Сережка свел с дядей-бобылем. Платили Никите по двадцать копеек за раз, на веники; сорили много в сторожке. Сдавали на сохраненье Никите книги, листки; нужных людей прятали в сторожке. Когда прятали нужных людей, платили дороже. Промышлял Никита по-родственному. Складывал двугривенные в кисет, а по субботам шел в город в ренсковой погреб. Любил Никита бальзам.

Поп зазвонил к Никите по требе в неположенное время. Никита застранил попу дорогу в сторожку и вкрадчиво и виновато въелся голосом:

— Племяш с товарищами зашел, батюшка! Ну, конешно, и винишко в угощенье дяде, мое дело сторона!

— Не место вину на кладбище,—твердо сказал поп,—пусть закладывают у себя дома.

— Это верно, батюшка. А как же к дяде и не зайтить племяшу! Ровно бы родство почитать след?

— Родству я не мешаю. Я против вина, Никита, говорю. С вином сторожка церкви плохая.

— Так я-то, батюшка, чуть дыхну, мое дело сторона! Да и племяш-то у меня не больно усердствует. Боле для плепровождения времени. Церковь я блюду, кажись, так банк с деньгам солдаты не блюдут.

— Церковь—самое главное. Без повторенья чтобы в следующий раз...

Собирались в неделю два раза. Летом и осенью ходили с лугов. Перелезали в условленном месте через ограду под ветлой. Избоченилась тут ветла в поле широким боком—и прикрывала. Ходил тогда за оградой Никита и бил в колотушку мелким горошком. Когда не работала колотушка, пережидали на той стороне под ветлой и не перелезали. Уходили и так. А то колотушка, помолчав, затевала свою деревянную игру и звала. Во всякое другое время Никита сидел у калитки, поджидая от города, и остерегал. Сережка к дяде ходил прямиком.

Выставляли на стол, как собирались, зеленый стаканчик, каменные кренделя и заговоренную бутылку водки: не убывала она, под красной занавеской в горке дежурила у Никиты. Окно Никита держал под ставней. В старый заброшенный склеп за сторожкой, под ржавым замком без ключа, замок от дурака,

носил Никита полежалое, отворачивал березовой плахой, прислоненной в уголок, надгробную плиту, вынимал кирпичину в коробке под плитой, вкладывал в выбоину нужное, кирпичом закладывал и плиту поворачивал на положенное место.

Когда не платили в срок на веники, Никита не подымал колотушки и не выходил на лавочку к калитке. Исправляли дело через Сережку.

— Ты поглядывай, Серёга,—сердился Никита,—выдачу путают. Беру мало, и того не отдают в срок. От фатеры откажу мигом.

Сережка припасал деньги и пересмешничал:

— Деньги верные, сам знаешь! Какой ты есь леволюционер после этого: подождать деньги не можешь!

Никита пугался.

—Ты, Серёга, это напрасно, мое дело сторона! Чуть што, смотри, я не повинюсь. На тебя свалю все происшествие. Уговор такой был. От тебя на заварку пошло дело. Дядья не ответчики за племянников.

— Как еще и ответишь-то!

— Шутки шутишь! Я, брат, с боку припёка. Мне царь не мешает. Я не согласен против него иттить. До чужого дела мне надобности нет.

— Деньги зачем берешь тогда? Это тебе и зачтется.

— Бальзаму охота, потому и беру. Бальзам для брюха очень пользителен. Брюхо у меня, как дупло сухое, кишки подсыхают, до вѐтру по неделям не хожу. Оставлять без вниманья брюхо, скажешь? В тюрьме и то брюхо лечат. Зачет мне верной за брюхо.

— Вот поглядишь! Нет, дядька, одним гужом воз тащим. Не отыграешься на пустой!

Никита хитро поблестел глазками.

— Коли так, забирай бумажки. Мне с полицией важдаться смыслòв нет. Я отроду в участке не бывал и не бывать бы отроду. Раньше времени помирать мне—насмотрелся я на покойников—ремиз. Я по-хорошему, без ответа ежели, по согласу, один каленкор, а с ответом ежели, мое дело сторона, о́тводом затворюсь. Отскакивай назад, Серёга. Изба моя сору не хвалит.

Сережка ухаживал, угощал дядю табачишком и выдавал ему жалованье. Никита разглядывал деньги, задумывался, и губы сами выговаривали:

— Прибавки хочу просить, Серёга, продешевил я попервоначалу. За фатеру в самой раз, а маята получается на поход, да еще и маята-то какая! А за что? За рыск?

— Не прибавим,—как отрубал Сережка.

— А надо бы. Ну, да уж и так ладно. Платили бы без прижимки. Колотушка у меня не купленная, самоделишная!

Пугался Никита, когда шевелилась полиция в городе, шарила в ночь на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах. Слух шел утром от баб. Плакали бабы на речке, полоща белье. И пожарные рассказывали:

— Привезли! Двоих привезли. Засудят, не иначе...

Стучался Сережка вечерком в сторожку, ломился... Никита недовольно и не спеша выходил к дверям.

— Это я... Сережка!—кричал племянник.

— Чего надоть?

— Отопри.

— Не отопру. Нашел время по ночам шляться. Иди себе. Меня дома нет, мое дело сторона! Сплю я. Покойников-то перебудишь, стуколка нелагожая!

Сережка стучал в рамы, в стекла. Тогда снова выходил Никита.

— Не отстанешь ты, мышь летучая? Полгорода на стук прискачет.

— Отопри на минутку,—молил Сережка,—никого нет. Дай опнуться!

— Не пущу, не пущу,—приоткрыв двери и не впуская в сени, сердитым шопотом шептал Никита,—говори скорей— зачем пришел? Не ночевать ли? Постели у меня нету. Ну вас всех к ляду малиновому, мое дело сторона! Ну, што ль!

Сережка совал в темноте Никите узелок и шептал:

— Ухорони, дядька!

— Не возьму, не возьму,—хрипел испуганный голос,— кончил я, насовсем кончил служить...

Но Сережка убегал. Никита плевал долго и растерянно вслед, а потом, крадучись, шарашился в темноте к склепу, осторожно, не скрипя железом, снимал замок и лез в тайник.

Придвинулась весна. Обтаяла у сторожки тоненькая кромочка снега. Будто всплыла сторожка на воде в белой губке снегов. Заегозили по талым дорожкам грачи на погосте. Зачернели тополя весенней чернью. По черным вечерам взывала сова, и раскрывался над городом низкий темно-багровый шатер

от огней. Никита курил на крыльце подолгу, с расстановкой, поколачивал сапогом об отходившую землю и разговаривал сам с собой вполголоса:

— Д-да. Сидишь, говоришь? А что сидишь, и сам не знаешь. Вольготно прохлаждаться, ежели жизнь веселит. А какое веселье бобылю? У совы и то сама̀ есть, мое дело сторона. Вона, как подхоркивает! Перья, поди, в заду дрючит? А тебе жизнь по переносице. Выдумали тоже заведение—кладбище! Раньше в курганы зарывали. Какого беса курган стеречь? И почему так: одни сторожа, а другие графы? Он-те в постельке похрапывает али там выпивает по маленькой, огурчиком закусывает, о графин пальцем колотит. Што весна ему, што зима—одна погода. Смерть жилки подрежет,—весь свет в церкве зажгут, пудовики закадят и панасадила, певчие по ём глотку дерут за двадцать пять рублей, голосами по-ангельски выводят жалобы. А сами у него под каблуком кашляли, мое дело сторона. Смерть она на вороту. Говитан близко, а смерть еще ближе. Подохнешь тут! Сережке—скарб. Окромя Сережки некому. И скарба-то всего на три цалковых. Поди, унесет-таки и на три цалковых. Бутылок из-под бальзама корзина в придачу. Куда бутылки-то? В разбивку бутылки! А сторожка другому сторожу отойдет. Без сторожа дня не будут. И нельзя. Может, сторожу опять-таки имя Никита. С ребятами, с бабой тут обживется. Огород разведет, куриц... А может, и свиней? Нет, свиньи не подходят: могилы, окаянные, изроют, мое дело сторона. Куришь, говоришь? Завертывай другую! Табачишко в кисете есть-таки! Торопиться некуда. У последней пристани и живешь-то, могилёвская волость, мое дело сторона! Выбирай любое место. Да, выбирай! Похоронить похоронят... на купленное место только не пустят—карман узок. У оградки подкинут. Крестишко там соорудят на первое обзаведение. Повалится крестишко—отметины о тебе и не будет. Кому надо знать, жил-де на свете сторож Никита? А для чего, спрашивается, жил—небо коптил, мое дело сторона!

Никита глубоко и жалобно вздыхал, выплевывал цыгарку, попадал в нее слюной, наклонясь со скамейки, и, не попадая, засовывал рукав в рукав, отшвыривал цыгарку ногой.

„Язык устал говорить пустяки! Пожалуй, бородавку набьешь на кончике,—кто-то шептал в уши,—я-сно!“

Сова трепетала крыльями, голосом... Снег оседал в темноте и разваливался на могилах, будто с маленьких низких крыш.

— Вылезают—вылезти не могут,—думал насмешливо Никита,—закупорены крепко, мое дело сторона! Попробуй, вылези сама пробка из бутылки! На совесть работаем! Хорошо делаешь, на чай поминальщики дают. И э-эх, ты, как эту блажь в голове пересилить, штобы тепло было голове под шапкой— и больше ничего. Разглуска одна выходит в непутёвых. Сережкиных ребятах, разглуска с опаской! Ну как ненароком проведает чужой глаз? Не прове-е-дает! На кладбище человек зря земли не притопчет. Земля противная, человечиной отдает. А ребята роют яму, в надежде живут: получшеет жизнь маленько, мое дело сторона! Да где уж получшеет? Хуже бы не было. Да и отчего она получшеет, когда те же человеки на земле жить будут? В какой закладке вышла лошадь в дорогу, перегон откачала, в серебряную сбрую ряди лошадь, лишнего шага не переступит. Человек-то, мое дело сторона, его хлебом не корми, дай ему всё одному, а другим ничего. По-братски ребята Сережкины жить хотят, а Ваньку Просвирнина укатали! Вон он тут под ветлой червивеет, драчун! Надрался до ручки! И лежи, коли не умел с самим собой сладить! И э-эх, ты! Какое о чем рассуждение правильное, поди, никто не знает? Живут так, будто все знают, а на поверку день да ночь, ночь да день! И больше никуда. В омут головой человек окунывается в жизнь, пятки в небо глядят... А чего глупые пятки в небе увидят, мое дело сторона?

Закуривал опять Никита, слушал тонким ухом, как бежала где-то водица под снегом, ветрогон-ветер весенний шарил на колокольне мелкие колоколишки, и терлись о них языки, словно ехали где-то далеко тройки за тройками с ширкунцами и бубенцами. Плотный, будто ледяной родник обмывал лицо и всякое голое место, весенний ветер лился в горло и в ноздри Никите свежей густотой прохлады.

Надышав широкую грудь, уходил Никита в избу, ставил самовар и пил чай, капая в стакан за стаканом черный и липкий деготь бальзама. Нагнетал за кран самовар, подтаскивал его ближе к себе, щелкал стречком по медной опушке—и вдруг размягчалось лицо, губы сладко расходились, смежались щелочками устало и опухше глаза, Никита трудно поднимался с табуретки, пошатывался на полу, как речной маяк на зыби, и вслух, осклабясь, говорил:

— А и отдохнуть тебе, Никита, негрешно! Ложись спать, добрый молодец! Ги-ги!

ГЛАВА ВТОРАЯ

В апреле на Страстной ночи стояли теплые, вороные. Никита в четверг, обходя погост, колотушил изо всей мочи. В избе у него было много народа. Сережка привел незнакомого барина со светлыми стеклышками, бритого, с тросточкой, тонконогого, в серой шляпе: из-за границы приехал. Пальтишко на нем было обмызганное, конопатое, а руки тонкие, благородные, и голос тонкий, колокольчиком. Спозаранку пришли свои ребята—Тулинов, Егор, Кеня, Мясников, Кукушкин, учитель-чахотка Тар-Тарары—и привели впервой каких-то заводских и мастеровых. Пришли две молодых не то девки, не то бабы из рабочих: никогда прежде не были. Под ветлой лезли и лезли, как кончили в церквах читать двенадцать евангелий, и прошел народ, больше ребятенки малые, со свечками по домам.

Смирно сидели в избе и шептались. Сережка тоже из-под ветлы сегодня вылез, а не прямиком. Барина подсаживал на ограду. Смеялись оба. Никита, когда барин на ограде показался, ударил в колотушку сплеча, даже в руке стало больно.

— Может, дядька, звон начнешь, как архирею, больно колотишь?—шепнул Сережка в ухо.

Никита обиделся, перестал стучать и забурчал:

— Чем не архирей, ежели такой переполох у тебя? Нагнал народу—изба трещит!

Барин назвал Никиту товарищем и подал руку. Никита запутался с колотушкой, освобождая руку, притронулся до руки барина и услужливо забормотал, идя быстро вперед к сторожке:

— Вот сюды, сюды... О могилку не запнитесь. Фонаря я, дура, не смекнул принести. Серёга, сбегай за фонарем, мое дело сторона!

Сережка и барин весело засмеялись.

— Будет, дядька, смешить,—сказал озорно Сережка,—стучи в колотушку. Мы с товарищем Иваном одни дойдем. Два шага дороги. Пусти-ка меня вперед, чего зад вилкой держишь?

— Брысь ты, дуб!..—крикнул обозленно Никита и замешкался на месте.

Его обошли. Барин осторожно и хрупко кружил между могил. Никита не отставал, вглядывался ему с любопытством в спину, нагибаясь вперед. Потом, подумав, поднял колотушку

и забил... Иван вздрогнул, потянул шеей. Никита перегнал барина у сторожки, отворил широко двери и полез в сени, топоча ногами в привычной темноте.

— Будто вельможу дядька тебя встречает, товарищ Иван!— громко сказал Сережка, наклоняясь в дверь за ним.

— Даже неловко,—шепнул Иван.—Чего он, право?

Никита открыл дверь в избу. В сени выскочил желтый подсолнечник света, и хлынул серыми гривами табачный дым. Никита посторонился и пропустил барина, поправлявшего на ходу стеклышки.

Никита крепко закрыл за собой дверь и, не сводя глаз с барина, опустился на порожек.

Товарищ Иван огляделся, присел на краешек к столу, положил пальтишко на колени и прикрыл его серой шляпой. Все молчали. Егор тогда шепнул Сережке:

— Колотушку-то надо выпроводить. Не к чему ему знать лишнее. Покупной он человек. Иван, может, секретное скажет в докладе. Скажи, дороже заплатим за сегодняшнее.

Сережка подкатился к Никите:

— Дядька, постеречь бы тебе!

Никита недовольно поглядел на племянника:

— Можно и постеречь. Послушаю малость, что энтот... стеклышкин... говорить станет—и постерегу, мое дело сторона!

— Поздно бы не было, дядька! Нам эту птицу под большую охрану дали. Не разварзаемся с ним! Не уберегли, скажут! Организация тебе сулила награду за сегодняшнее...

— Пора начинать!—кто-то сказал с лавки.—Время идет... Все в сборе!..

Иван откашлялся и потрогал шляпу.

— Минутку, товарищи!—выкрикнул Егор, глядя к двери.— Товарищ Никита на сторожку спервоначалу встанет от бродячего народу.

Все повернулись к Никите. Иван усмехнулся, вспомнив о колотушке. Никита не выдержал буравлющих глаз, поспешно вскочил, заторопился и повалил в двери, охранно заколотя в колотушку уже в сенях. Сережка выскользнул за ним и замкнул дверь.

— Пошто запираешься?—сердито из-за дверей зашумел Никита.—Што за новости такие! Не хозяин в своей избе, выходит?

— Ну, отопру! Какой ты, право, дядька!—откладывая засов, засмеялся Сережка.—Ты в другой конец отойдешь, а тут...

чорт ее знает... кто и шаст прямо в избу. Тебе понадобится, ты в окошко постучи. Твой стук знаю, небось...

— Запирай, когда так, мое дело сторона,—согласился Никита.—Вот пошто только мокрохвостых привели: избу опоганили. Бабье ли дело по мужику бабе равняться?

Никита помолчал и добавил:

— Беловолосенькая-то ничего: товар крепкой! Как зовут-то?

— Аннушкой. Ваньки покойника—журжа. Затворю, значит, дядька? Стучи. Некогда прохлаждаться!

Сережка щелкнул засовом и убежал.

— Про-свир-ни-ха?—протянул удивленно Никита.—Во-о-т кто-о-о! Она-то пошто пришла?

Никита пошел кругом, раздумывая в бороду:

— Муж на кладбище поляживает, а она подолом над могилкой вертит! Знал бы, не пустил, сучонку... Ну-у и ле-во-рюция. Пустяковина, а не ле-во-рю-ция. Где баба замешается, окромя похабства ничего не будет. Подстилки чортовы! Выходит... Егоркину полюбовницу охраняю? Егорка на охрану посылает, а с ним заодно Сережка, вислоухой! Тьфу!

У ограды, недалеко от святых ворот, кто-то зашабаршил и покряхтел. Никита испуганно рванул колотушку, подошел к решетчатым воротам, прислушался, вгляделся во тьму, в слабо белевшее пятно и зыкнул голосом:

— Кто там бродит ночью по ограде?

Кто-то охнул, приподнялся и покорно ответил:

— Мы, прохожие, добрый человек. Не бойсь, не воры какие. Столяры мы...

— Чево нам надобно у ограды?

— Нужда застигла. На хутор свой идем, на побывку, на праздничек, лугами...

— Пошто гадите у ограды?

— Какое гаженье? За ночь подсохнет... Не в штанах нести, когда хлеб... стучится... в устье...

— Проваливай, проваливай, безобразники!

— Сичас... уйдем,—лениво ответило белое пятно, снова приседая,—нам... лу-га-ми...

Никита обогнул погост. Он перешагивал через могилы, вспоминал по именам и по отчеству покойников, хваля и ругая их, смотря по памяти. Отогнал свистом долгим и пронзительным, сунув пальцы в рот, табунок забредших с лугов коней из Прилуцкой слободы под городом. Послушал с усмешкой

испуганное ржанье коней. Кони взвили хвосты и бросились по лугам, мягко колотя по земле раскованными копытами. Никиту потянуло к избе. Он осторожно пододвинулся к окошку, приваливаясь к косяку. Из-за ставни выливался тоненький бабий голос—дзинь-дзинь-дзинь. Никита долго не мог разобрать слов. Он сделал ухо трубочкой и прильнул к щели. С трудом Никита начал понимать слова, но они вызванивались в окно оторванно, отдельно, стирались для слуха, как на могильной плите замшавелые, высеченные по камню слова пальцем ощупаешь, видишь глазом, а прочитать нельзя.

В голове у Никиты чаще других слов шевельнулись слова: рабочие... товарищи... Ермания... Хранция... и Никита довольно и удовлетворенно подумал:

— Ишь ты, о загранице повествует! Человек-то он приезжий, загранишной... А што Серёге заграница, пошто? И другим тоже! Мине, к примеру, мое дело сторона! Аннушке тоже. Ей кобеля надо, а тут ученость! Награду обещали... за пустяки. Тещат маленьких. Ну, не пьют—и то хорошо. Лево-рю-ция! Господа промеж себя не поладили: и ле-во-рю-ция, мое дело сторона! На свою сторону привечивают, штобы супротивника накрыть во-время... Подыгрывают... Рабочим и мужикам ка-а-к живется неповадно, кто это не знает? Как есь по этому месту и бьют. Жулье! А нам што: плата есь—и ладно, мое дело сторона! Можно и постучать. Застанут ежели, худо! Да где тут застать! Кому в святой четверток охота из дому выходить? Одни дураки шляются. В избе-то сидят! Сиди—и ушами хлопай, мое дело сторона! Образованные разведут голосом лучше гармоньи! Вон у образованных книг-то сколько! Говори—не переговоришь!

И Никита махнул рукой, пропала охота постучать в ставню и вызвать Сережку. Он ходил в вороной и теплой ночи кругом, курил, чиркал за ограду слюной, нюхал давшие почку тополя, грыз залежалый в кармане баранок, усаживался на каменную ступеньку у паперти и спокойно, равнодушно служил погосту, ребятам с завода, господскому потайному делу.

Наскучивало сидеть на улице, холодал, собирался в избу, но глаза легонько и сладко укладывались на покой. Никита прилегал на руку и дремал. Вскакивал он от ночного шелеста голубей на колокольне и колотушил, будто наверстывая усердием за молчаливую дремоту. И снова шел в обход по кладбищу.

За склепом, в железном фонарике с голубыми розовыми стеклами, у черномраморного креста теплилась неугасимая лампада по купце Сосипатре Свистулькине. Торговал вином при жизни Сосипатр Свистулькин. Никита оправлял на ночь изо дня в день лампаду в фонаре. По праздникам ходил ко вдове. Выносили ему за труды пирога с вязигой кусок. На пирог капала густая литая капля запеканки из стаканчика. Не держала, по обещанию, у себя в буфете вдовствующая Свистулькина, кроме запеканки, других вин. Светил теперь Свистулькин церкви своим фонарем, будто второй сторож на погосте.

Шел Никита к фонарю и, наставив медную луковицу часов на розово-голубой отблеск неугасимой лампады, глядел на черезполосицу часов. Приходило время—отбивал в повесочной колокол десять, одиннадцать раз. Часы с погоста слышали только луга, он сам, покойники, ночевавшие в канун отпевания в церкви, да опять покойники, лежавшие в домовищах в земле.

За ставней тот же голос просился в уши и был, как немой, непонятен и косноязычен. Пришла крепкая, тересливая скука. Никита стукнул Сережке.

Вышел Егор за двери и сразу окатил холодной водой.

— Кончаем, товарищ Никита! Пропешедралуй еще разик: нет ли кого? Выходить сейчас начнем. У ветлы взгляни.

Окатил—и ушел, запирая двери.

Никита опешил, хотел рассердиться, а только сказал:

— Где Серёга-то?

И не дождавшись ответа, насмешливо кривляясь, добавил:

— Мне бы на ночовку, ваше благородие! А?

Никита вяло походил около сторожки, прикусил зубами клок бороды, навалился на рогатый угол и раздраженно завыводил:

— Распоряженье гу-бер-на-тор-ское, вши-ва-я биржа! Убил одного человека... баба ево понадобилась, стер-р-ва! И не отрыгнулось!.. Днюют и ночуют в избе, сук-к-и, а меня же и хоронятся. И, скажи на милость, дураком считают, сами дураки!

Обида родилась сразу, как искра в цыгарке, ожгла глаза, скользнула по рукам и застряла перебоем в сердце.

— А я ли не стерегу другой год!—воскликнул вдруг Никита и швырнул колотушку под скамейку.—Серёга тоже прохвост! Племян-нич-ки пошли!

Расходились в двенадцать молча, сторожко, по-двое, ныряли под ветлу и, не гремя о железную крышу оградки, спускались в луга.

Барин со стеклышками вышел первый, с учителем Тар-Тарары, прошел мимо, не заметил и на ходу сказал:

— Удобное место, знаете! И сторож... с официальной колотушкой!.. Показывайте, как итти! Я вижу только свои пенснэ.

Учитель тихо засмеялся.

— Я тоже ничего не вижу. Варварская ночь! Я... больше наощупь...

— Ну, наощупь, так и наощупь. Шагаем. Там где-то лезть надо!

— Найдем.

Никита прижался к стене, пропустил и зло подумал вслед: „Как на костылях идут. И труба в глазу не помогает. Спасибо не сказали за помещенье и... за хлопоты. Надсмешки еще над колотушкой. А без колотушки совсем бы пропали, бездомные!“

Сережка с бабой вылезал последним.

— Надо дядьку, Олюнька, покликать. Куда он запропал? Потом и пойдем.

— Вон кто-то стоит,—сказала Олюнька.

— Дядька, ты?

— Ну, я... Чего тебе?—выкрикнул Никита дрожащим от гнева выкриком.

Олюнька вздрогнула от неожиданности.

— Во голосина!—фыркнул Сережка.—Напугаешь неровно! Женщина назад подалась со страху. Уходим мы, дядька. Я завтречка забегу.

Никита помолчал и буркнул:

— Ладно. Хоть и не забегай—не заплачу.

— На сердитых воду возют, дядька,—сшутил Сережка.— А я прискачу.

И пошли в обнимку.

Никита разомлел вдруг... Отлегло у него сразу на сердце от веселого Сережкина голоса, от обнимки Сережкиной. И он весело крикнул вдогонку:

— Кралю-то береги!

Сережка и Олюнька засмеялись, невидные за темнотой.

— Поиграй в музыку, дядька!—задорно стрельнул Сережка из-за склепа.

— И-де-е-т!

Никита засуетился около лавочки, ошарил колотушку и задребезжал мельчайшим зерном.

В темноте звонко переливался смех, будто роняли бубен и плясали с ним.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сережка с Олюнькой кружили по лугам и никак не могли дойти до города. То на дороге возникал круглой шапкой горбыль, то сухой валежник, нанесенный чарымскими разливами, хрустел и заплетался под ногами. Тогда останавливались и садились. То Олюнька находила на небе замысловатые звездные узоры, как бархатные поля с серебряными колокольчиками, показывала Сережке рукой—и опять останавливались. Подолгу глядели на горящие небесные лампы, и Сережка приникал удивленными губами к удивленным губам. Рука у него устала обнимать Олюньку и вести ее. Они шли рядом, раскачивая качели рук.

У коровинских мельниц лежал старый смолотый жернов. Олюнька села на него. Сережка свернулся ногами на земле и облокотился на ее колени. Олюнька сняла с головы картуз и со смехом откинула в темноту.

— Чего паришь голову?

— Я... вот как тебя потащу!

Сережка крепко стиснул ноги Олюньки. Она обняла его за голову, наклонила, вдавила в колени и навалилась сверху грудями, трогая в коленях быстрыми пальцами лицо Сережки:

— Задушу-у! Не отпущу-у! Не вывернешься, кот!

— Я бы век так лежа́л,—бурчал Сережка,—тепло и не дует.

— Прискучило бы. А чего бы вылежал-то так?

— А мне ничего и не надо, как с Олюнькой сидеть. Ей-ей, Олюнька, как это... сделалось, веселье у меня на душе страшенное. Все бы смеялся и прыгал щенком. На людей прыгать охота.

— Известный ты пустосмешник!

— В цеху у станка стою... Задумаюсь... А ты будто тут рядком дуешь на меня.

Олюнька отлегла грудями и беспокойно сказала:

— И штобы не делать так! Еще пальцы на́прочь отхватит! Куда мне урода: на божницу ставить? Али вместе побираться под окошками?

— Не отхватит... А и отхватит—за тебя не жалко.

— Так тебе я и поверила. Все вы до поры до времени улещиваете, а потом в зубы. Много нашей сестры глаз вымочило. Не объедешь. И люблю, а не поддамся.

— Хвастунья ты!

— Ничего не хвастунья, а вокурат как раз.

— Я не таковский, Олюнька, и есть. Ты меня толком не разобрала. Мне снасильничать и в голову не придет, как другие ребята. Люблю я взасос, а руки у меня позадь супонью стянуты.

Олюнька прижалась к Сережке. Звезды догорали последним огнем в проходящей ночи. Они устало шевелили серебряными ресницами, уходили выше, мельчали, будто тухли на ветру.

— Опасайся я,—шептала Олюнька,—не ходила бы по ночам с тобой по пустому полю птиц пугать.

— То-то и оно. А поцеловаться не грех. Губы не сотрутся. Чево им сделается? Наклоняй-ко вишенье!

— И в обнимке мера есть.

— Ску-па-а-я, ну-у!

Олюнька, играя, приблизила губы, коснулась, чуть потерлась ими и схватила жадно, крепко, тягуче...

За спиной поскрипывали мельницы. Ветер спал, обессилев дуть и шататься над землей с шестой недели поста. На шестой неделе шел лед, ветер заработался, гоня дождь на подмогу весенней тайке снегов. Он только теперь ворочался во сне—и тогда, как птица перекладывала крыло на крыло и затихала в гнезде, давали легкую качку мельничные кресты.

— Вот когда прижмем хвост богачам да царям,—задумчиво сказал Сережка, дыша горячими губами,—и нам, Олюнька, житье будет другое.

— Ты это к чему?

— Больно полусапожки на тебе худые, вот к чему.

Сережка просунул палец в дырку на полусапожке с бочку и пощекотал охолодевший чулок. Олюнька откачнула ногу.

— Усмотрел тоже, беда какая!

Она начала одергивать платье на полусапожки и закрывать их подолом, приступая носками на оборку.

— Не гляди, не гляди; чего, право?

Сережка засмеялся.

— А вот и погляжу. И не совсем видно, а видно.

Сережка приподнял краешек подола. Олюнька хлопнула его по руке, зажала подол между полусапожек—и застыдилась.

Вороная ночь исходила серыми яблоками облаков. Луга показались под серой золой прошлогодней травы. В дыму наползавшего из-за Прилуцкой слободы пасмурного рассвета круглели купола стогов, и вразброд бродили кони в ночном. И казались купола стогов палатками чьего-то кочевого стана. Будто спали в палатках люди, а вокруг ходили и наедали травяные мешки для денного пути кони.

— Я боюсь, Сережа, как бы слезами не отлились собрания эти... И будет ли толк? У нас на винном складе сорок баб и девок посуду моют, а мы только с Аннушкой на кружки ходим.

— Вы подталкивайте других.

— Я и сама-то ничего не морокую. Больше... из-за тебя хожу.

Сережка бережно обнял Олюньку, обвив ее рукой. Она подняла его руку повыше, на талию, и погрозила пальцем.

— Крепыш ты у меня, Олюнька! Нельзя и дотронуться! Я по-безгрешному. Рука сама легла.

— Не туда ложится, куда след... Баловаться привыкнешь, отвыкать трудно.

— Никита-то как сказал—краля? Краля ты и есть! Ни тпру, ни ну!

— Тебе хотелось бы по-другому?

Сережка серьезно взглянул на Олюньку и, дрогнув ноздрями, покачал головой:

— Нет... нет... нет...

Небо загустело тяжелыми надутыми облаками. Они медленно текли с востока. Будто шел весенний лед плесами широких льдин, он не переломался в луках, в зажорах, в речных петлях, его выносило сразу, дружно, бесшумно на попутных парусах—и наносило на город. Рассвет снова потемнел, как начиналась под ряд другая ночь. Солнце утонуло в облачном ледоходе и не показывалось.

— Аннушка одна только много понимает,—сказала Олюнька,—откуда набралась? Ваньку убили... На другой день поступила на склад. И работает, как мокрое горит. Баб она сомущает. Кричат-кричат бабы, а по ее выйдет. На заводах сколько работает—тысячи? Раз—два, и обчелся с понятием. Кабы все на

Аннушку походили. Мне за ней не угнаться. Ничего у них только с Егором не выходит. Аннушка сохнет, и Егор сохнет. Все этот противный Ванька замешался.

— Да. Наделал делов Ванька. Сколько народу из-за него пересидело в тюрьме. А не допытались! Ты говоришь — сознаньем народу—сахару на блюдечке. Так што? Тут горсточка, там горсточка — гора и наберется. Слышала даве—по всей России разрастается лес...

— Может, так говорится только. Бариньё все ездит. И докладает.

— От кого же как не от образованных научимся? Егор книг прочитал андрец, а и то путается. Бариньё, Олюнька, липовое. Складно говорят, на бариньё и походят. Другие ребята не верят. Конешно, мы не без разницы. По мне, так на разницу наплевать, лишь бы дело шло. Они нам нужнее нужного. Время придет, все выйдут. Вон, гляди, Ванька озлел слободе, прохвост, таскали-таскали на допросы, ни один не сболтнул лишнего слова. Будто Ванька сам себе пулю в спину пустил, а Егора и вблизи не было.

— Одна Аннушка Егору не простила.

— И Аннушка не выдала. Простить—ее дело. А слободе поперек не пошла. Присяжные в два счета решили дело. Кукушкин с Егором да с Тулиновым поцеловались у суда и вместе выпивать ходили. Кукушкин какой парень стал—цены нет парню. Во переворот! Вся артель Ванькина как дерево трухлое под топором в труху...

— Аннушка смирная была какая при Ваньке...

— Будешь смирная. Кулаки-то у него были не ситний хлеб. Боялась. Оттого и в революцию кинулась.

— Любил он ее без памяти, разбойник. Бил, это ты напрасно кастишь покойника, мало.

— Ну, со страху была смирная.

— Я вот у тебя тоже смирная.

— Ты недотрогистая, а не смирная.

— А ты рад девку, здорово живешь, под себя подмять!

— И это... не худо.

Сережка наклонился к отсыревшим в рассвете красным рукам Олюньки, взял в свои ладошки и задул на них.

— Измерзлись! Какие руки-то конопатые... шаршавые! Это у тебя от воды иссекли. Вытирай крепче. С сырыми на улицу выходишь, они и секут...

— Вытирай не вытирай, когда целый день в воде мокнут. Молоком спасаюсь: на ночь натру—и отойдут. А то саднеют, будто в кислоте какой лежали, кожу тянет, по́лстит. Чего на руки уставился, а то на полусапожки? По косточкам разглядываешь!

Олюнька рассердилась и оттолкнула от себя Сережку.

— Найди себе девку в белых тюфельках, штобы ручки были тоже как тюфельки, как трава вялая... Она тя, может, обоймет слаще. И народу, нос кверху, есть што показать!

— Мы любее с шаршавыми, с конопатыми проживем!..

Сережка стянул Олюньку с жернова и посадил рядом, сжимая тело в обхват напруженными загрубевшими руками.

— Ну тебя, обнимальщика! Сак замараешь! Будет! Пойдем домой. Гляди, как свет бежит с неба... Торопится. Туча-то какая—свалится еще.

— Тут зато не замараешь... и сиденье помягче...

Сережка быстро просунул одну руку под ноги Олюньке, а другой, обвив талию, пересадил Олюньку к себе на колени.

Олюнька обтянула платье на коленях, зажала ноги, уселась удобнее, примеряясь задом, положила ему на плечо голову.

Они затихли, замолчали. Кровь, как соки под корой дерева, невидимо лилась извилистыми жилами, несвязная, пьяная, толкучая, вытекала в свившиеся руки, палила сольнувшиеся губы и грела-грела-грела, приливала теплотой, невидимо проходившей сквозь пористые одежды в скважинки ниток, узлов, строчки... Сердце Сережки колотило в упругие холмики грудей Олюньки отчетливыми, слышными тугими толчками.

Олюнька зевнула. Сережка подтолкнул, помешал... Она засмеялась и стала вставать.

— Натягивай паруса, значит?—спросил Сережка, покачиваясь.—Ноги-то у меня затекли. Впереплет были.

— Ишь, отсидел, сидючи с милой. Искра в ногах! Так и до простуды недалече. По ночам росы злые, едучие...

Они пошли к городу нетвердым, качливым шагом.

Остановились у калитки на Зеленом Лугу.

— Я... зайду к тебе?—попросил виновато Сережка, шныряя глазами по щели забора.

Олюнька нахмурилась.

— Нет, нет, увидят. Скажут—ночами ребят вожу. Ты ополоумел? Ты опять за свое?..

Олюнька подумала, быстро оглядела улицу, прислушалась, повернула ослабевшего Сережку лицом к улице, горячей атавой тела прижалась к спине, подержала крепко и сильно Сережку, рывком поцеловала его сбоку, толкнула вперед, скрылась за калиткой, вбежала на крыльцо, сунула за опушку руку, достала ключ и помахала им Сережке. Он видел только одну голову Олюньки за забором. Олюнька не отпирала двери, она подмаргивала ему глазами и морщила брови, кивая головой к плечу. Сережка, не понимая, стоял и хмурился. Олюнька нетерпеливо махнула рукой вдоль дороги—и отвернулась. Сережка нахлобучил картуз.

Олюнька поднялась на цыпочки, еще раз взглянула, приложила к платку руку—„честью"—и вошла в дом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как перелезли под ветлой, так и пошли рядом. Молчала Аннушка, молчал Егор. Молчала ночь. Молчаливо лежал предпраздничный город вдалеке с ночными маяками огней. Не слышно было шагов в лугах—и было так просто итти молча. В городе Аннушка услышала тяжелый нажим каблуков Егора о каменную колкую мостовую, а в ушах Егора забился частый, убегающий шаг Аннушки—и стало невмоготу.

У Девичьего монастыря, у святых ворот, маленькая монашка спускала на проволоке фонарь. С тихим поскрипываньем он плыл сверху. И сразу башенки ворот усекались, сливаясь с ночью. А на землю лег широкий янтарный круг огня. Фонарь качался у пояса монашки. Ворота стояли обезглавленными, с черной дырой калитки на-боку. Руки монашки суетливо двигались у поплавка с фитилем, будто вдевали в ушко иголки нитку. Белое лицо, как снег на черном перегное полосы, наклонилось над лампадкой. Прошли мимо. Монашка подняла длинные неровные ресницы. Свет лампады зажегся под ними, и два темных глаза, горящих голубым отливом—будто небо упало в них,—приметно и горько поглядели на Егора. Монашка отошла к стене и взялась за проволоку. Янтарный круг с фонарем посредине казался огромным плававшим на воде поплавком.

Аннушка вошла в тень, остановилась, повернулась к монашке, взглянула мельком на Егора и недружелюбно сказала:

— Чего она глазами проглотить тебя хочет?

Монашка услышала голоса, вгляделась в темноту и перестала подтягивать фонарь кверху. Фонарь, как золотое кадило, закачался и закланялся перед воротами. И вместе с ним качались и кланялись вдруг выступившие в полумраке башенки ворот.

— Зна-ко-о-мая?

Егор тихо, обрадованно ответил:

— Нет. Я не знаю ее.

Тогда Аннушка схватила крепко руку Егора, прижала к себе и потащила. Часто, задыхаясь, дрожа, заговорила она:

— Пойдем, пойдем... Я ревнивая. Ты думаешь, я забыла тебя... разлюбила?.. Не помню каждый день и час? Чуждаюсь тебя, думаешь, не говорю с тобой?.. И все прошло? Ничего, ничего, ничего не прошло!

Аннушка закричала над самым ухом. И повелительный голос словно топал ногами на Егора.

— Говорят, не прошло! Ах, Егóра, Егóра! Как на сердце больно! Давит сердце какая-то рука в кулáк... Не хочет отпустить. Сердце туда-сюда, а везде стенки. Будто в клубке с нитками сердце... в середочке. Держи меня крепче, я шатаюсь. Постой, я продышусь.

Егор осторожно поддержал ее.

— У тебя... у тебя платочка нет? Слезы вытру... Што я—у самой платок на голове.

Аннушка рванула платок с головы и закрыла лицо. Волосы Аннушки пошевелились на щеке у Егора, скользнули по глазам, мешали, но Егор сам тянулся к ним, опутывал ими губы, глаза, щеки.

Аннушка торопилась, бежала, останавливалась, опять бежала, держась за Егора. Изнемогла...

Сели на бульваре, у архиерейского сада, на скамейку. За высоким досчатым забором плескалась и переливалась вода, а потом редко, уныло, глухо булькала о камни и гудела. Будто задевал кто-то в саду о жилу виолончели.

— Сердце у меня стало плохое. Вот как плотина у архирея. С дырой. Ты не подумай, я набиваюсь к тебе. Как тогда сказала, так и будет. Отжила я с тобой. Тянет, ой как меня тянет к тебе! А я за вожжи себя. Егóра, Егóра, зачем ты убил Ивана! Так бы и жили мы с тобой: украдчи слаще жить.

— Аннушка, но ведь он бы убил меня! Ты пойми, подумай. Вся слобода рада его смерти. Мы сто раз говорили с тобой.

— И... напрасно говорили. Это я... я убила Ивана. Ты только выстрелил. Бросила бы я тебя, ничего бы и не было. А я не бросила. Баба я. Ты слышишь, я зову его Иваном? И ты не называй его по-другому. Не надругивайся! И тебя мне жалко... Вот как жалко!

Аннушка обняла Егора и, раскачиваясь из стороны в сторону, дрожала на плече у него.

— Аннушка, он против всех шел.

— А не убивал... не убивал!—зашептала Аннушка, отстраняя и отталкивая Егора.—Я полоумная, скажешь? Из любви к нему маюсь? Ненавижу его! Все тряпки его сожгла. На память ничего не оставила. На могилу его плюнула. Он жизнь мою, как дерево, с корнем вырвал и бросил на дорогу, на пыль, под колеса, под копыта. Будто по телу мне долго-долго бороной таскали. Измяли меня всю тройками да верховыми. И большой воз по мне прокатился. Сердце у меня озлело... Сердце у меня только тебя и заприметило. А чтобы через смерть получить счастье?.. Ненастоящее это счастье! Отстань от меня, Егóра! Смотри со стороны, как я чахну. А может быть, и повеселеет. Я живучая... Я противная. Руки на себя накладывала, как он, дуру, меня обесчестил. А ничего... прижилась. В счастье краишки губ будто в вине измочила. Кровь на них и осталась. И вино жжет. Губы колючками шиповник тычет. Ты думаешь—бабы только спать с мужиками годятся? Увидят портки—и ничего не надо. Ан нет! Не все это: пол-мала портки. Говори чего-нибудь! Зачем ко мне подкрадываешься? Пережидаешь, как вытеку вся? Не молчи, не молчи!

Егор дотронулся до руки Аннушки, но она вскочила, закричала, затопала ногами.

— Не ходи за мной! Не ходи! Я одна пойду!

Аннушка скрылась в темноте березовой аллеи. Егор долго сидел, ничего не слыша, ни о чем не думая. По бульвару прошел человек и, на ходу закуривая, чиркнул спичкой. Егор вздрогнул и очнулся. Из темноты показалось освещенное лицо и напуганные глаза. Егор вспомнил, что и он давно не курил. Ощупал в кармане смятую коробку папирос, вынул и закурил, смотря на красный кончик затеплившейся папиросы.

На архиерейской плотине зашуршал, обвалился ком земли, вода заглохла. И долго в саду стояла тишь. И снова рассыпалось на плотине будто зерно из мешка, и кто-то начал

набирать в узкогорлые кувшины воду—бульк-бульк-бульк—и разливал их—шль-шль-шль...

Егор, медленно и глубоко вдыхая табак, докурил, отстрекнул окурок—и пошел по бульвару. И сразу же из темноты, из-за деревьев вышла Аннушка.

— Какой сторож-то у тебя!

И голос был другой, колеблющийся, ломкий, отступающий...

Крепко и зло сказал Егор:

— Ты тронулась!

Он сжал ее за руку и повел.

— Где бы жить, лучше не надо теперь... Поле чистое, ровное, гладкое, как плита: никто не мешает.

— Это родимчик меня бьет, Егóра. Отец у меня от вина сгорел. Я и вышла трясунья подлая. А ты—дубовый! Из тебя не согнешь дуги: концы расскочатся.

В голосе Аннушки была насмешка и нежность.

— Дубовый не дубовый, а хозяин себе. У дуба у этого червоточина большая живет. Залечить бы...

— Это не я ли червоточина?—вспылила Аннушка.—Бабы другой захотел? Постничать надоело? Я из рук выскакиваю—выскальзываю налимом?

— Не горячись зря. Ты в отца, а я в мать. Покойница у меня помирала, мучилась на полу, сестре моей наказывала: „Машка, огурчиков-то насоли, капусты наруби. Отец с ребятами зимой и покушают всласть". Я в нее. Через все горя человек пройти может. Мать была заботливая, я в нее. Жизнь свою устроить хочу. Терпенья у меня, как у машины. Неразговорчив я—больше слушаю. Люблю один раз. Не люблю с походом все разы. Чего ты беснуешься, отбесноваться не можешь? Кончено. Воз по тебе проехал, говоришь, а самой под воз смерть охота лечь. Полынь на дороге рвут на веники, где лесу мало. Намучилась за год. Будет. Вырывай сразу! Не запутывай себя!

— Егóра, у меня туман в голове. Кружится там все. Маленькая свалилась я с яблони, сквозь сучья вниз головой так летела. Мне жить больно. До чего подлые люди живут на земле! Глаза не глядят, запахнуться от них полой—и не показываться! Плакала я на пожарище... Бабы тобой попрекали. Горда я, Егóра. Второй год и терплю.

Аннушка притихла, смолкла... Егор выпустил ее руку и молча шел рядом.

Бульвары кончались, серея шапками обнаженных вершин.

Аннушка тихо попросила:

— Давай еще посидим. Может, последний раз сидим.

Сердито и серьезно спросил Егор:

— Ты что—помирать собираешься?

— Может, и так.

Сели близко и дружно, но отвернулись друг от друга.

— Ты о чем думаешь?

Аннушка, не глядя, теребила за рукав Егора.

— О тебе.

— А я о тебе.

И засмеялась. Егор недовольно поморщился.

— Что ты обо мне думаешь?

— Думаю, што тебе пора спать: напрасно со мной время проводишь.

— Я домой и шел: ты с дороги сбила.

Аннушка повернулась к Егору, быстро поворотила к себе хмурое лицо его, вгляделась в усталые скучавшие глаза и, злобясь, зашептала:

— Ты женись, Его́ра... Я тебе посватаю... У меня есть хорошая невеста... Не порченая. Я сама по себе. Я с бабами мыть посуду после пьяниц буду...

И вдруг заломала руки, обняла колени Егора и забилась на них. Егор встряхнул ее за плечи, посадил, смахнул рукой слезы с раскрывшихся широко глаз. И прикрикнул на нее.

— Ты... на самом деле сумасшедшая! Мне... тебя... охота... ударить!

Аннушка взметнулась вся, засмеялась сквозь слезы, перестала плакать и забормотала:

— Ударь... ударь... Меня... давно не били. Нет... ты лучше застрели меня, как застрелил Ваньку!

Егор оттолкнул ее, встал и, угрожающе уставив глаза, закричал:

— Я не мышь, а ты не кошка, штобы играть мной, дурная баба! Ты на себя не похожа. Ты... про-тив-ная! Мне... совестно на тебя глядеть... на представление это!

Егор стал уходить. Сзади раздавался и смех и плач, перемежаясь один другим. Лицо сморщилось от жалости и отвращения. Приходила жалость, совалась под ноги, свертывала прямые и крепкие плечи, подергивала веки соленой болью и забиралась под ресницы маленьким прибитым зверьком. И было стыдно жалости. Пошел скорее, убегая... Потом долго таскал

себя по комнате под грузный усталый храп Корёги за стеной, оборвал на стене листок с календаря и смотрел на красное праздничное число жесткими унылыми глазами. Чужими руками разделся, не заметил, как лег... И забылся.

А потом он увидел себя в одном белье у окна и стыдливо тянулся застегнуть ворот рубашки. Губы Аннушки что-то неслышно говорили за стеклом. Она улыбалась прищуренными глазами и закрывала их рукой. Егор с силой рванул зимнюю раму. Посыпалась замазка и застучала о пол. Ночной ветер хлынул и сдулназимовавшую пыль. Аннушка перегнулась, достала его голову, охватила шею руками... Егор легко поднял ее и внес в комнату.

Аннушка ликующе шептала, целуя ухо:

— Егóрка, я насовсем! Вещишки... перенесу... ввечеру!

МАГАЗИН „ВЕНСКИЙ ШИК“

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На Гостинодворской площади, на Толчке, где при Иване Грозном, по цареву указу, урезали пятьдесят три боярских языка, в доме генеральши Наседкиной открылся магазин шляп. Сначала генеральша Наседкина жила в обоих этажах, потом на один этаж победнела—и сдала низ. Генеральша Наседкина перебралась вверх с горничными, кошками, приживалкой и собаками. Перебралась и села у окошечка.

На черном поле вывески, с золотыми разводами посредине „Венский шик" вывесочный мастер Серафим Пятачков в правом уголку расписался белилами, а в левом, покрупнее, высеребрил: „Мадам Есфирь Марковна Шмуклер".

На Прогонной улице исстари были шляпные магазины, но там был „Парижский шик", и шляпницы повалили на Толчок. Сама генеральша Наседкина спустила по лесенке семь пудов своего веса, купила приживалке шляпу с анютиными глазками и приказала записать за ней, в счет аренды за помещение на будущий год.

Эсфирь Марковна Шмуклер прибыла из Лодзи. Зубной врач—Наум Соломонович Калгут—лечил, пломбировал и вставлял зубы державе российской. Держава российская была полицеймейстером, супругой его с деточками, третьим полицейским участком с приставами и околоточными, и старшим советником губернского правления. Наум Соломонович Калгут похлопотал перед властями за родную тетеньку Эсфирь Марковну Шмуклер, повидался с генеральшей Наседкиной, прельстил ее золотыми кружочками,—и тетенька из Лодзи беспрепятственно проследовала с вокзала на Толчок с Берточкой, с Лиечкой, с Мосей и с большими шляпным товаром набитыми сундуками. В субботу богобоязливая Эсфирь Марковна Шмуклер с деточками сходила в синагогу—и начала торговать.

На новоселье первым пришел Арон Моисеевич Зелюк—жених Берточки. Арон Моисеевич Зелюк прибыл еще за год раньше и промышлял себе на хлеб описанием в местных газетах пожаров, смотров вольно-пожарной дружины, отъездов и приездов высокопоставленных лиц и трогательных архиерейских богослужений. Вторым пришел Наум Соломонович Калгут, и третьим—постовой городовой Сидор Мушка. Городовому с новосельем дали рубль, обещали платить помесячно—и закрыли за ним двери. Сидор Мушка на самом деле был Сидором Ивановичем Конёвым, но так как винишко ему шло впрок, и Сидор Иванович бывал частенько под мухой,—столь неподходящее прозвище прилипло к нему второй бородавкой на носу.

Уходя, Сидор Мушка благодарил за рубль хриплым и густым бурчанием нутра:

— Ежели што—покликайте... Спррравим!..

Сила у Мушки была знаменитая, рост первый в городе, в кармане веревочка. По Толчку много шлялось пьяного и скандального люда. Мушка хватал в обхват и не умел разжимать рук. Попадало по-двое—и на двоих хватало обхвата. Но тогда он тихонько и вежливенько взывал к глазевшему люду:

— Братцы, достаньте веревочку! Скрутить надобно. Боюсь опустить.

Отворачивая широкий полицейский карман, доставали веревочку. Мушка брал ее зубами, зубами распускал ее и, мотнув кверху, ловко вязал руки назад, упираясь коленами в спину пьянице аль загулявшему молодцу. Был Мушка трехпалый. Вез он в участок вора-скокаря, а тот, как кошка, шипел и рвался из рук. Мушка обозлился, ухватил его пальцами за щеку в зажим и оттянул щеку. Вор заорал, искривил рот, поймал пальцы—и два пальца отъел, изжевал. Правда, вор в участке и помер на другое утро, а двух пальцев с тех пор недоставало у Мушки. С тех пор Мушка и не разжимал рук с поперёка, а на извозчика клал поперёк на дно пролетки, садился сверху на серединку и наваливался на затылок в упор.

Гости на новосельи ходили по комнатам, осматривали, хвалили, размежевывали...

Бойко заторговала трудолюбивая Эсфирь Марковна Шмуклер.

— Ой! Как и к вам к лицу эта шляпка, дамочка!—говорила Эсфирь Марковна, всплескивая руками.—Если вы еще

возьмете это эспри... и... эту очень даже замечательную ленточку... мы вам нашьем на тулейка... ой, какой будет вид и какая картинка! Берточка, пойди в магазин!

Из-за темной занавески, висевшей в углу комнаты, с иглой в руках выходила черная кругленькая грудастая Берта.

— У Берточки ручки что-нибудь особенное!.. У Берточки ручки лучше машина! Она вам сию секундочка нашьет.

Перед зеркалом вертелась, примеряя шляпы, модница. Она не отнимала рук от головы. И было две женщины—высоких и стройных два сосуда с ручками—в магазине и в прозрачной ванне зеркала.

Подъезжали на извозчиках, на рысаках новые и новые покупательницы. Выходила тогда из-за занавески и Лия. На низком прилавке горбились раскрытые круглые бадейки картонок, четырехугольные картонные коробки. Эсфирь Марковна торопливо снимала и снимала с полок другие, сдергивала крышки, раскрывала синим, голубым, карим глазам оранжереи цветов и гамм.

— Ну, и разве можно лиловый променять на розовый? Розовый, это—фи! В городе Вене кремовые шляпы носят очень и очень даже благородные женщины! Лиечка вам покажет такие страусовые перья... каких нет-таки в городе Москве и в городе Паризе... Вот вы только потрогайте, какой они выделка! Ах! Заезжайте, пожалуйста, на той неделе! Я привезу такой товар... вы и все будете ахать!.. И что вы говóрите? Она будет носиться не один, а пара сезон!

Берта с Лией помогали примерять шляпы. Мося стоял за прилавком и получал деньги. Эсфирь Марковна отпускала товар.

В спокойное время, летом, Эсфирь Марковна глядела в окно на Сидора Мушку—он стоял через площадь напротив, как второй электрический фонарь—или выходила из магазина на лавочку подышать толчковским воздухом. Лия с Бертой работали за занавеской. С улицы видно было, как согнулись двумя кронштейнами две спины и не разгибались. Мося, скучая, стоял в дверях магазина, с большим носом, будто поставленная на ребро ладонь. На нем были модные начищенные ботинки, короткие брюки, а большой палец левой руки был засунут в маленький карман пиджачка.

Зимой леденела дверь, магазин заглыхал, Эсфирь Марковна не показывалась на лавочке, Лия с Бертой не видны были

за лампой, только Мося ходил в столовую „Низок“ за угол и в маленьких судках приносил обед.

— Вот они жиды,—говорил Сидор Мушка,—трудиться—мастаки. И знают, выжиги, чем торговать. Да шляпа для городской бабы не знай чего дороже. Они ей на кумпал-то и прикладывают ведрышки с птицам... с хвостом... с цветом... Та, дура, подол винтом, задницей трясет, а на голове—дурость сидит. Жид любит дело чистое: он те не станет на посту стоять. Нашли дурака! Али там в дворники, в золотую команду, в водовозы... Он метит по торговой части. И гляди, как разживаются! Приедет он те в город—три булавки на прилавке. Свои так не оставят: мигом натаскают ему товару гору. Поддержка у них друг другу. Бегает он спервоначалу, высуня язык,—ровно кто за ним с палкой гонится,—как муравей, из магазина в магазин разные штуки таскает... Потом чинно сядет за свое дело. И сидит. У кого дешевле товар? У жида. Наш пузан нос от тебя воротит—бери не бери товар, сказал цену—топором отрубил, характер выдерживает. А тот тебя улещивает, обхаживает, будто гладит по спинке, веры ему на волосок нет, потому жиды жулье от рожденья, а товар навалит по дешевке. Тем и берут: оборот у него вó какой, денег больше. У него деньги зря не лежат, не ржавеют: он их работать заставляет. У него деньги, как блохи, скачут из рук в руки. Наши купчики деньги в кадушки кладут, солят, ровно капусту. Зароет где-нибудь, будто клад, в подвале. И покою нет: не украли бы? Где бы оборот—они лежат. А расход какой опять у жида? Кушает он с наперсток. Отчего только они толстые бывают? Нащет, прости господи, бабов—он закона своего боится. И кобелить ему некогда. Водку пьет только о своей жидовской пасхе. И водка-то ненастоящая... Прозывается пейсаховкой: на пейсах, вишь, настаивают. Его вот чуждаются наши!.. А зря ругают. Он те хоть глазом и вертит: один глаз под шесток, а другой на восток,—с усмешкой бранное слово снесет от тебя, поможет тебе в горести лучше своего. К примеру, вот я... Приду когда: так и так. И рассказывать нечего: знает, што не шляпку на башку мне пялить надобно, а поедрёнее... Парнишка-то носач, в ящик рукой—юрк... и достает. И этак по-жидовски хрюкает: жалованье-де тебе, Мушка. Нет, што говорить, уваженья достойны и жиды: по трудолюбию—первые. Так дело пойдет—заберут Россию в полон. По-моему бы, их из губернии в губернию посылать, которая губерния по торговле и по

капиталу отстает. Как направили дело, наших посадить, а их гуртом на другое место. Большая бы польза получилась для государства! Изъездили бы так всю Россию, потом в одном каком месте зажать в кулак, похуже где, а то и выселить вовсе. Вот Шмуклерша, гляди, как кадило раздувает! Труже-ни-ки! И дело-то пустое—спина не заболит, а всего человека требует. Барышнишки-то с молодых лет не приучены к пустосмешкам—все сами, вся семья зарабатывает хлеб. Скро-о-мно живут, от земли не видать! Газетчик один в сером пенжочонке бегает, тоже из жидов, жениться собирается на старшо́й-то, Берточке, деньги копят. У нас чем денег меньше, тем свадьба скорее—нищих плодят. Еще зубодер гостится, Калгут, по-ихнему значит серой кот. Все про себя и остается: не проживают, а наживают. Любят только в церковь свою ходить; синагога тоже ведь церковь по-ихнему.

И шла от Мушки по городу добрая и тихая слава: живут, не мешают жиды, торгуют „венским шиком“.

И медленно, не торопясь переваливались зимы, лета. Генеральша Наседкина прибавляла в весе. Был с ней первый удар—Кондратий Иванович знак дал,—и обошлось. Часовых и золотых дел мастер Буби-Козыри оказался фальшивомонетчиком. У губернатора жена сбежала с морожеником. Покривился новый дом на Прогонной: кирпич подрядчик поставил жульнический, непрокаленный. Умерла нищенка: в тряпье у нее нашли двадцать тысяч. На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах рабочие разбойника убили: не давал никому житья. И опять все тихо. Дуют ветра, восходит и закатывается солнце, пожарные выезжают по фальшивой тревоге во-время и опаздывают на настоящие пожары, осенью воры воруют в погребах... На Рождестве и на Пасхе бывают два студенческих вечера, благотворительный базар и „лошадки“. Студенты разъезжают по домам, по лавкам, по магазинам и развозят билеты. В среду и в пятницу, по постным дням, нахлынывает на Толчок деревенщина с луком, картошкой, капустой, овсом и рожью. Изо дня в день, изо дня в день со всех городских посадов и концов воют фабричные и заводские гудки, да трезвонят колокола на островерхих колокольнях.

Эсфирь Марковна не успевала напасать товаров: ездила она за товарами с большим рыжим чемоданом в Москву, в Петербург, в Варшаву. Когда долго не ехала обратно, спрашивали о ней покупательницы, а Сидор Мушка выговаривал за долгую отлучку.

— Барышней-то уведут самоходкой. Разве можно на девку положиться? Арошка вон как финтит!

Весело отвечала Эсфирь Марковна:

— Вы очень замечательный и вы какой наблюдательный человек, Сидор Иванович! Вам надо давать угощение...

— Угощение оно... угощение,—смущался Сидор Мушка,—конешно, и стерегу я магазин, особливо ночью, ровно свой кошелек...

— Ой! Да как же и трудно вам живется на службе!—сочувствовала Эсфирь Марковна.—Деточки у вас есть?

— Не хотишь ли—уступлю... отбавлю? Ребята первый сорт. Жанатые есть. Последыш, малец... заскребыш... с голым брюхом лужи меряет...

— Ах, ему надо гостинчиков!.. Вы заходите в магазин и получайте маленький подарок от меня вашему ребенка!

— Хо-хо! С нашим одолжением. Благодарствовать не устанем за ласку. Вот подрастет парень, отдам к тебе в мальчики... там... на посылках бегать... А то все Моисей сам мостовую топчет... Кардонки по всему городу, будто рассыльный, разносит...

— Ах, у нас столько заказа! Самые благородные дома берут „венский шик". На квартиру носит.

— С уваженьем—это лучше. Публика за уваженье и не надо возьмет лишнюю шляпёнку.

Приходили товары на товарную станцию: Мося с накладной ехал выкупать. Возвращался Мося с ящиками, сидя на возу с ломовиком и глядя вдоль кривых улиц по высокому тыну своего носа.

— Моисей Захарыч, есть новенькие?—кричала в окно горничная генеральши Наседкиной.

— Не без того!..—сумрачно отвечал Мося.—Мамаша наша со всеми фирмами знакома. Мамаша из-под земли достанет.

— Ах, как интересно! Дамочкам опять раззор! Поглядеть бы, какие они новенькие-то! Этакие... с кочками... со страусовым хвостом... больно хороши!

За окнами, внутри, взвизгивали одна—другая собачонка. Большой пудель прыгал на окно и показывал свою морду рядом с горничной.

Недовольно говорила горничная:

— Пошел, Пушок! Марш на место. Не велено... не велено!

Горничная сталкивала пуделя в комнаты и снова обращалась к Мосе.

У Моси тёк с носа-ладошки пот. Он возился с ящиками, помогая снимать с валька, он шел в магазин за ящиком, поддерживая его на спине у ломовика.

— Отчего они такие тяжелые?—спрашивала горничная.— Шляпа и вся-то весит золотник.

Мося небрежно бурчал:

— Галантерея незаметный, а очень тяжелый товар. Каркас... ленточки... Каркас тяжелый... И всякий покупка. Тут шляпа на закрышку.

Ломовик, косясь на окно, пренебрежительно к горничной и поддакивая услужливо хозяину, тянул:

— Им легко носить одну—две ленты, а... намотай на себя ленты со всего города, какая будет тягость! Закашляешь себе!...

— Отстань, отстань, Пушок! Нельзя на улицу!—сердито грозила голосом горничная, оборачивалась и отталкивала прыгавшего на нее сзади пуделя.—Мешаешь слушать... Что вы, Моисей Захарыч?

Мося шутил:

— Почему вы собаке мешаете смотреть на наш товар?

— Ах!—смеялась шутке горничная.—Барыня боится: не выскочила бы Пушок из окна и не связалась с чужими собаками.

— Ну, и что же тогда будет?

— Сами знаете... что...

— Собака побегает—и прибежит домой. Я больше ничего не знаю. Собака так умна, чтобы не уходить от хорошего хозяина.

— Она... породу испортит... принесет другой породы щенят.

Горничная стыдливо закрывалась рукой.

— А... так,—лукаво шевелил носом Мося.—Вот отчего Пушок сидит в неволе!

И, встряхнув руками, вынося ломовику деньги за перевозку, Мося спрашивал:

— Почему вы сегодня гуляете на окошке? Разве нет дома генеральши?

— На крестины поехала к племяннику. Нам и простор.

— И чего вы делаете, когда нет генеральши?

Горничная весело фыркнула.

— Собак стерегу, чтобы не разбежались... да на вас гляжу...

— И что вы на меня глядите? И что вы во мне видите?

— Што надо, то и вижу.

Мося довольно ухмылялся, поднимал высоко кверху нос и еще спрашивал:

— А где же половинка генеральши?

— И приживалка уехала,—злобилась глазами и голосом горничная.—Приживалка и ребенка будет держать. Барыню только в книге запишут. Будь дома приживалка, не погуляла бы и на окошке я. Ха-ха! Какой вы занятной, Моисей Захарыч! Вот... какой занятной... и не передашь! Ха-ха!

— А вы очень беленькая и... очень даже беленькая!

— Ха-ха!—весело звенел голос горничной.—А ну вас совсем!..

Горничная скрывалась за шторами. Мося, как рубил воздух своим носом, опускал голову, хитро улыбался под ресницами и уходил в магазин.

Эсфирь Марковна Шмуклер, как поднимался и поднимался доходами „Венский шик", часто и помногу пересылала подарки бедным своим родственникам в Лодзь, в Бердичев, а в столицы отвозила сама.

— Вы знаете,—говорила она генеральше Наседкиной, уплачивая ей аренду и дожидаясь, когда та напишет расписку, а потом будет долго считать деньги и разглядывать их на свет в фисташковом своем кабинете с большой фотографией генерала Наседкина на стене и картиной огромного бульдога с красными глазами—на другой,—мы, евреи, очень большой жалость имеем ко всякой бедность... Ай, сколько я посылаю селёдочков и мануфактур за черту! Помогаю я, помогут мне. Так денег и мало, ой, как мало!

Урчала генеральша глухим голосом:

— У кого и деньги, как не у вас? Евреи и в Америке все банки захватили. У каждого еврея в Америке есть дядя-банкир.

Эсфирь Марковна улыбалась на дрожавшую жирную руку генеральши и на широкое, отсыревшее от натуги писания, лицо.

— Евреи плодятся, как кролики,—глушила генеральша,—поневоле будешь посылать. У вас, наверно, по всей черте оседлости сидят Шмуклеры?

— Ах,—вздыхала Эсфирь Марковна,—очень-очень много. И в Москве и в городе Петербурге.

Генеральша разглаживала деньги на книге, приникала к ним подслеповатыми глазками и вертела деньги на свету. Недоумевающе она говорила:

— В столицы евреев не пускают... Они и туда умеют проникать. Мы беднеем год от году, а вы богатеете. Вот дом-то пока генеральши Наседкиной, а потом, пожалуй, будет мадам Шмуклер. Племяннички как кукушки у меня: своего гнезда не вьют.

— Как это плохо и печально!

— Печалься не печалься, с собой дома не унесу.

Генеральша снова переглядела все деньги, пересчитала, придавила чугунным пресс-бюваром на книге и вопросительно наклонилась к Эсфирь Марковне.

— Фальшивок, кажется, нет?

— Как можно!—воскликнула Эсфирь Марковна.—Мося получил в банке!

— Ого!—удивилась генеральша.—У вас деньги в банке лежат?

Эсфирь Марковна шевельнула рукой по воздуху и сладко сказала:

— Немножко... Немножечко!

— А у меня ни шиша!—насмешливо бросила генеральша и начала трудно вставать с кресла.—Следующую аренду не задержите. Условие разорву за три минуты просрочки. И неустойку возьму сполна. Этот... как его... зубное здоровье... дешево снял... облапошил!

— Какая цена! Какая цена!—в ужасе шептала Эсфирь Марковна.—Дороже всех торговцев плачу! И помещение не совсем-таки... Широ. Берточка кашляет... У Моси ножки зябнут...

Генеральша загромыхала хохотом, наступая на уходившую с поклонами Эсфирь Марковну.

— Не сбавлю... не сбавлю... Меня, мать моя, не разжалобишь! Генералы жили, холодно не было, ножки не зябли, порòда понежнее... Ха-ха! Хо-хо! Будь здорова! Ах, да! Вот... запамятовала я... про столицы говорили... слыхала я... будто еврейки-курсистки, чтобы в столице жить, билеты желтые берут на проституток... И на осмотры ходят, как проститутки. Хо-хо! А сами девственницы. Ха-ха!

— О, да! О, да!—сказала резко Эсфирь Марковна.—И этот позор есть для евреев!

— Цеп-ка-я нация!—пренебрежительно поморщилась генеральша.—Ха-ха!

Вдруг нежнейшим шопотом позвала генеральша Пушка, отвернувшись от Эсфирь Марковны.

— Пупсенька, Пупсенька, ангельчик мой, пойди сюда! Ну, да пойди же сюда, славный!

Пушок, выгибая спину, выставляя вперед передние лапы, радостно вильнул хвостом, лайкнул и закружился вокруг широкого колокола-платья генеральши.

Изредка Шмуклеры с Арошей Зелюк, с супругами Калгут ходили в театр и покупали ложу вскладчину.

Мося был домосед и не ходил в театр. Берта с Арошей гуляли в антракте по фойе. Берта подрагивала кругляшками низких бедер, широко выходивших за платье, и весело смеялась. Арошa тоненький и щуплый вертелся зайчиком и наклонялся шопотом к ее багровому уху. Сзади прогуливались остальные Шмуклеры и Калгуты.

Когда приезжали на гастроли знаменитые братья Рафаил и Роберт Адельгеймы, ставили „Уриэль Акосту", „Кина", „Отелло", „Разбойников", в театре сверху донизу сидели евреи. Будто яблоня в яблоках, краснели девичьи щеки, и Берта с Лией плакали. На Адельгеймах к Шмуклерам Ароша и подвел высокого студента, как большой-большой ржаной сноп.

— Это вот Алеша Уханов. Я говорил вам.

Лии пришлось подать руку последней, и она покраснела, когда глаза наткнулись, остановились друг в друге и скосились в разные стороны, нелегко отрываясь.

В антракте Алеша смешил и Берту и Лию прибаутками, веселыми рассказами, просто и легко брал Лию под руку, будто знал ее так давно, как Ароша знал Берту. И Лия думала, глядя на сцену после звонка, что она никогда не слыхала такого колокольчатого милого смеха, каким смеялся Алеша Уханов.

У магазина Эсфирь Марковна сказала Арону:

— Он очень любит смеяться! И он очень молод! Арон, вы хорошо его знаете?

— Как сам самого себя!

Ароша с Бертой, Лия с Алешей с тех пор часто ходили гулять на Прогонную улицу, на бульвары. И покуда шли, на них падали, будто с высоты, певучие птицы, вились столбиками и звонили-звонили-звонили дрожащим голосом Алеши.

Сидор Мушка глядел вслед парам, постукивал на морозе рукавицами и делал под башлыком хитрое, самодовольное лицо.

— Хе-хе! Шмуклерша в гору идет! Сын городского головы, шутка ли, знакомство водит! Девки день и ночь трудятся, а вот... свела же... протобестия, нашла лазейку! Ух, жиды эти, и мозгачи! Сорвет парень ягодку али не сорвет?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Савва, он же Чубук, он же Иван Иванович, никогда не спал тем настоящим и обыкновенным сном, с закрытыми плотно глазами, с похрапыванием и свистом в безмятежном носу, со стоящими у кровати ботинками и висящими на спинке стула брюками и пиджачком, каким спал город, когда приходило время спать. Савва не любил белой раскрытой постели. Он притыкался на кресле, на лавке, на половике, на сене, на ходу, не раздеваясь и не снимая ботинок.

Днем, когда было лето, и когда было нужно, и когда было можно, Савва уходил за город, за Чарыму, в места безлюдные, в заброшенный кирпичный завод, раздевался там и мылся в Чарыме. Иногда он не мог побороть сна. Глаза кто-то сильнее его закрывал сразу. Савва перемогался—и не перемогал. Тогда он отсыпался. Голова свежела. И хотелось радоваться, и хотелось смеяться на потяготу тела. Просыпался от страха, вскакивал рывком на ноги. Он слышал голоса, но вокруг было безлюдно. Он успокоенно садился на землю и не торопясь одевался. Приходил он на Чарыму с узелком в газетной бумаге, менял белье и заворачивал в газету грязное.

Часто была гонка. Унюхав его след, сыщики шли по пятам. Савва кружил по улицам, по переулкам, по проходным дворам, перелезал через заборы, входил в дома, прятался под мостами, пока не уходил от сыщиков. И вместе с ним скрывался и прятался и кружил узелок с бельем. За́поздно он заносил его к Никите. Оттуда брал узелок Сережка, и мать Сережки стирала белье.

Был еще портной Янкель Брук. Жил он на заднем дворе, в старой бане, на Золотухе. Пробирался и туда Савва со своим узелком.

— А! Вы принесли материал!—говорил Янкель, пряча свои глаза от мастеров.—Очень хорошо. С примеркой я приду сам. Мы еще не начинали шить, но вы, пожалуйста, будьте покойны: бруки будут на вас, как вкопаный...

Узелок и связывал и мешал. Хотелось швырнуть его от себя в канаву, хотелось подкинуть к забору, но у Саввы никогда не было столько денег, чтобы покупать новое белье и швыряться старым.

Зимами приходилось трудно. Мёрз в легком осеннем пальто. Не мылся месяцами. Оставлял на ночовках после себя насекомых. Было стыдно и горько ловить гадливые испуганные взгляды чистеньких, накрахмаленных, с белыми пухлыми руками адвокатов, докторов, литераторов. Ночевал у рабочих. И там давали гребень, стригли, кипятили самовар... Сидел за перегородкой голый, а на кухне, рядом, стирали черное, просаленное, завшивевшее белье. Бабы шутили, шаркая белье в корыте:

— Чеши на заслонку. Упадет вша—и позвонит.

— Копайся, знай!—покрикивал рабочий.—Не лето теперь голышом сидеть. Суши в печке скорее верхнее.

Жарили в печке брюки и пиджачок. Савва надевал на голое тело калёную одежду и весело смеялся: тело млело в тепле и переставало чесаться.

Выходил, оглядывая улицу, из ворот. Прослеживали... Скрывался обратно, наблюдал в щель, будто влезая в нее, пережидал...

Савва знал и помнил каждый изворот улицы, проходные дворы, полицейские будки, сыскное, жандармское, посты сыщиков, знал сыщиков по лицам, по походке, по смене одежды, по той особой, неповторимой ухватке ходить и носить в глазу ловучий огонь. Лишь закрывал глаза, Савва помнил все явки, имена и прозвища товарищей, помнил адреса нужных квартир в столицах, а там новые явки явок, новые имена и прозвища... Настороже, таясь домов, людей, деревьев, охранял и размерял каждый свой шаг, оберегал явки, терял связи и налаживал их, попадал в ночные засады и облавы, прятался на крышах, в дымовых трубах, на чердаках, в собачьих будках, за помойками и колодцами, подлезал на животе в подворотни, замерзал в сугробах, выступал на кружках, на массовках, пробегал десятки верст с сухим и шершавым от жажды языком.

И так Савва жил неделями, месяцами, годами...

Приходило внезапно изнеможение. Уходил от сыщиков— и вдруг останавливался. Хотелось спать, хотелось пойти им навстречу и сложить назади руки, чтобы больно и крепко скрутили, отвели и, главное, дали уснуть-уснуть-уснуть и, главное,

не прятаться ни от кого, не вертеть головой направо и налево и не уставать вытянутыми жилами на шее, не думать, не чувствовать, спать-спать-спать...

Сыщики бежали стремглав. Кидал на них последний острый взгляд—и сердце вскакивало, выпрыгивало из груди, толкало-толкало-толкало вперед, не давался... Жажда уйти сменяла усталость—и он уносился Саввой, Чубуком, Иваном Ивановичем.

Уходил и смеялся, передыхая от погони в безопасном месте, вытирал липкий, мокрый, усталый пот.

Ночью он лежал, приткнувшись на диване в богатой и роскошной квартире. И не мог закрыть глаз. От недосыпа приходила бессонница. Проклятые, золотистыми цветами, обои приковывали глаза, дразнили и кололи, вдыхал запах кожаной мебели, духов, цветов—и не было нужного чудесного сонного вина. Каждый городской камень сторожил Савву—сон давал изворотливость, хитрость, проворство,—глаза не закрывались.

Как висячий желтый фонарь на ветру, Савва подрагивал на ногах и сипло, подолгу, говорил на массовках, на кружках, на собраниях, слушал тугим ухом, хрипло кричал, морщился, а потом снова уводил сыщиков от товарищей, тщетно искал приюта на ночь, хранил безопасность спавших в укромных местах складов литературы, оружия, техники...

В шесть утра он слушал фабричные и заводские гудки... Иваны, Петры, Сидоры, Марьи всплывали разом в отягченном, усталом мозгу, вспоминались лица, волосы, улыбки, скрюченные большие руки с твердой кожей, цыгарки, бороды... Савва снова собирал для себя кружки, массовки, собрания и говорил, в секунды укладывая сказанное часами, высеченное, как на камне, такими мелкими-мелкими-мелкими бисерными строчками. Так... так... так...—била кровь в настороженной голове. Савва видел, как протянулись к нему телеграфные провода от фабрик и заводов, изо всех улиц города, с задних дворов, из особняков, а повыше, над городом, на высоких фабричных трубах, провода шли со всей России. И провода оглушительно, звонко, уныло гудели в ушах. Он хватал их руками, они ускользали, обрывались, он, как телеграфист, работал на клавиатуре... торопился... не успевал... В бреду, будя хозяев, Савва просыпался, а пальцы все еще суетились и колотились по подушке.

Пил жадно и ненасытимо воду, морщась от липкой и душной испарины, косил глаза на белевшие окна и ждал дня. Савва

вскакивал, искал бумагу, карандаши, присаживался к столу и быстро, давя грудь о стол, писал на одной стороне листа, ровно, четко отставляя букву от буквы.

Резко рвалась боль в сердце, закусывал губы и... пережидал, когда боль утихнет и когда остынут вдруг вспыхнувшие щеки.

И опять трусил по улицам неделями, месяцами, годами...

Савва сваливался... Тогда в ночь он шел к первой загородной станции, садился в поезд и уезжал... Там, в маленьком городишке, в гостинице, Савва отсыпался, отдыхал... Ночами валились на него листы железа с высоты, он закрывал голову от них, а они, выгибаясь, летели-летели-летели, шаркаясь около головы железным скрежетом—и будили. Савва привык к однообразному железному сну. Был и другой сон—и к нему привык Савва. Гнались за ним солдаты, улица узилась, из калиток, из ворот выходили дворники в красных рубахах, в жилетках поверх; рубахи казались короткими юбками, дворники показывали на него длинными колючими пальцами. Пальцы доставали его, перегораживали дорогу и смыкались впереди. Савва бежал, а пальцы заострялись стальными наконечниками, трехгранными иглами штыков. Тут вырастал полосатый верстовой столб, а на столбе белела деревянная дощечка, а на дощечке черными дырками букв глядело окно: „Лена". Савва просыпался. Сибирь всплывала в снегах, в тюрьмах, в густых тынах тюрем, в широких рукавах Владимирки, как Волга у Каспия, растекшихся за Уралом. Савва помнил дорогу страшную и трудную под звон кандальный туда, дорогу узкую, звериную, свободную оттуда... Сны о ней повторялись...

Савва возвращался обратно. На вокзале выходил из вагона бритый, неузнаваемый человек с маленьким саквояжем, в синих очках, с тросточкой, проходил мимо стерегущих глаз сыщиков и спокойно садился на извозчика.

Савва снимал комнату на людной улице и переставал быть Саввой, Чубуком, Иван Ивановичем. В комнате жил солидный господин, живущий на проценты с капитала, любитель моциона, театра, цирка, обедающий по ресторанам и увеселительным заведениям, иногда ночующий не дома и приезжавший изредка навеселе, утром, с дамами.

Бессрочный паспорт с полицейскими пометками возвращался из участка. На втором, на третьем месяце солидный господин исчезал. Квартирная хозяйка находила на столе деньги за

квартиру. В ночь полиция и жандармы оцепляли дом. В комнату входили с обыском, рыли, поднимали полы, обдирали обои... На подоконниках, на косяках, слезя глаза, мучились прочитать кем-то написанные неразборчивые слова. Карандаш стерся, обпылел, выцвел—и глаза у чтецов плакали, краснели натугой. Обыскивали квартиру, весь дом... Городовой из дворницкой звонил по начальству. Входили и выходили жильцы: поворачивали, загоняли в одну квартиру. В постелях заставали любовников, рогатых мужей, проституток, воров, растратчиков, банкротов, сбежавших из долгового отделения... Находили веселые картинки: продавали картинки в городе из-под полы. Снимали со стен открытку с орлом, вырывавшим у девушки с обезумевшими глазами книгу с надписью „Закон". Укладывали в мешки портреты Байрона, Шиллера, принимая их за портреты Желябова, Софии Перовской. Срывали со стен „Остров мертвых" Беклина. Раскрывали книги с закладками, прочитывали благонадежные места и уносили книги в красных переплетах. А Саввы не было.

Захватив с собой рыдавшую хозяйку, оставляли в квартире засаду. Сыщики кружили по всему кварталу и долго потом шаркали по мостовым настойчиво, бесплодно. И с тех пор жильцы в страхе замечали, как долго некий провожатый сопутствовал им в отдалении, отучивая выходить из квартир. Как обыскивали, пристав оглядывал с ног до головы, записывал в маленькую книжечку брюнетов и всякой другой масти, где в квартирах находили книги и картины.

Немногие выдерживали сопутствующего человека, шли в участок и просили освободить, клянясь в патриотизме. Пристав разводил руками и таинственно говорил:

— Не в силах! На то высшее распоряжение начальства!

И успокоительно добавлял:

— Вы-ы-нуж-дены! Враг подтачивает... Попробуйте... в жандармское отделение!..

Пугаясь жандармского отделения, отшатывались назад, сочили сердце муками негодования, обиды, страха... А сыщик оберегал, остерегал, заглядывал через кухню к предосудительному патриоту.

Савва укрывался. И снова к нему тянулись телеграфные провода от фабрик, от заводов, от явок, от кружков, от дальних и близких городов. Он не спал, не мылся, вшивел, голодал, хрипел от собраний, споров, речей, бесновался от

провалов, ожесточался, застеганной клячей трусил по окраинам, заводил новые связи,—связи трудные, опасные, ровкие...

Медленно и вяло дымили фабрики и заводы... И катился от них ровный, уверенный гул по окраинам. Савва скучал, сомневался... А иногда Савва издали видел, как выходили рабочие из ворот, из проходных будок, из калиток, звонко шумели, толкались, бежали друг за другом, подставляли ножки, кидались зимой снегом, летом катались в борьбе на придорожном лужке... Тогда и он молчаливо кидался снегом, боролся, кричал, пробегал проходные будки, скрипевшие калитки и широкие рты ворот с темно-рыжими корпусами, грудами рваного железа, хлопковых куч и ящиков за ними.

И на смотру первого мая, когда первый раз праздновали маевку, он видел красное знамя, такое детское, маленькое, кусок девичьей красной ленты—а оно вырвалось головней над Прогонной улицей. Савва задрожал, проглотил слюну, лицо вдруг состарилось, передвинулось, искосилось, он отвернул глаза на забор, замигал часто и влажно. Потом наскакали драгуны... И как проливные дождяные струи, засверкали над головами шашки. Савва побежал вместе с другими, а лицо растерянно и счастливо плавало не сходящей улыбкой.

Он ждал—от того радостного года первомайский праздник—единственный праздник в году—пробирался на Прогонную через все кордоны и пикеты сыщиков, жандармов, солдатни... Прогонная все густела и густела...

И когда, в один год, заперли Прогонную со всех сторон,— рабочие длинными черными колоннами, как многие составы вечерних поездов, развернулись и пошли по бульварам. Шли по бульварам—и пели. Савва первый раз слышал, как умели рабочие ворочать тяжелые колокола песни:

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный,
Раздайся крик мести народной—
Вперед! Вперед! Вперед!

Сыскоса, из-за заборов, коснули тяжелые ливни пуль... Закрошилась белая береза, забились напротив звонкие стекла в рамах, задырявели, плеснулись вбок на перила рабочие составы поездов, закутермились тысячи плетучих ног и рук, хлынули по бульварам открытые плотины убегавшего люда, легли на выгнутые колеса бульварных аллей другие, и подымались

головы и бились о землю, прижатые ливнем. Савва задумчиво говорил сам с собой, покачивая и укладывая простреленную ногу у Никиты-на-Погосте:

— А идет! А идет!

И опять начались те же неверные, обманчивые будни.

Чаще и чаще не слушалось Саввы разбухшее под левым соском сердце. Оно вываливалось в подмышку припухлым мешочком и отстраняло от тела левую руку. Сердце вдруг переворачивалось в груди и кидалось в голову комками крови, названивало в ушах далеким звоном с островерхих колоколен. А главное, оно мешало ходить. Савва застревал на заборах, сваливался с них и не мог встать, отползал в бурьяны, лопухи. Сыщики ходили рядом, а он пригибал к земле голову. И глаза всплывали обидными лужицами слез.

Сердце ненадолго угомонялось. Савва опять кружил, неся легкое бремя любимых забот и тревог, неделями, месяцами, годами...

И не доносил.

Июльский зной был как костер: палило сверху, палило снизу. Сверху наклонялось на грудь и тяжко дышало рыжее, плавкое солнце—львиная голова с огненной бородой:

Рыжий красного спросил:
— Где ты бороду красил?
— Я на солнышке лежал,
Красной бородой дрожал!

— а снизу пыль лежала густая, зола-перекаль, пылила, порошила горячим паром, обдувала Савву под брюки, под рубашку, осаживалась на шее жгучими каплями солнечных рос.

В гостинице „Золотой Якорь“ остановился коммивояжер завода „Шарико-подшипник“. Он внес в номер маленький чемодан и футляр с мандолиной. В первый день коммивояжер выходил и вернулся поздно домой: бегливая, настойчивая работа коммивояжерство! И не играл на мандолине: все коммивояжеры очень любили играть на мандолинах. Утром он долго не вставал, с завязанным горлом пил чай—и опять лег.

Сердце у Саввы лезло в подмышку, грудь теснило и распирало. Будто хотели разорваться ребра и не могли совладать с прилипшей тягучей кожей. В горле стоял толстый храк и замком запирал дыхание.

„Лежать... лежать, — переваливались мысли, — надо отлежаться... тогда пройдет".

Лакей тревожно заглядывал в двери.

Савва поманил его рукой, одними пальцами, и прохрипел:

— Доктора... не зовите. Это—припадок... Это пройдет само... Завтра встану.

Лакей сочувствовал:

— Служба ваша—аховая: как собака бегай, предлагай товары!

Савва насильно улыбнулся.

Ночью он держался застывшими руками за кровать, отгибал голову на подушке, пережидая редкое и больное дыхание. Сердце то стучало колотушкой и поднимало левый сосок мелкой и сильной дробью, то замирало, ноя... И тогда холодная зимняя вода катилась по телу, замораживала, заледеневала...

Савва думал:

„Как долго длится припадок? Неужели это—смерть? И я... умру?"

Забытье и затишье сменялись кашлем, хрипом, клокочущим в горле горячим воздухом, бившимся в раскрытом подавившемся рту. В забытьи повторялись сны старые, привычные, пугающие. И еще тяжелей, невыносимей было просыпаться от них и корчиться в золотом электрическом свете. Нога свалилась с кровати... Ей было холодно. Но Савва не мог отделить ее от пола.

Время ночное—как долгий путь в темноте. Савва все шел-шел-шел—и не мог дойти.

И вдруг в уши ему звонко, переливчато, с перебоем ударил звон. Он раскрыл глаза, пошевелил пальцами, легко и свободно вздохнул, понял: звонили к обедне у Афанасия Александрийского, на Сенной. Коридор проснулся. Лакеи стучали чайниками. На подносах дребезжали и стеклянно звенькали стаканы. Шаг лакейский — торопкий, шаркающий — мешался с шагом грузным, приземляющим, богатым шагом...

Савва сел на кровати — и тогда снова перекувырнулось проснувшееся сердце, завозилось в клетке большой запертой птицей, затрещало и замахало и забило птичьими крыльями. Савва обессилел и вытянулся в удушьи.

Очнулся он на полу. И опять звонили жидким звоном у Афанасия Александрийского на Сенной. Савва понял: звонили ко всенощной. Он поднес к глазам руки—и вдруг заметил посиневшие голубикой ногти.

Савва осторожно поднялся на ноги, прошелся по комнате, задохся, не веря, боясь своих шагов—и стал медленно одеваться.

Держась за перильца, Савва спустился по лестнице, вышел на Сенную площадь—и заковылял поперек.

Савва огляделся у калитки желтенького дома на Козлёне. По пустой улице везли на дрогах, в низких плетеных корзинах, поросят. Поросята визжали и высовывали мордочки в дырки между прутьев, толкали и качали корзины. Савва сморщился от боли, качнулся, выпрямился испуганно и позвонил.

— Зелюк,—тихо сказал Савва в угловой маленькой комнатушке,—я, кажется, умираю... Сердце... Я в „Золотом Якоре". Следи... Когда умру, сообщи в Областной комитет. Пускай посылают другого. Береги технику...

Зелюк засуетился, забегал по комнате, усаживал на стул опухшего и одряблевшего Савву. У него дрожали большие красные губы, глаза отчаянно бегали на гипсе лица.

Савва дрогнул голосом:

— Прощай, Арон! Кланяйся ребятам... всем. Хвоста не было за мной...

Они обнялись и поцеловались... Зелюк забормотал:

— Савва... Савва... оставайся... у меня... я... провожу тебя...

Савва укоризненно покачал головой и пошел, трудно передвигая ноги. Зелюк кинулся на кровать, свернулся калачиком и закрыл голову подушкой. Подушка покачивалась и пищала жалобным тоненьким плачем.

Ночью Савва умер.

Зелюк с утра сидел в Пушкинском сквере, напротив „Золотого Якоря". На широкой площадке, окруженной широколопастными, подрезанными, как огромные шапки-боярки, вязами, дети водили хоровод.

Маленький, будто кролик, мальчик тихо запевал:

Как у наших у ворот
Муха песенки поет,
Муха песенки поет,
Комар музыку ведет.
Ай люли, ай люли!

И хор подхватывал с восторгом, с печалью:

Комар музыку ведет...

Зелюк вслушался, не мог оторвать глаз: ему было не по себе. А мальчик поднимался голосом кверху, как по ступенькам:

Стрекоза плясать пошла,
Муравья с собой звала:
— Муравейка, милый мой,
Попляши-ка ты со мной!
Ай люли, милый мой!

Зелюк положил рядом на скамейку книгу. И как быстро он захлопывал ее, упала сверху капля и брызнула от книги обратно в глаза.

Мальчик звонко, как сыпались серебряные деньги на плиты, тосковал:

Я и рад бы поплясать,
Да уж очень я устал.
Ай люли, я устал!
Все соломинку таскал
Из подвала в сеновал.

Хор забрызгал, заплескался печальным припевом:

Ай люли, в сеновал...

Дети молча завертелись, вытягивая друг у друга ручонки, медленно перешли к широкому усталому шагу, дрогнули на месте, как останавливаются карусели, передернулись раз-другой и вкопались в песок. Мальчик-запевала засеменил ножками из круга, вытирая потные щеки. Зелюк больше не смотрел и тёр настойчиво и больно переносицу, проёрзывая рукой на закрывавшиеся веки.

У парадных дверей „Золотого Якоря“ привалились к столбам сыщики. Прошел внутрь наряд городовых. Потом подъехала с красным крестом карета. Потом широко раскрылись двери. Двое городовых выскочили из дверей, отогнули полотнища к стене и держали их. Савву, прикрытого пальто, вынесли на носилках, положили на мостовую, перехватились руками и стали вкладывать в карету. Собирался люд. Подъезжали извозчики с биржи, подхлестывая лошадей.

Городовые отгоняли.

Карета отъехала. Городовые вошли обратно в здание. Зелюк подумал: „За-са-да“—и улыбнулся горько. Площадь пустела. В Пушкинский сквер вошли два сыщика и сели в крайней аллее за сквозной решеткой.

Тут Зелюк заметил недалеко от себя: за толстокомлевым вязом сидел человек и насмешливо косил на него один глаз. Зелюк принужденно зевнул, потянулся, взял книгу и близко подошел к хороводу. Зелюк постоял, скучая, скользнул глазами в жадные глаза сыщика и вышел на площадь.

— Вон, куда забрался,—слышал Зелюк разговор извозчиков.—Дело, видно, замышлял какое... да смерть и настигла.

— Смерть, она не разбирает ни дня, ни часу!..

— Продувные эти бестии—сицилисты!

— Везешь вот другой раз барина... Кто его знает, может... может, в кармане у него бонба... Шарахнет сзаду... и кон-че-но!..

— Что ему дался извозчик—министр какой? Это ты зря. Я скажу тебе, они простой народ не трогают...

Зелюк шел не оглядываясь и вёл за собой сыщика.

Ночью колыхалась и жалобно пищала подушка в желтом домишке на Козлёне, и красные маленькие глазки глядели упорно, сиротливо в тихую темноту.

На смену Савве приехал Иван, он же Волк, он же Лука Будкин.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Упала лампада на проржавевшей цепи в спальне генеральши Наседкиной. Лизнуло шторы, обои, мягкое—и заполыхало! И потекла красная плавь по паркетным полам, под плинтуса, под переборки, открыла внутренние двери, проглотила портьеры—и заохала по комнатам большими красными кострами, затрещала сухо, отчетливо, неумолкаемо. Собаки подняли лай, кидались в окна. Кошки заныли на подоконниках. Горничные выскочили с криком на улицу.

Тут Сидор Мушка, дремавший у будки на лавке, раскрыл глаза и увидал на месте дома генеральши Наседкиной огромный красный фонтан. Забили в набат. На каланче вертелся фонарь. Через площадь бежал люд, запинался, падал, вставал—и бежал снова. Мушка кинулся в будку, затопал оттуда с медной трубой—и затрубил тревогу. Соседи генеральши Наседкиной вытаскивали вещи через окна и двери и складывали на площади. Из улиц, выходивших на Толчок, вынеслись с факелами пожарные—верховые—и подскакали к пожару. Погодя загремели пожарные дроги, лестницы, багры—и медные, покрасневшие

щеками пожарные машины выкатили на площадь. На огонь сразу бросились с рукавами, лестницами, баграми. Коромысла пожарных машин заковылялись, как ковыляются лодки на валом расходившемся Чарыме, как ковыляются зимние обозы на переносных снегами дорогах.

Генеральша Наседкина приехала из гостей, не могла выйти из экипажа и на всю площадь закричала:

— Пупсенька! Пупсенька! Где мой Пупсенька? Дайте мне моего Пупсеньку!

И заплакала и развалилась, как тесто, вылезшее из квашни, на руках приживалки.

Извозчик поглядывал то на пожар, то на плакавшую генеральшу Наседкину, ёрзал на сиденьи. И потом несмело сказал:

— Мы ночные... Нам некогда. Деньги за конец пожалуйте!

Извозчика не слышали. Он недовольно повернулся с сиденья и бурчал:

— До того ли, конешно... добра сгорела груда. А мы тут не при чем. На чужую беду жалобно, конешно... А без денег как же возить? Барыня, а барыня?

— Пупсенька!—выла генеральша Наседкина.

— Деньги давай!—осмелел и рассердился извозчик.—О собаке печаль, а человеку убыток делашь! Рассчитывайся, говорят! Ездока прокараулю. Чего там канителишься? Мы не от богатства ночки на воздухе проводим... и не по охотке какой!..

Генеральша Наседкина взвизгнула приживалке:

— Отдай, отдай этому... И помоги мне выйти. Пупсенька!

Приживалка зашипела, швырнула извозчику деньги и помогла генеральше выйти. Извозчик пересчитал деньги, снял шляпу и тронул лошадь.

— Покорнейше благодарю, барыня,—серьезно и спокойно сказал извозчик.

Генеральше подали стул из груды наваленных соседских вещей. Генеральша плакала и взывала.

Осуждающе проскрипел извозчик, отъезжая:

— Заладила одно и то же! Как наседка, на самом деле! О собаке убивается—кво-кво-кво!

Рукава, извиваясь, ползли по земле, поднимали на огонь медные горла и шипели белыми выстрелами клокотавшей воды. Огонь пил воду пересохшими губами—и его не могли напоить. Он захлебывался в одном окне, откидывался назад, словно опрокинутый толчком, а в другом окне он лез вон, выпячивал

большую красную грудь—и рябиновые волоса, вставшие дыбом, подпирали крышу.

— Людей нет ли? Людей нет ли?—кричали на площади. Пожарные подставляли к окнам лестницы—царапали закопченную опушку дома. Люд перебегал с места на место, вытаскивал вещи, качал машину, подхватывал багры, распрямлял рукава. Уставали одни, подбегали другие. Лишь поодаль стоял лесной темной опушкой люд равнодушный, неподвижный, жадно глядевший на пожар. Ему махали руками, звали его помогать, но на лесной опушке глаза не видели, отворачивались, а ноги переминались на месте и будто устали ходить.

Прогромыхали все пожарные части и прыгнули на огонь, поливая мутной, желтой водой крепнувшее пламя.

Тут только вдруд все заметили сиявший в огне золотобуквенный пряник вывески „Венский шик".

Бывают такие беспробудные долгие сны, когда снятся человеку пожары, и не торопится он пробудиться. За закрытыми глазами снуют у него пожарные, топчется люд, скрипят багры и рубят топоры, а в рот и в ноздри уже заползает едкая серая гарь.

Эсфирь Марковна Шмуклер вскочила на кровати. В красной комнате не было стен, потолка, а только крутился и завивался под потолком, у стен, как пыль на дороге, подкрашенный огнем дым.

— Мося! Берточка!—закричала Эсфирь Марковна.

— Мама!—закричали и Мося и Берточка.

И, склонясь к полу, они начали разыскивать друг друга. И спереди и сзади рванулись двери, зазвенели продавленные стекла, ветер ухнул по комнатам, и дым пошел на улицу, зачадил едучей кислотой, качнулся над вывеской и проглотил ее золотую спину, замазал пухлой пуховкой гари и Серафима Пятачкова и мадам Есфирь Марковну Шмуклер. А вместе с наглотанным дымом, зажатым кашлем во рту, Шмуклеры поняли людской шум за стенами, треск огня и громкие, злые приказы слов:

— Выхо-ди-и! Выхо-ди-и!

— Выноси-и! Выноси-и!

— Таска-а-й! Таска-а-й!

Комнаты пожижели от дыма: ветер пронёс дым сквозняком и угнал на площадь. А в двери, в окна лезли пожарные факелы, люд, медные рты рукавов, скрученные когти багров и наносники багорцев.

— Дры-ых-ните!

— Что-о, заспали-и-сь?

— Сгорите, черти!

Эсфирь Марковна похватала руками продымленную пустоту комнаты, зашаталась, ее подхватили и вывели на площадь.

Мося метался по магазину, а через его голову летели с полок картонки, коробки, шляпы с дрожащими перьями, будто выпускали из клеток птиц, и они непривычно, летнув круг, садились на землю. За птицами разматывались ленты и, как кишки, путались под ногами, мешали ходить, тащились за подошвами, за каблуками, крестили подъем...

Берта с цветочным горшком выскочила за Эсфирь Марковной, полунагая, безумно глядевшая на толпу из сбившихся торчком черных кос. Потом взвизгнула, увидав дрожавшую в полузабытьи мать рядом с генеральшей Наседкиной, и подскочила к ней. Какие-то бабы окружили их, отгоняли мужчин, откуда-то взялись шали, юбки, простыни...

В двери ножками кверху торопились стулья, прокачался широкий диван с охапкой лент на нем, дрожали на нежных стеблях накрененные цветы, расползались и падали столбики картонок, хрустели и рассыпались, разминаемые ногами... И так было много цветов, что казалось, „Венский шик“ торговал цветами. Эсфирь Марковна с Бертой сидели будто в низкорослом кустарнике, выросшем на площади. Люд подсмеивался. Генеральша Наседкина сквозь слезы улыбнулась и на минуту забыла Пупсика.

Мося в длинной ночной рубашке выскакивал из дверей магазина на народ, повертывался и убегал внутрь, ничего не вынося и бестолково размахивая руками.

— Жид-то ополоумел!—шептал люд.—Штаны-то бы надел!

— Кто хошь спятит, когда столько добра пропадает! До штанов ли человеку теперь! Ишь, как носом-то загребает!

— Жиды—они жальчивые к своему богатству!

— Пожарные спасли. Задохлись бы, пархатые!

— Добра этого не жалко! Одним жидом меньше. Поди, сами и подожгли: шубу выворачивают. Как так не слыхать— над головой горит! Треск-то какой! Дым всю ноздрю вывернет. И в глазах ест.

— Выжидали, притворы!

— На глаза намазывают...

— Видимость одна.

— Товар застрахован, а дом—чужой.

— Генеральше теперь крышка: жрать будет нечего. Телеса-то спустит!

— Еще пуще раздобреет: поди, в банке насовано по гроб жизни денег. Да заново собак разведет завод.

— Генеральша не пропадет!

Огонь по опушке добрался до низу. В боковуше, наверху, рухнул потолок, продавил пол, мешок искр выкинулся в окно на площадь.

Тогда Берта захныкала и, вцепившись в колена матери, закричала:

— Мамочка! Мамочка! Это... я... погубила... это я!

Эсфирь Марковна жалобно и безумно затвердила на всю площадь:

— Вос хо́сте гемахт, Берточка! Вос хо́сте гемахт, Берточка!.. Там!.. Там!.. Там!..

И показывала рукой на землю.

Радостно прокричал какой-то догадавшийся человек.

— Деньги в подвале! Деньги показывает!

Люд задвигался, заухмылялся, замотал головами.

— Ишь ты!

— У ково што болит, тот о том и говорит!

— Кому што, а жид не позабудет!

— Деньги для жида первее всего!

— И русский тоже не откинет!

— Жид-жид, а сами, подлецы, мизинца его не стоите!

— Брань всегда брань!

— А к чему она?

— Полицию! Полицию! Где полиция? Пристав! Пристав!— заорал, появляясь в дверях, пожарный.—Околоточный надзиратель! Скорей, скорей сюда! Да поторапливайся!

Сидор Мушка растолкал люд, наклонил голову и вставился в двери магазина. За ним побежал пристав, околоточные, городовые.

Люд замер, надвинулся, недоумевая, к пожару.

— Полицию зовут! Слышите? Полицию зовут!

— Видно, што есть!

— Погиб кто? Завалило потолком?

— Ах ты, батюшки!

— Да чево они там делают?

— Поглядеть бы, право!

Берта положила на колени к матери голову и крепко прижалась к ней. Эсфирь Марковна бегло шмыгнула глазами по надвигавшемуся люду, пошевелилась, поёжилась под шалью— и не сводила стоявших прямо глаз от дверей. Мося высунулся раз, другой—и скрылся, словно кого-то ища и не находя, не находя, не находя...

Из магазина, держа под руки, Сидор Мушка вывел двоих людей в темно-синих блузах. Они закрывали глаза ладонями и, как слепые, ощупывали мостовую ша́рком подошвы. За ними третьего околоточный держал за воротник пиджачка. Мося что-то бормотал приставу, а тот весело ухмылялся и сжимал в кулаке сдернутый с Мосина плеча рукав ночной рубашки. Эсфирь Марковна жадно глядела и держалась за Берту.

Люд охнул... зашевелился... нахмурился...

Кто-то вопросительно крикнул:

— Во-о-ры?

По толпе заперекатывалось, покатилось:

— Воры... воры... воры!

Тут генеральша Наседкина взвизгнула, вставая со стула:

— Поджига-а-те-ли! Во-о-т они, поджига-а-тели!

Люд постоял, качнулся назад—и людская волна замахнулась, нависла злобно и ревуче.

— А-а!..—загудели камни мостовой, дома, небо, эхо...

Волна подбиралась к ногам, закручивалась с боков, находила быстрее-быстрее-быстрее... Пристав лизнул из ножен шашку, околоточные мелькнули повторными движениями, а Сидор Мушка выставил горло гремевшей трубой:

— Осади-и наз-з-з-ад! Осади назад!

Пристав выскочил вперед, махая шашкой и крича:

— Пожа-а-рные! Пожа-а-рные!

Волна отскальзывала, бормотала, глохла...

Все обратились к неизвестным людям. Дом генеральши Наседкиной горел свободно и весело. Пожарные опустили рукава. Вода лилась мимо огня, вяло, зря, на грязную мостовую. Машины остановились, коромысла поднялись кверху.

— Не напира-а-ть! Не подходить на шаг!—ревел пристав.

— Поджига-а-тели! Поджига-а-тели!—вопила генеральша.

— Смерть им!—кричал люд.

— Поджигателей укрываете!

— Бери, ребята!

— Чего там прохлаждаться!

— С поличным поймали!

— Дава-а-й их!

— Жиды город поджигают!

— Полиция за жидов держится!

— Жиды подкупили фараонов!

— Забир-а-а-й!

— Жиды—подножный корм для полиции!

Пристав суетливо поскакал на месте и взревел на генеральшу Наседкину:

— Молча-а-ть! Заткни-и-те ей горло! Отвеча-а-ть заставлю!

Двое городовых угрожающе замахали кулаками над генеральшей. Генеральша Наседкина остолбенела, съёжилась, замолкла и от стыда закрыла лицо руками. Неизвестным людям Сидор Мушка скручивал руки назади—и торопился, одним глазом стреляя в толпу. А люд опять надвигался, и гул беспрерывный, будто гремел гром издали и все нарастал, будто гроза уже шла над городскими предместьями, первые облачные отряды уже вступали на площадь, гром ворочал камни гнева и беременеющей расправы... Задние ряды подталкивали, надвигали на шашки и на дырки выстроившихся в ряд наганов.

Неизвестные связанные люди жались друг к другу, шеи коротели, в ушах жужжала дрожь, а рядом кругом клокотал черный кипяток в черном котле. Мося согнулся. Эсфирь Марковна и Берта неподвижно сидели в цветах. Большой фикус тихонько покачивал лабуньками листьев.

С грохотом и жестяным треском осела на один бок крыша. Генеральша Наседкина протянула вперед руки... И вместе с приживалкой вдруг ясно стали слышны их голоса:

— Тушите! Туши-и-те!

Брандмейстер опомнился и погнал пожарных к пожару:

— Кача-а-йте! Кача-а-йте!

— Растаскивай баграми!

— Воды! Воды!

— Отпирай колонку!

— Сукины дети, не разевай рот!

— Честью, честью прошу! — отчаянно шумел пристав. — Стрелл-ять буду! Извозчик! Извозчик!

Городовые свистели и махали извозчикам. Извозчики начали настегивать лошадей, норовя убраться с площади. Городовые побежали за ними. Но дорогу извозчикам перегородила рота

солдат, быстро выдвинувшаяся из переулка. Городовые нагнали извозчиков, сунув им в горбы, а те молча отодвигались, дергали вожжами, оборачивали лошадей.

Люд, как раздвигаемые бурей деревья, раздался перед солдатами. Пристав зашептал фельдфебелю скороговоркой, указывая на неизвестных. Фельдфебель сердито кинулся на шипевший люд:

— Марш! Откатывай лопатки!

Люд послушно начал сдавать. Солдаты встали серой глядящей цепью. Неизвестных посадили на извозчиков. Они разом оборотились на пожар и долго из-под ладошек смотрели на него, на повисшую поперек обгорелого фасада почерневшую вывеску с золотым загаром слов „Венский шик" и на отвалившиеся, как крыша оранжереи, стеклянные полотнища магазинных дверей.

Люд кричал вслед жадно, обидными, неотомщенными голосами. Кто-то швырнул камень. Камень провизжал и ударился о дугу. Извозчики погнали лошадей. Пристав топал ногами, как огромные черные тараканы, в блестевших шпорных сапогах на Эсфирь Марковну, на Берту, на Мосю:

— Жидовские морды! Ехидны! Подкопщики!

Недоумевая, спрашивала генеральша Наседкина:

— Ка-а-к? Ка-а-к?

— Вот-с! В вашем доме-с... Ищем-с! Три года! И... нашли-с!

Пристав наклонился к маленькому, как божья коровка, уху генеральши.

Приживалка гневно искосила брови и заохала:

— Ах, жиды! Ах, жиды!

Пристав гаркнул городовым:

— Взять их! И... обыскать на месте! Стрелять при попытке к бегству.

Сидор Мушка злобно размахнул сапогом и, не подымая ноги, исподтишка пнул Берту.

— В-вставай!..

Мося тонко выкрикнул:

— Кто смеет бить? Нас бьют! Господин пристав!

Пристав с усмешкой в глазах моргнул Сидору Мушке:

— Нельзя бить, Конёв!

И протянул раздельно, оторвав конец слова:

— Пу-блич-н...

— Слушаюсь!—громыхнул Сидор Мушка и вполголоса забурчал, забормотал, заегозил:—Ну-у! Ковыляй, Фирка! Ты... наперед... Моська! Кажи носом бабам дорогу. Во-о-т... ка-а-к пришлось!..

Берта горько ныла и держалась за бедро. Фельдфебель отрядил троих солдат с винтовками. Шмуклеры пошли усталой, волочащейся походкой. Впереди шагал Сидор Мушка, крепко и гулко переставляя на камне большие, как копыта битюга, каблуки сапожищ.

Люд, недоумевая, шептал:

— Повели... повели... Шмуклершу повели!..

— И ребят повели!..

— Заодно, видно, с поджигателями!

— Говорил я... говорил я: жид спроста ничего не сделает.

— Мушка! Этих-то за што?

— За дело!—важно прокричал Мушка.—Опосля узнаешь. Открыва-а-й дорогу!

Люд загоготал в спину:

— Э-эй, жидове! Не отставай от Мушки!

— На косушку ему не позабудь!

— Он не откинет винишко!

— Тверезвенник он!

— Жиды, цветы-то захватите!

— Повянут без вас цветочки-то!

— Што без шляп-то? Што без шляп-то?

— Воины, жидовочку-то пошарьте!

— Ух ты и... жидовка ядреная!.. Сыпь, знай!

Люд гоготал вслед долго и весело. Мальчишки бежали с боков, забегали вперед, делали из подолов рубах уши и кричали:

— Свинячье ухо! Свинячье ухо!

Сидор Мушка добродушно урчал:

— Я вот вас! Жиды свинины не кушают, а вы дразните, озорные! Фирка! Ты как нащет свинины смекаешь?

Солдаты шли молча. Шмуклеры не отвечали Мушке.

— А!—торжествовал Мушка.—И серчать таперя тебе не полагатся. Шиш тебе и мальчонка мой в услуженье пойдет! Острамилась на весь город! Думалось: и черёдная баба, ан... какие оказии получились! Хи-и-трая! Да недохитрила! Пугало огородное, хорош и я—уваженье делал, будто каким благородным людям да богатым. Тьфу! Тьфу! Отродясь не отхаркаюсь!

Дом догорал. Зарево уже побледнело и исходило розовевшим выцветшим ситцем. Ушли в предутренние дрогнувшие сумерки дома. Пожарные лениво ковырялись в пожарище, оттаскивая обгорелые бревна на дорогу. А тут, играя медной стрелой воды, заливали не торопясь. Но люд не расходился. Нагнали полиции, густым тыном заслонившей приземлившееся пожарище. Подъезжало заспанное тревожное начальство: полицеймейстер, жандармы, офицерьё... Сыщики колесили глазами в толпе, подслушивали, заводили разговоры, приглядывались... Начальство светлело у огня мундирами, погонами, кителями, окружало генеральшу Наседкину пестрым хвостом и дожидалось конца пожара. Скакали взад и вперед с приказаниями конные городовые и наклонялись с лошадей к начальству. Люд жадно и терпеливо стоял.

Потом брандмейстер стремительно кинулся к полицеймейстеру и вытянулся перед ним, щелкнул сапожками и столь же стремительно кинулся на пожарище, крича на пожарных. Пожарные ожили, замахали топорами, дружно и легко расчищая дорогу начальству, поливая горячую золу из трех рукавов сразу.

Поперек пожарища пролегла широкая, чуть дымившая полоса.

Из-за ярмарочного дома протопали по мосту казаки и поскакали к пожарищу. Люд колебался. Передние ряды повернули спины, задние отодвинулись к домам, к воротам, к калиткам, но устояли. Навстречу казакам отошел от генеральши Наседкиной полицеймейстер и повел рукой на люд. Казаки вплотную сгрудили лошадей. Мохнатый живой забор пошел вперед, перебирая ногами, оттесняя люд в тупики и переулки. Казаки кричали:

— Спать пора! Расхо-ди-сь!

И помахивали нагайками, сторожко глядя из-под чубов.

Начальство пошло на пожарище. Генеральша Наседкина под руку с приживалкой проследовала к середине, наклонялась, показывала, подносила к глазам белый платок. Потом пригромыхал на площадь фургон Шиперко и остановился, как хутор, у пожарища. Люд не отрывался, не дышал... Пожарные и городовые полезли под землю. Люд ойкнул, выглядывал из-за хвостов казачьих лошадей, смотрел в промежности, тихонько отводя хвосты на стороны.

— Братцы!— кто-то весело и восторженно выкрикнул,—машины... машины... из-под земли достают!..

— Колесо!

— Станок, ребята, с колесом!

— Ящики!

Городовые по-двое бережно переносили в фургон таинственные машины.

— Подкоп, не иначе!

— О штука!

— Ловко заправлено: у жандармов на носу.

— Значит, сицилисты орудовали, а не поджигатели, братцы!

— Взрыва бы не было?

— Какой взрыв! Взрыв был. От взрыва и загорелось, видно! Сплоховали!

— Как кур во щи попались!

— Во-о-т тебе и шляпки... модны-е-е! Шляпки да, кажись, медные... с обсоюзкой!

— Шмуклерша-то, Шмуклерша-то, братцы! Кто мог подумать!

— Продалась сицилистам!

— Может, сама такая есь?

— Ну, какое там! Нашему сараю двоюродный плетень сицилистка она. И балакать-то она и по-людски не сможет! Сицилисты... те речистые!

— А я вот... По-моему... из-за денег... Жиды смерть деньги любят.

— Всякий деньги не откинет!

— Сгубило жидовку золото!

Хлопнула дверка, и фургон покатил обратно. Начальство тоже разъезжалось. Пристав подошел к казакам и опять затопал, закричал на неуходивший люд:

— Чего стоите столбами? Какое-такое представление? Все кончилось! Расходись! Ж-живо! Никто не будет допущен!..

Казаки начали сердиться, толкая люд задами лошадей. Повернулись, побежали двое к пожарищу... Казаки завертелись на седлах, озлели... Гикнул один казак, нагнал, наскакал—и нагайка щелкнула, взвилась, впилась, закричала на спине. Люд заторопился, отхлынул глубоко в тупики и переулки, расходясь.

Утро пришло пасмурное, слезливое. Был базарный день. К Толчку подъезжали мужики из деревень, шли бабы с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов. Казаки не пропускали. Во весь день дотлевало и дошаивало пожарище. И за казацкими лошадьми весь день тлел и шаял люд. Городовые

увозили куда-то на дрогах цветы вперемежку с коробками и картонками, оглядываясь, совали в карманы пестрые хохлы лент.

Посты сняли ночью. И тогда люд побежал на угольки к дому генеральши Наседкиной.

Сидор Мушка задумчиво глядел на пустое место в знакомой и полной еще вчера бочке домов на Толчке. Потолкавшись на пожарище, останавливались у Сидора Мушки и судили и рядили.

Сидор Мушка охотно и жарко говорил:

— Пожарные как обшарили комнаты за людям... слышат-послышат: в чуланчике под полом стучит... голос человеческий зовет. Пожарные по полу раз топором, другой раз. Дырку прорубили. Рука и вылезла. Тут... они за полицией. Тоже, смекалистые! С полицией доску подняли. Троих рабов божьих выволокли, сицилистов. Пожарный один в дыру слазил. А я за ним... Пожарный просветил факелом, будто днем. Поглядели мы—а там машины разные и ящички. Генеральша прежде вина тамотка хранила. Ма-а-ленькая, махонькая такая комнатушка-погреб, а в боку земля выбрана еще на такую же комнатушку. Года три, говорят, под землей, сволочи, жили. Обогреваться к Шмуклерше вылезали. Тюфяк там широкий на полу. Спали, дьяволы, в норе—не иначе. О! Спасаются ныне люди ка-а-к! На што машины были,—не добрались чередом в полиции!..

Сидор Мушка грустно замолкал, долго вздыхал и завистливо добавлял:

— Пожарным большая награда будет... А для меня один конфуз! Не уследил, верста!

И злился сразу Сидор Мушка:

— Чево обступили? Али не на посту стою для вашего брата? Чево свет заслоняешь?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Задолго перед тем, как погорела генеральша Наседкина, начиналась тогда еще весна, пришли за-полночь в „Венский шик" три человека и не вышли обратно. Были эти три человека— Сергей Бобров, Матвей Ахумьянц и Ваня Галочкин.

Рядом с кухней, в чуланчике, был глубокий люк, где хранила генеральша в добрые богатые времена своей жизни вина.

На две половинки откидывалось творило в чуланчике, а под творилом опускалась на дно узенькая деревянная лесенка к полкам и маленьким висячим шкафикам по стенам. В люке было сыро и душно, и пахло там крепким и затхлым запахом старых вин.

Гости Эсфирь Марковны Шмуклер спустились в люк. На полу там стояли: ручной типографский станок, выщербленная от времени касса с ящиками для шрифта, бидон краски, железная металлическая доска, а на полках лежала бумага и свертки со шрифтом. Мося светил семилинейной лампой с отражателем.

— Квартиру берем,—сказал, смеясь, Ваня Галочкин,—помещенье подходячее. Тесновато! Ну, да в тесноте, да не в обиде. Понадобится—расширим. Эге! Да для лампочки крюк налицо! Давай его сюда!

В промежутке между двух полок был вбит гвоздь для лампы. Ваня Галочкин принял от Моси лампу и повесил ее.

— Захлопывай дырку, Мося! Мы тут назавтра снарядим корабль. Может, и хорошо поплаваем!

Сергей Бобров сказал:

— Ты закрой крышку, Мося, не видать ли через нее свет?

Мося осторожно закрыл творило и прошелся по нему. В чулане было темно: творило надежно прикрывало свет. Мося посидел во всех уголках чулана, отворял и затворял двери в коридор, зажигал спичку, припадал глазами к смыку половинок творила... Потом он приподнял одну половинку и радостно свесился в люк.

— Шик! Венский шик! Даже ничего-таки не видать!

— Ну, добре!—вяло и медленно ответил Ахумьянц.

Бобров испытывал помещение.

— А ты еще раз, Мося, закрывай... и слушай, как мы будем говорить.

Мося слушал, стараясь не пропустить шороха пролетавших пылинок.

— Ну, как?—шепнул Бобров, подымаясь кверху по лесенке.

— А? Ты что говоришь?

— Ты слушай там. Закрой крепче. Ну, ты слышишь?

Где-то глухо раздавались непонятные шепчущие звуки.

— Да, немножко слышно...

— Это худо,—поморщился Ваня Галочкин.—Дай-ка я сам проверю. Ахум, говори. И постучи внизу щеткой. Урони чего-нибудь...

Ваня Галочкин вылез в чулан и вместе с Мосей принялся слушать.

— Придется обивать пробкой—тогда могила, а не помещение. Так нельзя работать. Один шнырок полиции—и пропали. Говорить... и с пробкой надо шопотком.

Ваня Галочкин недовольно спустился в люк.

— Я говорить не буду,—серьезно заметил Ахумьянц.

Бобров добавил:

— И не о чем говорить нам. Пробкой—это хорошо. Предосторожность—тоже очень хорошо.

Галочкин щелкнул пальцами.

— Я думаю, надо уйти глубже в землю. Подковырнем бочок... Подальше от крышки. Звони в колокол—никто не услышит. Мося да девицы земельку вытащат... Куда только бочок выходит? Вот... хотя бы этот?

Галочкин погладил рукой стенку. Мося поднял глаза к потолку и соображал. Он заторопился, зарадовался...

— Удобно! Очень даже удобно! Это идет под комнату.

— Тем лучше. Подроем! Дощечками укрепим—и пошла рысью.

Галочкин задумался.

— Н-да! И крышку надо к чорту! Крышка не годится. Да еще и с кольцом крышка. Надо настлать пол двойной: в середке пробку. Запаковывать, так запаковывать по-настоящему. В углу, подальше от дверцы, вынимались бы две доски— и хватит. Гулять нам ходить не приходится.

Бобров и Ахумьянц согласились:

— Это верно!

— Пока работнем на риск так. Завтра опочинимся. Спать тоже здесь. Выползать на верх нашему брату запрещено. Мося, а где же параша? Где Прасковья Ивановна?

Мося засмеялся.

— Есть, есть... большой, новый полковник—и с крышкой...

— Носить не выносить тебе полковника, Мося. Жалуем тебя завсегдашним парашником. Вот еще бы жрать отвыкнуть: ни парашу не выноси, ни лишний раз квартиру не портить. Выметайся, друг Мося! Придави деревянной плитой. Кончим разборку—и вылезем. В твоей мы теперь власти: запрешь наверху—и тяни ножки по рогожке.

Мося ушел. Они принялись за установку оборудования и за разборку шрифта. Бобров следил за лампой, не сводил с нее глаз, потел и заговорил сам с собой:

— Лампа не годится она сжигает всю дыхалку. Надо свечки. Дорого, а надо. Лампа—и чад, и вонь, и жарко...

Ваня Галочкин зевнул и подмигнул лампе.

— Темновато, Бобёр, со свечкой. А, кажется, придется!

На рассвете кончили работу и перебрались в комнату Эсфирь Марковны. Торопливо, стоя, пили чай, глотали куски. Ваня Галочкин твердил:

— Пол, пол—главное. С крышкой—пустое дело: никакой конспирации, будто на улице.

— Ну, и в чем дело?—ласково говорила Эсфирь Марковна.—Завтра будут доски. Для магазина нужны полочки, ну и доски приедут с лесного склада.

Галочкин учил.

— Доски надо брать шпунтовые—одна в одну. Ты, Мося, так и бери шпунтовые. Плинтус один возьми, чтобы было все под орех. Лес бери сухой. Оборудуем уголок на двадцать лет. Я хоть и наборщик, а кое-что смыслю и по плотницкой и по столярной части. Отец у меня столярил. Нагляделся я у него. Смастерим не хуже мастеров. Сперва пол, потом подкоп. В ночь начнем работишку. Парашку утром и вечером.

Берта и Лия весело засмеялись. За ними ухмыльнулась Эсфирь Марковна, прыснул Мося, и, сдерживая смех, закачался Бобров. Ахумьянц сосредоточенно курил.

— Жрать тоже два раза. Пить—ведро в день. Хорошо бы туда отвод от водопровода сделать.

— Галка, Галка! Не увлекайся,—сказал Ахумьянц.—Ты, пожалуй, и электричество захочешь?

— Там увидим! Сами мы как залезем туда—больше и не покажемся. И вам тут нет ходу. Ваше дело дощечку отворачивать.

Все засмеялись еще раз.

Ваня Галочкин оглядел Ахумьянца и Боброва.

— Кажется, ребята, все условлено?

Они помолчали. Бобров вытянул шею и протянул руку.

— А куда же мы будем ходить в баню?

Ваня Галочкин поколотил Боброва по голове и поднял у него путаницу рыжих волос.

— Мы тебя в параше будем с Ахумьянцем мыть.

Берта и Лия отвернулись. Плечи у них тряслись, и покачивались груди.

— Мыться будем там. Мосе новая работа. Мося, ты банщик!

Бобров подумав, еще сказал:

— Ну, а где же воздух под полом... под пробкой?

Ваня Галочкин закричал:

— Чушь! Чушь! Дыры будут—будет воздух. Открывать дыру будут? Будут. Яснее ясного. Теперь, кажись, всё?

Ахумьянц засветился глазами и сердито пробурчал:

— Всё да не всё: курить мне последний раз!..

Ахумьянц закурил папиросу, затягиваясь изо всех сил, вбирая в рот щеки и выпуская дым носом. Потом он открыл коробочку, грустно заглянул в нее и отдал Мосе.

Шмуклеры проводили товарищей в чулан. Мося закрыл творило и прижал его крепко ногой. Эсфирь Марковна долго ворочалась на кровати. Берта с Лией тревожно шептались. Мося глядел грустными глазами на пеструю дорожку половика, лежавшего поперек комнаты.

Погрозили холода зацветавшей черемухе, неделю было сиверко, а потом весна созрела сиренями, и на полях сменялись цветы желтые, красные, лиловые. Забрел в поднявшуюся по пояс рожь подобревший грач и каркнул от жарины. Солнце пролилось из солнечных хоромин золотыми ушатами. После линючих дождей от бульваров пошел липкий зеленый березовый дух, а из архиерейского сада понесло сосновым смоляным квасом. На Пятницком пруду, как большие свинячьи уши, расположились кубышки. Иссиня-серая поднялась со дна летняя тинка: то зацветала июньская вода.

Мося давно навозил шпунтовых досок на Толчок. Новенький неструганный шерщавый пол прикрывал люк. Две доски вынимал Мося у задней стенки чулана, подавая еду и принимая парашу-полковника. Плинтус с горбинкой обегал пол рамкой и только в углу, где упирались доски-открывашки в стену, обломан он был с кое-какой хитрецой. Торчал неровно облом колючими лучинками—и обманывал. Мося натаскал в чулан пыли и грязи, негодящих коробок, навалил картонок до потолка и лазил в угол, шебарша и разминая картонную и бумажную наваль.

На четвертом месяце Мося забегал с коробками по городу, по заказчицам, подкидывал землю, где было укромно, и был недостаток земли: в бурьяны, в речку Золотуху, на огороды...

А Эсфирь Марковна разводила цветы-столетники, фикусы, пальмы, чайные розы и герани в больших горшках. И росли цветы по всем пяти комнатам, в магазине, на окнах, в земле своей, теплой, разрыхленной лопатками Боброва, Ахумьянца

и Вани Галочкина. Сидор Мушка облюбовал большой цветок в магазине и погладил лапучие листья. Эсфирь Марковна улыбнулась Мушке и подарила ему цветок. Подарила и один, и другой, и третий... Сидор Мушка хвалил Шмуклершу и разносил о ней добрую славу. Наум Соломонович Калгут воспылал к цветам неукротимой ревностью и наразводил у себя целый комнатный сад. Берта подарила Ароше два больших горшка с белыми и красными чайными розами. Гибли у Ароши чайные розы, менял худую неплодовитую землю, сердито бил горшки, не стыдился принимать частые Берточкины подарки.

Комнатушку вырыли и передвинули туда типографию. Ваня Галочкин кричал Мосе оттуда слова бранчливые, Ахумьянц и Бобров хохотали и стучали щетками, а Мося долго не отзывался, откладывал доску в чуланчике и просовывал голову.

— Ни-ни! Даже, как камень, молчит!

Ваня Галочкин весело посвистел и важно поколотил себя пальцем в лоб.

— Вождь, а не голова!—сказал Ахумьянц.

Эсфирь Марковна поехала тогда с рыжим чемоданом в Москву за товарами к знакомым фирмам, а за ней вдогонку прибывали товары. Мося перевозил товары с вокзала, помогал ломовику вносить ящики в магазин,—и модницы городские приезжали за шляпами.

Славно и бойко торговал „Венский шик". Эсфирь Марковна частила в Москву, не успевала навозить ходкий галантерейный товар. И как добрела она от трудов праведных, не забывала Эсфирь Марковна плодовитое еврейское семя: слала родственничкам подарки во все концы и закоулки российской империи. Любит еврей соленую рыбку, селедку, щуку фаршированную, любит еврей курочку. Эсфирь Марковна посылала далеко подарки: не дойдет курочка, не дойдет скоропоркая щука—посылала Эсфирь Марковна в боченках живучий соленый сельдь. Берта с Лией паковали. Мося вкладывал в середину боченка жестяную банку сердцевиной, а в банке были бумажные изделия Боброва, Ахумьянца, Вани Галочкина. Сельдем уминали банку—и в укупорку. Вонький, непривлекательный товар катили в боченках в вагоны, в пароходы, пинали на сходнях пинком злым и умученным грузчики.

Судачила генеральша Наседкина на селедочный жидовский дух в доме, на костяные объедки в помойке. Как чистили ретирады, генеральши Наседкиной казалось: пропахивала она

селедками. Душили в комнатах сосновой водой тогда. И генеральша Наседкина уезжала на прогулку. Эсфирь Марковна смеялась с Берточкой и Лиечкой над генеральшей, а Мося таскал из рыбных рядов селедки.

Ароша Зелюк ходил в гости три раза в неделю. Он останавливался у окошка, где Берта и Лия работали с восьми до восьми, прилипал к окну, кланялся и поводил плечиками. Берта и Лия махали ему ручками и приятно улыбались. Зелюк кричал:

— Что вы хотите сказать? Я на полном ходу к вам. Но вы еще не кончили свои трапка?

Генеральша Наседкина направляла лорнет из окна, презрительно морщилась и бормотала:

— Ка-а-к эти жиды кривляются со своими женщинами!

А Зелюк кричал:

— Вы пойдете гулять в сад? Я имею немного денег купить вам мороженое. Вы не кушаете мороженое? Все барышни очень любят мороженое! Ну?

Генеральша Наседкина хлопала окном и пережидала. Ее раздражал веселый въедчивый голос жениха Берты.

Сидор Мушка глядел исподлобья от будки и жалостливо ухмылялся, как Арон Зелюк кричал на всю площадь перед своей невестой, вертелся на маленьких каблучках и мотал белым кувшином головы.

Шли мимо люди, отвертывались со смехом в глазах от пестрого, как полосатый кот, человека, откидывавшего назад голову с острым блоком кадыка, дрожавшего под кожей. За стеклом глянцевели глаза Берты и Лии. Люди задерживали шаг и вдруг неприязненно охватывали фигуру топтуна-человека раздраженными глазами, кидали на ветер подчеркнуто-слышно:

— Мотри! Жид в любовь играет с жидовкой!

Зелюк, наторчав в глазах Сидора Мушки, наслушавшись слов зряшных и бессильных, весело входил в магазин. Эсфирь Марковна кивала ему приветливо головой, отвечая на его кивки, и сладко и нежно картавила:

— Берточка там за занавеской! Пройдите, пожалуйста! Я извиняюсь... Я занята с дамочками!

Эсфирь Марковна ласково, маслянясь глазами, наклонялась к своим покупательницам и шептала:

— Это жених Берточки. Такой умный, такой умный! Такая голова, такая голова! Папаша у него был в Бердичеве общественным раввином. Арон знает весь талмуд.

И Эсфирь Марковна чмокала губами.

Посетительницы сочувственно глядели в глаза Эсфирь Марковне—слышали от нее не один раз о женихе Берты—и брезгливо говорили шопотом:

— У вас скоро будут внуки!.. Вы кого больше любите—девочек или мальчиков?

Эсфирь Марковна хитро улыбалась, взгляд ее понимал враждебные слова, но она наивно и просто отвечала:

— Ой, еще не очень близко до деточек. Берточка еще будет ожидать, как у Ароши будет хороший гешефт... Деточки... такие маленькие... такие маленькие... Очень хорошо!

Посетительницы громко и раскатисто смеялись, представив себе маленьких черненьких жиденят. Эсфирь Марковна тоже смеялась, довольная своей хитростью, своей незаметной насмешкой над покупательницами. Арон Зелюк скрывался за занавеску и крепко пожимал руки Берте и Лие. Там они разговаривали вполголоса.

Скоро Мося запирал магазин: Арон вынимал из кармана рукопись и передавал Мосе.

— Как дела, Арон?—спрашивала Эсфирь Марковна.

Зелюк серьезно и страдальчески глядел на Эсфирь Марковну.

— Тихо, товарищ Эсфирь! Последнюю прокламацию полиция забрала всю. Сел один товарищ... Навел сыщиков на других... Пропала зря работа. Савва тут едва увернулся. Полиция носится по всему городу. Каждую ночь обыски... аресты... А масса—каменная... Неприступная... Массовка была назначена,—не состоялась. Никто не пришел. Не знаешь, как подойти к массе. Один провал за другим.

Спрашивал Мося:

— А кружки идут?

— Среди учащейся молодежи много кружков... Но ведь это пол-дела. Среди рабочих кружки быстро разваливаются. На заводах шпионаж. Есть провокаторы. Слежка идет, кажется, за всеми обывателями.

— Ну, вы всегда каркаете! Это, может быть, у нас, а в других городах лучше.

— Везде одинаково. Медленно, медленно идет дело.

Зелюк вытягивался от нетерпенья, словно хотел бежать, подталкивать, крутить медленно оборачивавшееся колесо рабочего движения.

— И в самой организации—ерунда. Меньшевики отнимают половину сил, сбивают рабочих с революционного пути. Полторы недели дискуссировали о вооруженном восстании. Рабочие и смеются и блудятся в трех соснах. Социалисты-революционеры отняли мыловаренный завод: рабочие там связаны с деревней, на каждый праздник уходят в деревню. Выперли нас с кожевенного завода: один большевик на заводе остался. И... тот колеблется.

Сердито сказала Эсфирь Марковна:

— Ну, и что же из всего этого? Надо опускать руки?

— Я не опускаю руки.

— Вы плачете у Иерусалимской стены, как старый еврей. Если бы мы стали только плакать, нам не надо ничего другого, а только лечь в землю. Вам надо учиться работу делать у Вани Галочкина. У вас, Арон, половинка сердца совсем гнилая...

Зелюк засмеялся:

— Такая минута! Такая минута!

Арон шел гулять с Бертой. Прытко вертелся он около нее на народе. Он нежно вел ее по улице под руку, останавливался с гулявшими евреями, еврейскими мамашами, стаскивая с головы серую шляпу, и таинственно подбегал за репортажем к важным городским особам. Задыхаясь и проглатывая слюни вертевшимся кадыком, забегал снова Зелюк в „Венский шик“ в условленное время, совал Мосе рукопись и полушопотом метал слова:

— Стачка, стачка! Забастовка! Три завода встали... совсем встали. Требуют увольнения мастеров... И прибавки жалованья. Экономическая... по пятнадцать копеек в день. Все вышли в обед. Кричали. Грозили кулаками. Организация на ногах, ночью надо сделать листочки. До свиданья, и я побегу в одно место!

Глаза Зелюка сияли зажженными огнями. Толстые губы были красны, как подсоленное мясо.

Эсфирь Марковна насмешливо толкала Зелюка к двери.

— Вы совсем еще не взрослый мужчина в тридцать лет. У вас седые волосы, но вас старше Берточка. Вы идите, идите скорее в одно место. Мося принесет прокламаций.

Мося часто мучился зубами и ходил с перевязанной щекой. Он звонился тогда к Науму Соломоновичу Калгут. Наум Соломонович вертел колесо, наставлял ему в рот один глаз

и маленькое зеркальце, нюхал ватку на щипчиках и лазил с тонким железным волоском в дупляные зубы. Наум Соломонович лечил зубы подолгу, был очень строг и заставлял больных ходить месяцами в свой маленький кабинет. Наум Соломонович был тонок, как вложенный в чехол зонтик, но у него была длинная, как щука, борода. И такой же невместительный и щукобородый дедушка в черной шапочке висел у него под стеклом в кабинете, а под ним висела на стене одна полка, а на полке поблескивали золотыми переплетами двенадцать томов „Истории Еврейского народа“ Греца и три коренастых тома в зеленом сафьяне „Жизнеописание великих людей из евреев“.

Повертев колесо с висящей на нем кишкой, напоминавшей кишку от клизмы, и поковыряв в зубах у больного, Наум Соломонович садился за столик в углу и усаживал напротив себя на кресло больного. Наум Соломонович расспрашивал его о последних городских новостях и решительно обо всем, что происходило на свете. Наум Соломонович открывал кабинет в девять часов утра и закрывал его в десять вечера. Наум Соломонович за день столько узнавал нового и неожиданного и с таким жаром рассказывал это новое, неожиданное, что прозывался в городе телеграфом.

Он умел угождать, досаждать и нравиться людям. Толстым и желчным и генеральше Наседкиной он раскрывал „Жизнеописание великих людей из евреев“ и показывал картинки Спинозы, Мендельсона и Рубинштейна, а потом американских банкиров, одного французского генерала и двух еврейских легионеров бурской войны.

— Вы думаете, евреи так-таки не имеют замечательных людей? Это очень большая ошибка. За пару веков евреи очень много имели замечательных людей. Евреи тоже хотят кушать и иметь деточек. И зачем евреям завязывать веревки на шее? На всем свете нет гетто, кроме России. И это даже очень нехорошо. Кому мешает Наум Соломонович Калгут в такой большой стране, как Россия? И почему он не патриот? Ой, когда вы узнаете, как евреи любят свою страну, свою родину! В Америке евреям свобода... А они плачут о России...

Твердили толстые и желчные:

— Да... да... конечно.

— Верти зубодробилку-то,—грубо обрывала генеральша Наседкина,—креститься надо всем, тогда пустим.

Наум Соломонович осторожно усмехался.

— Христос тоже был еврей...

— Не еврей, а бог,—сердилась генеральша Наседкина.

— Ну, бог,—соглашался Наум Соломонович.—А кто создал христианство? Кто были первые христиане?

— Тем лучше,—радовалась генеральша Наседкина,—святое крещение и принимайте. Поговорка хотя бы и есть у нас— не обессудь уж—„жид крещеный, что вор прощёный“, ничего... примем... и земли дадим.

Молодым сионистам Наум Соломонович читал выдержки из „Истории Еврейского народа“ Греца и обсуждал с ними планы переселения в Палестину.

Начальству Наум Соломонович рассказывал еврейские анекдоты в лицах и очень смешил начальство. Оно тряслось на высоком стуле и забывало зубное расстройство.

Наум Соломонович понимал толк в дамских нарядах, знал все названия материй, опытным взглядом прикидывал цену на материю, а добротность ощупывал рукой, ёрзая по ворсу.

— Какой на вас костюмчик! Это—английская мануфактура... Самая лучшая... самая замечательная. Первый сорт. Сорт А. Наши русские мануфактуры—для простого народа. Вам шила Раскина! О, это первый портниха в городе!

К Науму Соломоновичу приходили лечить зубы сыщики, сидели в приемной, дожидаясь очереди, взвешивая шустрыми гляделками посетителей. Наум Соломонович узнавал сыщиков, встречал осторожной улыбкой и серьезно усаживал на стул.

— На что вы жалуетесь?

Сыщик неловко совал палец в рот. Наум Соломонович качал головой.

— Ай, ай! Как вы запустили свой рот! У вас такие хорошие зубы. На зубах у вас цела эмаль... Но вам долго надо лечить зубы. Ой, я боюсь, у вас один зуб с гангреной. Козьей ножкой, козьей ножкой надо другой. Я положу вам лекарства...

Сыщик мотал головой.

— Вот мы почистим, почистим, одна минута.

Наум Соломонович старательно заглядывал в рот и пускал колесо.

Сыщик кричал и подпрыгивал на пружинившем стуле.

Наум Соломонович тревожно и сочувственно спрашивал:

— Вы на что жалуетесь? Какое место у вас больно? Теперь можно класть лекарство. Вы через месяц не узнаете свои

зубы. Вы думаете, легко лечить больной зуб? Ой, вы не знаете, какая нужна ловкость дантисту!

Наум Соломонович открывал сыщику двери кабинета и говорил на прощание:

— Прошу завтра. Но я должен каждый день наблюдать ваш зуб.

Наум Соломонович становился у зеркала и трясся от смеха в своем кабинете. Воротнички подтыкали тоненькую шею, и щучья борода качалась, как на ветру мочалка на протянутой поперек двора бельевой веревке.

Мося лечил зубы подолгу. Наум Соломонович брал у него свертки, сверточки, вытряхивал из коробочек пахучие скипидарные листы с крепко оттиснутыми на них буквами и уносил из кабинета в свою спальню. Наум Соломонович возвращал коробочку Мосе обратно, и тот уходил с той же коробочкой, с какой пришел, и с подвязанной щекой.

А погодя приходили по очереди три разные человека, входили в кабинет, крепко закрывали двери, придавливали. Наум Соломонович узнавал, замирал, устремлялся выкаченными черными глазами на человеков. А те говорили:

— Мы от Созона Петровича:

— А кто такой Созон Петрович?—испытующе спрашивал тревожный Наум Соломонович.—Я не знаю такого.

Человеки ухмылялись:

— А ваш дядюшка.

Наум Соломонович тогда манил человеков за собой пальцем, прыгливой походкой шел вперед в спальню и выдавал пахучие Мосины подарки. Пароль иногда меняли.

Приходили другие люди и по-другому спрашивали Наума Соломоновича:

— Отец Иван у вас был?

— Откуда он?

— Да от Николы не плюй в колодец.

— Был, был,—весело радовался Наум Соломонович,—и оставил вам посылочку.

Савва и Тур писали местные прокламации. Зелюк бродил за репортажем по городу, заходил в общественные уборные, отдыхал в садах, читал на бульварах. Савва подстерегал его в условленном месте. Чаще всего он подходил к нему нищим с корзинкой на руке, протягивал руку для подаяния. Зелюк лез в карман—и из рук в руки переходил тонкий папиросный

лист бумаги. С Туром было труднее. Тур был близорук. Зелюк выдумывал встречи с ним в безопасных местах, стерег его на пути из городского училища в голубой дом на бульваре. Ночью Зелюк прокрадывался к голубому дому, в сад, к единственному кедру у высокого забора, где отодвигалась доска. Тур всегда ожидал его, закутанный в вязаный шарф. Он молча подавал листок, Зелюк молча брал—и Тур слушал шорох вылезавшего из сада Зелюка, а потом шарашился по саду к себе в мезонин.

Тур весной слег, писал в кровати. Зелюк стал встречаться у кедра с Галиной Сергеевной, а потом он заходил к ней в Земскую управу и получал рукописи.

Эсфирь Марковна привозила в рыжем чемоданчике рукописи из столиц. Везли их попутчики, приходили они в переплетах книг и в деревянных выдолбах ящиков.

Ахумьянц, Бобров и Ваня Галочкин и днем и ночью уже работали год, редко поднимаясь из подземелья. Была трудная и жестокая зима. Маленькая керосиновая столбянка согревала закупоренный, пропитанный скипидаром, краской и сырой влагой воздух. Подпочвенные воды, как крупная шагрень, выдавливались из стенок, стенки отпотевали. На отсыревшем тюфяке, как смоченная и непросохшая типографская бумага, поочередно болели они и, пересиливали себя, вставали на работу. Ныли и слезились глаза в полумгле, и ячмени пересаживались с одного века на другое. Ноги деревянели, пухли, и больно дёргало под коленками.

Открывали творило, как запирался „Венский шик“, с восьми вечера до восьми утра, проветривали помещение. Стерегли у поднятых досок за коробками и картонками, чередуясь, Мося, Берта, Лия и слушали внизу тяжелый всхлипывающий храп спящих, крикливый бред больных, вздрагивали, преодолевая сон, прислушивались к шуршащей темноте и ждали-ждали-ждали дёрга звонка в передней. Сменяли друг друга с усталой улыбкой и тòкавшей в виски крепкой кровью. Скрывали друг от друга, как засыпали у отверстия и просыпались, дрожа от беспокойства и втайне мучаясь неделями за сладкие часы сна. В денные часы воздух проникал под творило только узкими щелками под плинтусом и в проверченные дырки пола по углам. Воздуха было мало, и был он густ, как запирающее горло сусло.

Ваня Галочкин просыпался ночью и тихо, протяжно тянул:

— Слу-ш-а-й!

Потом вполголоса говорил:

— Это я посты проверяю. Кто дежурит? Мося? Девицы, значит? Спать, поди, хочется? А?

— Хочется.

— Не уснешь?

— Нет.

Ваня Галочкин перевертывался и вздыхал хрипевшей грудью. Когда дежурил Мося, Ваня Галочкин шутил:

— Мося, ты не серчай, ежели... выпалю я во сне...

Мося смеялся и бурчал:

— Ну, и что ж? А... я... отодвинусь...

И замолкали.

В годовой юбилей в люк спустили бутылку портвейна и папиросы Ахумьянцу.

Ваня Галочкин с Бобровым разделили поровну вино. Ваня опорожнил полтора стакана, захмелел, с покорными влажными глазами улегся на тюфяк и откашлянулся:

— Знатно! На животе будто кто почёсывает!

Бобров перелил в бутылку свою долю и сказал Мосе:

— Я буду пить рюмками. Дай рюмку, Мося.

Ахумьянц высунулся ночью в отверстие и жадно, ненасытно курил, пока не выкурил все папиросы. Радостно бормотал Ахумьянц, облизывая повлажневшие губы:

— Хорошо! Хорошо! До следующего юбилея!

Мося тихо смеялся на огонек папиросы, а потом принес полотенце и, махая, выгонял дым из чулана.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Алеша Уханов увидел Лию в окно—и прошел мимо. Потом захотелось взглянуть еще раз, что-то такое захотелось досмотреть в склоненной над работой фигуре. На другой день он ходил взад и вперед у окна. Берта заметила его первая и толкнула Лию. Эсфирь Марковна вгляделась из-за цветов и засмеялась:

— Нет, это не сыщик. Но вы больше не сидите у окна. Это—кавалер.

Отодвинули рабочий стол в глубь магазина. И как отодвигали, Лия взглянула возмущенными, злыми глазами на голубые кружки глаз Алеши, вдруг дольше, чем надо, глядела, заволновалась и жалко опустила ресницы. Он смешался за окном и неловко оступился на панели.

Арон Зелюк весело шутил:

— Товарищ Берта, может быть, кавалер нравится вам? Тогда вы перестанете быть моей невестой!

Эсфирь Марковна сказала:

— О! Она и так очень долго сидит в невестах. Покупательницы мои спрашивают: и когда будет Берточкина свадьба? Они не видали еврейской свадьбы!..

Берта подумала, ухмыльнулась, с усмешкой провела глазами по серому пиджачку Арона.

— А он очень хорошенький... кавалер! Розовый, как ленточка. Товарищ Зелюк около него никуда не годится.

— Товарищ невеста,—подсмеивался Зелюк,—вы не очень-таки... Я не возьму вас замуж целых пять лет. И вы останетесь старой еврейкой.

Мося волновался:

— Надо глупые шутки перестать. Это совсем плохо, если ходит у магазина кавалер. Лишний человек для дела мешает. Чего ему надо? Чего он ходит?

Эсфирь Марковна посмотрела на расстроенное лицо Моси, на ёрзавшие по лацканам пиджачка юркие пальцы—и задумалась. Эсфирь Марковна помолчала. Потом она повела рукой на окно:

— Отодвиньте еще дальше столик. Тюлевую занавеску надо снять. Пускай будет занавесочка другая.

Лия сидела в глуби комнаты, а когда Берта выходила в магазин, она вскакивала со стула, отгибала кончик темной занавески и выглядывала за окно.

Алеша проходил мимо окна, останавливался, закуривал— и досадливо косил голубые лампады глаз на плотную занавеску.

Тут его захватил Арон Зелюк, обнял за спину и зазвенел тоненьким звонким смехом:

— Что ты делаешь? Кого ты выглядываешь за пустым окном?

Алеша смутился.

— А, Зелюк? Я... так...

— Ну, чего так, когда ты смотришь в окно!

Зелюк тихонько повел его по мостовой, ступая в шаг сбивавшейся походки Алеши.

Тот заговорил сразу горячо, возбужденно:

— Ты... смеяться будешь, Зелюк! А... пусть!

Он махнул рукой.

— Я... я... меня поразила одна девушка-мастерица... шляпница. Я кружу неделю. Она, видимо, заметила... и обижена. Окно занавесили. Ничего не видать... Я... я же без всякой дурной цели... У нее замечательное лицо.

Зелюк защекотал под бока Алешу и шепнул:

— Вот так революционер! Да ты Дон-Жуан!

Алеша расстегнул студенческую тужурку и сдвинул на лоб фуражку.

— Какой там Дон-Жуан! Одно другому не мешает. А девушка прелесть! Она работает целый день. Ее эксплоатируют... Ее надо завербовать в кружок. Жив не буду—познакомлюсь.

Зелюк поморщился и скрыл в глазах беспокойство. Он сухо и осуждающе сказал:

— Ты все еще гимназист. Такая восторженность в глазах серьезного человека—это ненужное баловство. На тебя...—Зелюк запнулся и въелся глазами в Алешу,—на тебя нельзя положиться. Ты тянешь к юбке!

Тот враждебно отстранился от Зелюка.

— А ты мне смешон. Брось пожилые истины! Революционеры не святые отцы, а люди... Ты узко понимаешь. Я больше тебя революционер. Ты... ты сухарь. Ты рассуждаешь так, как рассуждали фальшивые герои-р-р-революционеры в романе Мордовцева. Читал „Знамение времени"?

Зелюк осторожно взял Алешу под руку.

— Читал эту чепуху. Но лучше не было бы этой... ползучей интеллигентской закваски... речей и женщин!

Алеша засмеялся:

— Иди, иди вперед! А я... назло тебе и... всем правоверным ортодоксам... пройду еще раз мимо „Венского шика".

Алеша повернулся и крупно зашагал по площади, делая Зелюку сзади фигу. Зелюк затаил усмешку в недовольных глазах, оглянулся на стройно и крепко шагавшего к „Венскому шику" Алешу—стремительного, уверенного в себе—и успокоился. Зелюк поскакал обычным своим живым и мелким шажком. И живо и отчетливо, как шаги, законченно и стройно, в голове Зелюка обдумывались и строились планы.

„Хорошо. Пусть будет так. Ну, и что же делать? Надо... использовать... использовать... направить. Надо отвести речку в сторону, когда она бежит не туда, куда ей бежать следует. Бережка надо выложить камнем... и спустить туда речку".

Алеша был организатором студенческих кружков. Зелюк встречался с ним на собраниях. Через Зелюка организация посылала ораторов и пропагандистов на студенческие массовки, в кружки, на организационные собрания. У Алеши на квартире, в большом каменном доме на Дворянской улице, хранили литературу. Он выезжал с отцом своим, Городским Головой, на серо-яблочных рысаках в город, а у отца был друг-министр, масляные заводы, мануфактурные магазины, пароходы и элеваторы. Алеше козыряли городовые, и он лучше всех на студенческих вечерах плясал „русскую". Зелюк радостно и хитро стрельнул глазками на свои вычищенные у толстоносого армянина ботинки. Зелюк пошевелил губами:

„Это будет очень заметно... и даже совсем незаметно".

Лии хотелось поставить стол на старое место и повесить тюлевую занавеску вместо темной: в глуби комнаты ей было трудно и темно работать. Она ночью дежурила в чулане. Ваня Галочкин сопел на тюфяке и бормотал слова страшные, бредовые, а Лии казалось—внизу лежал не Ваня Галочкин, а тот, уоконный, голубоглазый, и ей было жалко его, и страшно уснуть, и страшно отдать, когда зазвонит ночной звонок в передней.

Арон Зелюк первый раз пришел поздно вечером и постучал в окно. Эсфирь Марковна громко охнула и крикнула:

— Мося, стучат!

Мося дрожащими руками захлопнул отверстие, уронил картонки и выскочил из чулана. Эсфирь Марковна подождала, покуда не показался из чулана сын, и бегло спросила:

— Ты сделал хорошо?

Мося нетерпеливо провел по воздуху ладонью и наклонил свой огромный нос, засовывая большой палец левой руки в боковой карманчик. Тогда Эсфирь Марковна подошла к окну и откинула занавеску. Лия встала посреди комнаты и замерла. Берта схватила книжку, раскрыла ее и засмотрела на прыгавшие по странице черные муравьи букв.

Но это был только Арон Зелюк. Он быстро вошел в переднюю запыхавшийся и белый. Арон заплетался, словно зубы мешали языку. Зелюк широко раскрывал рот:

— Я должен вам сказать... что умер Савва. Он вчера был у меня и сказал: пас, Арон, и я иду умирать в „Золотой Якорь". Я... я... видел... утром из садика... Савву повезли в карете... Надо поставить уши прямо... Из садика пошел шпик... и Зелюк очень долго гулял с ним...

Эсфирь Марковна бросила нетерпеливо и укоризненно:

— Но вы не привели сюда шпика, Арон? И почему вы не пришли раньше?

— Я не мог притти раньше, товарищ Эсфирь! Я же вам говору—я бегал собакой по городу.

— Ах, как вы неосторожны, Арон!—воскликнула Эсфирь Марковна,—ну и уходите, наконец, домой и дайте людям спать. И кто вас так плохо учил конспирации!

Арон ушел. Эсфирь Марковна обняла Берточку и Лиечку и тихо сказала:

— Зелюк очень добрый. И он плачет о Савва.

Эсфирь Марковна закрыла глаза и позвала Мосю.

— Ну, умер—значит умер! И не будем говорить там!

Эсфирь Марковна показала рукой на пол.

— Что из того, когда они будут знать?—удивленно спрашивала себя Эсфирь Марковна и отвечала сама себе:—Горе делает работу хуже.

Эсфирь Марковна горько задумалась:

— Савва был такой, такой революционер! И социаль-демократ! Старый... революционер.

Мося высунулся в отверстие и позвал:

— Это я, я, Мося! Это только пустой тревога. И можно зажигать огонь.

— А, чорт!—выругался Ахумьянц спокойным и напряженным голосом.

Ваня Галочкин плюнул и крикнул:

— Лиха беда почин!

Сергей Бобров недовольно проговорил:

— И почему так кричать и махать саблей?

Мося охватил руками колени и сел у отверстия терпеливо ожидать утра.

Опять в восемь открывали „Венский шик", в восемь закрывали, Зелюк приходил к своей невесте Берточке, Савву заменил Иван, Мося ходил к Науму Соломоновичу Калгут с подвязанной щекой, Эсфирь Марковна ездила за товарами с рыжим чемоданчиком, а Лия звала голубоглазого Алешей.

Зелюк привел его на гастроли братьев Адельгеймов, и Лия подала первый раз Алеше дрогнувшую руку.

Алеша обнял Арона в уборной за низкую, на маленьких ножках, талию и шепнул ему:

— Ты... ты, Зелюк, знаешь, у-у-удивительный человек! Но... но какое совпадение!

Арон удивленно и хитро посмотрел на него.

— При чем тут совпадение? О, ты очень недогадлив! Это устроил я. Мамаша совсем даже не хотела. Мамаша у Лиечки старая еврейка. И она боится молодых людей.

— Тем более, тем более,—радовался Алеша.— Но как ты привлек ее к работе?

Зелюк самодовольно протянул:

— Это надо уметь. Это—мой секрет. Лиечка делает маленькое дело... И как раз она может делать маленькое дело.

С тех пор в условленные дни Зелюк с Покрова на Козлёне, Алеша с Дворянской улицы к восьми вечера подходили к „Венскому шику". Берта и Лия откладывали в сторону каркасы, ленточки, эспри, страусовые перья и стучали магазинной стеклянной дверью на улицу. Мося запирал дверь. Уходя, шептали Мосе:

— Мы не надолго, Мося. Пара кругов по бульвару!

— Почему не три пары кругов?—шутил Мося.—Зачем на весы класть прогулка?

Бульвары зелеными каналами уводили далеко от Толчка, сворачивали в сады, зелеными воротами открывали площади и выгибались в бока прудами. Берта с Арошей шли впереди, а за ними отставали Лия с Алешей.

Зелюк ласково ворчал:

— Вы слышите, товарищ Берта, нас нагоняет тройка с колокольчиками?

Берта повертывала голову на веселое треньканье переплетавшихся голосов позади и пожимала плечиками.

Сумерки выглядывали из-за домов, из-за деревьев. Усталое, красное от долгой денной дороги солнце тяжело дышало и уходило за собором на ночлег. От прудов подымался долгоногий туман и тянул бороду к бульварам. Пустели дорожки: разбредались люди по домам. Алеша вел Лию под руку и задерживал шаг. Она со смехом торопилась и не могла сдвинуть упиравшегося Алешу. Они толкались по бульвару, перебегали от скамейки к скамейке, хватали друг друга за руки

и бормотали слова случайные, нежные, оберегающие. Между вечерних огней, как будто светились в темноте окна пароходных кают в порту, они шли домой молчаливые, сгорбленные усталостью, вяло и лениво расставаясь у „Венского шика".

Была осень. Лия вышла навстречу Алеше одна—Мося лежал больной: Берта не могла пойти.

Желтый березовый бульвар был тих и недвижим, было тихо и желто небо, и как янтарь были лица Лии и Алеши в солнечном заходе. Осеннее повечерие, как смуглый человек, быстро перешло в ранний вечер. Они молча шли мимо Пятницкого пруда. Вдруг Лия сбилась с шага, освободила руку и сказала:

— У меня развязались ботинки.

Она села на скамейку и наклонилась к ботинкам, шаря в темноте шнурки. Алеша присел у ног, и руки их столкнулись. Он забормотал:

— Я завяжу... я завяжу...

— Не надо, не надо!—тревожно сопротивлялась Лия.

Он уже положил ее ноги к себе на колено, она приподняла их, он неумело возился со шнурками, шнурки хлестали по рукам и вывертывались. А потом он стиснул теплые тонкие ноги Лии, прильнул губами к чулкам, обнял ее с земли, и слова, как дыхание, выговорились сами:

— Люблю... люблю тебя, Лиечка!

Он ткнулся к ней в колени лицом, целовал руки, ноги, живот... Лия схватила его голову, дёрнула к себе, наклонилась к самым глазам и губами против губ шепнула:

— Но зачем ты целуешь пуговицы?

Губы нашли губы и надолго срослись. Алеша, не обрывая поцелуя, поднялся и сел рядом, схватил всю Лию и прижал к себе, будто хотел спрятать, вдавить в себя...

В темноте шаркнули шаги... Лия сильно вырвалась, встала и оправила прическу.

— Пойдем. Могут увидеть.

Алеша взмахнул руками, поднял ее легко и свободно и побежал со смехом по бульвару от шаркающих шагов.

— Убежим, убежим от дяденьки!

Он задохся, дрожащими губами сдавил на весу губы Лии и поставил ее на землю.

Лия с полночи дежурила у отверстия, сменив Берточку. Она сидела в темноте, кусала усталые и размякшие губы, чувствовала, как на них остался смеющийся рот Алеши.

Бобров стонал во сне и кричал:

— Тише, тише, да тише же!

Лия сладко жмурила глаза и улыбалась Боброву жалеющей и холодной улыбкой.

Утром Лия, крадучись, чуть сдвинула стол к окну. На полу остались пятнышки от ножек стола. Оглядываясь на занавеску, Лия тёрла пол утюгом, затирая пятнышки, пошаркала ногой, пятнышки убавились, полуслились с полом, но кидались в глаза и смеялись над ней. Лия покраснела и закидала пятнышки обрезками лент.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отдождел октябрь, и закидалось небо снежинками, метелями, ветрами. Окна „Венского шика" закрылись морозными тюлевыми занавесками. Алеша водил Лию по белым улицам, грел ей стынувшие руки горячими пышка́ми. На морозных щеках Лии оставались белые пятна от проказливых губ Алеши.

Тут приходил Сидор Мушка и шептал Эсфирь Марковне:

— А я по знакомству скажу, может, и нас не оставишь: в доме у тебя тово-этово...

Вздрогнула и замигала Эсфирь Марковна.

— Что такое?

— Следить за магазином велено в полиции. Жених Арошка— причина. Начальство говорит—с сицилистами путается. Как бы и тебе не было нахлобучки! Ты мотри, я ведь из уваженья уведомил... Молчок! Арошке-то, лучше будет, заверни оглобли. И парень-то паршивой... ободранный... гнида... плевком перешибешь! А девка у тебя... Ух, мяса сколько!.. Есть за што подержаться!

Сидор Мушка осклабился и захохотал.

— Не подстать ему девка, вертуну. Как на шалнерах облезьяна-облезьяной поворачивается!

Эсфирь Марковна закатила глубоко под лоб глаза, вздохнула и простонала:

— Бедная Берточка! Бедная Берточка! Но... какой вы друх! Но какой вы друх, Сидор Иванович! Вас сделают старшим городовым! Вас сделают околоточным надзирателем!

Сидор Мушка довольно закашлялся и запередвигал свое прямое, огромное, как несгораемый шкаф, тело на месте.

— Куды-ы уж! В будке бы не шевелили!

Эсфирь Марковна дружески погладила по рукаву Сидора Мушку, сунула ему в руки деньги и благодарно проговорила:

— Сидору Ивановичу надо рублик! Сидору Ивановичу надо рублик!

В ноябре луна луне кинула погоду. Заморозило на тридцать дней с хвостиком, заморозило ровно, крепко, хозяйски. Сидор Мушка не вылезал из тулупа. Двери в магазин отскакивали. Белый ноздреватый пушистый иней, как слежалая соль, пополз в зажимах дверей. Мося косарем оскребал его, а он нарастал за ночь. В люке было холодно. Керосинка будто грела самое себя, а Ване Галочкину, Боброву и Ахумьянцу не оставалось жара. В очередь, когда стирала белье Лия, у Боброва на рубашке была кровь, и он кашлял ночами, как в кадушку. Грудь пела и скрипела и бухала от кашля.

— Не брызжись, Бобёр!—говорил Ваня Галочкин.—Брызга у тебя вредная!

Топили квартиру сухим, стойким березняком. Печи закрывали красными, как каменка в бане, а выдувало, а выносило тепло через старые пазы и рамы: топили улицу. Ночами дежурили в чулане в шубах и дули на коченевшие руки. Ахумьянц дрожал и не мог согреться под двумя фуфайками.

— Я хочу на Кавказ,—твердо и жалобно сказал Ахумьянц.— Я замерзаю!

Ваня Галочкин ничего не ответил, только посмотрел в глаза Ахумьянцу и увидел там отчаянье и угрозу. Ахумьянц часто ночью высовывал из люка голову и, стремясь согреться, глубоко вбирал полутемный остывающий воздух чулана. Ахумьянц переставал работать.

Тогда, утром, в канун Зимнего Николы, пасмурным городским утром в огнях, только открыли „Венский шик“, в дверь пролез обледенелый стоячий воротник Сидора Мушки, и сосулечные усы весело задвигались между ушей воротника.

— Арошку-то?.. Зачистили: туда ему и дорога! Ночью обыски делали. В участке сидит. Ходил туды утром я по своим надобностям, ан там...

Сидор Мушка поперхнулся, сглотнул затаявшую сосульку, покосился на выглянувших из-за занавески Берту и Лию, махнул на них сердито мохнатым рукавом тулупа.

— А вам чего? Не до вас дело. Сидите там!

Берта и Лия ухмыльнулись. Сидор Мушка понизил голос и шепнул Эсфирь Марковне в лицо:

— Девке-то теперь слобода. Антирес живо к арестанту пропадет. Ево заката-ают, заката-ают! Башку-то вы-ы-стри-гут!

Эсфирь Марковна согласно и сочувственно кивнула головой Сидору Мушке. Он помолчал, помялся, посмотрел на оконные морозные тюли и еще сказал неуверенным и робким и довольным голосом:

— Я вот... вот все и поджидал, как магазин-то отворите. Думаю — сказать не сказать? А ка-а-к не сказать хорошей барыне?

— О, вы, Сидор Иванович, золотой человек!—воскликнула Эсфирь Марковна.

Сидор Мушка взялся за ручку дверей, пошевелил шапку на голове, недовольно бросился глазами на Мосю, рывшегося в кассе, и тихонько сказал:

— Так оно и быват...

Потом осмелел, подошел поближе к Эсфирь Марковне и громко спросил:

— Вот... я... жалованье у нас курицам на смех! У бабы корыто морозом расщиляло... Дура, на мороз вынесла корыто в пару. Новое надо покупать. А купил-то—и не шиша. Што я скажу, Шмуклерша, вперед за месяц бы получку получить?

Эсфирь Марковна весело мотнула головой.

— Кому другому, а Сидору Ивановичу, ой, я всегда готова сделать, как он хочет!

Сидор Мушка сунул деньги в карман, уронил гривенник, кряхтя и краснея подхватил его рукой, притопнул валенком, отодрал от полу непослушливыми пальцами и буркнул, уходя в дверь:

— Благодарим покорно!

Дверь затворилась с шумом, но снова отворилась, Сидор Мушка наполовину всунулся в магазин и прокричал:

— До Нового году и носу не покажу. Мы... тоже... честь знаем!

Мося визгливо захохотал. У Эсфирь Марковны затряслись под пуховым платком старые разбухшие груди. Берта высунулась из-за занавески с горящими глазами:

— Царский слуг-г-а!

В ночь пришли с обыском. Берта услышала звонок в передней и вместе стук на черном ходу. Она вздрогнула. Не

попадая под плинтус будто растолстевшими сразу досками, с трудом закрыла отверстие, разбудила всех—и пошла отпирать. У Лии разошлись широко ресницы, и она не могла ими двинуть.

В комнатах затренькали жандармские шпоры, застучали тяжелые сапоги и кожаные валенки городовых. Эсфирь Марковну, Берту и Лию толстая рыжая баба увела в магазин и начала обыскивать, шмыгая руками в волосах, под мышками, под грудями, в промежностях, задевая за волосы, делая грубую, подчеркнутую боль. Эсфирь Марковна стояла бледная и затаившаяся в себе. Берта и Лия отвернулись от матери и стояли, как две низкорослых рябинки у плетня. В соседней комнате обыскивали Мосю, и он твердил тревожно и глухо:

— Ну и что? Ну и что?

Кто-то заорал возмущенно и затопал ногами:

— Мол-ча-а-ть.

Мося замолк. Берту и Лию рыжая баба привела к Мосе и встала у дверей. Эсфирь Марковна переходила из комнаты в комнату с жандармами, и при ней обыскивали, роясь в белье, в книгах, в мебели, за обоями, оглядывали полы, припадая к ним ушами и слушая, отыскивая люки, лазили со свечой в дымоходы, открывали, обжигаясь, печные дверки, отдушины.

В магазине навалили груды шляпных картонок и коробок на прилавок, а потом вытряхивали шляпы в одно место на разостланную по полу бумагу. Эсфирь Марковна видела, как городовые незаметно совали в карманы ленточки, а ленточки выпускали из карманов розовые, голубые и черные уши. Страусовые перья дрожали на шляпах, как в живом птичьем хвосте, а брошенные на пол они были как кивера конницы. Шляпы на полу всё прибывали и прибывали. Они уже скатывались с груды к сторонке, как курицы с пестрыми хохлами, разбегавшиеся от взлетевшего над ними ястреба. Городовые лазили по пустым полкам и гладили ладонями их гладкие хребты, подымая пыль и черня руки.

Из магазина уходили, досадуя и затаенно стыдясь погрома, подчеркнуто супя брови. Сидор Мушка важно протащил кожаные валенки мимо Эсфирь Марковны и не поглядел на нее, не узнавая.

Часы много раз били: Эсфирь Марковна сбилась со счета. Обыскали комнаты и перешли на кухню. Два городовых трудно, опасливо и торопливо открывали тяжелое, захоженное,

сросшееся с полом творило в подвал. Впились в творило, как впиваются метельными ночами в огни деревни заблудшие пешеходы в полях. Три жандарма вынули наганы и направили впереди себя. Эсфирь Марковна устала, изнемогла, сердце рванулось, перебилось, замерло, на лбу выступил мелкий дождь, и одна капля наплыла на слезивший глаз.

Творило грохнулось о пол, и, будто вытряхивали мешок из-под пшеничной муки, пыль поднялась густо и серо над люком. Переждали, отфыркнулись, осветили люк свечой—и полезли. Долго и старательно осматривали, выстукивали. Жандармы, конфузясь, осторожно убирали наганы в кобуры.

Рассвет колотился в окна розовыми льдинками. Серые, оплывшие от бессонья глаза жандармов и городовых, скучая, глядели в пустой подвал, в раскрытые двери развороченных комнат с кроватями, с мебелью, вытянувшейся гуськом, с поднявшими ножки кверху диванами.

— Кажется, всё?—вздохнул облегченно жандармский офицер и закурил, щелкая серебряным портсигаром с рубином.—Сени обысканы?

— Так точно!

Эсфирь Марковна придерживала груди, шатавшиеся над частившим сердцем.

А Сидор Мушка уже выкидывал из чулана картонки и коробки.

— Чуланчик, ваше благородие!

Все повернулись к чулану и ждали. В узкие двери, как дым из трубы, шла густая, надсадная пыль.

— Стой! Стой!—приказал жандармский офицер.—Не пыли так! Ты словно улицу подметаешь!

Сидор Мушка услужливо гаркнул:

— Я начистую, ваше благородие! Вороху тутотка воз.

— Остановись! Не надо!

Эсфирь Марковна замерла. Сердце уныло заныло, и глаза сузились, замигали, как фитиль в догоревшем ночнике. Сидор Мушка посторонился. В чулан брезгливо прошел жандармский офицер, закрывая рот платком. За ним вошли два жандарма.

Эсфирь Марковна жадно слушала, привалясь к стенке чулана. Стучали о пол. Разворашивали падавшие картонки и чихали над дрожавшей свечой. А потом офицер со смехом сказал вполголоса:

— Жидовская опрятность! Тут не живут лет двести! Какое скотство!

Еще раздалось несколько ударов частых и отрывистых о пол, о стены. Эсфирь Марковна прижалась щекой к холодной переборке и одним глазом глядела через коридор на запылавшее розовой дрожью окно в комнате Моси: морозные тюли алели от алого зеркала солнца, наводившего его на город. И навстречу им загорелось светлое зерно в глазу, сияющее, острое, режущее, как алмаз.

Офицер выскочил из чулана и плотно обтер губы платком. С презрением и гадливостью он сказал Эсфирь Марковне:

— Какая у вас отвратительная грязь! Неужели нельзя жить чище? Ведь это же свалка!

И смахнул с шинели приставшие пушинки страусовых перьев.

Эсфирь Марковна удивленно, непонимающе, мягко хитря, ответила:

— Ой! И чего же вы хотите от чуланчика? Какая особенная гразь?

Офицер содрогнулся плечами.

Берта, Лия и Мося не отрывали глаз от дверей. Рыжая баба выглянула в коридор. Прошел мимо офицер и махнул рыжей бабе рукой. Она обернулась внутрь комнаты злыми пестрыми глазами:

— Теперь можно!

И пошла.

В столовой составляли протокол.

Эсфирь Марковна не подымала успокоенных глаз на Берту, Лию и Мосю, спокойно отвечала на задаваемые вопросы и приветливо улыбалась на шутки офицера. Берта и Лия сидели бледными черными арапчатами. Мося жевал большие красные губы и лукаво глядел по своему огромному носу на скользившее перо офицера. В столовой накурили папирос. В дверях стояли городовые и курили махорку, несмело выпуская дым в коридор.

— Честь имею кланяться,—сказал офицер, уходя.—Извиня-я-юсь за беспокойство!

Эсфирь Марковна ухмыльнулась:

— Ой, какое беспокойство! Никакое беспокойство!

Сидор Мушка пригнулся к уху Эсфирь Марковны и шепнул:

— А всё из-за Арошки-поганца!

Отскрипели по снегу жандармы и городовые. В комнатах открыли форточки. Эсфирь Марковна села за стол и отвалилась на спинку стула, долго проводила по глазам, а глаза

смеялись и слезились. Мося, засунув большой палец левой руки в боковой карманчик пиджака, важно ходил по столовой. Берта и Лия возились у печки, прижимаясь к ней зазябнувшими животами.

Эсфирь Марковна отсчитала про себя восемь прозвеневших в боковой комнате ударов часов и озабоченно сказала:

— Берточка! Надо типографию поить чаем.

Мося побежал в чулан, открыл творило и позвал:

— Товарищи, вы не умерли еще там от штраха?

Ваня Галочкин засмеялся в темноте:

— Умерли не умерли, а поджилки трясутся. Ахум! Зажигай светильню! Пронесло!

Они все поднялись к отверстию. Мося хватал в полутемноте руки и пожимал.

— Очень и очень даже здорово,—вздохнул Бобров,—но наверное ли они ушли далеко?

— А что они, по-твоему, на завалинке сидят?—шутил Ваня Галочкин.—Мося, Бобёр трясся около меня, как рыба на крючке. Ногу городового в дырку видел.

— Ты очень храбрый, Ваня, а я трус,—спокойно отвечал Бобров,—но, Мося, почему они нас не нашли?

— Ах, они так искали, так искали! И не могли найти! В кухне они лазили в подвал и стучали в стенка...

— Что ты сказал? Они спросят у генеральши о другом подвале—и придут снова!

В голосе Боброва было беспокойство, страх и отчаяние.

— Будет тебе чепушить!—досадливо буркнул Ахумьянц.

Он помолчал. И вдруг задыхающимся голосом закричал ликующе:

— Братцы! Дайте мне сегодня покурить!

Ваня Галочкин присвистнул и хохотнул. Мося, радуясь, затараторил:

— Гут, гут, гут!

В девять часов на двери „Венского шика“ Мося вывесил на круглой крышке от картонки объявление:

Магазин закрыт на пару дней

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В голубом доме Брянчаниновых встречали Новый год. Алеша знал Анатолия с детства. С годами разошлись. Встретились на улице. Постояли. Поговорили. С осени Алеша начал бывать в голубом доме. А потом стало нужно бывать.

Перед Рождеством Галина Сергеевна вложила в руку Алеши письмо и шепнула ему:

— Передайте Лиечке.

Алеша скомкал письмо, и ему показалось—покачнулся от неожиданности.

— Вы ее знаете?—шепнул и он.

— Нет. Но так нужно. Вы будете ей передавать. Она— дальше.

Алеша понял и вгляделся в нее удивленными и близкими глазами.

— Это Зелюк?

Галина Сергеевна сухо ответила:

— Нечистая сила.

И они оба улыбнулись, каждый своему заветному.

Алеша пришел под Новый год за письмом и остался за полночь. После ужина и шампанского и подвыпивших речей Ветошкина, Чернова и Алеши Анатолий сел за рояль. Гости перешли в белый зал. Начались танцы.

Галина Сергеевна сидела на диване и любовалась стройным телом Алеши, ходившего вокруг Люды и уносившего ее, будто отделяя от паркетного пола, по кругу. Тур сидел рядом и морщился и бурчал ей:

— Несерьезно это, несерьезно... Конспирация, революция тут сами по себе. Плясун! Ловкий плясун!

— И красивый.

Тур недружелюбно глядел на мерцавшего голубыми глазами Алешу, проходившего в танце мимо дивана и звеневшего нежнейшим смехом.

— И полезный!

Галина Сергеевна весело твердила свои возражения Туру.

— И мне хочется потанцовать. Нельзя?

Тур поднимал очки кверху и молчал.

— А? Можно, Тур?

— Вам можно. Танцы для вас не все.

— Как жаль, что вы не умеете танцовать. Я бы хотела сделать с вами несколько туров. Только с одним с вами.

По залу кружилась одна пара: Люда и Алеша.

Галина Сергеевна восторгалась:

— Замечательно, замечательно! Вот мастер! Никому и в голову не придет, что у этого танцора в кармане прокламация для типографии.

Тур сделал брезгливое лицо и возмущенно вздохнул:

— Не нравится мне, не нравится это...

— Как вы не взлюбили его, прямо непонятно! У вас против него что-то личное.

— Да ничего нет, ровно ничего,—волновался Тур,—а было бы... поборол в себе.

— Чего же вы раздражаетесь и брюзжите, как Александра Александровна, когда у нее болит живот?

Тур неловко зашевелился на диване и завозился задом. Прозвенели ослабевшие пружины, и он покраснел красными пятнами на серых и хмурых щеках.

— Легкомыслие меня бесит в человеке. И довольство собой. Не верю я ему. У него гладкие и пустые руки. Он от скуки с нами. От безделья. Не учится, потому что богат. Революция для него—мода... романтизм... не внутреннее, не органическое. Его привлекает таинственность, загадочность... и некоторая опасность... нравится... вот так же... как пляска... И это от богатства. Приятно сорить деньгами и... и... играть в революцию.

— Ну вас! Ну вас! Вы несправедливы!

Галина Сергеевна засмеялась.

— Не все ли вам равно? Разве он плохо делает, что ему поручено?

Тур задумался.

— Нет, хорошо. Хорошо до поры до времени, пока не надоело. Это мне и тяжело. И все они... такие молодчики... Рабочие слушают-слушают, глядят-глядят, а в глазах недоверие. Ничего не скажут, а чувствуют притворство. И это вредит работе. От них на других перекидывается подозрение... на организацию... на партию... Наносные пески!

Алеша остановился против дивана и белейшим платком вытирал пот с лица, просто и радостно лучась довольством собой, белым залом, веселой новогодней ночью.

Анатолий повернулся на стуле от рояля и ревниво укорял Галину Сергеевну беспокойными взглядами. В зале хлопали в ладоши Алеше и Люде.

— Новый год начинается весело,—белели эмалевым блеском зубы Алеши,—я люблю потанцовать...

— И, кажется, выпить?—сказала Галина Сергеевна.

— И выпить, и покурить, и сыграть в карты и на бильярде, и множество всяких „и",—добродушно болтал Алеша.—Человек, кто бы он ни был, по-моему, не гербарий, чтобы положить себя в папку и замкнуться.

Тур, не глядя на него, проворчал:

— Словом, carpe diem?

— Что же плохого в carpe diem? Лозунг этот сильный, молодой. Античные люди умели и работать, и отдыхать, и думать. Вы не танцуете, Галина Сергеевна?

— Танцую. Неважно, а танцую. Один вальс.

И Галина Сергеевна встала с дивана. Алеша радостно потер руки и захлопал в ладоши.

— Вальс! Анатолий, вальс!

Анатолий заиграл. Алеша изгибался около него и ласково касался на ходу его волос, шепча быстро на ухо и не ломая танца:

— Отобью жену!

Анатолий ниже наклонялся к роялю, мотал головой и путался в клавиатуре.

Тур грустно прижался в угол дивана, снял очки и лениво протирал их скучавшими руками.

Вальс кончился. Его повторили. Галина Сергеевна долго не приходила. Рядом с Туром сели Ветошкин и Чернов и злословили, подтыкали Тура под бока, дёргали его за рукава пиджачка, нашептывали в уши слова, слышанные им сотни раз, измятые и бескостные, как невыспавшееся лицо.

Тур отталкивал их, сердился и усмехался уныло на несдержанный смех.

Подошла Александра Александровна с прищуренными насмешливыми глазами.

— Тур спит?

Чернов ответил, смеша Александру Александровну и Ветошкина:

— Нет, что вы, он мысленно поправляет ребячьи тетради. На святках, говорят, ему штук двести со всех классов подвалили тетрадей. И он осточертел. Спрашивал сейчас у нас,

как пишется слово „мелкий“—через мягкий знак или без мягкого знака.

— Ах, болтушки! — сказала Александра Александровна.— Тур, не поддавайся!

Смотрели мельком вслед уходившей Александре Александровне, и Ветошкин шептал:

— Какая у нее нелепая задница! Как будто к ней пристало огромное дедовское судно, и его прикрыли платьем.

Тур больно и жалобно сморщился от гоготания студентов, осуждающе разводя руками.

Чернов дружески обнял Тура.

— Целомудрие! Святое целомудрие! Как только ты управишься со своей женой, если она у тебя будет когда-нибудь?

Гадливо и серьезно пробурчал Тур:

— Цыники! Грязные цыники! Вы не замечаете... как от вас пахнет!

Ветошкин и Чернов засмеялись:

— Чем, чем пахнет? Любопытно!

Тур не ответил, а студенты продолжали хохотать.

Раздельно, повышая голос в шорохе и шарканьи ног танцовавших, в ветре шлейфов, в звуках рояля, проговорил Чернов:

— Женщина есть собственность мужчины, — конечно, по воззрениям буржуазного общества. Ты, Тур, не сердись! Нам... это шампанское намаслило языки.

Алеша круглым поворотом посадил Галину Сергеевну на диван и перенес свою руку на талию Люды.

— Вот как мы-то!—запыхалась Галина Сергеевна.—А вы все кукситесь и бранитесь? И обдумываете?

Тур нежно взглянул на колыхавшуюся усталую узенькую грудь и пододвинулся к Галине Сергеевне.

— Я в порядке... ответственности... прошу вас, Галина Сергеевна, я должен, предупреждаю вас... Уханов не должен знать, от кого и что он получает в конвертах...

— Как вам не стыдно! — сверкнула обиженными глазами Галина Сергеевна. — Вы привыкли иметь дело с ребятами в школе!

— И со взрослыми за стенами школы.

Тур хотел улыбнуться, а глаза не слушались и хмурились.

— Я твержу и буду твердить: Зелюк сделал глупость, что поручил в столь важном деле пользоваться нам такой... какой-то... случайной... вот-вот оборвется... связью через Уханова.

— Тур, я смеюсь. Видите, я смеюсь над вашей осторожностью. Алеша предан делу и увлечен им. Зелюк знал, что делал. Уханов вне всяких подозрений жандармов и полиции. Больше ничего не требуется. Алеша — танцор, гуляка, повеса—для всех. Перестаньте, говорят вам, хмуриться. Вы, я подумаю, завидуете его легкости, с какой он делает самые противоречивые вещи.

Тут Галина Сергеевна отпрянула от Тура и вскрикнула.

Тур схватился за грудь, закашлялся, побагровел, очки соскользнули с носа, он беспомощно половил их одной рукой по воздуху, очки упали на пол и разбились... Из-за усов хлынуло красное и пролилось на диван, на брюки и на бледные кисти рук Тура. Анатолий оборвал игру, кинулся, роняя стул, к Галине Сергеевне. Диван окружили перепуганные люди. Тур медленно отвалился к диванной спинке, и лицо, как белый ком ваты, выделилось на темной обойной материи.

Алеша несся из-за колонн с плещущим стаканом воды. Пелагея ужаснулась в дверях. Галина Сергеевна и Володька бережно положили Тура на диван.

— Галиночка! — шептал Анатолий жене. — Ты осторожнее! Ты... можешь заразиться!

И на тревогу мужа Галина Сергеевна резко отстранилась от него и вся скомкалась отвращением и негодованием.

Анатолий растерянно искал защиты глазами вокруг себя, словно все слышали и понимали Галину Сергеевну. Тура понесли в мезонин Алеша и Володька, а за спину поддерживали Ветошкин и Чернов.

Гости расходились, поспешно натаскивая в передней шубы, застегиваясь в холодных сенях, торопясь забыть кровяные густые пятна на блиставшем паркете. Люда озабоченно издали поглядывала на диван и наклонилась к уху Александры Александровны:

— Мамочка! Обивку на диване придется менять.

Александра Александровна вздрогнула, переступила ногами, будто наступила на что-то грязное и отвратительное, отклонила голову в сторону и оттолкнула от себя Люду.

И вдруг с лестницы в мезонине закричала Галина Сергеевна резко, повелительно:

— Анато-о-лий! Анато-о-лий! Доктора! Где же, где же доктор?

Анатолий закидался по комнатам, хватал на вешалке пальто, не находил шапки, искал калоши и, махнув в отчаянии рукой, выбежал на улицу.

Утром Галина Сергеевна спустилась к себе в спальню и прилегла на кровать, долго глядела в потолок незакрывавшимися глазами; тело было неживое, холодное, жили только глаза печальными, поблекшими цветами. Анатолий спал на своей кровати со здоровым ровным воркованием. Изо рта у него вытекла сонная слюна, мутная и желтая, и размазалась по щеке. Галина Сергеевна как-то само собой перевела глаза на Анатолия. Обтянутое одеялом тело слегка колыхалось. Из-под одеяла видна была маленькая бледная ступня с перламутровой мозолью на мизинце, ногти были аккуратно и кругло подстрижены... Галина Сергеевна содрогнулась. Ее замутила трудно сдерживаемая рвота. Она зажала испуганными руками рот и отвернулась от Анатолия.

Пелагея с Аграфеной разводили для себя ранний утренний самовар на кухне и стучали железной трубой. Прошел по коридору на кухонные голоса Карушка и заскребся лапами у дверей. Галина Сергеевна уснула.

Очнулась она от тяжелого грохота за стеной. Она вслушалась. По комнатам волокли что-то тяжелое, тяжело громыхавшее и скрипевшее по полу.

— На себя, на себя тяни! Придерживай за спинку!—раздавался голос Пелагеи.

Галина Сергеевна вспомнила диван в зале, поняла, что это волокли в сени диван, и заплакала. И еще больше она заплакала о тишине над головой, в мезонине, где лежал Тур, не ходил сегодня легкими отдаленными шажками.

Тур пролежал неделю. И всю эту неделю Тур мешал ей говорить, спать с Анатолием и ходить на службу.

— Галиночка! Галиночка! — вертелся Анатолий и кружил около нее.

Галина Сергеевна сурово отгоняла Анатолия и отмахивалась от него, как от дыма, евшего глаза.

Тур встал на ноги и снова ходил в мезонине — она слышала — от дверей до окна, от окна до дверей.

В конце святок в белом зале поставили диван с новой обивкой. Галина Сергеевна сначала недружелюбно посмотрела — и вдруг уселась на него, покачалась, погладила рукой упругие бока... В доме никого не было. Все куда-то разбрелись после

обеда. Только на кухне Пелагея с Аграфеной мыли посуду и делали послеобеденную уборку. Только в мезонине был Тур — она чувствовала — и, может быть, ждал ее. Галина Сергеевна посидела на диване, напружив глаза на вечерние колонны, — глаза настойчивые, решительные, — потом забралась на диван с ногами и легла на живот, уткнувшись в маленькую подушку с нашитым на ней шелками павлином.

С кухни, издалека, врывались в тишь дома резкий, скрежещущий стук тарелок, лязг ножей, шарканье противней и плошек. Пелагея бегала в буфетную и носила туда вымытую посуду, похлопывала дверями и скрипела буфетной дверкой.

Понемногу стихала возня в кухне. Вечер накатывался на окна, густел, кто-то громоздил на небе серые завесы туч одна на другую. Галина Сергеевна слушала знакомые вечерние часы жизни в доме. Пелагея перестала ходить в буфетную. На кухне все угомонилось.

Галина Сергеевна заслушалась тишайшего молчания дома. Потом подумала о Пелагее и шепнула павлину на подушке: „Сейчас запоет“. И Пелагея запела, как она часто и подолгу пела на кухне после обеда. Пела Пелагея себе под нос, когда дома были все, и легко, открыто, как в поле, в лугах, пела она без господ.

Галина Сергеевна слушала сначала озорные, скачущие молодым жеребенком частушки-коротушки и повторяла строчку за строчкой вперед знакомые слова, вслушивалась в незнакомые песенки и замирала над ними, легко смеясь или грустя, покуда они не забывались, смененные другими.

Пелагее надоели частушки, и вместе с ней они надоели Галине Сергеевне, как чистый, ясный звук отдельной клавиши, капавший в темноте, когда Анатолий убегал после ссоры к роялю и боязливо касался клавиши, певшей для него: Галлиночка! Галлиночка! Галллиночка!

Пелагея переменила озорной свой голос на заунывный, протяжный, и по комнатам заволновались, закачались слова заунывные, протяжные, зовущие...

Потеряла я колечко,
Потеряла и любовь.
Как по этом по колечке
Буду плакать день и ночь.
Где девался тот цветочек,
Что долину украшал?
Где мой миленький дружочек,
Что словами обольщал?

Пелагая охнула и задержала голос, а потом он вылился, весь печальный и жалкий, как мокрое осеннее дерево, отряхающее дождь.

Обольстил милой словами,
Сам уехал навсегды...
На́всегды, навсегды, навсегды, навсегды...

Галина Сергеевна не дослушала песни. Она вскочила с дивана и торопливо пошла из зала.

Са-а́-м уехал навсегды-ы-ы...

—пели плачущие слова.

В мезонине на столе горела свеча.

Тур стоял у окна, глядя на смежающиеся в сумерках сарай, садовые перильца, сваленные на снегу дрова... На нем была белая рубашка без пояса. Тур оборотился на шаги Галины Сергеевны и начал шарить на стульях, на подоконнике, на полу пояс. Он топтался за столом, закрывал руками рубашку, боясь без пояса выйти навстречу Галине Сергеевне. Она видела смешную суету Тура, и суета была ей дорога. Сердце Галины Сергеевны извивалось под платьем в счастливой потяжке, и Галина Сергеевна звонко засмеялась. Она прошла за стол к Туру, положила ему на шею руки, взяла их в замок и медленно, не сводя глаз со съехавших на нос очков Тура, стала тянуть голову.

— Ничего!.. Брось! Турик мой! Турик мой!

— Что? Что? Что?—затрепетал Тур.

Галина Сергеевна положила ему на плечо голову и крепко сжала шею. Тур обеими руками схватил ее голову и, дрожа, как после долгой зимней дороги, в упоении и тревоге почти кричал:

— Немыслимо! Невозможно! Нет, невозможно! Я сойду с ума! Я не верю! Я упаду сейчас!

Они встали у окна. И молчали и застыли в неподвижности. Свеча шаталась на столе красной кисточкой огня и кидалась неровными лижущими брызгами на белую рубашку Тура.

Пелагея выводила на кухне глухо и нежно:

Прощайте, ласковые взоры,
Прощай, мой милой, дорогой!
Разделят нас долины, горы,
Врозь будем жить теперь с тобой!

Аграфена подтянула густой дребезжащей фальшью:

Врозь будем жить теперь с тобой!

—и скомкала песню. Пелагея несколько раз начинала снова, но голос сбился, песня не налаживалась. Аграфена захохотала. Пелагея зло и отчаянно крикнула:

— Чего прилезла, сатана? Пой одна, а другим не мешай!

Прощайте... Прощайте... ласковые...

— Тьфу! Тьфу!—заплевалась Пелагея горько и жалобно.— На вот тебе за это!

На кухне раздался жирный и звонкий шлепок. Кухарки с визгом и хохотом завозились, застучали ухватами, кастрюлями, противнями, зазвенел стол с посудой, загромыхала упавшая на пол табуретка.

Сквозь грохот и возню заколотился у дверей колокольчик. Галина Сергеевна быстро поцеловала Тура, подхватила левой рукой платье и мелькнула по лесенке.

У Тура в руке дрожала свеча и, отекая вбок, капала на ботинки, на лесенку—скрипучий колодец вниз.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Алеша проезжал на сером жеребце мимо „Венского шика“, придерживал лошадь и глядел на окно за тюлевой занавеской. Лия давно уже придвинула стол к окну и ждала его раскрытыми темными глазами. Она выходила и на углу садилась в лакированную пролетку или в сани с голубой спинкой. Алеша трогал лошадь. Серый жеребец уносил из города в поле. Там Лия вынимала из-под кофточки, из-за корсажа, из штанишек, с подпухшего живота листки—и он рассовывал их по карманам, под сиденье, под ножной коврик.

Когда надо было вынимать листки из штанишек, она медлила и внимательно косила глазами на Алешу. Он смеялся и не отвертывался. Она вопросительно говорила:

— Ну-у?

А Алеша весело просил:

— Дай мне посмотреть, как ты это делаешь!

И целовал ее в щеку, обнимая рукой за талию и осторожно нащупывая на бедрах шелестевшую бумагу.

Лия сопротивлялась.

— Оставь, Алеша! Ну же, скорее! Мне не совсем удобно так сидеть!

— Не оставлю, не оставлю! Вот и не оставлю!—кричал озорно Алеша и вызывающе наклонял немигающую голубизну глаз к ее просившим глазам.

Серьезно и угрожающе говорила Лия:

— Ты нехорошо шутишь! Отвертывайся! Я прошу... Я последний раз еду на лошади.

Он отводил глаза в сторону. Лия поспешно доставала листки из штанишек, наваливаясь на него спиной.

Алеша не глядел, но протягивал назад руки и пугал ее, щекоча и подтыкая. Освободив штанишки от бумаги, Лия хватала его за уши и трепала докрасна, до боли, а он сильно охватывал ее и сдавливал покорную и ослабелую на своей груди.

Серый жеребец скакал по большаку. Проезжали деревнями, селами, усадьбами. Опускали вожжи и как бы дремали в легком покачивании. А потом жеребец нес четырьмя быстроногими верстами обратно в город. Алеша высаживал Лию недалеко от „Венского шика" и медленно ехал домой, давая остынуть запотевшему мыльными клубами серому жеребцу.

Встречались на бульварах, в театре, на Прогонной улице. Она по делу выходила днем, с картонками в руках, уходила в далекие предместья, ехала на конке—он поджидал и помогал нести картонки. В укромных местах Алеша разглядывал картонки и выбирал листки и газеты, быстро перекладывая в портфель или завертывая в бумагу и перевязывая заготовленной ленточкой.

— Лия! Достаточно ли ты осторожна?—боязливо спрашивал Алеша.

— Тебя надо спросить об этом!

— Я собаку съел на конспирации,—горделиво сердился он.— Зелюк должен беречь людей. А для него люди, как камни на мостовой. Выбоины будут на дороге, другими такими же камнями заделают—и опять лошади стучат копытами.

— О! Ты не знаешь Зелюка! Он хитрее всех людей на свете!

— Будто так! Уж одно то, что Зелюк приносит прокламации тебе, девушке, ошибка. Ты случайно попадешься, ты не

знаешь, какими дьявольскими способами и ловкостью обладают жандармы. Они у тебя вытянут такие признания, что ты сама удивишься, когда потом о них тебе скажут.

— Алешка!—засмеялась Лия,—ты, я вижу, начинаешь трусить?

— Какие ты говоришь глупости!—резко прервал он.

— Так помни,—вся заструилась нежностью и лаской Лия,—девушки крепче мужчин. Найдут прокламации, газету? Не-е-т, они не узнают! Я не выдам Зелюка, пускай меня разрезают на ленточки.

— Неужели ты, Лия, так убеждена?..—он запнулся.

— В чем?

— Ну... в революции.

Лия тревожно и жадно взглянула на задумавшегося Алешу.

— А ты? А ты?

Она просунула свою руку под его руку и вцепилась спрашивающими пальцами, голосом, глазами.

Раздумчиво, боря в себе сомнения, Алеша воскликнул:

— Я... да... О, я-то, конечно!

И ему стало стыдно лжи. Он примяк к Лие, взял на ладонь ее маленькую руку, дохнул на нее и, закачавшись, проговорил:

— Нет... я вру... я не всегда... я устаю верить. Трудно, трудно... Рабочий класс еще... дикий. Интеллигенция боится выстрелить из ружья. Какая уж тут революция! Интеллигенции воевать зубочистками. Мужики—те расселись на тысячи верст. Они недоступны организации. И одной деревне до другой дела нет. Тысячи-то, тысячи-то верст мужицкой России объединить одной идеей?! Не-ет! Это чу-у-до!

Лия рассердилась и возмутилась:

— Ты дрянь! Ты дрянь! Какой камень Зелюк! Какой он проволока!

— Разве я говорю—не надо работать, не надо добиваться?—взволновался он.

— Не нужно больше говорить! И все очень понятно мне!—сказала печально Лия.

Они молчаливо пошли.

Вдруг она стиснула руку Алеши, гневно въелась в него глазами и едко, отчаянно, горько бросила:

— Ты можешь и не встречаться со мной! В чем дело? Тебе понравилась русская беленькая девушка? Она умеет лучше

любить? О, я поняла: ты хочешь оставить Лию! Сделай такую милость! Лия не пойдет тебя просить о любви! Моя мамаша мне очень даже много раз говорила: „Лиечка, русские только играют еврейками". Тебе скучно с Лией... Лия умеет делать только шляпы и целоваться! Лия очень мало знает!

— Вздор, вздор, вздор!—засмеялся он.—Любят, Лиечка, разве за то, что люди много знают? Ах, какая ты чудачка! Дай, дай мне твои губы!—передразнил он голос Лии.

Она отодвинулась.

Алеша наклонился к губам. Лия откинула голову, закрыла рот ладошкой кверху.

Он со смехом прижался к ладошке.

Алеша провожал ее до „Венского шика" и вился около нее, как изворотливая повилика в траве.

— Тебе нельзя смотреть на других женщин!—серьезно шептала Лия, прощаясь.—Я тебя съем! И... обгложу косточка!

Он уходил, унося и оставляя в ушах радостный и бурный смех любви.

Пришел арест Зелюка, пришел обыск в „Венском шике", Лия невесело села в санки... Серый жеребец выкинул комья снега, швырнул еще и начал пылить серебряной порошей и пылил, покуда не выскочили через Зеленый Луг к Чарыме на укатанную ледяную дорогу. Она вынула листки из-под шубки и сунула Алеше. Он удивился.

— Опять листки?

— Ну, да,—недовольно ответила Лия.—Ты что же думаешь: Зелюк очень-таки все понимает. Зелюк сидит в тюрьме, ну, так в чем дело? Его товарищи поживают себе в городе.

— Молодец Зелюк!—вырвалось у него.—Какой он молодец!

— Моя мамаша очень сердита-таки на Зелюка,—продолжала Лия,—она так испугалась, так испугалась обыска! Всю ночь искали...

— Дур-ра-ки! Берта не плачет?

Лия засмеялась.

— И что же Берточка будет плакать? Зелюк разве на всю жизнь будет сидеть в тюрьме? О, его скоро выпустят! У него дома ничего не было.

— Откуда ты знаешь?

— Не такой Зелюк Афонька, держать дома ночью чего-нибудь...

Алеша с восторгом обнял Лию.

— И ты у меня молодец! Но как ловко, как ловко вы проводите свою старенькую мать!

Лия спрятала в воротник хитрившие и смеявшиеся в меху глаза.

— И ничего нет ловкого. Мамаше не нужно плакать под старые свои годы на Берточку и Лиечку.

Он привозил домой листки и газеты и прятал их в потайные ящики в столе, в зеркалах, и диванах. К нему приходили студенты и разносили листки по городу, в разные концы, отсылали за город и расклеивали в ночь.

Сидор Мушка видел, как выходила Лия к поджидавшему Алеше, и ухмылялся и бормотал весело:

— Дело на мази! Дело на мази! Ягоде не устоять!

Берта и Мося часто дежурили у отверстия за Лию. Эсфирь Марковна недовольно говорила:

— Лиечка, мне кажется, тут не совсем конспирация!

Но она отводила глаза в сторону, багровела, как маленькая яблоня с китайскими яблоками, и сердилась:

— Но почему мне не сходить с товарищем Ухановым в театр? Разве я плохо работаю? И разве плохо работает товарищ Уханов?

В театре они сидели в укромно-темных местах, горя близостью и жаром рук, ног, сомкнувшихся плеч. Волосы Лии касались его щеки, и он осторожно ловил ртом темную прядь. В перерыве она висела на руке Алеши, семеня ножками за его широкими шагами. Ему улыбались знакомые женщины и девушки. Он иногда оставлял Лию и, переходя поперек фойэ, подходил к ним, расшаркивался, целовал руки и делал круг, заглядывая на сверкавшую острыми глазами Лию. Она бледнела и беспокойно шевелилась на бархатном диване.

— А вот и я!—весело садился Алеша рядом.—Отделался. Нельзя было. Давно не встречались.

Лия не отвечала, но хищно раскрыв мелкие, как речной жемчуг, зубы, она исподтишка щипала его руку, вонзала колючие ногти и угрожающе придвигалась будто разгоревшимся на ветру пламенем глаз.

Алеша потирал болевшее место и смеялся:

— Ты кошка! Настоящая кошка!

А у Лии на глазах была ревнивая мутная пленка слез.

На ночных улицах после театра она кричала на него, рассыпая мелкий песок слов обидных и резких, отталкивала—и быстро шла домой одна.

Лия дежурила до утра у люка и плакала под хриплое дыхание Боброва и четкие трескучие ударики шрифта в верстатку.

Приходили новые встречи на тех же вечерних улицах, на бульварах, в скверах. В осенние вечера сквозь чистое сито струил ленивый дождь, сидели урывками под развернутым зонтом на бульваре, Лия дрожала от холода и, бурно ластясь, шептала:

— Мигий! Мигий! Мигий!

У него подсыхали губы, опьянело руки искали груди, живот и тянули к себе.

— Лиечка!—задыхался Алеша и не договаривал, и глаза видели нагое смуглое тело Лии.

Доцветала рожь второго лета, как отставляли в „Венском шике" столик от окна и навешивали темную занавеску. Серый жеребец ускакал по большаку за подгороднее село Верею и задохся во ржах, роняя легкую пену усталости на желтую криулину дороги. Жеребец шел вразвалку по большаку, остановился—и вдруг свернул на ржаной проселок. Алеша подергал вожжами, но Лия вгляделась в зыбившую под ветром спину ржаных полей и устало сказала:

— А там очень красиво! Поедем туда! Брось вожжи!

Жеребец шел шагом по узенькому рубчику проселка, а колеса пролетки катились по глубоким колеям и осыпали за собой мелкий хрустящий камень. Пролетка наклонялась в глубоких колеях набок, и он поддерживал ойкавшую Лию.

— Но ты посмотри, какая умная лошадь,—говорила Лия,— она выбирает дорогу... идет, как по половичку!

Ржаные поля спустились с пригорка и разорвались зеленой неширокой низиной луговины, а дальше подымались на горку опять поля, шатавшиеся из стороны в сторону высокими колосьями.

— Лиечка, мы забрались далеко,—сказал он,—до Вереи будет версты три. А дальше Семигородние леса. Не поворотить ли назад?

— Нет, нет, я устала сидеть. У меня устала спина. Давай тут отдохнем. Пусти лошадь на луг—пускай она покормится. Трава густая, вкусная. А мы пройдемся.

Алеша огляделся вокруг. Лия в тревоге вытянулась.

— Ты что?

— Луг еще не кошёный,—сказал он,—могут увидеть мужики. Да, никого, можно! Луг—верейских мужиков. Они—богачи! Можно немного и потравить.

Они вышли из экипажа и пустили лошадь в ложбину. Жеребец потянулся к траве. Мотая головой и звякая уздечкой, он стал жадно рвать скрипевшую на зубах траву. Вечереющее небо высоко плыло над головами. По дуге ржаных полей солнце скатывалось в низину, в кужлявые темно-синие глыбы облаков. Нижней своей гранью солнце задевало за рожь,—и вдали колосья багровели, как тысячи зажженных свечей с колеблемым пламенем.

— Алеша,—нежно прошептала Лия,—будто рожь идет на нас... катится с горки... плещется... даже страшно...

Алеша глубоко вздохнул и молодо, задорно выкрикнул. Голос полетел по ветру, навстречу колосьям, закружился около них, жеребец вздрогнул и перестал рвать траву.

Она поморщилась и недовольно дернула Алешу за рубашку:

— Не кричи! Вечером лучше говорить тише.

Они сели на узкую межу. Рожь изгибалась над межой и звенела тишайшим неумолкаемым звоном, будто из каждого колоса дул легкий ветер, и усики колосьев терлись друг о друга, шуршали...

Солнце спустилось наполовину в облака огромным малиновым куполом неведомого собора, выстроенного на краю земли. И шел от него малиновый ясный свет и скользил по спинам полей дрожащими, переливающимися вуалями. Купол медленно погружался в облака, темнел, густел, израстал... И вот небольшой коровай хлеба постоял на облаках—и потонул, опустился на золотых цепях лучей в раздавшиеся облака. Тогда облака и тут и там вспыхнули: будто выросли всюду клумбы, будто еще выше поднялась хрустальная крыша неба, и раскрылась бесконечная оранжерея с грядами причудливых цветов и деревьев.

Невидимая за рожью, заржала лошадь. Алеша поднялся и посмотрел на нее.

— Кто-то идет?—спросила Лия.

— Нет. Она, наверное, соскучилась по мне. Не видела, куда мы ушли, вспомнила—и заржала. Лошади часто зовут хозяина. Впрочем, надо взглянуть.

Он подошел к жеребцу, похлопал его по шее, огляделся, прислушался и вернулся.

— Потная вся,—сказал Алеша,—не прошлась шагом. Загнали мы лошадь сильно.

Лия лежала на спине, с пригнутым колосом в зубах и легонько проводила пальцем по гладкому стеблю ржинки.

На небе истекали последним багрянцем блекнувшие цветы оранжереи, и облака стали тусклыми, хмуревшими без солнца.

Он сел на межу. И сразу обозначился в его глазах круглый, пухлый живот Лии под белым платьем. А от живота шла к ногам опавшая складка между ног, и кромочка платья загнулась у коленка. Он горько и жалко раскрыл губы и поцеловал белое пятнышко коленка. Лия вздрогнула, выпустила колос из рта, приняла губы Алеши и сдавила дрожащими руками его шею...

— Лиечка! Лиечка!—отчаянно шептал Алеша.—Я не буду, я не буду!..

Лия села на меже, закрыла лицо руками и низко наклонилась к коленям. Он глядел в землю и обрывал задумчиво траву, вырывал колосья с землей и складывал рядом.

Сумерки остывали и низили облака. Земля похолодела и отсырела легкой паутиной свежести.

Он робко обнял Лию. Она поежилась и не отняла руки. Тогда он приподнял насильно ее голову, заглянул в сухие, насторо́женные, обиженные глаза—и ждал ответа. Она застыдилась. На щеках зажглись два красных лоскуточка румянца и поползли ожогами по всему лицу.

— Ты... ты,—слабо зашептала она.

Он боязливо затих и задохнулся.

— Нехороший... гадкий...

И опять покраснела. Алеша радостно засмеялся, поднял Лию с земли, отряхал платье, разворачивал складки, а она шутливо навила на палец прядь его волос и осторожно дёргала.

Жеребец застоялся. Он шел крупной рысью посвежевшими и уставшими качаться ржаными полями. Алеша крепко держал вожжи и с тревогой в качка̀х подхватывал Лию.

В Верее кричали вдогонку скачущему жеребцу:

— Девку-то не оброни! Изломаешь девку-то!

Она одной рукой держалась за сиденье, придерживая другой шляпу, и наклонялась вперед затаившейся грудью навстречу шумевшему в ушах и скакавшему серым жеребцом ветру. За Вереей Алеша дал передышку жеребцу, опустил

вожжи, раскрыл рот, но Лия быстро сунула руку на его губы и тихо сказала:

— Молчи! Ничего не говори. Скорее домой!

И она сама потянулась к вожжам. Он торопливо подхватил вожжи, и жеребец опять пошел крепкой рысью. Он следил за ходом лошади и мельком взглядывал на Лию, косясь из-под ресниц. Она недовольно и вдруг возмущенно закричала:

— Не смотри, не смотри на меня!

И засторонилась от него маленькой рукой, приставленной к глубокой шляпе, надвинутой на глаза. Он покорно и молча управлял лошадью, напружив вожжи.

С тех пор в то лето верейские мужики часто видели серого жеребца и судачили:

— И куда только гоняют, черти? Лошадь позыв лошажнику. Девка кучерявая с чернотой! А парень—князь!

Пока не сжали рожь, они ездили в знакомую низину, на знакомую межу. И все повторялся вечер доцветавшей ржи.

В Емкипур богомольная Эсфирь Марковна ходила в синагогу с Бертой. Мося с Лией дежурили дома. Лия заплакала и сказала Мосе:

— Мося, у меня будет ребеночек!

Мося засунул в левый карман пиджачка большой палец, нахохлился и растерянно забегал глазами по ее фигуре.

— Ну! И как так можно!—закричал Мося.—И зачем было-таки делать? Ой, не говори больше мине ничего! Я все понял зàраз!

Он убежал в чулан и, тревожно дыша над люком, грустно закачался на корточках.

Эсфирь Марковна вернулась из синагоги. Лия лежала на кровати, закрыв голову подушкой. Она слышала, как говорил быстро, захлебываясь, Мося в столовой. Лия вздрагивала под подушкой и крепко жмурила хотевшие плакать глаза.

Укоризненно сказала Эсфирь Марковна, приподымая подушку:

— Лиечка, нам будет трудно без тебя...

Лия тянула подушку к себе и не отвечала. Эсфирь Марковна тихо погладила ее по спине, а Берта села на кровать. И Лие показалось, как мать и сестра ласкали набухшего в животе ребенка. Она затеплела, вспыхнула бурным и клокочущим жаром внутри, прижалась к матери, обняв ее широкое платье, а Берта тепло навалилась грудями на спину.

Утром Эсфирь Марковна сказала Мосе, когда открывали „Венский шик“:

— Зелюк очень и очень неосторожный человек!

— О, какой пустой человек Зелюк!—негодующе воскликнул Мося.

И он печально затих в магазине.

Лия работала у окна и шепталась с сестрой. Эсфирь Марковна часто заходила за занавеску и заботливо спрашивала Лию:

— Деточка, тебе не нужно полежать? Берточка сделает работу и за тебя!

И Эсфирь Марковна обшаривала круглевший живот Лии. Та боязливо косилась на окно и приваливалась к столу, розовея алыми лентами, лежавшими на стуле в кучке других лент.

И раньше Алеша приходил к своему отцу Глебу Ивановичу.

В Покров Голова каждый год справлял день основания прадедушкиной фирмы „Уханов и К°“. Нищих тогда кормили пирогами в нижнем этаже у конюхов и выдавали нищим по медному пятачку. Вечером у Глеба Ивановича ужинали. Приезжал губернатор. Перед приездом губернатора по парадной лестнице настилали большой ковер. Губернатор шел по мягкой лестнице, важно ступая по губернаторскому ковру и беря Глеба Ивановича под руку. Губернатор бывал недолго и уезжал. Пролетка губернатора откатывалась от парадного, Глеб Иванович кланялся вслед, подымался неспешно к гостям и делал знак прислуге. Губернаторский ковер закатывали в большое мельничное колесо и убирали в кладовую.

Гости под утро расходились по узенькой тряпитчатой пестрой дорожке и шаркали нетвердыми ногами по желтизне деревянных ступеней покойной широкой лестницы.

— Глебка—скот! — кричал обиженный мукомол Гришин.— Губернаторский подлиза!

— По дерюге... так по дерюге... мы и по дерюге... нам и по дерюге сойдет!—рычал пароходчик Варакин.—А только зазорно, зазорно, Глеб да свет Иванович, свое сословие ни во что ставить. К-к-крысе канцелярской чин-чином... а нам... тьфу-с!

Глеб Иванович посмеивался и будто не слышал, радушно кланяясь уходившим гостям.

— Не при-ду-у боле!—ревел полицеймейстер Дробышевский, приезжавший к ужину после отъезда губернатора,—мы посмо-отрим, кто-о кого-о и... кому-у!

Глеб Иванович был радостен и весел в этот знаменательный для столетней фирмы день.

Алеше, как вошел он утром к отцу, Глеб Иванович заулыбался и загудел:

— Как же-с, как же-с, приготовил, сынок, приготовил тебе маленькую да́чку.

Глеб Иванович сунул в карман сыну перевязанную ниточкой пачку кредитных билетов и весело пошатал его на ногах.

— На разгулку и хватит! С умом и с малыми деньгами можно форс задать! Большие деньги сам наживай. Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит.

Алеша вгляделся в веселое, как налитое вишневкой, лицо отца, гладкое, глянцевое. Борода у Глеба Ивановича росла о три волосинки, и он брился. Алеша заметил легкий порез на подбородке, подумал о порезе, хотел спросить, а язык выговорил:

— Я не за тем, папа. Ты... никогда не догадаешься...

Глеб Иванович перестал улыбаться.

— А? Что такое?

— Мне... необходимо... жениться.

Он сказал и усмехнулся смущенно. Отец нахмурился и, будто считая в уме деньги и откладывая на косточках цифры денег, заговорил часто и цепко:

— Так... так... так...

Глеб Иванович заложил руки назад, встал прямо перед сыном и развел, наконец, руками.

— Ну, действительно, удивил!

Глеб Иванович прошелся по кабинету и на ходу, раздражаясь и волнуясь и волнуя Алешу, едко и насмешливо спрашивал:

— А не раненько? А жену ты прокормить можешь? Аль и с женой на отцовские харчи? А может, приданого кучу берешь? А приданое намерен проживать! А где ты откопал такое... эту самую... необходимую... невесту! А учиться—не учишься! А кобелить, кобелить, кобелить, видна, тово... этово... мастеровщинка?

— Папа, у меня через полгода будет ребенок,—серьезно сказал Алеша.

Глеб Иванович встал за большой дубовый стол и грузно захохотал:

— Хо-хо! Ха-ха! Внучонок, так сказать! Нежданной-негаданной! Хоро-о-шенькое происшествие! Для юбилея-с! Ты... ты...

Глеб Иванович взревел, беснуясь...

— Ты... вислоухий! Ты... ты делом не занимаешься, стрекозой прыгаешь! А еще... туда! Нехитрое дело ребят делать! Тебя... тебя бить некому в двадцать пять годов, побродяжка лакированная!

Алеша сжал свои маленькие кулаки, задергало часто и больно левый глаз, повело рот в сторону, и он побледнел белее глянцевитой упругой сорочки Глеба Ивановича, надувшейся на широкой груди пазухой.

— Кто она?—рявкнул Глеб Иванович.—Где ухановские деньги не плакали! На воспитательный... на родины... и на прочее... Гривенник на крестильную рубаху, семитка на крест! Четвертной потаскушке!..

Алеша повернулся и пошел к дверям. Глеб Иванович прыгнул, схватил его за плечи и заревел над ухом:

— Ст-о-о-о-й! Отцу спину казать? Про-хво-о-сти-на!

Алеша задрожал, скинул с плеч отцовские руки, оттолкнул Глеба Ивановича крепко и злобно толчком в грудь и вышел.

Манишка у Глеба Ивановича продавилась и сломалась, вывалилась на пол запонка и покатилась. Глеб Иванович очумело забегал по кабинету, пиная кресла, стулья, швыряя со стола ручки, карандаши, книги. Отбегав полчаса, Глеб Иванович зазвонил в большой медный колоколёц. Вошла маленькая, в белом передничке, горничная.

— Это что? Это что?—кричал Глеб Иванович, тыча в манишку и скидывая обшлага.—Перекрахмалили? Ломается? Досмотреть некому? Во-о-н! Во-о-н, дармоеды!

И Глеб Иванович со всей силой грохнул о пол медным колокольчиком. Горничная вскрикнула и убежала. Глеб Иванович расшваркнул настежь двери из кабинета и закричал в анфиладу комнат:

— Эй! Вы! Кто-о там? Позвать Алексея Глебыча!

За Алешею прибежала горничная, экономка, старый лакей, повар.

Он твердо и ясно ответил на зов:

— Так и скажите: Алексей Глебыч к Глебу Ивановичу итти не намерен.

Слуги делали испуганные лица и шептали Глебу Ивановичу:

— Не нашли-с! Дома нет-с!

Глеб Иванович понял.

— Так! Так! Видно, самому искать пора!

Глеб Иванович ворвался к сыну в комнату, багровый и темный, как зарево ночью.

Алеша звонко и негодующе взвизгнул:

— Не смей, не смей ко мне в комнату входить без стука! Что тебе от меня надо?

Глеб Иванович лепетал в негодовании:

— Ты... ты прислуги... прислуги не постеснялся... унизить отца! Я... я тебя заставлю... высечь!

Алеша стукнул по столу кулаком, взъерошил на голове волосы и гаркнул отцовским хмельным и бесшабашным ревом:

— Это чорт знает что такое! Ты пьян, отец!

Глеб Иванович вдруг опомнился, подошел вплотную к сыну. Алеша не отодвинулся. И они глядели друг на друга прямыми, острыми, взбешенными глазами. Глеб Иванович спокойным и насмешливым голосом сказал:

— Петух! Кто она? Откупиться можно? Честность заела?

И сын устало ответил:

— Папа, я люблю ее. Она—еврейка. Шляпница...

Глеб Иванович осел, сморщился, покачал головой и, твердо подумав, с расстановкой, точно вынимая слова изнутри, протянул:

— Жидовке невесткой моей не бывать. Ты, Ухо, и не заикайся мне. Ежели дурь из головы звоном не выйдет, марш из дому к своей жидовине. Не моргну бровями, так и знай. Опамнивайся теперь!

Сын усмехнулся и развязно пошутил:

— И внучат не примешь? Ну, так вот я тебе скажу—это дело решенное. Жену мою зовут Лия.

Глеб Иванович густо и гневно плюнул.

— Я от тебя ухожу. Не хочешь иметь сына в дому, сын найдет себе квартиру, комнату, собачью будку, а Лию не оставит.

— Помни!—угрожающе вставил Глеб Иванович.—С голоду будешь подыхать... штаны свалятся... копейки не дам. У меня тоже дело решенное.

Алеша небрежно махнул рукой.

— Мне ничего не надо. Я даже могу вернуть тебе твой юбилейный подарок. На вот, возьми! У тебя деньги к деньгам, а у меня ничего.

Глеб Иванович попятился и презрительно оглядел сына.

— Кошачьих подарков я не делаю, сынок! Деньги это твои. А только деньги последние. Не упрашивай меня, не прибедняйся—не будет по-твоему. Помирать будешь—на похороны не приду. И ты на мои не ходи. Не рассчитывай! Помирать буду... на минутку на земле останусь... не распоряжусь в твою пользу. Поцарапай, поцарапай, говорю, в котелке!

Сын отвернулся, швырнул, не глядя, деньги в угол.

Глеб Иванович встал в дверях, поймал беглый грустный взгляд Алеши, гнавший отца из комнаты, и на прощанье спросил:

— Алексей! У тебя глаза заблудились. Не послать ли за доктором?

Алеша сморщил лоб и нехотя бросил:

— Ты, пожалуй, еще счет мне за доктора подашь!

Глеб Иванович еще раз покачал головой:

— Так, так... Запомни на всю жизнь: нас отец за поленницу дров учил у дьячка, а мы при отце не курили до сорока годов, говорить не умели при отце... А ты... а ты!

— Прощай, папа,—просто и сердечно зазвенел голос Алеши,—все выяснено... Говорить нам не о чем. Готовься, поди, к юбилею.

— Дур-р-рак!

И Глеб Иванович шваркнул дверями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наума Соломоновича Калгут взяли так внезапно, что он не успел вынуть из зубов „ватки“, не успел досверлить многие дупла, а под временными пломбами уныло и беспомощно заныли зубы... У старушек Наум Соломонович выдергал все корешки, но не успел изготовить для гладких проработанных ртов золотых челюстей. Столь же внезапно, как исчез Наум Соломонович, появились флюсы. Флюсы начали лечить домашними припарками и старым испытанным средством: нечаянно били по флюсовой шишке. Больной подскакивал, взвывал, изо рта брызгало мутное содержимое, ярость взыгрывала в глазах и жар в голове, но флюс вдруг нежно и сладко укладывался на отдых, легонько подтягивался в щеке ямкой—и донывал. Временные пломбы выковыривали маленькими ножинками,

а в дупла спускали растопленный воск, душили зубы табачным дымом и мазали разными веществами благородной и неблагородной пахучести.

Зубной техник Винтиков принес к Науму Соломоновичу пригоршню золотых коронок, пригнанных и примеренных с такой точностью, что раз вдавленные на свои места, они жили за гробом. Сгнивала человеческая кожа, и облупливался белой костью череп, а золотые потускневшие коронки сидели в оскаленном рту.

У зубного техника Винтикова никто не принял золотых коронок, только два городовых, сидевших в засаде на квартире Наума Соломоновича Калгут, осмотрели золотые коронки, долго перекатывали на жестких и темных ладонях, захохотали и положили на стол.

— Штука! Ой, и штука! Заня-ятная!

И сказал тогда один городовой:

— Одначе, ты посиди малость: смена придет, мы тя в участок отведем для допроса. Может, видимость одна—штука-то для зубов, а всамделишное-то какое оружие японское...

В приемной Наума Соломоновича около Винтикова городовые садили все новых и новых посетителей. Ныли зубы у больных, они ёрзали на стульях и жалобно раскачивались, лазили в рот пальцами, зубочистками, спичками... Городовые хитро улыбались, перешептывались и показывали друг другу глазами то на одного, то на другого больного.

— Вон, больно морда подозрительна! У окошечка-то!

— И! Да! Гляди, как бы половины, а то и боле, не очутилось в сицилистах!

За день на кухню приходили к Науму Соломоновичу разные люди: стекольщик вставлять разбитое стекло, молочница, угольщик с мешком углей, мужик с дровами, еще три молочницы, точильщик и двое нищих. Хныкали молочницы. Молоко к вечеру скисалось. Городовые по-дешевке покупали, наклоняя тарки, полутарки в мохнатые пасти. Угольщик и мужик с дровами кланялись городовым в пояс.

— Да и как же так, господин городовой, лошади у нас на улице. Кормить пора. За двадцать верст дрова вез. Дровец каждому надобно. И угольков. Смилостивуйся! Сходи, загони лошадок на двор. Набалуют ребята на улице, а то цыган угонит!

— А и мое точило денег стоит!—вставил точильщик.

Городовые долго совещались. Потом выстроили впереди угольщика, за ним мужика с дровами и точильщика, вынули шашки и повели на улицу. Отпрукали лошадей на двор.

Точильщик поставил точило в сенцы.

Угольщик и мужик с дровами повеселели. Они вытащили из-за пазух завернутый в платочках хлеб и спокойно уписывали, густо посыпая солью.

— К-а-к у вас нынче хлеба?—гавкал угольщик.

— Рожь ничего,—подгавкивал мужик с дровами.— Не умолотна.

— У нас солома тоже с колокольню, а пользы от вышины нет.

На вечеру пришел большой наряд городовых и выстроился полукругом напротив беленькой вывески Наума Соломоновича Калгут. За полукругом стал собираться люд.

Выводили из приемной, выводили с кухни. Повели торопливым напуганным шагом. Впереди шли дамы в шляпах с высокими страусовыми хвостами, за ними молочницы с мешками на спинах и звеневшими в руках тарками, точильщик с колесом через плечо, стекольщик с ящиком, угольщик-негр, нищие с корзинами.

На возах с углем и дровами правили городовые и подпирали шествие.

Угольщик и мужик с дровами оглядывались на лошадок, запинались о камни мостовой, отставали... Городовые злобно урчали и совали им под бока.

Накануне, ночью, Наум Соломонович, удивленно поводя плечами, жарко говорил у себя в кабинете:

— И почему я должен отвечать за мою тетеньку? Ну, и пускай у меня снимут полы, пускай на кусочки разрывают шпалеры... Пускай открывают и мою внутренность и посмотрят пускай мое сердце! Я совершенно ничего не знаю... И в чем дело? Я знаю только свое зубоврачевание! И я не какой-нибудь плохой мастер, как Шнейвес, который лечит зубы старым способом! Ваше благородие, разве у вас коренной зуб плохо сидит на своей шейка?

Жандармский офицер молча улыбался и прищуривал глаза. Наум Соломонович трепыхался, как трепыхается рыба на удочке.

— И скажите мне настоящую правду зараз! Я прошу вас говорить откровенно!

Офицер строго наморщился.

— Господин Калгут! Не мешайте нам! И прекратите пустую болтовню!

— Ну, я буду молчать. И что же такое?

— Ни слова!—крикнул офицер.

Наум Соломонович обиженно замолчал. Долго-долго делали обыск, водя за собой из комнаты в комнату Наума Соломоновича. Укрывали в усах улыбки на тоненькие волосатые ножки Наума Соломоновича, выглядывавшие из-под длинной ночной рубашки.

Наум Соломонович тихо дрожал и вздыхал, прикладывая руки к сердцу.

— Надо заставить одеться эту макаку!—шепнул офицер приставу и фыркнул.

Пристав ответил глухим внутренним смехом, заколыхав брюхо:

— Наденьте штаны!

Наум Соломонович растерянно огляделся.

— Где у вас штаны?

Наум Соломонович задумался, будто припоминая, где он оставил штаны. Он вспомнил, заторопился, закричал:

— В шпальной! В шпальной!

— Федышкин, принеси!—сказал пристав.

Наум Соломонович быстро натягивал штаны, вздрагивая от холода и беспокойства.

Обыск шел в последней комнате, а Науму Соломоновичу казалось, что обыск только что начали, и еще долго-долго будут водить его за собой, а он будет дрожать под негреющим платьем. Но когда кончили, и когда он услышал приказание одеваться, Наум Соломонович закричал:

— Но почему я должен оставлять свой кабинет? Я же говору вам русским языком... И я же... и очень в ссоре с моей тетенькой!

Офицер насмешливо глядел на суету Наума Соломоновича.

— Хорошо, хорошо. Приготовляйтесь, пожалуйста, к отъезду. Нам незачем заниматься словопрениями. Кстати, как фамилия вашей тетеньки?

Наум Соломонович кашлянул и провел перед собой руками.

— Забыли?

Наум Соломонович обиженно бросил:

— Что значит забыл? И зачем я буду забывать фамилию моей тетеньки—Эсфирь Марковна Шмуклер?

Офицер возмущенно выслушал.

— Так, так! А вам неизвестна другая... настоящая фамилия вашей тетеньки?

Наум Соломонович хитро сверкнул глазками.

— Ну, и разве у нее есть другая фамилия? И как это можно?

— Ведите его!—прошипел офицер.—Вы, господин Калгут, плохой актер. Не приходилось ли вам знавать вашей тетеньки Розы Самуиловны Соловей?

Наум Соломонович дрогнул, но громко рассмеялся.

— И очень даже много. Когда вы будете в Бердичеве, и в Бобруйске, и в Лодзи, вы на каждом угле встретите такую фамилию. О, в черте́ очень-таки много Соловейчиков!

Офицер пренебрежительно проскрипел около уха Наума Соломоновича:

— Нам все известно, господин Калгут! Извольте итти вперед! Напрасно вы корчите невинность и дурачите нас. Не при-дет-ся!

В ту же ночь увезли Алешу и Лию. Она подняла сонного ребенка, закрыла его одеяльцем, дала ему в закричавший рот грудь и села на извозчика рядом с городовым. Алеша ехал впереди и вслушивался. От тряской мостовой ребенок надрывно, отчаянно заплакал. Алеша в муке оглянулся на крик. Городовой дернул за руку и угрожающе приказал:

— Держи голову прямо!

Сзади вился, как дым, тоненький, нежный, ниспадающий и сразу заходящийся плач ребенка.

Прошел от Покрова год, когда Алеша разговаривал с Глебом Ивановичем и глядели они друг на друга упорными, несдающимися, скрестившимися в бою глазами. Алеша померк с того времени голубыми разливами глаз, щек и оброс бородой. Лия носила тяжелую кладь в теплом гнезде материнства, носила ее в восемь утра в „Венский шик" и в восемь вечера уносила. Жили они на Желвунцовской улице, далече от „Венского шика". Выходили каждое утро вместе: он бежал по урокам, она шла на работу в „Венский шик".

Поздно стучался Алеша.

И Лия грустно говорила:

— А я видела Серого! Проехал на нем твой отец.

Он недовольно морщился.

— Как тебе хочется вспоминать... и напоминать мне!

Лия тревожно вглядывалась тогда в потемневшее лицо мужа

В другие, веселые дни Алеша со смехом вбегал в комнату. В руках были деньги за уроки.

— Трудовые! Трудовые, Лиечка!

И она смеялась его радостью.

Он бормотал:

— А, знаешь, занятно: мне перестали козырять городовые... и... не узнают некоторые знакомые. Ха-ха!

Она отвечала горько:

— Ты беден... и женат на жидовке.

Алеша целовал жену.

— Милая моя жидовочка! Ты испортила род Ухановых.

Алеша задумывался над столом.

— Старика и я встречал на улице. Едет... Видит... Насупится... Я заверну на какой-либо двор, чтобы проехал. Почему-то не хочется видеть его. Неловко как-то! Крикнет: „Алексей"? Промолчу. Лошади быстро понесут. Ну, мы с тобой квиты: твоя еврейская мамаша не хочет видеть меня, мой драгоценный Глеб Иванович—тебя.

Она весело и лукаво хохотала.

Он тараторил:

— Но твои родственники лучше: жалованье тебе платят. Работать, работать, Лийка! Раньше так не было. Я живу под каким-то напором. И вся жизнь кажется другой!

Он гладил большой живот Лии и осторожно стучал по нему:

— Эй, кто там? Отзовись? Уханёнок!

Лия счастливо сияла усталыми ночами глаз на прожелтевшем от беременности лице и прижимала его теплую руку к трепетавшему животу.

— Слушай! Слушай!

Он кричал:

— Лягается! Он лягается! Шмуклерша, он лягается!

Лия шептала:

— Как я люблю тебя веселого! Мигий! Мигий! Мигий!

Алеша весело и легко ладил студенческое дело. Она приносила из „Венского шика" листки. Он рассовывал их в длинном университетском коридоре, за партами, в столовке, в библиотеке. Он скакал по урокам. Забирался на Зеленый Луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы темными, глаз выкалывавшими вечерами, в темные конуры рабочих, за Коровинские мельницы, к Никите. Он шептал в полузакрытое сном ухо Лии:

— Я устал.

В марте Лия родила. Сидор Мушка пришел в „Венский шик“. Эсфирь Марковна подала Сидору Мушке руку.

— А у меня уже родилась маленькая внучка!

Сидор Мушка одобрительно покачал головой и еще раз подал руку Эсфирь Марковне.

— Проздравляю! Проздравляю! Славу богу! Пузо-то было с дом. Замучилась баба! Я всё и то поглядывал и мороковал нащет пуза: как, думаю, разродится, не то хорошо, не то и не совсем?...

Эсфирь Марковна веселилась каждой морщинкой лица.

— О, и роды были очень даже легкие! Вот на-те вам маленький подарочек, Сидор Иванович!

Сидор Мушка добрел голосом.

— Вокурат кстати: парнишке подметки надо подбизать. Так, так! Значит, с новорожденным!

Сидор Мушка в раздумчивости помялся, поглядел, помолчал и, робея, спросил:

— Так-то оно так. Все хорошо, значит, обошлось? Теперь только на ноги поднять дитю. А вот как с таким делом: будто дитё и русское, будто и жи... ой што я, и еврейское, значит, середка на половине. А крестить бы лучше. И фамилия не какая-нибудь: У-ха-но-в. Фамилия русская, конешно, и понятна каждому человеку. Может, по-вашему, и Шмуклер хорошо, а только в Расее надо бы завести все фамилии русские. Чего там разные непонятные фамилии! Мужик с возом едет, вывеску читает, а ему и не понять вывеску!

Эсфирь Марковна перебила Сидора Мушку:

— Вы думаете—Лиечка не понимает-таки и не думает о своей деточке? Ну? Она по имячку Муся. Она русская...

— Я о том и говорю,—твердо и уверенно забасил Сидор Мушка,—может, в девчонке и капли нерусской крови нету и... кто тут разберет. Дело это темное. Помещенье одно было еврейское, живот, значит, бабий еврейский... Какая из себя-то? Не черномазая?

— Ох! Она беленькая, как летняя шляпка шаломка!

Эсфирь Марковна с рыжим чемоданчиком ходила на Желвунцовскую, носила бабушкину любовь внучке. Когда был дома Алеша, бабушкин чемоданчик не раскрывался, и Эсфирь Марковна, не глядя на Алешу, говорила:

— Ну, как ты, Лиечка, поправляешься? Я была у Ромочки Пинуса по делу—и зашла по дорожке к тебе. Деточка здорова?

Потом, погодя, приходила Берта с узелком.

Алеша кричал:

— Машина! Машина! Как удивительно умеют работать евреи! Муся! Мусёнок! Ты тоже будешь так работать? А?

Лия сладко тянулась к мужу и беспокойно предупреждала:

— Ты напугаешь ее!

— Понимаешь, Лиечка, у нее совершенно сознательная мордочка!

Лия счастливо усмехалась в ответ и недоверчиво тянула, картавя:

— Ты выдумал. Она еще совсем крошка. Но она, правда, какая-то особенная...

Берта хохотала. И все трое, наклонясь к детской коляске головами, к темным пуговкам глаз Муси, заливались брызжущим, как дождь, смехом.

Берта уходила домой.

Был короток и голоден сон у Берты, у Моси, у Эсфирь Марковны в этот год. И приходили непробудные сны, тяжелыми ставнями закрывавшие молодые и старые веки.

— Дежурные!—шипел Ваня Галочкин снизу.—Нахрапываете? Отчего винтовка не у ноги?

И раскышкивал их, хватая из люка.

— Товарищи! Я понимаю, трудно, всем трудно, но нет охраны... Гусей надо заводить...

Крепились и настораживались, умывались и бледнели от страха, ловя забытье. Сон укачивал на лукавых качелях. Тело посовывалось, и руки хватались за пол. Днем торговали в магазине и стоя дремали. Заговаривались. Берта клала голову на вороха лент и засыпала. Лия толкала ее испуганными толчками, когда стучала входная дверь в магазин.

Приходили ночи за ночами, со снами бесповоротными, жадными, заплескивающими... И тогда мертвела типография, дежурные. Вскакивали и обманывали друг друга. В разморенные душные летние ночи, как запертый, закрывался рот, был страшен и труден и невозможен поединок.

Упала лампада перед иконой у генеральши Наседкиной— и не слыхала Берта, и не слыхал Мося, и не слыхала Эсфирь Марковна. Берте снилось; вели ее на костер. Она плакала и не давалась. Размахивала руками в чулане. Привязывали к столбу. Зажгли красное подножье. Дым кинулся от ног под платье,

пробился на грудь. Берта задохлась, закашлялась—и проснулась, крича.

В квартире громыхали шаги. Берта вскочила. Теплый и тяжкогустой дым разъел глаза, шарил лицо, кружился под волосами вьюнами, болел в мозгах...

В это время Эсфирь Марковна громко и отчаянно вскрикнула в гомонившей людскими голосами чадной и смрадной темноте комнат:

— Бер-точ-ка!

Берта пошатнулась... Руки сами потянулись к отверстию, шаря доски, закрывали, вкладывали под плинтус, прижимали...

Мимо чулана прокачался красный кулак факела и проскочила, нагнувшаяся к полу, медная каска пожарного. И Берта, задыхаясь, выкинув просящие руки в темноту, полувидя, полуслыша, шла за факелом. Ее подхватили какие-то руки и поволокли... И тогда, заблудившийся в дыму, закричал Бобров в люке и заколотил в пол головой, руками, голосом...

Берта тянула жадно и долго ночной воздух на улице, выдыхала черную гарь покоробленным синим ртом и не могла выговорить метавшихся в глазах слов. Красные валы пожара перекатывались в комнатах генеральши Наседкиной, хлынули вниз, пролились по стенам—и тогда Мосю оттолкнули от дверей магазина городовые. Берта вспомнила, заплакала и закричала жалобно и горько:

— Мамочка! Это я... это я погубила!

Эсфирь Марковна сурово сказала:

— Вос хòстэ гемахт, Берточка!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Глеб Иванович швырнул на пол медный колокольчик и, как шар, закатался по кабинету в вечерние часы того нежданного июля, когда сгорел дом генеральши Наседкиной. Ночью Глеб Иванович со свечой протрусил в комнату Алеши, где все стояло на тех же местах, как расставил сын, и где все каждый день обтиралось от пыли и ожидало его возвращения. Глеб Иванович сел за стол, сердито осмотрел потолок, стены, раскрытый пустой книжный шкаф, покривился на резавший огонь свечи—и вдруг положил голову на стол. Халат на спине

сморщился, осунулся, заёрзал. А под халатом будто запищал придавленный дверями щенок.

Глеб Иванович загонял рысаков. И все ездил, ездил... Дожарило, допекло августовское солнце, солнце фиолетовое, густое, обжигающее кожу, как глину, горячими устами. Прохрусталил замерзающий на камню сентябрь. И октябрь затрясся дождяными паводками над мокрыми улицами.

Тут только Глеба Ивановича допустили в тюрьму. Глеб Иванович скакал на рысаке по Кирилловскому тракту, не видел улиц, домов, он выдвинулся в санях вперед и не отрывал глаз от надвигающегося из-за города темного облака — глазастой тюрьмы.

Алешу вывели в тюремную контору. Глеб Иванович поцеловал его долгим тяжелым поцелуем — и отвернулся. Он рылся долго в кармане, отыскивая платок. Потом неловко махнул платком на глаза, засморкался, закашлялся, пискнул.

Сын спокойно и холодно глядел ему в глаза. Глядел и Глеб Иванович. Наконец он тихо что-то сказал, вздыхая и задыхаясь. В конторе ходил по ту сторону решетки надзиратель, крепко ступая на черный каменный пол. Он пытался не глядеть, но привычные глаза видели и злились и скучали.

— Ты что сказал? — спросил Алеша.

Глеб Иванович тогда заговорил.

— Насилу упросил. Добивался три месяца.

Сын резко швырнул злость.

— И не надо было просить. Зачем?

Глеб Иванович испугался. Надзиратель покряхтел, шаркнул ногой, но ничего не сказал. Растерянно, помолчав и потерев лысину, спросил Глеб Иванович:

— Ты получал посылки?

Сын зевнул.

— Да, спасибо.

— Тебе достаточно?

— Вполне, но ты мне больше не посылай. Я не съедаю. А товарищам эти крокодилы тут не позволяют передавать. Мне стыдно обжираться, когда моих товарищей кормят помоями.

— Тише, тише, — зашептал Глеб Иванович.

Надзиратель остановился за решеткой и предупреждающе выкрикнул:

— Говорить можно только открыто.

Опять настало молчание, неудобное и стеснительное. Сын устало скользнул взглядом по выщербленному, захоженному арестантскими ногами черному полу и удивленно уставился на молчавшего отца.

— Да... так... вот,—заторопился Глеб Иванович,—морозы нынче стоят большие. Зима лютеющая... В затонах вымерзает рыба.

Сын жалко и грустно улыбнулся и полузакрыл глаза. Помолчали.

— А тебе не холодно?—спросил Глеб Иванович и смешался.

Сын озлобленно и хрипло прошипел:

— Поморозня в камере. Как тараканов вымораживают. Начальник тюрьмы преумножает свои доходы: ворует дрова.

Надзиратель открыл дверь за решетку.

— Срок кончился.

Он вызвал из соседней комнаты другого надзирателя и молча указал ему на Алешу. Глеб Иванович засуетился, обнял сына, прижался к нему, держал его и бормотал:

— Я приеду... приеду. Теперь можно...

Глеб Иванович раз в неделю гнал рысака к тюрьме. До того он туго набивал бумажник кредитками, развозил кредитки в разные места—в канцелярии, на квартиры, в богадельни. Теперь, открывая золотым ключом двери в тюремную контору, он вбегал по узенькой лесенке. Надзиратели торопились. Свиданья удлинились. Соглядатаи не ходили за решеткой.

— Алексей!—грустно говорил Глеб Иванович,—ты что же? Как ты думаешь быть?

Сын охотно и равнодушно отвечал:

— Сибирь, папа, Сибирь...

— Я хлопочу... Ничего не выходит... С поличным...

Глеб Иванович возмущенно и повышая голос твердил:

— Это она, она... Алексей, Алексей, как ты мог пойти на такое дело?

Сын задумывался над чем-то непонятным и чужим Глебу Ивановичу, теребил бородку и усмехался.

На масленой Глеб Иванович приехал в тюрьму веселый и радостный. Он оскалил золотые зубы, погладил сына по спине и выкрикнул:

— Ну! Устроилось! Трудно было, а добился. И не без слез...

Алеша недоумевающе стоял перед отцом.

— Да... девчонку, девчонку, Муську перевез к себе! Живет в твоей комнате. Мать долго не соглашалась. Умолил.

Глеб Иванович сиял.

Алеша, повеселевший, засинел глазами.

— Что ты говоришь! Ты был у Лии?

— Эге! Сколько раз. Мы с ней ничего—сошлись. Отцу и матери по заслугам, а для чего ребенку чахнуть в тюрьме при живом дедушке? Девчонка наша... Наша, синеглазая... И родимое пятнышко на шейке. У бабушки на этом месте тоже было родимое пятно. Скоро пигалицу к матери и к тебе буду возить на свиданья.

Сын заволновался.

— Скажи, скажи, как Лия?

Глеб Иванович наморщился.

— Что ей делается! Она знала, что затевала. Ты... мы с ней и по-родному... не говори ты со мной о ней! Сердце у меня неохочее на нее... Девчонка—это другое! Я ее будто взаймы давал, в рост...

Алеша засмеялся.

— А знаешь, папа, я ведь только в тюрьме узнал о типографии. Лия мне никогда, ни одним словом не проговорилась.

Глеб Иванович пораженно протянул руки перед собой.

— И ты... и ты... смеешься?

— А что? Ты подумай, папа, какой характер. Самому близкому человеку не сказала!

Глеб Иванович жалостливо покачал головой.

Сын торжественно шептал отцу:

— Папа, такие люди не-по-бе-ди-мы!

И Глеб Иванович тогда крикнул:

— Ты слепой крот!

Крикнул Глеб Иванович, как кричал в своем кабинете, и тоскливо умолк, принизился на стуле, извинительно развел руками выглянувшему испуганному надзирателю и пофыркал носом.

Как потеплело и заголубело жавороночное небо весны, Глеб Иванович начал привозить Мусю. Девочка кричала и взвизгивала под сводчатыми потолками, лепетала на коленях у Алеши, дыбала, теребила за бородку, запуская в нее белый мягкий кулачок. Глеб Иванович, растопырив руки, открыв рот, стоял около сына и не сводил с девочки раскрытых восторгом влажных глаз.

— Не урони! Не урони! —шептал он в тревоге.

Лия прижимала к груди Мусю и мешала ей лепетать. Глеб Иванович терпеливо тогда стоял в сторонке, переступал с ноги на ногу, скучал, поглядывал на часы. Когда истекал срок, он жадно хватал Мусю и уносил ее, плачущую и тянувшую к Лие трепыхающие ручки и ножки.

В мае Глеб Иванович привез защитника.

— Ты это напрасно, папа,— невесело сказал сын.—Дело наше ясное.

Глеб Иванович рассердился.

— Ясное! Ясное! Покойник есть покойник, а плакальщиков на похороны нанимают! А для чего?

— Разве так! — грустно покоробился Алеша. — Форму хочешь соблюсти?

— Ничего я не хочу, горе мое! Для твоей... этой... черной тоже нанял говоруна. Ходит краснобай и пишет бумаги.

Глеб Иванович выразительно и сердито шепнул:

— В Сибири несладко, мальчишка! Тебе на третий десяток идет, а ума у тебя с наперсток! Защитник тебе кое-что расскажет. Слушайся его во всем. Слышишь?

Сын лениво и безразлично закрыл глаза. А Глеб Иванович нашептывал, срываясь в судорожный хрип:

— Скоро суд... Чего крылья опустил раньше времени? Держи нос выше, Алексей человек божий, празднование семнадцатого марта!

Защитник с беременным от бумаг портфелем кружил взад и вперед на рысаках Глеба Ивановича.

Золотел, зеленел поздний май. Тюрьму проветривали от старой сырости. Раскрыты были во всех камерах окна. Алеша дневал и ночевал у решетки, тревожно глядя в чарымские поемные низины. Над низинами вились крикливые белые табуны чаек и клали яйца. Кидались на редких прохожих чайки, слетая с гнезд, задевали крыльями, стонали от страха, вытягивая шеи, и уводили от гнезд. Он вспоминал, как в детстве бродил по низинам с другими мальчиками. Чайки плакали и умоляли, снижались до рук, заглядывали в глаза грустными глазками, били в голову с налета, с размаха, провожали до города криками, кидались слизким пометом. А они наклонялись к гнездам и зорили их, жадно, ненасытно хватая теплые яйца и складывая в корзинки небьющимися рядками. Алеша грустно и горько вздохнул. Потом разводили на Чарыме костер и в горячей золе пекли яйца. Не съедали яйца и кидались

в мету, в большой синий камень на берегу. А чайки плакали в сторонке. Алеша шевелился у решетки и стонал.

На Чарыме ползли зеленые волны, а на волнах белые льдинки чаек качались, как в колыбели. Он тряс крепкую решетку, но она не двигалась. Стены держали замурованную решетку каменными неуступающими руками. Решетка холодила ладони. И приходило унылое бессилие. В напруженной груди колотилось дыхание, как короткие взмахи крыльев чайки. Он плакал, плакали чайки, плакали старые тюремные стены старой сыростью.

Звонили к обедням июльские теплые колокола, звонили густо, полно, радостно. Трезвонила с перебором колокольная мелкота, плясала, подпрыгивала, увивалась вокруг больших колоколов. Пели в вышине бессловесные медные и серебряные хоры детскими голосами, октавили большаки и покрывали тяжким звенящим гулом тонкую паутину исполатчиков.

Вели в суд. Алеша шел рядом с Лией и держал ее за пополневшую в тюрьме руку. Они слушали колокола обеден, вдыхали звон, звенящий воздух. И быстро, тихо, полными горстями коротких слов, в те немногие минуты короткой дороги, они сказали о долгих месяцах одинокой скуки тюремных камер.

В старое, о двух этажах, здание суда ввели их сквозь тын охраны, сквозь набившийся у входа люд, а сзади вдогонку дозванивали утихавшие колокола. И—вдруг остался в ушах звенящий плаун звуков, колеблемый, упавший в глухой и бездонный колодец. Двери за ними затворились.

За отгородкой от зала, на первой скамье сгрудились—Ваня Галочкин, Бобров, Ахумьянц и Мося. Тесно прильнули к спинам—Наум Соломонович, Эсфирь Марковна, Берта и Лия. Арон Зелюк сидел отдельно на стуле. И рядом с ним посадили Алешу.

Глеб Иванович трясся в первых рядах за барьером и плаксиво глядел в спину сына, будто он видел через нее лицо его, затаившееся в печали.

Целый день били стенные часы в зале. И все слышали придушенный часовой бой. Лия скользнула крадущимися глазами по глазам Глеба Ивановича и усмехнулась. И больше не оборачивалась. Алеша видел ее упорные ободряющие взгляды, двигался на стуле, будто хотел встать и не глядя ни на кого пойти из зала,—и застывал.

Наум Соломонович часто вставал, подолгу говорил. И тогда смеялись судьи, смеялись на скамьях, и председатель поднимал колокольчик.

Эсфирь Марковна дремала, привалясь к Берте.

Председатель кричал:

— Ваша фамилия Роза Самуиловна Соловей? Вы привлекались два раза за участие в социал-демократической партии? Вы содержали квартиру для собраний в Варшаве? Вы бежали из тюрьмы?

Эсфирь Марковна молчала. Молчали Берта и Лия.

— Отвечайте!—ненавидел и бесился председатель.

Женщины смотрели насмешливо в упор на багровую голову председателя—и не произносили ни слова. Долгими денными часами молчали глухонемые женщины. Они были безучастны к людям, сидевшим за судейским столом, к темневшим направо присяжным, к защитникам, казалось, к самим себе.

Арон Зелюк грыз ногти и качал маленькой, подскакивавшей ножкой.

Допрашивали Алешу.

Глеб Иванович привставал на скамье, садился, вытягивался вперед, шевелил губами и трясся неперестающей, настойчивой дрожью.

Опять звонили колокола вечерними голосами, голосами усталыми, натруженными, и звон заскакивал в растворенные окна.

Зажгли огни. Говорили тихо, пересохшими голосами, шелестели хрупкой бумагой, молчали. Тогда Ваня Галочкин вскочил и загремел на всю залу:

— Кончай балаган самоходом! Упокойники!

Люд айкнул. Глеб Иванович обомлел. Обомлел суд. Бобров вцепился в руку Вани Галочкина и тянул его на скамью. А тот кричал:

— Палачи-и!

Ахумьянц откинулся на скамейке, выдвинул вперед ноги, постучал каблуками о пол и спокойно выговорил:

— Совершенно верно!

Председатель зазвонил дрожащей рукой в колокольчик. Часовые залязгали оружием, насильно посадили Ваню Галочкина и угрожающе сплотились у скамьи. Заседание прервалось. И суд удалился.

Ваня Галочкин вытирал потный лоб. Ахумьянц повертывал на свет ладонь и разглядывал ее на весу. Женщины усмехались

и переглядывались с Алешей. Наум Соломонович осуждающе покачивал головой. Зелюк повернулся в зал и разглядывал публику выкатившимися, покрасневшими упорными глазами. Мося и Бобров шептались.

Снова открылось заседание. И опять били часы ровные хриплые числа. Тогда защитник Алеши сощурил ему глаза и показал на часы. Алеша выждал, встал и громко сказал, перебивая допрос:

— Господин председатель! Мне необходимо выйти.

Председатель сделал знак рукой. К Алеше подошли двое конвойных и повели.

Лениво переваливалось время. Скучали люди, столы, потемневшие окна, замирали обрываемые на середине слова, скучали царские портреты на стенах, и присяжные испуганно поталкивались на стульях от дремоты.

В тишину зала внезапно кинулись из коридора крики, суетливая стукотня сапог, лязг оружия... В двери ворвался конвойный, крича:

— Побе-е-г! Побе-е-г!

Лия вскрикнула.

Суд вскочил. Вскочила публика за барьером. Упал стул, забили часы. Зало закричало, заговорило... И в трое дверей из зала, толкаясь и спеша, выдавились живые перекаты человеческих волн и с шелестом рассыпались по коридорам.

Ваня Галочкин захлопал в ладоши. Женщины зашевелились и зашептались, Зелюк вытянулся тревожно на стуле и привстал. Бобров раскрыл удивленные, напуганные глаза. Наум Соломонович Калгут обнял сзади застывшего Мосю.

Ахумьянц звонко захохотал, застучал ногами и радостно выкрикивал:

— Пагады, не уходы! Пагады, не уходы!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Зима покачнулась. В февральские ночи волка сидячего на дороге заносит. А вечера—янтарные, опаловые. Снег нежным шелком шелестит под ногой. И брызжут в лицо серебряным дымом шипучие метели. Глеб Иванович любил вечерком прокатиться по улицам мимо глохнущих в снежном крутне фонарей, по безлюдью, по глуши пустырей и кривых переулков.

Был один такой февральский вечер. Глеб Иванович накатался, замерз... И серый мчался по бесноватой, метельной улице домой. Глеб Иванович выпрыгнул из саней и застучал кожаными калошами к подъезду. Дернул звонок одряблевшей рукой. Кучер медленно отъехал на середину улицы и стал заворачивать во двор. Глеб Иванович постукивал кожаными калошами бегом на месте и ёжился в шубе.

Тут от темной стены из-под балкона близко и молча подошла к нему маленькая женщина.

Глеб Иванович испуганно всмотрелся в нее, ахнул, схватил за руку и радостно зашептал:

— Ты... ты... как ты здесь?

Глеб Иванович не дал ей ответить. Не выпуская руки, потащил ее в раскрывшиеся на звонок двери, по лестнице, по коридору и, не раздеваясь, вбежал с ней в кабинет. Глеб Иванович суетливо зажег свет, сбросил шубу на диван и неумело начал стаскивать с нее пальто.

— Раздевайся здесь, здесь... Ты озябла? Сейчас! Ну, садись, садись сюда... за столик!

Глеб Иванович шумно опустил шторы, запер дверь на ключ. Он забыл снять посеребренную метелью бобровую шапку. Кожаные калоши гулко стучали по паркету и оставляли на полу мокрые пятна.

Лия села. Глеб Иванович придвинулся к ней со стулом и потирал застывшие руки. И жадный горячий голос трепетал:

— Говори, говори!

А Лия испуганно и дрожа и волнуясь спросила:

— Где моя девочка? Покажите мне Мусю!

— Будет, будет... Она здесь. Обогрейся сначала. Холодной нельзя... Простудишь! Алексей? Что Алексей?

Лия глубоко вздохнула и весело усмехнулась старику:

— Алеша за границей!

— О!—счастливо закричал Глеб Иванович.—Я не знал. Я передумал... за это время, не приведи бог!

— Я пробираюсь к нему. Я бежала из Сибири. Второй месяц в дороге.

— Да, да, да... Как ты узнала об Алексее? Правду ли ты говоришь?—Глеб Иванович тревожно заглянул в глаза Лие.

— На границе взяли товарища. Он переходил из Германии с литературой. И привезли его в Сибирь. От него узнала.

Но где же, где же Мусенька? Я... я три тысячи верст... сделала круг посмотреть на мою малютку.

Глеб Иванович захлебнулся суетой, быстро прикоснулся к ее рукам.

— Теперь можно: потеплели руки. Я сейчас принесу Мусю. Ты сиди. Не вставай. Не испугай девочку. Она забыла.

Глеб Иванович выбежал из кабинета. Лия крепко прижала маленькие руки к худой и свистевшей от частого дыхания груди, выдвинулась к двери, прислушиваясь к молчаливой, как бы переваливавшейся с боку на бок спокойной тишине дома. Глеб Иванович уже шел, громко говоря за дверями:

— Я тебе покажу тетеньку! Она—добрая!

Тоненький детский голосок спрашивал:

— А тья тетя?

— Наша... наша...

Глеб Иванович открыл двери и осторожно прошел в них бочком, оберегая ребенка.

— Вот мы какие! Вот мы какие! Мы еще не спим! Нам рано спать!.. Мы не любим рано ложиться!

Глеб Иванович поставил крошечную девочку посреди пола. Муся исподлобья оглядывала тетю и морщилась. Лия задохнулась, протянула к ней руки, сползла со стула на пол, обняла мягким кольцом остерегающих рук и прижалась к ней с тихим воркующим плачем и смехом. Девочка отталкивала тетю.

— Ти калодная! Ти калодная! Дедуска, тетка калодная!

Глеб Иванович подсел к ним на стуле, гладя Мусю по голове.

— Ничего, крошка, ничего. Тетя пришла издалека... с улицы. Обними тетю крепко-крепко. Во-от та-а-к!

Девочка освоилась. Скоро она бегала по кабинету, топоча ножками от стены до стены, лазила по стульям, стащила с дивана дедушкину шубу на пол и уселась на мех, выдергивая пальчиками черствые волосинки енота. Она клала на колени к тете голову, а потом взбиралась на колени, вертелась— и слезала.

Глеб Иванович стоял у стола, задумчиво и робко глядя на девочку. А она хватала его за ноги, просовывала голову между ног и кружила вокруг ноги, хохоча и веселясь.

Потом Муся писала за столом, ломая карандаши, на большой дедушкиной книге с картинками и выдирала листы, străn косясь на дедушку глаза.

Лия только тут заметила, что кабинет Глеба Ивановича был не кабинетом, а большой детской. Куклы, лошадки, погремушки, постельки, мишки, бибабошки лежали повсюду на столе, на стульях, на креслах, выглядывали из-за шкафов и торчали по углам.

И она трудно сдержала заныввшее сердце, незаметно вытерев глаза платком.

— Ты хочешь кушать?—заботился Глеб Иванович.—Нам подадут сюда! Ты ляжешь на диване. Я сам тебе приготовлю.

Лия вздрогнула и беспокойно сказала:

— Нет! Нет! Я не останусь. Я должна скоро уйти. Еще немножко побуду...

Она наклонилась к уху Глеба Ивановича и шепнула:

— Мне показалось: за мной следят. Я не хочу попадаться им... и вас подведу. Прислуга догадается...

Глеб Иванович посмотрел на нее долгим горестным взглядом и шепнул:

— Но где ты ночуешь? Не на улице же? Ты замерзнешь на снегу!

Лия усмехнулась:

— Как-нибудь! На улице безопаснее!

Глеб Иванович почувствовал, будто по старой его спине хватило пронзительным снежным ветром, и снег посыпался за воротник. Он съёжился и грустно, отчаянно сморщил щеки.

Муся устала. Она отталкивала тетю, дедушку, кидала на пол игрушки и раздраженно топала ножками, не давая поднимать игрушек. Тогда твердо сказал Глеб Иванович:

— Она хочет спать. Надо прощаться. Ничего не поделаешь!

Девочка закричала в слезах:

— Не кочу, не кочу пать!

Лия обняла последним долгим дрожащим объятием Мусю, подняла ее на руки и передала Глебу Ивановичу:

— Не-е-с-сите! Не-е-с-сите!

Глеб Иванович вприпрыжку вынес Мусю за двери. Когда он вернулся, Лия лежала на диване, уткнувшись в уголок. Она зажимала рот и давилась слезами.

Глеб Иванович сел к ней на диван и стал, чуть касаясь, гладить по спине.

— Ну, ладно! Ну, ладно! Так уж, значит, надо! Сделалось и сделалось... Не стоит изводиться... Ты не бойся. Девочку-то

уберегу... Ей со стариком не скучно. Ежели доберешься, Алексею так и скажи. Манифест какой будет—вас и помилуют. Муся вырастет большая... И заживем... заживем... Не плачь! Не плачь! Силы береги: дорога дальняя, трудная...

Лия долго рыдала, и Глеб Иванович, не отходя от нее, успокаивал находчивыми, любовными словами.

— Тебе водички не подать? Водой и не такие болезни лечат. А? Выпей рюмку-другую портвейна—повеселеешь, и полегчает! Портвейн—как лекарство. Ты на меня не сетуй за старое... Я кондовой... Рад был тебя со свету сжить. Теперь ты своя. В девчонке пол-души твоей с нашей соединилось. Алексею расскажи обо всем. Может, и я за границу заеду поглядеть на немчуру... Денег вам вышлю, сколько надо. Живите себе. Алексей пусть только лазейку найдет для денег: как и кому высылать деньги. А то поживи тут. Отдохни. Укроем тебя—отовсюду далече, отовсюду близко. Места такие найдутся. Оставайся малость! Не так будет тяжко девчонку оторвать от сердца. Наглядишься на нее.

Но она встала твердая и крепкая, как обожженный пенёк.

— Вы меня проводите сами. Мне пора.

Глеб Иванович засуетился.

— Прислуга не догадалась бы,—испуганно говорила Лия, одеваясь,— начнет завтра говорить и наведет на мой след. Я не успею уехать. Я так... так неосторожно поступила!

В голосе ее было раскаяние и беспокойство.

— Лучше бы... мне не видать!..

Голос Лии вдруг надломился.

Глеб Иванович говорил:

— Пустое! Пустое! Нéчего на попятный двор... Повидала—значит, надо было повидать. Медведица за дитём в деревню к мужику приходит... на рогатину... не только человек...

Она робко улыбнулась и трудно выговорила:

— Прощайте, де-душ-ка!

— Прощай! Прощай!

Глеб Иванович обнял Лию, поцеловал и часто потыкал в лоб тремя пальцами.

— Мы... напишем вам... Глеб Иванович!

— Писать надо! писать надо!—серьезно сказал старик.—Хоть на Петербург пишите... прямо на почту... Я сяду на поезд и покачу за письмом, за тридевять земель... Стой, стой, обожди!

Глеб Иванович подбежал к столу, выдвинул ящик, вытащил оттуда пачку денег и сунул ей в руки.

— Деньги в дороге—паспорт... и посох... Опирайся на него с устатку смело! Тут до Америки хватит...

Они вышли в залу. В дальней комнате где-то глухо плакала Муся. Лия останавливалась и стонала.

— Вот теперь так иди,—иди по-настоящему!—подтолкнул Глеб Иванович ее.—Зажми уши и иди. Ребенку не кричать—какой он будет после этого ребенок?

Глеб Иванович отворил дверь в метельный шипучий вечер, подтолкнул Лию в спину, засмеялся в хватившем по лицу снежном ветре.

— Без толчка пути не будет! Стриги ножками!

Она юркнула в снежную пыль, мгновенно почернела, а потом закрыло ее снежным фонтаном, будто подняло в метель—и понесло.

Глеб Иванович долго стоял в дверях и вглядывался в метель.

— У! У! У!—кричал ветер, и шарил у него на груди холодевший бой сердца.

Глеб Иванович вернулся в кабинет, подобрал с полу игрушки, поперелистывал большую, изодранную Мусей книгу, походил, вынес в переднюю шубу, снял шапку, калоши и прошел в столовую.

В столовой был накрыт ужин. Глеб Иванович сел на обычное свое место, потянулся, как обычно, к тарелке—и остановился. Глаза сами собой поднялись к люстре над столом и зачем-то остро начали разглядывать знакомые хрустальные висюльки. Мысли закрошились вдруг осенним дождем в сухом и холодном электрическом свете. Муся лениво доплакивала засыпающие слезы. Глеб Иванович, не мигая, глядел на огонь и слушал заостренным ухом чуть слышный клекот девочки.

Приходило прошлое без начал и концов.

В электрическом свете журчал внимательный голос губернатора в те миновавшие дни, когда погоня скакала за Алешей и конная, и телеграфная, и пешая.

— Для нас нет ни малейшего сомнения, что вы принимали участие в побеге вашего сына. По-человечески я вас понимаю, но наши служебные отношения должны стоять над нашими чувствами. Я вынужден буду отстранить вас от должности городского головы. Вы скомпрометировали себя ужасно, непоправимо!..

Глеб Иванович повторил ту, прежнюю, улыбку в кабинете губернатора и ответил:

— Как вам угодно, ваше превосходительство!

Губернатор встал и протянул руку:

— Да, да. Очень жаль. Я весьма, весьма сожалею. Не исключена возможность и особого рода неприятностей для вас. Не обессудьте!

Глеб Иванович весело засмеялся и забарабанил по столу барабанный бой.

Из-за тяжелых штор, делая маленькое ухо сбоку, глядел Глеб Иванович всю зиму из кабинета на ходившего против его дома сыщика—и посмеивался. Раз отогнул Глеб Иванович штору: сыщика не было. Глеб Иванович испугался за Алешу, ноги вросли в паркет... Глеб Иванович испугался за сына, испугался за Лию, прочерневшую сегодня в метели.

Глеб Иванович заходил по столовой. Страда налилась в груди и выкатилась веселым шепелявым свистом.

В спальне у Глеба Ивановича всегда горела перед Одигитрией лампадка. Он поздно улегся в кровать и лежал с открытыми глазами на Одигитрию. И опять копошились в глазах, как вырезанные в памяти, дни. Было худо. Защитник Алеши—Гарюшин—хмуро ныл:

— Меня высылают... Вы поймите, Глеб Иванович, это ужасно! Высылают в какую-то Кемь.

Глеб Иванович доставал из стола розовую пачку кредиток и, ласково отворачивая полу Гарюшинского пиджачка, совал ему деньги во внутренний карман.

— Сверх всего прочего!

Гарюшин зажимал руку Глеба Ивановича и шутил:

— Боку меркй! Беоакуп меркй! Казенные подорожные! Алексею Глебовичу кланяйтесь!

Было жалко Гарюшина и весело за Алешу. Одигитрия глядела на Глеба Ивановича с красного поля ковчега, мимо лампад, круглыми нежными глазами—и не осуждала. Сон намётывался темными строчками, кружил у головы и зажимал набухшие почки век.

Утром Муся стояла у дедушкиной кровати, прижималась щекой к дряблой, сморщенной руке Глеба Ивановича и спрашивала:

— А де тетя?

— Вот хватилась. Тетя была, да вся вышла! Ту-ту! Ту-ту!—смешно покричал дедушка.

— Уекала?

— На пароходике, Мусенька, на пароходике уехала.

— А ти тавай. Самовал пикит.

Глеб Иванович трогал Мусю по щечке и проводил ладонью по своему лицу, зажмуривая повлажневшие глаза. И как трогал Глеб Иванович Мусю по щечке, она задерживала руки дедушки и говорила:

— Дедуска, пототи, какие у миня абочки?

И Муся гладила свои красные щечки.

— Девочка моя!—восклицал Глеб Иванович.

Муся побежала к большой белой двери в кабинет. Кряхтя и надувая щечки, отворила щелку и пролезла к своим игрушкам.

Глеб Иванович начал вставать.

— Запрягайся, старик! — прошептали губы.—Лень прежде тебя родилась.

Глеб Иванович подошел к окну, отдернул шторы, поглядел на белые перины снега, обложившие за метельную ночь теплый его дом, и довольно, мирно, ласково зевнул.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как вспыхнувшие огни люстр в темноте, возникали воспоминания и на берегу Женевского голубого озера. Алеша бродил по причесанным гребнем рук тропкам, и голубое Женевское озеро не плескалось, не умело шуметь, как шумело и плескалось низкобережное озеро Чарымское, как набегало оно в зыбуны зеленых низин кипучей сворой волн, и как объезжал мокрое место белой горой Никола Мокрый, не мог объехать.

Он копил непроходящую, цепкую, будто сосновая смолка, грусть. А месяцы шли гуськом, как березовые большаки, от села к селу. Он считал их и сбивался со счета.

Он вышел меж конвойных из зала. В широком коридоре один конвойный пошел впереди, другой пропустил его и остерегал позади. Алеша не слышал своих шагов.

Сердце билось колотушкой, толкалось в бока и мешало шаги. Из широкого коридора повернули за выступ. Тут была двойня дверей. Конвойный дернул одну дверь. Она была заперта. Он приоткрыл другую и показал. Алеша шагнул и задохнулся.

Тусклая, в мушиной пестряди, лампочка глядела с потолка, как конвойный, — и беспокоила. Он вдруг похолодел. Ясно, будто в морозную ночь, вызвездило в голове, грудь встала спокойной заводью, и уверенно, и четко, и беззвучно руки уложили крючок на двери. Он как по ладам гармоньи, провел пальцами по перегородке, нащупал, легко вывернул, приподняв в углу, широкую доску переборки и пролез в соседнюю уборную. Там на гвоздике висело пальто и фуражка... Алеша взмахнул руками и оделся. Густой и трудный шар перекатился в горле, застрял... Под надвинутой фуражкой, под козырьком, как два затаившихся зверька, выстроились глаза... Он оттянул шумно крючок и выдвинулся боком в коридор, пряча лицо шагнул, пошел по узкой меже коридора у стены в темнеющий конец и свернул к черной лестнице, к сторожке. Алеша увидал у сторожки человека. Человек толкнул его в комнату, щелкнул замком, выдернул ключ и быстро отошел в коридор. Солдаыт молча стояли у клозета. Они видели, как из запертой уборной вышел околоточный в серой шинели и ушел на черный ход. У входов и выходов стояла полиция. Солдаты приняли Алешу за дежурного околоточного.

Окно сторожки открывалось в ширококостные серебристые тополя сада, низко свесившие серебряную чешую листьев на забор, на заднее крыльцо. Он выглянул в окно и прислушался. Недалеко в вечерней темноте раздавались голоса городовых, сторожививших черный ход. Городовые о чем-то спорили: говорили сразу несколько человек.

Алеша широко заглотил тонкий и острый холодок темноты и выпрыгнул. Боль ударила в ноги, крутнулась в спине, опалила глаза. Он упал и пригнул голову к земле. Голоса продолжались. Он отполз к забору, перемогая ушиб, поднялся, схватился за шершавые доски и кинулся вдоль забора. В глухом углу он вылез на брюхе в подрытое ранее место. В темноте заржала лошадь. Закашлял человек.

— Семен, ты? — шепнул Алеша тишайшим шопотом.

— Хватайся! — тревожно сказал невидный в темноте человек.

Он нащупал гриву лошади. Человек подсадил его в седло.

— Держись!

Семен ударил лошадь ладонью по заду, и лошадь пошла вскачь, дрожа и разгораясь под седоком. Алеша вдруг окреп, отхлынула боль от спины, глаза прояснели, только деревянные ноги тупо уперлись в стремена и были чужими.

Он проскакал Верею. Знакомым проселком, посреди голого жнивья, лежавшего под ногами колючими боронами, навстречу клокотавшему в горле и задувавшему глаза ветру вомчался в лес и задержал лошадь. Лошадь шла в темноте, как днем, обходя канавы, рытвины, пеньки. Он присмотрелся. Черные бока узкой лесной просеки свисали к глазам. Уверенно кружа по тропкам, исхоженным давно с охотничьим ружьем, он нагибался под хватающими лапами деревьев, трепал усталую лошадь по шее и забирался в глубь Брюхачевской поскотины, на Ельники.

К полночи он остановился у лесной сторожки и постучал, не сходя с лошади, в горевшее красным углем окно. Собаки хватали за ноги.

— А я давно поджидаю! — сказал с крыльца лесник. — Здеся! Кышь вы! Мальчик! Шарик!

В сторожке топилась печь и дышала густым жаром в черную пасть устья. Старуха сидела против печи на лавке и чинила рубаху. Красные коровьи языки огня лизали лицо старухи, стянутое паутинной сеточкой морщинок.

— Бабка, ты залазь-ка на печку на время! — приказал лесник.—Мы тут переодевку сделаем.

Алеша начал раздеваться. Бабка полезла на печь. Лесник принял из рук Алеши шинель и понес к печке.

— Э-э! Жалко! Вещь-то какая!—сокрушенно и скупо сказал лесник.—Материал—первый сорт!

Он погладил серые полы шинели, похлопал рукой, пощупал доброту и швырнул шинель в огонь.

— Гори, загорай, чортова кукла! Псу под хвост!

Печь захлебнулась, померкла, задымила. Огонь долго справлялся с толстым сукном, разорвал красную дырку, выскочил в нее и охватил всю шинель шипящим и дрожащим суриком.

Алеша разделся догола, складывая на пол белье. Он стоял у печки, гладил себя по груди и смеялся. Лесник вышел в сени и принес ворох новой одежды.

— Носи, Алексей Глебыч! Папенька за новой не постоит! Обмозговано тут у папеньки все, как у колдуна! Обогрей малость одёжу!

Алеша переоделся и прошелся по избе.

— Бабка!—крикнул лесник.—Все места прикрыты. Будет бока-то жечь. Спрыгивай! Принимайсь за кормёжку гостя!

Бабка молча накрыла в переднем углу стол. Двери из избы поскрипывали и хлопались: бабка таскала из сеней горшки, плошки, крынки. Лесник раздувал самовар у отдушины.

— Куда, куда столько?—испугался Алеша.

И вместе с загудевшей самоварной трубой загудел лесник:

— Отъедайся, Алексей Глебыч! Было бы впрок! Папенька об еде пуще всего позаботился. На полгода добра привезено.

Лесник поставил на стол самовар-брызгун. Клокотавшая вода возилась под крышкой и приподнимала ее, отдирала от боков и пузырилась протёками на черный поднос.

Лесник побелел оскаленными зубами, усаживая Алешу.

— Ну, вы тут домовничайте с бабкой! Бабка, ты жги одёжу, покуда вся не сгорит. Ты и сам понаблюдай, Алексей Глебыч, как бы што к рукам бабьим не пристало... Надо начистую, на дым одёжу переработать. Кочергой шевели, переворачивай! Подкинь жару. Материя, она огонь гасит, фукает. А я погоню лошадь, куда следоват. Не бывала-де в наших краях... И все тут. Ох! и смекалист у тебя папенька, Алексей Глебыч! Будто не одна у него, а две головы. И денег ему не жалко на стòящее дело. Кормись, кормись, Алексей Глебыч, не у матки был, у мачехи...

Алексей задумался над дымившим стаканом чая. Старуха сидела за самоваром, следила, когда нужно было налить, и жадно разглядывала его.

— Бабка! Кого нелегкая принесет,—не бывало случая в такую даль да глушь ночью живой человек захаживал,—не пускай! Бабка—мать мне. Она свое дело знает... Старуха—железная просвира. Видишь, молчит, а говорить умеет лучше коробейника. Поживешь—увидишь, какое это старое дупло крепкое.

Старуха поиграла кошелечками морщинистых щек и скрипуче, как коростель, проскрипела:

— Титушка! Наговоримся завтрева! Сперва управляйся с заказом-то! Время нужнее разговоров.

— Гони, гони, бабка! Запирайся!

Лесник вышел. Старуха заложила запор и вернулась к Алеше. У окна лесник завозился с лошадью, отвязывал, тпрукая, взобрался на нее, свистнул... Лайкнули собаки. Алеша услышал замолотивший вдруг о гулкую ночную землю бой копыт.

— Поскакал!—свернула трубкой ухо старуха и слушала глазами.—К утру вернется. Такой уговор был: лошадь угнать

верст за пятнадцать в сторону и кинуть там, батюшка. Папенька лошадь-то на эту самую надобность и купили... Семен, кучер-то, сродственник наш. Лошадка тутотка неделю стояла. Вчерась Семен угнал в город под тебя... Лошадь добрая... Тит пешечком придет. Ноги-то привышные... Такие дела, батюшка!

Самовар заглох. Только в нижнюю решетку провалился уголек и дотлевал красной ягодой. Алеша прилег на лавку, глядя на кашлявшую дымом печь, похожую на сивую старуху, шевелившую в ней кочергой. Грудка одежды убывала на глазах. В избе было душно, накалено, как в овине, заряженном перед молотьбой. Собаки часто лаяли и скреблись о крыльцо. Он поднимался на локте и ждал-ждал-ждал погони.

Старуха заметила.

— Ты што, батюшка, шею, как журавль, вытягиваешь? Никого нет. И быть не должно. Это на птицу они, на зверей каких. Упадет сук, они и на сук лают. У нас тутотка спокойно. В год один раз человек зайдет. Спи, батюшка, не сумлевайся ни о чем!

Алеша улыбнулся. Дремал. Сквозь не хотевшие закрываться ресницы видел старуху. Будто ночной кочегар у пароходной топки, поддерживала она и кормила огонь.

Сквозь дремоту он слышал старушечьи скрипучие коромысла:

— Погляди, чем не колдунья, чем не чертовка? Ночью печь топлю и одёжу палю! Али будто у разбойников!

Он молчал и ласково усмехался.

В помутневшие, отпотевшие рамы прокапало немного света, когда Алеша опять вздрогнул глазами. У печи стояли лесник со старухой и глядели на него. На полу дозванивала и подпрыгивала заслонка.

— Что у тебя, руки отсохли?—сердился лесник.—Ишь, разбудила! Ишь, встрелся!

Печь протопилась. Лесник разгребал ножом на шестке груду серой горячей золы и ворчал на старуху:

— Догадки у самой нет? Отпороть надо было сперва. Ищи теперь. Может, не все и сыщешь! От одной беда будет!

— Што ты на меня-то? Не сам ли, ругатель, не спросясь, в огонь бросил? В печь залезать мне отпарывать?

Алеша не понимал, устало глядя на лесника. Тот повернулся и подошел к нему, отстраняя от себя серые, в золе руки. Лесник тревожно спросил:

— Не приметил, Алексей Глебыч, сколько пуговиц было на шинельке? Старая не отпорола. Пуговица, она—пустяки, а по пуговице найдут все концы. Откудова, скажем, военная пуговица в сторожке взялась? Теперь из-за нее всю золу надобно сквозь решето пропускать. Пуговицы, хошь не хошь, сыскать следоват. Зарою я когда пуговицы под дерево—тогда шито-крыто. У, бабка!

На полу у печки старуха насыпала пеплу и топталась на нем, ощупывая пуговицы.

— Загадила ни с того, ни с сего избу. Самой лишняя работа!—зудил лесник старуху.—Ищи, разыскивай теперь! Не отстану, покуда не перешарим до последней щепотки.

Старуха разозлилась:

— Не тебе придется мыть избу: не плачь по чужой спине. Отойди лучше. Без тебя пуговицы сами под пальцы попадутся.

Старуха схватила с полу заслонку и рывком заставила устье.

Лесник сел на лавку в ногах у Алеши.

— Укладывайся, укладывайся сызнова! Рано вставать. Эй, бабка, в заслонку играть не станешь боле?

— Ты голосом своим хуже заслонки будишь человека.

Лесник свернул цыгарку.

— Лошадка на месте,—говорил он сам с собой,—день пробегает, ничего... К деревенскому табуну пристанет. В волость поведут хозяина разыскивать. Подарок подкинули знатный. Ложись, ложись, ранняя птица! Я тоже порастянусь с устатку. Шел я не хуже другой молодой лошади, только что копыт нетути.

Алеша отвернулся к стене с отлежалого бока и подложил под ухо руку. Сердце било неунимавшимися крыльями. Ресницы будто перышки суживались и не могли плотно прилечь.

— Бабка, и ты ложись! Ты тоже устала, сердешная! Ночь и день на ногах!..

— Хоть пожалел-то, сынок, и то ладно.

— Плевай! Завтра доищем пуговицы! Труды бог любит. Што мы, окаянные—не спать!

Алеша впросоньи слышал, как скрипели под лесником полати, а старуха шаркала на печке одеждой и охала, укладываясь на палящий хребет. У глаз его была щелявая, как луковичная шелуха, стена, она наваливалась на него, спирала

дыхание, словно отталкивала его и вместе с ним задыхалась. Храпели полати и печь ржаным и крепким сном, Алеша, как плясун на канате, качался и обрывался от забытья, хватаясь руками за лавку.

На Ельниках понесло березовый лист холодными утренниками. Будто желтые бабочки, вылетели листья тучей из чащи и засыпали полянку, затрепыхали мимо окон сторожки, свернулись червяками на крыльце. Березняк зашумел червонными водопадами и осыпался во весь день оскудевающим золотом. Ельник темно-зеленел о бок свежей и нестареющей в осени иглой, только кончики иголок позолотели, и падали на хвою желтые слитки шишек. Пролетели белые облака лебедей. Пролетели долгоногие, долгошеие журавли. И небо вымерло, как пустой дом. Застеклевшее небо подпирал лес и хрустел о стекло ясными, как родниковая вода, днями. Наясневшись, охолодав, отпотело небо вдруг... Под полянкой остановились широкогорлые завитые трубы и рога облаков, перевернулись, качнулись, брызнули и потекли на землю тонкими суровыми нитками.

Алеша вперегонку спал с лесником долгим, как лесная ночь, непробудным сном. Продрогнув от сырых холодов, спали калачиками собаки на крыльце, упрятав под брюхо морды. Одна бабка бродила по избе и, заскучав от ливня, булькавшего за окном по захлебнувшейся земле, приделав обряд, садилась в переднем углу с закрытыми глазами и не могла уснуть.

Тогда ночной ветер, покачав Ельники, улетал в город, бился застывшей грудью о тюремные стены, прокрадывался в щелки рам в камеры и дул холодно и щекотливо.

Лия лежала с головой под одеялом и, трясясь ледышками ног, жадно и долго дышала. Под темным шерстяным сводом будто стыли глаза у Лии, разучились закрываться, спать...

Зимой на полянке видны были заячьи лапки и лисиные чётки следов, а по кругу, взмыленные морозами, в пене, стояли островерхие, будто калмыцкие шапки, елки. Небо чистое, как выметенный ветрами каток, леденело над полянкой в короткие, воробьиными шагами меряные дни, а на закате лихорадило малиновыми разводами, красными лужицами и янтарными побегами облаков.

От сторожки протопали валенки лесника тропку в лес. По тропке бегали вперегонки собаки, и в ухȁнке ходил взад и вперед Алеша. Глеб Иванович прокрался на Ельники в медведях,

В ночь обернул обратно. И тогда Алеша другой ночью выехал с Семеном за Чарымское озеро, в маленький городишко, в самый маленький городишко на свете. Семен проводил поезд, завернул сани на старую дорогу и пошел рядом с лошадью, похлопывая морозными рукавицами.

На берегу Женевского голубого озера Алеша вспомнил, как старый еврей Куба Лурье перевел его через границу. Громыхнула русская застава пустым залпом, эхо перегнало его, покричало на чужой земле—и замолкло. Алеша еще долго бежал от родной земли. Дул холодный ветер от Вержболова и студил спину.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В то время как разгоралась и сердилась под Алешей лошадь у забора, солдаты переглянулись, и один дернул дверь в уборную.

— По-барски сидит, арестантская морда!—прошипел другой солдат.—Заперся, гляди!

— Конча-а-й!

Выждали. Ответа не было. Дернули снова. И снова только захрустел и зазвякал крючок за дверями. Солдаты засвирепели. Расшваркнули злобно вторую дверь, вбежали, стукнули в перегородку кулаками.

— Выходи-и!

И затряслись и простонали. Один солдат, как кошка, шмыгнул в дыру в перегородке и с криком выскочил в первую дверь, обламывая крючок.

— Побег! Побег!

Из зала, из судейских комнат, из канцелярии вывалился в коридор народ... Забегали, застучали, закричали, засуматошились... Сторож со щеткой незаметно влился в толпу и тоже начал бегать, суетиться, кричать. Толпа плеснулась на черный ход.

— Лови!

— Держи!

— Обыскивай!

— Запереть двери!

— Не выпускать никого!

Глеба Ивановича выкачнуло вместе с другими в коридор. Он потолкался и опустился на лавку. У него виновато светились потеплевшие счастливые глаза. И весь шум и грохот коридора были как свадебный поезд в молодости.

А тут подошел прокурор и ехидно и возбужденно сказал:

— Ваш сын, Глеб Иванович, не только преступник, но и ловкий трус!..

У прокурора лицо было будто вымороженное и выстиранное белье. На тонких подвернутых кромочках губ серебряным позументом кололись усы. Глеб Иванович охватил его глазами, сиявшими, как иллюминованные праздничные вечера, и насмешливо, презирая и ненавидя, ответил скороговоркой:

— А вы, Владимир Петрович, не прокурор, а... а... костоправ... без сердца и души. Вы как смеете отцу... говорить... такие...

Глеб Иванович привскочил и в беспамятстве упал на пол.

— Воды! Воды! Доктора!—закричали в коридоре.

Прокурор юркнул по лестнице вниз и вобрал свою будто лакированную и смазанную маслом головку в пахучие глянцевитые воротнички сорочки.

Глеб Иванович опомнился от забытья. Он освоенно огляделся и увидел Гарюшина. Гарюшин вызвался проводить его. Старик сжал, натуживаясь, худую Гарюшинскую руку и не выпускал ее, пока ехали на извозчике до дома. Гарюшин не отнимал связанной руки, горделиво усмехался тайному веселию удачи и, стороня рот от извозчика, шептал Глебу Ивановичу:

— Кажется, прошло! Прошло, кажется!

Старик приближал губы к уху Гарюшина:

— Боюсь я! Погоди говорить! Не сглазь! Кошка сегодня три раза дорогу мне перебежала... Бежит, подлая, и мордочку ко мне!

Гарюшин укоризненно протянул:

— Глеб Иванович! Глеб Иванович! Ха-ха!

Глеб Иванович отпустил провожатого у дома и заторопился. Просеменил он через калитку на темный двор, в людскую, к Семену.

— Лошади обряжены? Здоровы?

Семен пил чай с женой. Он весело вылез из-за стола к хозяину, запахнул пиджак на брюхо и ответил:

— Не совсем благополучно, Глеб Иванович!

— А!—взвизгнул старик и пошатнулся.

Семен спохватился и быстро-быстро заговорил, суетясь в людской:

— Серый што-то на заднюю ногу припадает. Вот я фонарик засвечу. Поглядеть надо. Может, ветелинара, коровье здоровье, позовешь!

Глеб Иванович отвернулся, задерживая испуганную улыбку.

На конюшне Семен поставил фонарь на пол. На тéни стены широко и смешно задвигался, заросший усами и бородой, большой рот.

— Испужал я ненароком. И сам испужался. Думаю, баба сметит, пропадай пропадом! Дело вышло под орех... Алексей Глебыч как из-под земли вырос... я его на седло... Ан и укатил...

— Хи-хи!—радостно засмеялся Глеб Иванович. — Молодцá! Молодцá! Ты про Серого-то так... на пушку сказал!

— От бабы я увернулся... Серый конь, как конь, о четырех копытах, в порядке.

Глеб Иванович поднял с полу фонарь и поднес его к удивленным остановившимся глазам Семена. Волнуясь и вздрагивая, Глеб Иванович надтреснутым голосом сказал:

— Спасибо тебе, Семен, должник твой на всю жизнь. И Тита... и Тита.

Семен лениво и спокойно махнул рукой:

— Какие там долги! Премного довольны и так!..

Глаза хитрили, и Глеб Иванович поймал острый и жадный смысл в них.

Он пошел из конюшни, роняя на ходу привычное хозяйское беспокойство:

— Не зарони тут: спалишь!

Погоня в полночь настигла дом. Всю ночь перерывали другие дома, шарили на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, шарили у Гарюшина, рыскали по вокзалам, заперли все городские заставы винтовками, нагружали тюрьму крамольным поднадзорным людом.

Федор лежал животом на подоконнике в судейской сторожке и глядел на ночные мокрые тополя, мерил глазами Алешин прыжок и ухмылялся. Федора тянуло глядеть. Задождило неделю. Было холодно. Холод обдувал голову, и тополь брызгался дождем, кропил и мазал лицо водой, а Федор, раскрыв окно, улегшись на подоконник, терпеливо глядел в ночную темень и заглядывал на невидимую внизу землю. Под окном зашевелился кто-то, переступил... Федор испуганно крикнул:

— Кто-о здесь? Кто-о здесь?

Кто-то опять переступил, но не ответил ему. Федор, торопясь, закрыл испуганно окно, прижался разгоревшимся лбом к стеклу—и не мог никого разглядеть. В такую, забродившую по пояс одежды, ночь, Федора вывели из сторожки и отвезли в тюрьму.

Следователь смеялся.

— Ты ничего не знаешь? Но почему было открыто окно в сторожке? Кто открывает окна в холодные вечера?

— Да рази у меня у одного окно настежь было? И вечерок-то рази был не теплый? Да рази во всем суде окошки не я же ли отворял да затворял? Жарища-то какая была! Напотели сколько жару! Наше дело совсем маленькое.

— Где ты был, когда мимо тебя прошел арестант, переодетый в шинель околоточного?

— В коридоре я подметал. Навозила полиция за день мусору—не до утра мне обихоживать помещение. А спать-то когда?

Следователь крупно черкал на листочке.

— Так. Ты подметал. А как он: бежал или шел?

Федор развел руками и ухмыльнулся.

— Да я же никого не видал. Кто его знает, как он утекал—бегом али не бегом?

— Ты же сказал—подметал, а он прошел мимо по коридору?

Федор удивленно поглядел на следователя и засмеялся.

— Да нет же: это вы сказали—он прошел. Вы и видали, значит. А я не видал. Я завсегда вечером, еще суд идет, подметаю.

— Тебе лучше сознаться во всем и рассказать, как ты принес шинель, кто тебе ее дал, как выломал ты доску в уборной и как все подготовил для бегства. Кроме тебя—некому. Если ты не сознаешься, тебя сошлют в Сибирь. Сознаешься, тебя, конечно, осудят, но осудят легко. Да, зачем ты на прошлой неделе вечером ходил на квартиру к Глебу Ивановичу Уханову, пробыл там полчаса, а оттуда зашел в трактир и пьянствовал до закрытия? Откуда ты взял деньги?

Федор наморщился и злобно забурчал:

— И в Сибири люди живут. Застращиваешь тоже! Вы, ваше благородие, околесину зря не говорите и не сомущайте меня!..

— Бубликов, нельзя так отвечать: повежливее, повежливее! С тобой разговаривает следователь по особо важным делам.

— Што, на самом деле! Сами не устерегли, а с других спрашивают. Куда да зачем ходил, да сколько водки выпил? А никому и дела нет, сколько я водки выпил. Я свое дело знаю, а вы свое. А ходил я к Глебу Ивановичу судачить ему на его сынка. До того как в арестанты меня посадили, молва пошла—Федор-де тут помогал. Вот я и ходил пенять отцу-то, как-де не стыдно вам человека не при чем в свою кашу замешивать? Глеб-то Иванович еще мне на это и скажи—иди ты к такой матере, не стану о тебя руки марать. Я с горя на последние и замочил... Какое мне дело, што арестант из-под носу ушел! Я убираю,—арестантов стеречи я не нанимался. Эвто ваша печаль.

Следователь не сводил с него выпытывающих, ковырявшихся в сердце глаз. Федор равнодушно и прямо смотрел в глаза следователю немигающим столбняком.

— Ты рассуди сам: кому, кроме тебя, можно было так все предусмотреть и рассчитать—и шинель, и перегородку—и все, и все?..

Федор подумал и насмешливо спросил:

— А вы, ваше благородие, шинель видели на нем?

Следователь насторожился, изогнулся дугой над столом, жадно вглядываясь в Федора.

— Нет. А что?

— От конвойных слышали. Это и все от них слышали. Весь город говорит. Может, никакой шинели и в помине не было? Может, ни в какое окно он не выпрыгивал? Да и как выпрыгнешь, когда ключ-то у меня в кармане от сторожки был? Может, он в солдатской шинели вышел преспокойно в двери, как ни в чем не бывало? Может, солдаты в двух шинелях пришли, ему одну и дали? А то в узелке раньше кто принес шинель и в укромное место заложил. Дом-то вон какой путанный, старинный! А то и так—в публике солдат был. Шинель свою снял, сунул кому следует, сам в тужурочке домой пошел. Полиция только для близиру стоит. Никому и в голову не придет, што не солдат катит, а сицилист. Не запутывай зря! Доска тут и совсем ни к чему. Толкни раз всю перегородку в нашем сартире, вся перегородка свалится. Может, солдаты сами и доски выкорчевали для отводу глаз. Кто их знает? Арестант полчаса на дыре исходит: они ждут себе.

Ха-ха! Больно што-то несуразно! А тут из-за них майся! Не там, ваше благородие, ищете! За беспорошную службу-то благодарность! Ха-ха! Шинель, выдумали! Сторож-де шинель раньше принес! Ха-ха!

Федор еще раз осторожно хохотнул и зажал рот рукой. Он стоял перед следователем руки навытяжку. Волосы, как колосья, высовывались из-за ушей, лезли на лоб, разваливались по пробору на стороны. Лицо его было веснущато: словно обрызгано мелким брусничником. И два глаза—два василька круглых, с ресницами-усиками, выросли на этом конопатом поле.

Следователь отпускал его. Опять приводили.

— Почему ты часто глядел в окно и заглядывал вниз у себя в сторожке вечерами? Агенты наблюдали за тобой.

— Почему да отчего? Отчего да почему? Как маленькие, право! И в окно не погляди, и то нельзя... Я не в чужое окно глядел! Зароку я не давал к окошку своему не подходить! Этак и в сартир, скажешь, почему, Бубликов, ходишь? А потому, как и все.

— Бубликов! Не груби!

— Я безо всякой всячины. А мне тоже обидно. Во мне старика больше сидит, чем молодого, а меня разыгрывают хуже не надо...

Федор, как побитый дождями колос, потемнел, выцвел, и только не выцветали васильковые глаза, сидевшие двумя бочажками под холмистым и крепким лбом.

Конвойные пошли на каторгу вместе со Шмуклерами, Калгутом, Ароном, Бобровым, Ахумьянцем и Ваней Галочкиным. И тогда Федору выкинули из тюремной конторы его старый кошелек, а в нем рубль денег, и еще рубаху выкинули, заплатанную на локтях. Федор вприскочку выбежал из тюремных ворот и погрозил кулаком часовому.

В ларьке, на Золотухе, он купил махорки, сел на тумбу и жадно свернул покурить. А потом тихонько засмеялся под теплым от цыгарки носом:

— Г-го-ло-вы! Адвокат—продажная совесть! Гони таперь манету, Глеб Иванович! Гони манету! Домишко надо сварганить в деревне: накопил-де! Хи-хи!

В этом году Глеб Иванович справлял сороковую навигацию. Пароходы его ушли с флагами, с музыкой... Летали над последними льдинками чайки. Прощальные свистки пароходов

кричали весело Глебу Ивановичу сороковой раз. Глеб Иванович, так завелось, каждый год выезжал за пятнадцать верст к элеваторам, к своим цепным пароходам, волочившим цепь, как хвост, все лето и осень, таща отлежалое Ухановское зерно от пристани к пристани на сотни речных верст. Глеб Иванович сороковой раз вернулся домой под хмельком. Но не поддавалась хмельному засевшая клещом в сердце тоска. Глеб Иванович, как ехал пятнадцать верст, обдавало его весенними лужами, кидало густыми лепешками глины из калъей и ухабов, откачивался с одной стороны на другую и вздыхал громко в ответ на тайно громоздившиеся в голове мысли.

— Ах-ха-ха! Ах-ха-ха!

В кабинете на столе лежала толстая книга в папке с незнакомыми печатями и марками, с незнакомыми надписями. Он разорвал папку и долго разглядывал книгу. В книге были изображены пароходы, котлы, машинные части. Глеб Иванович задумался. А потом вдруг вскочил и радостно закричал:

— Это Лёшка! Это Лёшка! Это не прейскурант! Это Лёшкины штуки!

И он прильнул к каждой странице глазами, на свет, он торопливо листал книгу, ища в черных и жирных столбиках непонятных букв букв понятных, сыновних. И он нашел глубоко в середине, в брюшке букв, на разных страницах, зарытые буквы, собирал, складывал и сложил только одно слово: к-о-р-е-ш-о-к. Глеб Иванович наморщился, вспотел. И понял. Он подрезал корешок: переплет отвалился. И тогда Глеб Иванович увидел красную полоску по кромочке. Он расщепил двойной картон и вынул письмо Алеши и Лии.

Пришли дни ровные, как рельсы. И Глеб Иванович покатил по ним. Утром открывались большие белые двери в спальню к Глебу Ивановичу, и вбегала Муся.

— Дедуска, тавай!—кричала девочка.

Глеб Иванович просыпался, наклонялся к ней с кровати, подхватывал ее за подмышки и высоко вздымал, радостно напевая:

— Мусенька! Мусёнок! Зайчик мой!

Рысак переступал с ноги на ногу у крыльца и косил глаз на Семена. Звонили к девятичасовым обедням по приходам. Служилый люд торопился к служебным вешалкам. Глеб Иванович ехал в магазины, в банки, в торговые конторы, отпускал лошадь домой и застревал в городе надолго.

Семен выезжал за Глебом Ивановичем после вечерен и всенощных. А дальше усталые вечерние часы Муся прыгала по кабинету, перекидывала дедушке мяч, гнала на дедушку легкий обруч, дедушка залезал, кряхтя, под стол, лаял большой и маленькой собачкой, показывал волка, держал Мусю на коленях, а она ходила с одной ноги на другую и норовила, хохоча, провалиться между ног, а дедушка ловил. Верхом, на кукорках, вез дедушка Мусю спать—и ему подавали ужин в столовую. Глеб Иванович оставался один.

Редко приходили посылки из-за границы. Глеб Иванович сидел тогда запершись в кабинете, и няня не впускала Мусю.

Проходили месяцы, как знакомая каждым мушиным пятнышком лампа на столе. Заныва́ло сердце, когда Муся, плача, будила его:

— Дедуска, тавай: у Муси лобик закварал.

И терла побледневшее личико.

Но Мусины болезни были короче ударов сердца дедушки. Не договорив, она уже смеялась в детской, раскладывая куклы в уголке.

— Дедуска, пототи, какая куколка!

Глеб Иванович присаживался на стул и глядел на маленькие, пеленавшие куклу, ручки Муси.

В столовой за ужином, один, Глеб Иванович сбивался с проложенных рельс и задевал за костыли на рельсах. Часто он вдруг вставал и звонил, пока к нему не приходила прислуга.

— Заложить лошадь!

Глеб Иванович приезжал в клуб. Ему освобождали место, и Семен дожидался до рассвета. Глеба Ивановича вносили на руках в спальню и раздевали. Он не давался раздеваться, вырывал руки и тихонько пел, качая головой:

Ельничек, ах, березничек!
Березничек, ах, да ельничек!

А потом плаксиво и пьяно кричал:

— Нет... нет... у меня сына... Урод... урод уродился!

Мусю держали утром в детской и не впускали в спальню.

— Дедуска пян?—спрашивала Муся.—Дедуска пит?

Глеб Иванович горевал.

Покров опять подкатил с дождями и сиверком. Глеб Иванович не захотел справлять юбилей. Костыли на рельсах вывалились раньше времени. Вышел он за два дня до юбилея

поглядеть на вечернее солнце на бульвар и присел на скамейку. Задумался Глеб Иванович на желтые ситцы берез и кумачи кленов. А как повернул голову в сторону—задрожал мелкой осенней изморозью.

К скамейке подполз безногий паренек, закопошился около него, гмыкая, протянул руку и дотронулся до коленка.

Глеб Иванович с ужасом открыл на него плачущие глаза.

— Кто ты? Кто ты?—вскрикнул Глеб Иванович.

Паренек вытащил из-за пазухи маленькую грифельную доску. На ней была надпись:

Глухонемой Василий Урод

Глеб Иванович вскочил, сунул ему кошелек и заторопился по бульвару.

Вдогонку неслось страшное: „Г-мам... г-мам". Безногий паренек спешил догнать, шаркая задом по песку и держа кошелек в зубах.

Глеб Иванович ворвался в кабинет, схватил карточку Алеши и, потрясая ею, закричал пронзительно:

— Василий Урод! Василий Урод! И я безногий! И я безногий!

В Покров дом Глеба Ивановича был глух и нем, как ночью. Юбиляр лежал в кабинете и горько плакал.

ИСТОРИЯ О ШАПКЕ, О ТАЧКЕ, О ПОГРОМЕ И ЗАБАСТОВКЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В тот год как умер Савва, зимой, Кукушкину помяло руку станком. Ползимы он болел. Но когда зажило, у его станка давно уже стоял другой. И стал Кукушкин на чистой городской половине паять, починять барскую кухонную посуду. А с Зеленого Луга, с Числихи, из Ехаловых Кузнецов носил он домой самовары и лудил. Жилось. Но вдруг надвигались безработные недели. Кукушкин переходил с одного завода на другой. Не брали. Голодал. Должал. Прятался от товарищей. Вил он по городу, как убежавший из зверинца зверь, и без памяти совался под ноги к прохожим.

На Толчке, в базарный день, били вора. Кукушкин, шатаясь в народе, первый услышал, как закричала какая-то женщина:

— Вор! Вор! Украл у меня!

Женщина, держа в одной руке кожаную ручку от ридикюля, другой показывала на уходившего хорошо одетого человека.

Кукушкин заколебался, но женщина показывала на него. Кукушкин кинулся вперед, схватил вора... Тот, ухмыляясь, толкнул его, вырвался и бледный, как лежавший на крыше снег, возмущенно закричал:

— Это безобразие! Как вы смеете? Обыщите меня!

Люд навалился. Будто затрещал, обломился большой забор и упал на бледного человека. Били на воздухе, били на раздавленной тысячами человечьих ног снежной дороге, совали тычками в грудь, в бока, жали и давили стонавший живот. Кончили бить, когда вор был будто изрубленное мясо в мясной лавке. Волосы у вора слиплись в красной жижице. Не смотрели под багровыми волдырями глаза. Пальто рваными лохмотьями торчало вместо рукавов, воротника, пол — и на груди лежал вырванный клок жилетки, привязанный на часовой цепочке к карману.

Выворотили карманы, обшарили — и не нашли денег. Человек лежал, размазывая рукой кровь по снегу, молчал и слабо вздрагивал скрюченной, истоптанной ногой. Не нашли денег— и отхлынули, побежали, уходили, боязливо оглядываясь.

— Ошибка, братцы!

— Бабу бы надо отвалтожить чередом! В грех ввела!

— Ишь, сразу скрылась!

— Где, где баба?

— И за что избили человека: за одно подозренье!

Человек лежал одиноко на дороге, всем видный и жалкий и укоряющий. Лошади с возами объезжали человека. Сидор Мушка бежал от будки, ныряя в хлипком, как студень, снегу. Люд стоял кружком вдалеке и отодвигался дальше и дальше от человека, не отрывая от него жальчивых, беспокойных глаз.

Кукушкин отошел вместе с другими. От ошибки, проколовшей будто насквозь зудящей болью сердце Кукушкину, он забыл о голоде, не мог глядеть на поверженного из-за него, издавленного побоями человека. Кукушкин грустно бегавшими глазами скользнул раз-другой по молчаливому люду, отвернулся и быстро пошел с Толчка.

На Прогонной улице он еще раз увидел человека. Красной кучей его везли на извозчике городовые. Кукушкин простонал, остановился, замер, задрожал морозной спиной и сводившими на ходу руками. Он сунул руки в карманы пальто—и рывком вырвал правую руку. А в руке был ридикюль.

Кукушкин будто стал нагой. Он в ужасе оглянулся по сторонам и, не попадая в карман, начал засовывать ридикюль обратно. Таясь от прохожих опущенными глазами, сдавив ридикюль в кармане, Кукушкин, в раз колотившему сердцу, торопливо и крупно зашагал домой.

Он не добежал до дома, не дотерпел... Прикорнул на густой и пухлой, как поднявшееся белое тесто в квашне, снежной скамейке на бульваре, осторожно вынул ридикюль, раскрыл его и обомлел. Ридикюль был полон серебра и кредиток. Кукушкин вскочил и почти побежал по бульвару, запыхавшись, будто загнанная на скачках лошадь.

Дома Кукушкин вывалил деньги в шапку, сквозь пальцы, без звона, чтобы не услышали соседи за деревянной чуткой перегородкой—и раздумался надолго, тяжело, мучительно...

„Снести? Отдать?“ — шептал кто-то в уши.

Но денег было двести рублей. Кукушкин зажмурил глаза, не выпуская рук из шапки, стоявшей на столе мягкой ласковой бадейкой.

„Вор! Вор! Вор!“ — стреляло в виски.

И пришла разрешившая взять, такая простая и напуганная мысль:

„Кто же поверит?“

И будто кто-то сказал в комнате:

„Не поверят!..“

Кукушкин обрадовался, а голос сам засмеялся невеселым смехом. Он спрятал под подушку деньги, схватил пустой ридикюль, сунул его в карман и опять выскочил на улицу.

Проходили часы. Кукушкин бродил по городу, не решаясь, не находя удобного места, чтобы выкинуть ридикюль. Домá ледяными вышивками окон, заборы щелями, калитки побелевшими от инея кольцами, улицы прохожими, собаками, извозчиками глядели на него и мешали. Люд проходил мимо—и, казалось, ухмылялся хитро и плутовато над ним. Городовые стояли на постах и похлопывали рукавицами.

Кукушкин вернулся домой. Подошел к крыльцу. Вдруг он оглядел в страхе и тревоге полу у пальто. В прохудалом пальтишке у кармана была дырка. В дырку выглядывал металлический глазок ридикюля. Кукушкин сразу вспотел и чуть не крикнул. Он сдавил в кармане ридикюль вдвое, прижал к телу подальше от дырки, простонал неслышно внутри себя, подумал и поворотил от крыльца. Руки сжались твердо, жёстко.

У архиерейского сада он вырвал ридикюль из кармана и швырнул его за забор сильным освобождающим кидком. Ридикюль закружился, задел за корявые пальцы тополей, открылся, отскочил от сучьев и упал в снег по сю сторону забора.

Кукушкин отчаянно завертелся на бульварной дорожке, придвинулся к блиставшему на снегу зажженным фонарем ридикюлю, протянул руку, желая закрыть ладонью блеск ридикюля от себя самого и от надвигавшихся по бульвару прохожих, а потом подпрыгнул на боковой тропке и помчался прочь. Он покружил, заметая следы, по Толчку, по Прогонной улице и зашел на свою улицу с другого конца.

Два дня Кукушкин крепился. Он зашил деньги в тюфяк толстой складкой. Он ходил голодный по городу, ища работы, но ходил недолго: его тянуло домой, ему мешала толстая складка мечтать о почерневшей и накипевшей кастрюле,

о самоварной полуде, о протекавшем оцинкованном ведре и прогревшей в плите коробке из духового шкафа.

Кукушкин подпорол складку и вынул первый полтинник. И как разменял в лавочке, как опустил в карман гладкие медяки и серебряную чешую гривенников—стало весело, свободно, легко. Твердым, уверенным шагом заходил Кукушкин по земле. Оделся. Берег мятую руку в фуфайке. Чистил сапоги. Не покупал извозчичьи папиросы „Трезвон", а покупал „Дюшес". И деньги не убывали...

Ехал Кукушкин в конке. Давили его на холодной площадке в перед-рождественские обжорные дни. Пахли ветчиной и снедью улицы, кухарки, саквояжи, плетенки, звенели винные бутылки в сутолоке, и булькалось вино в недолитых до горлышек посудинах. Ехал и Кукушкин с покупками, прижимая их к груди и отстраняя от них лезущий внабивку люд.

Скинул Кукушкин пальтишко дома, повесил его на недавно заведенную вешалку, расставил покупки на столе, отковырнул мерзлой колбасы, протер отпотевшую бутылку зубровки— и важно и удовлетворенно шагнул по комнате. Потянулся Кукушкин за папиросами в карман пальтишка и будто укололся в кармане... Замирая, не спеша вынул Кукушкин из кармана темный незнакомый бумажник. Кукушкин откачнулся от пальтишка, погладил себя по голове и устало уселся на стул и устало повесил голову. Озноб прошелся по телу и застыл крупкой.

Кукушкин вытряхнул бумажник. Бумажник развернулся на три раствора. А в растворах лежали сотенные, двадцатипятирублевки, десятки. Кукушкин сложил их грудкой, подсчитал и стал удерживать в груди больно надавившее в горло дыхание.

„Тысяча, тысяча, тысяча... и пятьдесят рублей",—завертелись в голове желтые, белые, зеленые, синие флажки кредиток.

Кожа на бумажнике была гладкая, нежная, как женские холенные руки, кожа пахла духами и каким-то неуловимым, необозначаемым безымянным запахом краски. И когда Кукушкин исстриг ножницами бумажник на темные стружки, а стружки искрошил, завернул в бумагу и ночью подбросил в наст на бульвар, ему стало жалко бумажника.

Кукушкин не спал ночь. А все праздники он пролежал на кровати, подымая испуганно голову на всякий денной и ночной шорох за перегородкой, за дверями, за окнами. Никто не приходил.

Кукушкин разглядывал ночами деньги и, ликуя, трепетал, отсчитывал вперед, на сколько долгих месяцев ему достанет чудесных денег. А потом он холодел, плакал от незнания, и кто-то, казалось ему, подкрадывался невидимый, какой-то враг, злой и беспощадный. Тогда Кукушкин уходил на окраины, за чистую городскую половину, подальше от Зеленого Луга, от Числихи, Ехаловых Кузнецов, занимал столик в трактире и молча пил. Он напивался. К нему подсаживались пьяницы завсегдатаи. Кукушкин угощал. Во хмелю он плаксиво кричал:

— Чорт! Чорт! Чорт! Чорт на меня работает!

Пьяницы обнимали Кукушкина и ласково шептали:

— Эх! И золотой ты человек! Гер-р-о-й!

Кукушкин дрался, раскидывая ногами и одним немятым кулаком собутыльников. А те, будто шутя, загораживались, увертывались и опять льнули-льнули-льнули, как летние мухи на пенки в жарко-медном вареньевом тазе.

В похмелье Кукушкин ждал прихода неизвестного беспощадного врага, усовывал под двойное дно, выделанное им в стуле, который раз пересчитанные деньги, ласково разравнивал их там и от грома закладывал ваткой. Но никого не было, но никто не приходил.

Скрывая свои сокровища, пряча от самого себя страх, прячась от пронырливо, казалось, глядевших людей, Кукушкин снова искал работы, лудил самовары, паял и чинил барскую кухню.

— Работа есть?—спрашивал Тулинов.

Кукушкин испуганно взглядывал.

— До отвалу.

А Кубышкин говорил:

— Ты, парень, што-то в мясо не идешь. Живешь будто и ничего, а чахнешь!

— От руки это...

Кукушкина вдруг окачивала, в сторожке у Никиты, как пыль, печаль. Он не досиживал до конца, срывался с лавочки и, будто гнались за ним, быстро перелезал под ветлой, гнал себя по молчавшим лугам, врывался домой, в темноте ошаривал стул с двойным дном и крепко-крепко держал... Воры не приходили. Только кто-то, кто-то передвинул стул к дверям...

Кукушкин пропускал собрания. За ним заходили. И вели его. Сердце ныло, как метельный ветер в трубе на юру, на пустыре... Он не слышал слов, речей.

На четвертой неделе поста вышел Кукушкин купить олова в железные ряды. В проходных железных рядах была толчея. Кукушкину отвесили олова в лавочке. Вместе с оловом он принес домой золотые часы.

Кукушкин застыл, как омертвелое дерево на пожарище. Часы сползли с руки и хлопнулись о пол. Стеклышко выкатилось, попрыгало и хрустнуло мелкими звездистыми скважинками, будто лед под колотушкой. Золотая крышка сдвинулась с места и согнулась. Кукушкин сам не знал, как ступила нога на часы, а часы мягко подались, словно улезая под пол; он торопливо надавил и затоптался, запрыгал, заплясал на золотой каше.

И тогда Кукушкин занемог. Не пилось. Не елось. Не спалось. Он не заглядывал ночами под золотой стул. Он отшвырнул его в угол и навалил на него тяжелый слесарный инструмент.

Потом еще раз принес с базара Кукушкин старенький кошелек, а в кошельке было только два двугривенных.

И Кукушкин не стал ждать. Он взвалил на плечи стул, зажал в руке старенький кошелек, без шапки, без пальто, с помутневшими осенней мутью глазами, вышел на улицу.

В участке Кукушкин молча перевернул стул, высыпал на пол деньги, бросил в грудку кредиток старенький кошелек и дико закричал:

— Это не я! Это не я!

Пристав дал знак. Городовые схватили Кукушкина, повалили и связали.

Кукушкин проснулся от тяжелого, как впившиеся в тело и затекшие веревки, сна. Он оглядел камеру. На нары вскочила мышь из уголка и забисерила светлыми глазками. Кукушкин улыбнулся. И будто только от его улыбки мелькнул серый пушок в воздухе—и исчез. Раннее солнце заглянуло сквозь решетки и повесило на стене острый, истекающий к полу алый меч. И как легкий прыгун-мячик, покатилась печаль от Кукушкина. Он вздохнул и, будто спеленатый и сладко проснувшийся в тепле ребенок, потянулся довольно.

Потолки и стены камеры забелили, засветили, выросли... Пришла, как вечернее лоно пруда, тишь, тишь льстивая, ласковая, а в ней мерно чашечкой кубышки качнулось сердце и заходило правильным отчетливым маятником.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кукушкин рассказывал, жандармский офицер записывал. Кукушкина уводили—жандарм хохотал, давя скакавший живот под жилеткой. Золотые брелки на цепочке прыгали и звенели, будто на жандарме была надета масленичная сбруя. Сначала допрашивали в участке. Из участка передали сыскному отделению. Оттуда передали жандармам. Три месяца передавали, а Кукушкин все рассказывал и рассказывал... Три синих папки начинались снова. У жандармов Кукушкин засел крепко и надежно.

— Да, да,—тянул жандарм,—я не спорю. Ну, а скажите, почему же у вас мы нашли в столе, под столешницей, нелегальную литературу? Вы понимаете, что значит нелегальная литература?

Кукушкин незаметно дрогнул, но—

— Нет, не понимаю,—просто ответил Кукушкин и только тут вспомнил, как он прятал под столешницу книжки и листки. И Кукушкин укорил себя за неосмотрительность легким укусом губы.

Жандарм ухмылялся.

— Сказать проще—запрещенные сочинения. Да вы знаете! Вы желаете притворяться!

И жандарм застрожал:

— Прошу вас шутки бросить!.. Может быть, вам и под столешницу кто-то подкладывал книжки, а не вы сами их туда прятали и делали известные приспособления? Вы сами явились нашим наводчиком. У стулика вы изволили смастерить двойное дно. Мы сделали вывод: а почему бы вам и у стола не повторить подобное устройство? Что вы теперь скажете?

Жандарм снисходительно и скромно откачнулся в кресле и оглядывал Кукушкина.

— Что я скажу?—повторил Кукушкин, прислушиваясь к своему голосу и равнодушно останавливая невидящие глаза на светлых пуговицах жандарма.—А ничего не скажу.

Жандарм весело просмеялся.

— Как же так ничего! Вы не рискуете тут подсунуть нам басню о деньгах?

— О деньгах я говорю не басню, а истинную правду,—заволновался Кукушкин.

— Полноте... полноте... подумайте еще раз и... сознайтесь во всем, пока еще... не поздно.

Кукушкина уводили. Внезапно середь ночи лязгали замки у дверей, зажигался огонь, в камеру входил тот же жандарм, садился у кровати и, посмеиваясь, начинал:

— Вы извините... незваный гость хуже татарина, как говорится... но мы хотим как можно скорее внести ясность в ваше дело. Вы можете не подниматься и отвечать лежа. Не вставайте, не вставайте! Одна только справочка.

Кукушкин садился на кровати, натаскивая одеяло на костлявые коленки.

— Скажите, когда вы были последний раз на собрании? И были ли с вами Егор Тулинов, Егор Яблоков и еще... Сергей Соболев? Они нам очень много рассказали про вас. Особенно про вашу двужбу с Просвирниным, про ваши разбои на Зеленом Лугу. Видите, от нас ничего не скроется! Мы давно за вами следили. Вам выгоднее остаться в долгу перед вашими болтливыми товарищами. С ними у нас разговор короток, вас же мы оберегаем, потому что мы чувствуем, как вы случайно попали и в уголовную и в революционную шайки.

Кукушкин взвешивал вкрадчивый, ласковый голос жандарма. Голос, как в лесных зарослях ветки, обнимал Кукушкина за спину, за голову, щекотал лицо, мигал в заспанных глазах.

Запаляясь ненавистью—она сочилась блеском глаз, красными фитилями щек—Кукушкин резко грубил:

— Чего привязался? Все сказал... Книжки мои. Нашел на улице. И конец. Ни на каких собраниях не бывал. Мало ли у меня товарищей из рабочих! Чего зря перебираешь фамилии? И врешь...

Жандарм ласково протягивал руки.

— Ну, ну, поосторожнее! Не надо так возмущаться. Спокойствие, спокойствие... Волнение выдает человека...

Кукушкин овладевал собой.

— Не хитрите, ваше благородие! Напрасно ночей не спите... И товарищей моих в Иуды...

— Так, так,—живился жандарм.—Вы не допускаете с их стороны предательства?

Кукушкин засмеялся. Жандарм раздраженно переложил нога на ногу.

— Эх, ваше благородие! Вот ты и попался! Нечего им выдавать меня, когда нечего выдавать-то. Ничего секретного за мной нет. Ха-ха! Ка-а-к подкатился! У --о-о-ра!

— Мы посмотрим! Мы посмотрим!—сердился жандарм, уходя из камеры.

Поднимали с кровати Кукушкина и в первый и в последний сон. Вели к жандарму.

— Вы думаете, мы не знаем, что Просвирнина убил Егор Яблоков? Знаем, знаем... Мы знаем все. И вы напрасно упорствуете! Хе-хе!

Из недели в неделю, месяцами, впивалось острое шило жандарма. Кукушкин вскакивал ночами от прострельнувшей по полу мыши, от задувшего в рамах ночного ветра, от собственного кашля—и отстранялся в тревоге к стене.

Кукушкина перестали водить на допросы. Жандарм больше не приходил. И когда он перестал приходить, вдруг Кукушкину показалась еще молчаливее камера, еще страшнее эти облупленные старые стены. Кукушкин вгляделся в один крошащийся у окна кирпич стены, потрогал его холодное темя, а из выдолбинки выползла жирная белобрюхая мокрица. Кукушкин поморщился от боли, резнувшей в ногах и задергавшей быстро-быстро, как отбегала, шевеля задом, мокрица по стене. Никто не заглядывал в камеру, будто за стенами камеры была безлюдная пустота, не было ничего, некому было притти оттуда, и никто больше никогда не придет. Кукушкин вызвал жандарма.

— Я же сам, сам принес вам деньги!—закричал Кукушкин.—Вы записали это?

— А как же?—холодно ответил жандарм.—Вас заела запоздалая совесть: вы и принесли деньги. Это в судебной практике довольно обыкновенно. Это часто бывает. Преступник приходит и сознается. Вон в деревне мужики каются перед всем народом... Больше ничего не имеете сказать?

Страх закричал в сердце сразу. Кукушкин давно выглядел каждую ложбинку стен, каждое клопяное пахучее пятно со смешавшейся кровью, быть может, тысяч сидевших в камере до него, каждый грибок сырости, наползавший с полу—и тогда месяцы обернулись годами, и он забился с головой под подушку, рыдал под ней—и опять позвал жандарма.

— Вы эту шапочку знаете?

Жандарм нежно подбросил на ладони меховую шапку с кожаным верхом и серым кантом на сшивах. Кукушкин удивился.

— Это моя шапка.

— Хе-хе! Нет-с, не ваша. Шапочка эта принадлежит отъявленному негодяю и налетчику Мишке Ноздре. Вы знаете такого?

— Не-е-т.

— Будто? Может быть, вы на карточке узнаете его? Дежурный, отвезите господина Кукушкина ко мне в кабинет.

На большом зеленом столе грудкой лежали фотографии. Жандарм поднимал одну карточку за другой, направлял на нее из-под министерской жестяной треуголки свет и наблюдал за глазами Кукушкина. Жандарм время от времени стасовывал карточки и показывал Кукушкину одни и те же лица. Прошли мимо и обожгли глаза Иван, Клёнин, он сам... И вдруг засверкало живыми глазами темное и жесткое и пьяное лицо Просвирнина. Кукушкин в испуге ухватился за карточку Просвирнина, и руки заходили враскачку.

— Воспоминания-с!—подхихикнул жандарм и вырвал карточку.—Он предлагал нам свои услуги. Мы не взяли. Он нам не подошел. Он не пользовался доверием рабочих. Но, но... делал весьма полезное дело, запугивая рабочих буйствами от увлечения революционной пропагандой. Не знаете! Не знаете! Не знаете!

Карточки, как в карусели плывущие лошадки, сменялись одна другой. Кукушкин задержал одну, всмотрелся, вспоминая...

— Ага!—затаился жандарм.—Напрягите, напрягите память! Где вы его встречали?

Кукушкин обрадовался.

— На Толчке... Вор это. Его при мне били. Я его первый схватил.

— Мы знаем, что вор. Но кто он? Как вы его называли между собой?

Кукушкин грустно и укоризненно посмотрел на белое глянцевое лицо жандарма.

— Кто мы?

Жандарм сердито воскликнул:

— Да ваша шайка! Не хотите ли, я вам покажу и еще некоторые вещественные доказательства вашей преступной деятельности?

Жандарм выдвинулся из-за стола, повернул лампу под треуголкой светом на шкаф и открыл дверцу. На полках в ряд стояли шапки с кожаным верхом и серым кантом на сшивах.

— Тут-с девятнадцать шапочек... Двадцатая ваша шапочка. Все одинаковые... все с отличительным кантиком... все по особому заказу. Не вы их заказывали в шапочной Мошкова?

Кукушкин покачал головой, изумленно не сводя взгляда с жандарма.

— Тэк! Тэк!—веселился жандарм.—Ну, и актерище сидит в вас! Ка-а-к ловко вы умеете играть! Да, жаль, жаль, очень жаль, что ваши таланты направились в дурную сторону. О! наш народ очен богат самородками! Я всегда это говорил и буду говорить. Что вы молчите, господин Кукушкин? Где вы до стали вашу шапочку?

Кукушкин пошевелился и радостно заулыбался, будто он нашел давно потерянную и забытую вещь.

— Я у Мошкова, у Мошкова... Я купил шапку у Мошкова.

— Дежурный!—громко выкрикнул жандарм.—Отвезите господина Кукушкина в камеру. Усилить стражу. И больше меня не вызывать.

Двери камеры захлопнулись. В дверной глазок вздувались две свечи часового и тухли. Кукушкина не выпускали из камеры. Параша воняла в углу, словно где-то чистили ночью и днем ретирады, и кислый, едучий запах пропитал стены, потолки, кровать, руки и волосы. Кукушкин зажимал нос, но запах мочи и кала был в дыхании, пахнул весь мир, пахли мысли и крики и слова Кукушкина.

Он бил кулаками в дверь. Это сбрасывалось гулом и катилось по коридорам. За дверями грозили часовые и не отпирали. Опухшие кулаки были розовы, будто не кожа была на них, а выцветший на солнце кумач. Под содранными ногтями запеклись густые черные ягодки крови. Кукушкин стучал локтями, пинался, терся спиной, кричал, хрипел и выл в задвинутое дверное веко.

Когда он не утихал часами, в камеру врывались конвойные, отшвыривали его от дверей и били. Кукушкин не унимался. Его привязывали к кровати, выламывая изжеванную станком руку. И тогда Кукушкин извивался от боли, тускнели осенними стеклами и плакали глаза, он стонал, как роженица в схватках.

В осенние линючие дни камера забархатела сизой и сивой плесенью, грибница поднялась от полу до потолка, и по стенам бежала намыленная густая вода. Кукушкин дрог. Белье было сыро и вяло. Будто надели на него непросохшее от стирки белье, оно прилипло и стягивало на спине, между ног, под мышками, хлюпало и чавкало жвачкой, слюнявилось, харкало, гнило... Вместе с ним гнил Кукушкин.

Страх одолел. Не было, а внезапно, как выстрел, завозилась вражда внутри против Егора, против Тулинова, против Ивана, против книжек под столешницей. Завозилась и не унялась. Заныла больная рука и напомнила о пожарище. Во сне привиделся сараюшка на пожарище. И будто второй раз в него стрелял Тулинов. Красная струя выстрела летела-летела-летела—метилась в грудь. Старый Кубышкин нюхал бородкой, пришепётывал, наклонялся, будто зыбка на очепе, и скрипел, скрипел... И разгорелся, разлился красный огонь злобы.

В октябре камера ослизла, как протухшая падаль. Кукушкину казалось—он червивеет в ней, слизнет... И так будет всегда. А за воротами, только немного нешироких Кукушкинских шагов, мокрая улица, на голове у нее потное усталое небо, и люди идут одни, обходят грязь, вытянулись по улице черным гуськом... И будут они ходить с работы на работу, будут ходить так, будут останавливаться на мостках у кротегусных зарослей с острыми мечами перилец—и закурят, толкнут друг друга, засмеются...

Кукушкину захотелось пойти на Зеленый Луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы и понести оттуда к себе с блеклыми побегами на боках самовар для полуды. А дома, на кровати, в углу, в субботу захотелось вытянуть ссохшуюся за неделю спину—и так весело, устало полежать... И даже ходить по городу, искать работы, даже на черном ночном переулке попросить на хлеб—отрада, свобода...

Кукушкин перестал бить в двери. Он звал жандарма. Часовые смеялись за дверным веком.

— Отчаливай! Не приказано звать!

Он умолял.

— Говорят ведь!

Кукушкин лег на кровать, не вставал... заголодал... И тогда пришел жандарм.

— Отпускай меня!—пробормотал Кукушкин.

Жандарм строго и серьезно наморщился.

— Вы нам дадите нужные показания?

Кукушкин помолчал... отвернулся к стенке и злобно крикнул:

— Ну да, дам!

— Хорошо-с!

Морозный день, как золотая фелонь, повис над городом. Кукушкин пил морозное вино воздуха и быстро хрустел по знакомой дороге в Ехаловых Кузнецах.

„Кличка ваша Серый,—зудели последние слова жандарма.— Мы вас берем на должность осведомителя. Вот распишитесь в жалованьи. Двенадцать рублей. Будете хорошо работать— прибавим. Не скоро, но прибавим. Раз в неделю по субботам будете извещать обо всем... В мастерские поступите сторожем. Это устроено... Вас ждут“...

Кукушкин расписался, взял деньги и выскочил за ворота. Он сощурился на горевший чистыми серебряными грудами снег. Ноги помолодели, несли его легко и ровно. Снег пружинил под ногами и выдавливался из-под подошвы густым выходившим тестом.

В мастерских его ждали. Через проходную будку шли товарищи, трясли за руку и смеялись:

— Во Иордане крещающийся!

— Отбарабанил!

Кукушкин отучился глядеть в глаза. Он скользил по сторонам и косил.

— К носу, к носу гляди!—шутил Тулинов.—Видно, совесть нечиста! В тюрьме потерял... Ха-ха!

Кукушкин отшучивался, а сердце палило горчичником. И Егор, и Тулинов, и Сережка, и Кубышкин расспрашивали. Он рассказывал.

Старый Кубышкин позавидовал.

— Дурень! Дурень! Этакое, можно сказать, навалилось счастье! И накося! Срам, а не поведенье! В латарею ведь выиграл, в латарею!.. Пошто, пошто было отдавать?

— Через тебя и у нас шарили. У всех. Я в засаду попал. Зашел за тобой—и чок...—вспоминал Сережка.

Кукушкин молчал. Дежуря в будке, когда проходила вся смена, и мастерские за спиной грохотали, шипели, шуровали, Кукушкин ёжился на скамье, ныл молчаливыми думами, печально озирался, вздыхал, и будто кто-то говорил тихонько из каждой щели, из сучков, через крышу только одно слово:

„Серый! Серый! Серый!“

Он глядел из будки на высокое и чистое небо, на кужлявый в снегу город, но не было, но не приходила радость. Будка была той же камерой. Камерой казался и этот город. И это высокое чистое небо было крышей камеры. А не все ли равно: маленькая или большая камера для человека?

Первая суббота непоправимо подползла к Кукушкину. Злоба прошла, остался стыд и позор. Но в субботу после шабаша он пришел в жандармское и стал у дверей в кабинете.

— Показания надо давать в письменной форме,—строго выговорил жандарм.—Вы скупы на показания... Что вы молчите?

Кукушкин пошевелился и трудно передохнул.

— Все... было... благополучно...

— Странно! Мы от других агентов имеем другие сведения.

— Я не знаю.

— Помните,—и жандарм сжал кулак,—помните наши условия: или свобода или опять камера и... Сибирь! Привыкайте к работе... заводите разговоры... проникайте в кружки, на собрания... Мы следим за вами. Не думайте увиливать! Побольше, побольше инициативы, Кукушкин! А то...

Жандарм встал и подошел к нему вплотную.

— А то рабочие узнают про вашу секретную службу... Мы... сумеем распространить среди них... через наших старых агентов такой... маленький, маленький слушок... Да-с! Выбирайте! Вот! Ага! Уже страшно?

Кукушкин прислонился к двери и побелел, отталкиваясь от жандарма вытянутыми в ужасе руками.

— Да. Мы были слишком к вам доверчивы,—садясь на стул и упираясь глазами в Кукушкина, весело заговорил жандарм,— что выпустили вас, предварительно не опросив как следует, конечно, в расчете на будущее, когда вы... Я хочу сказать... выкинете из головы всякие прежние бредни и будете служить, как подобает настоящему служаке. Что вы знаете о подпольной типографии? Не приходилось ли вам оказывать какие-либо услуги Арону Зелюку?

Кукушкин свободно ответил:

— Нет. Я ничего не знаю.

— А сами вы ходили на собрания?

— Ходил!

— Адреса квартир?

Жандарм ёрзнул на стуле к столу и приготовился писать.

„Серый! Серый! Серый!“—заколотило в глаза, глаза ожгло, будто из глаз упали на щеки угольки и раздулись на щеках багровыми языками.

— В лесу,—тихо выговорил язык неправду...

И стало легко, ясно...

Жандарм недоверчиво всмотрелся в Кукушкина и положил карандаш.

— Что-то... это не так!..

Кукушкин холодно, спокойно, не отводя взгляда от насмехавшихся глаз жандарма, сказал:

— Я еще не успел... Я первый раз был в лесу. Тут... повредило руку... Тут... с этими... деньгами связался...

— Но кто вас приглашал в лес? И когда?

— Первого мая. Пошли все...

— Как так все? Кто все?

— Сами знаете, кто—Егор, Тулинов, Сережка... со всех заводов были ребята. На Прогонной ходили...

Жандарм исподлобья осматривал Кукушкина и пристукивал по столу пепельницей.

— И это все?

Кукушкин кивнул головой.

— Хорошо. В следующий раз поговорим более подробно.

Кукушкин бормотал, будто оправдываясь:

— Я что же? Я не привык...

Улицы шептали в уши:

„Серый! Серый! Серый!"

Но сердце мягчело и сладко ныло: прошла первая страшная суббота. А дома опять свалилось отчаяние, давило на впавшую грудь, хрипело пересохшим горлом и стыло в усталых замутневших белках красными сеточками бессонниц. В будке смеялись проходившие товарищи. Лицо у Кукушкина было как скошенная пожелтевшая лужайка. На лужайке прятались два жалких, охваченных заморозками, поблекших голубых цветка.

Кончив дежурство, Кукушкин бродил по городу, забирался на безлюдные пустыри, уходил на Чарыму, неся, как ношу на сгорбленных плечах, тоску. А за ним бродил другой, остерегающий человек. Кукушкин не оглядывался, но он чувствовал упорно смотревшие в спину два нанятых глаза. И в этом была радость...

„Не ваш, не ваш",—будто шептали губы.

Ночью в середине недели Кукушкин лежал на кровати с незасыпавшими глазами. Месяц зачерпнул ковшиком серебра и плеснул в окно, пролил на пол, обрызгал стену. Серебряные дорожки шевелились, ползали по комнате высматривающими сторожами. Кукушкин уставился вдруг на стену.

На гвоздике висела шапка с кожаным верхом, обсыпанная месячной пылью. Кукушкин привстал. Будто шапка отодвинулась от него сразу ровно на столько, на сколько он привстал. Он повторил: и шапка опять отодвинулась. Месяц закачался за окном, потемнел,—шапка ушла в полумглу и осторожно, медленно, таясь, то выходила, то пряталась... Месяц обогнал облака. Круглое серебряное блюдо месяца подлезло под шапку, и она рассеребрилась изнутри побелевшим мехом, чеканом верха и будто запередвигалась на блюде. Кукушкин вскочил, зажмурил глаза, наметился и вцепился вместе с гвоздем в шапку, сорвал ее, рванулся сам—и поймал шапку, сжал ее, засунул под тюфяк и лёг на нее. Серебряное пустое блюдо плавилось и плыло по стене, загибалось краями, тускнело, нагорала на нем мелкая чернь, кропила его... Кукушкин закрыл глаза на миг—и вместо блюда на стене был уже небольшой и потухавший шарик, потом шарик перевернулся в пазу в куриное яйцо, еще дальше прокатился по пазу в угол и остался надолго там серебряным наперстком.

Кукушкин давил собою шапку, и шапка будто рассказывала ему. В шапочную Мошкова пришел человек и заказал двадцать кожановерхих с серым кантом на сшивах шапок. Человек этот уплатил вперед за шапки и оставил Мошкову книжку с корешком. Заходили разные люди в шапочную Мошкова, подавали ему талоны и получали шапки. Мошков подклеивал талоны в корешок и выдал девятнадцать шапок. Двадцатую шапку забыли, талончики засунули, потеряли... Пришел Кукушкин и купил двадцатую шапку. Пришел опять тот заказчик за двадцатой шапкой, а шапки не было. Потопал у прилавка, погрозился—и ушел. Мошков посмеялся... А тут в ночь подкралась полиция... Искали талонную книжку, водили, возили на допросы Мошкова... По шапке Кукушкинской выловили девятнадцать карманников, двадцатый—Кукушкин—сам пришел. Сновали кожановерхие, серокантные на сшивах шапки на Толчке, в магазинах, в Гостином дворе, в конках, заглядывали в открытые пазухи с бумажниками, на брюшкà с золотыми цепями, на ридикюли, на тонкой женской ручке зевачие, стригли, высаживали, терлись в сутолоке... Завидев родную шапку, украв, совали, как в свой карман, в карман Кукушкинский бумажник, часы золотые, старенький кошелек с двумя двугривенными. Оттого и пришел первый заказчик: Кукушкин деньги воровские на двойное дно положил.

Кукушкин вспомнил, как жандарм открыл шкаф с шапками. И, вспомнив и засунув под тюфяк руку, ощупав свою воровскую шапку, он заплакал, грузно ворочаясь под грузными отчаянными слезами.

Кукушкин расклеился, расщелял, как судно, выкинутое разливом на речной берег. Судно набочилось, отскочили поперечины, перекосило обшивку, искоробило нутро, и киль отвалился.

„Серый! Серый! Серый!"

И опять пришла суббота. И опять пошел предавать.

Крадучись, вечерком, Кукушкин долго кружил около жандармского отделения—и не решался.

Шли январские гапоновские дни. В мастерские проносили прокламации, и Сережка совал ему первому. Покупал Кукушкин газеты, прилипал к черным пояскам букв, въедался в них слезившими глазами, и буквы, как клопы, наливались кровью. Был недавно в солдатах Кукушкин в Петербурге, на Загородном, ходил на Неву, грыз семечки в Александровском саду, стоял на Дворцовой площади долгие усталые часы на смотру и глядел на светлые царские окошки полнощекого румяного Зимнего дворца.

И Кукушкин вспомнил, не вспоминая. Выехал на коне со двора чугунный памятник—царский дядя Николай Николаевич,— и в сердце точно на площади рвануло во все стороны:

— Сми-и-рно-о-о!

Был тонок и писклив голос у царского дяди, будто у глухой бабы, и был царский дядя худ и прям и длинен, как древнее било, а на верхушке сидела маленькая, с кулак, голова. Он поехал по солдатским коридорам. Лицо его было и серо, и немо, и щербато, как дворцовая набережная. Глядя и не видя синими бусинками глаз, Николай Николаевич редко открывал рот—и тогда голос-пискун вонзался острым шилом:

— Здорово, молодцы!

Кукушкин опять услышал этот царский голос... И он побежал с Дворцовой площади вместе с рабочими, полез на решетку Александровского сада, накололся, упал в снег, пополз, а сзади пронзительно кричал Николай Николаевич, щелкая ладошами:

— Пли! Пли! Пли!

Кукушкин застонал. И вдруг он вздрогнул: кто-то подошел к будке, загородил свет, улыбнулся ему и протянул руку...

Кукушкин откинулся к стенке, отстраняя руками: перед ним стоял Николай Николаевич.

Кукушкин с криком вскочил—и сразу забелела в глазах чистая и пушистая пелена полянки. Он робко, не веря, улыбнулся, опустил потом глаза и не смел поднять их: шла суббота.

В мастерских днем была сходка, летучая, как один поворот колес. Ныла измятая простреленная рука. Но он был чужой, он был враг.

„Серый! Серый! Серый!“

И он, Серый, должен был явиться сегодня...

Кукушкин решился. Он подошел к двери, потрогал холодную медную ручку... Дверь раньше растворилась, и на улицу прохромал Клёнин. Кукушкин обмер. Вдруг улица будто зажглась тысячами бесстыдных фонарей... Глаза ударились о глаза. Он крикнул. Клёнин только поднял руки на голову, а Кукушкин уже подсек хромую ногу пинком, плюнул в лицо, ударил, закричал:

— Преда-а-тель! Преда-а-тель!

Кукушкин долго топтался остервенелый и страшный, царапал лицо, впивался в Клёнина неразжимающейся рукой... Клёнин катался по земле и виновато твердил:

— Кукушкин! Кукушкин! Кукушкин!

Из жандармского выбежали жандармы, отволокли Кукушкина, подняли Клёнина и под руки увели в подъезд. Кукушкин вырвался—и кинулся в темноту. Закричали вдогонку:

— Стой! Стой!

Ахнули бегучие наганы... Пронеслись, как большие камни, пули. Семенил дребезжащий нагоняющий шлёп многих ног... Кукушкин уходил. Он выскочил на Прогонную улицу. Погоня отстала. Кукушкин вдруг остановился, прижался к круглой афишной вертушке, постоял, подумал...

На крутом спуске звенела желтыми вечерними огнями конка. Кукушкин пошел ей навстречу. Он долго стоял у рельс... И отшатывался на трензеля звонков. Так и шли мимо и уползали от него конки. И не уползли. Кукушкин огляделся кругом, махнул рукой и нырнул под такую тяжелую, толстобокую, громыхавшую железными круглыми лапами конку.

Кондуктор схватил рычаг. Конка поперхнулась... Осадила... Но прежде она уже наступила на Кукушкина, чмакнула густое мясо, забрызгала кровью лошадиный зад и коротко, торопливо, наспех крикнула...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Был один такой февральский день тысяча девятьсот пятого года... Перегнулось на землю высокое желтившее солнце, дуло оно негреющим огнем, прыгало зайчиками по шершавым зимним рамам и топилось куполами колоколен. На широкой столешнице снегов сияли, как крошки, просыпанные солнцем, самоцветные каменья. Ядренели стальными болванками дороги вдоль и поперек Чарымы. Придорожная ель крест-накрест вешила Чарыму, придорожная ель сыпала легкую серебряную порошу, а пороша играла на солнце в длинных и запутанных коридорах дорог голубеющими искрами. Коровинские мельницы стояли в белых мехах: будто мельничьи избушки надели беличьи уханки, и концы уханок повисли мельничными крыльями.

Мастерские, с начищенными латунью окнами, будто покачивались на причалах, а трубы жадно дымили перед долгим и далеким путешествием. На высоком заборе заиндевели широкие шляпки гвоздей; тянулись они пылавшими, огненными строчками.

Город с поседевшими горбатыми крышами искрился за полянкой: будто Млечный путь упал с неба и изогнулся на крышах. А земное солнце—собор Софии—поднимался в середине пятиглавой золотой люстрой. Озябшее дно небесной купели румянело и текло с покатых краев легчайшими шкурками облаков...

Был такой морозный, ясный, знобкий февральский день тысяча девятьсот пятого года...

Начальник мастерских инженер Четыркин обходил с мастерами цехи. Надет был на нем синий суконный полушубок с барашковой опушкой по вороту и на рукавах. На тонкой талии морщили боры, и полы спускались короткой юбкой. Четыркин держал обе руки в боковых нагрудных карманах. Шел он прямой и крепкий. Из-под форменной с топорами и якорями фуражки двоились крупные медали глаз. Яркие и злые, будто у дворняжки над костью, вспыхивали они на мастеров, упирались коловратами на работавших и кланявшихся рабочих. Четыркин не отвечал на поклоны, словно цехи были пусты, и станки работали сами собой. Четыркин кричал в громыхании станков, молотов, кувалд, останавливаясь перед застывшими твердо мастерами:

— Не вырабатываем! Я говорю: не вы-ра-ба-ты-ва-ем! Не вырабатываем нормы! Сбавить расценки! Удлинить рабочее время! Сменить бригадиров! Выгнать лентяев!

Четыркин топал ногами и вздувал в нагрудных карманах кулаки. Он подходил вплотную к станкам. Руки работников сдавали, путались...

Три раза в неделю приходил Четыркин в мастерские, три раза в неделю проходил он незадолго перед обеденным свистком по цехам. Рабочие видели—старел Четыркин у них на глазах, менял полушубки и всегда щеголял новенькой инженерской фуражкой. А голос был все тот же, нестареющий,—голос-орун,—и светлые медали глаз не отвечали на поклоны.

Сегодня, в этот февральский день тысяча девятьсот пятого года, загудел над крышами мастерских полуденный гудок: и остановились враз токарные, слесарные, столярные станки, поднялись молота, кувалды—и не ударили, замер паровозосборный, догремливая последними молотками на заклепках... Рабочие, оббегая друг друга, торопились к выходу, в деревообделочный... Вошел туда и Четыркин. Вошел—и наморщился. Мастера переглянулись. В деревообделочном густо и жарко подымалась под блузами, под рубахами, под пиджаками огромная, как разорванные меха, грудь. И как вошел Четыркин, осенними станами птиц над сжатыми полями толкнулись рабочие, надавили грудями на спины, качнулись, будто поплескалась в озере вода... И гул, как запертый за дверями ветер, взвился под высоким железным сводом, разорвался, вскрутил над головой Четыркина, над убавившими рост мастерами. Четыркин выдернул руки из заповедных нагрудных карманов, только успел поднять их к глазам, только успел крикнуть...

Сзади, спереди, с боков пропорошил сухой пар опилок. Словно многие тарантасы, двуколки, ломовики застучали по каменной пыльной дороге. Четыркин, мастера захлебнулись пылью, а тысячи ног застучали, загромыхали колесами, поехали, забились на полу...

Тут Егор набросил на съёжившуюся в воротник голову Четыркина черный угольный куль... Он быстро продернул его вниз, шатнул Четыркина, тот растопырил локти, локти рывком смяли, Тулинов кинулся, ухватил куль в обхват на животе—и сдавил. В куле мотался из стороны в сторону, будто пойманный зверь, Четыркин, бодал головой, чихал, кренил куль и взад и вперед, а рабочие, трепеща, задыхаясь, закричали, загоготали:

— А!.. А!.. А!..

И снова тарантасы, двуколки, ломовики, дроги с рельсами поехали по полу... Четыркина взмахнули кверху, остановили на воздухе—и понесли на руках. Черный угольный куль сыпал мельчайшую угольную дробь в прорешки рогожи, пушистое мочало свисало темной бахромой и черно́ пылило... Четыркин извивался на руках и кидался ногами. Тогда подскочил старый Кубышкин, ухватился за ноги, просунул между них голову, положил их к себе на плечи, твердо сжал и засмеялся:

— Кавалер, кавалер, не трепыхай зря!

Как справлялись с Четыркиным, схватили другие двух мастеров, кашлявших в опилочной пыли и дравших глаза царапавшими пальцами, схватили и надели кули, умяли сверху... Мастеров понесли. Третий мастер Сидельников раньше присел, выпятился задом из деревообделочного и побежал.

— Лови, лови Сидельникова!—гаркнул Сережка.

За Сидельниковым задребезжали торопливые ноги. В токарном Сережка швырнул ему на дорогу кусок железа, Сидельников запнулся и упал. Сели на него, сдернули пиджачишко, завернули на голову, Сережка вырвал помочи из-под Сидельниковской жилетки и закрутил ими пиджак на голове.

Подталкивая и пиная в зад, таща за руки, погнали бегом Сидельникова...

На широком солнечном дворе черные кули мотанулись над головами и стали укладываться на подогнанные тачки.

— О-го-го! О-го-го! — ревел праздничный, веселый рабочий люд.

— Открыва-ай ворота!

— Музыку! Музыку, ребята!

— Сидельников-то! Сидельников-то! Ха-ха! Одёжу выворачивает! Да-а-й ему под окорока!

Четыркин закрыл лицо руками в куле.

— Тро-о-гай!

— Кати-и!

Грянули на губах, грянули в полосовое железо, железо кровельное, застучали в доски, в ведра, затопали о землю. Старый Кубышкин ухмыльнул и заскрипел тоненьким голосом:

Во лузях, во лузях,
Во зеленых во лузях...

Подхватили глотками, голосами, глазами, руками... Тачки покатили, разгоняя и разгоняя колеса...

— Урра! Ура-а! Урра-а-а!

— Улюлю! Улюлю! Улюлю-ю!

Рабочие бежали о-бок тачек, кидали снегом на кули, совали летучие совки и били-били-били в железо кровельное, в доски, в ведра. Будто валились крыши мастерских, станки, машины, верстаки, будто кричал весь мир всеми своими гневными голосами.

Тачки скрежетали, скрипели колесиками... И, казалось, зачем-то колеса пробирались к телу, хотели размолоть, искрошить его, как мясо в мясорубке. От мастерских до ворот дорога, казалось, была так бесконечно долга, будто вторая прожитая жизнь, будто десятилетия сели на плечи незабываемыми короткими минутами тачечной гонки.

Тачечный поезд выскочил в открытые ворота... Егор первый скинул Четыркина в снег. На него свалили остальных, и на молчаливые черные кули посадили верхом Сидельникова.

— Груда мала! Груда мала!—ревели сотни голосов.

— Урра-а-а!

— Счастливо оставаться!

— Ха-ха! Ха-ха!

И еще раз загрохотали железным оглушительным боем кровельное железо, ведра, доски. Музыканты скакали вокруг кулей и притопывали ногами.

— Товарищи!—выкрикнул Егор.—Будет! Дело сделано! По домам теперь—щи хлебать. Кому через проходную—замкните ворота... И тачки на место...

— Ур-а-а! Урра-а-а!—покатилось над сверкавшей самоцветными крошками снежной поляной.

Музыканты швырнули на кули инструменты—и рабочие покатились к городу.

По узким дорожёнкам вырос черный людской кустарник. Он быстро шел, бежал, скакал и размахивал застывшими на морозе ветками—руками. Тачки скрипнули колесёнками, ворота согласно и жирно подскрипнули широкой глоткой полотнищ и петель, стукнул вкладываемый изнутри деревянный запор, шмыгнули хрустящие шаги на снегу—и все стихло, остановилось...

Сидельников давно съёрзнул наземь, и несмело развязывался дрожавшими руками. Мастера прислушались... Они вылезли и не смотрели друг на друга, шаркая зауглившимися

руками о снег. В куле Четыркина что-то колыхалось и ныло тончайшим собачьим скулением. Сидельников развязался и потащил за куль Четыркина.

— Петр Петрович! Петр Петрович! Мы вот сейчас!.. мы вот сейчас!

— Не троньте меня! Не троньте меня!—застонал Четыркин и держал внутри куль.

— Петр Петрович! Ка-а-к мо-о-ж-но?

И с Четыркина сняли куль. На снегу сидели три трубочиста. Сидельников дико взглянул на них, отвернулся, зажал рот и, отбежав, стал давиться смехом. Четыркин размазывал черную сажу слез на щеках, в подглазниках, на ссадинах. Угольная пыль казались еще темнее на белой поляне.

— Боже, какой позор! Какой срам!—хныкал Четыркин.

— Петр Петрович, успокойтесь! Не мы первые, не мы последние! Из Америки переняли способ наши... дуроломы!

— Ничего поумнее... своего... не могли выдумать.

Мастера отряхались, торопливо мокрыми руками гладили себя по лицам и осматривали друг друга. Сажа въедалась в лицо и не сходила.

— Пойдемте в контору. Там приведем себя в порядок. Все рабочие ушли на обед.

Мастера встали около не унимавшегося Четыркина. Он замахал руками и закричал на них:

— Оставьте, оставьте меня одного!

— Петр Петрович! Петр Петрович! Ка-а-к же так оставить вас одного? В таком виде...

Тут подскочил Сидельников суетливо.

— Я принесу воды. Сбегаю в контору.

— Уйдите же!—жалобно просил Четыркин.

Он взглянул на замазанные сажей руки, положил их на колени и вяло перебирал пальцами. Полушубок пачкал. Опушка на рукавах была черна и отливала темно-сизой блиставшей крупкой. Разорвался по шву карман, и сыпал уголь в разрез. В ногах лежала скомканная фуражка с продавленным верхом. Инженерский значок—топор и якорь—съехал на козырек и держался по тулье на одной зацепке. Четыркин провел по зябнущему бобрику головы, а бобрик был шершав и грязен, бобрик был как неподметенный пол. Зад холодило от снега. Будто снег набрался под загнувшийся полушубок, набился в штаны, лез от зада на стынувший и мертвевший хребет. Зачесало под

барашковой опушкой на воротнике, царапнуло шею... Четыркин сорвал петлю у ворота и вытряхнул насевший пласт угля. Повалились кусочки за рубаху и застряли у пояса холодной дресвой. Четыркин постонал и качнулся глазами. Черные кули лежали рядом тремя грязными кочками. Один куль разел угольную пасть и словно глядел на него. На примятом снегу была посеяна мельчайшая глянцевая пудра. Оглянулись на него входившие в улицы рабочие—и полянка запустела. Только сидел один Четыркин с черным мокрым лицом, перебирал пальцами на коленях и раскачивался, посовываясь головой.

Перегнулось солнце с неба на землю, горела софийская золотая люстра над городом, метали тихие огни громоздившиеся перед глазами крыши, снеговая столешница переливалась самоцветными камнями, и по забору солнце прострочило заиндевевшие шляпки гвоздей. Вокруг, вот едва отодвинуть глаза от кулей, от изогнувшихся листов железа, от почерненного снега, была чистота и ясность, была золотая свежесть дня—мирная, торжественная и глубокая. Четыркин почувствовал вдруг, как закололся уголь на поясе, как сдавило горло набравшейся сухой перхотью опилок, как захотелось укрыться от морозного, обнажавшего донага солнца, от пролетавшей птицы, провлачившей по снегу темную летучую тень куля.

Сидельников торопился с водой. Но Четыркин встал, расправил изломанную фуражку, сорвал значок с тульи, откинул его в сторону, запахнул полушубок и медленно пошел поперек поляны к голубевшим чарымским проселкам.

— Петр Петрович? Петр Петрович?

Четыркин повернул негритянское лицо к Сидельникову, искосился, махнул рукой и заторопился, ныряя в хрупком насту. Сидельников встал с ведром у забора и будто замороженными глазами глядел ему вслед.

На послеобеденный гудок опять вырос на поляне человеческий кустарник. У ворот стояли городовые. Сторожа убирали кули, перекидывая через забор. Жадно и густо дымили трубы мастерских, споро грохотали и гремели станки, наковальни, молота, и как сотни зеркальных лучивших отражателей были усталые глаза рабочих в токарном, механическом, деревообделочном, котельном, вагонном цехах.

Четыркин шел чарымским проселком, не подымая глаз с обкатанной стеклянной дороги. И он наткнулся на морду лошади. Лошадь захрапела и в испуге свернула в снег. Из-за хвоста

поднялся мужичий армяк, дернулась рука к вожжам, и голос злобный, матюшливый, как плетью, оплел ему шею.

— Заброда! Черной лешой! Чего лошадей пугаешь? Огрею вот ременницей!..

Лошадь, кося круглым, будто яйцо, глазом, обнесла дровни стороной и вывернула далеко от Четыркина на дорогу. Армяк кричал сзади и грозился кулаками.

Четыркин шел, запинаясь о намерзшие бугорки лошадиного кала, о выдавленные копытами, как цукаты, комки снега. Ноги у него разъезжались, как у старой тридцатигодовалой извозчичьей клячи. Вдалеке от Николы Мокрого, по ровняку дороги, шли обозы, бежали за возами собаки, трусили мужики... Четыркин испугался, повернул обратно. И тут нагоняли обозы, отходившие от городской заставы. Четыркин остановился, обвел глазами крепыши снежных сугробов по Чарыме, увидал на неблизких луговинах стога—и повернул к ним прямиком. Ноги лыжили по насту, снег оседал—и держал... Он добрался до стогов, обдергал боковину у одного стога, сделал нору и залез туда...

И будто в сене ухоронилось, в каждой сенинке, июньское сенокосное солнце. Тепло шло сверху, снизу, с боков. Четыркину стало сначала жарко, потом от тела отлёг пот, и ровное нежное румяное тепло запалило кожу. Четыркин прилег щекой на сено, подвернул к подбородку горячие ноги и пролежал в норе до темна. Сороки тормошились на шлемах стогов, перелетали на низкий ельник рядом, прыгали у норы и тревожно кричали. Четыркин шевелил ногой—и сороки подымались свистящими стрелами. Он не заметил, как сороки целый день, не уставая, заглядывали в нору, и как целый день он шевелил ногой и пугал их.

К сумеркам поднялся ветер, и мимо стогов с луговин, с Чарымы понесло тонкую шипучку снегов. Вместе с сумерками, с зачинавшейся метелью Четыркин вдруг понял, понял в первый раз как начал жить, что рядом с ним жили на свете другие люди. Ходил Четыркин один-одинёшенек на свете, не видел, не замечал никого, три раза в неделю обходил мастерские, обходил месяцами, годами, возвращался домой и забывал суетливые рабочие руки, спрашивающие глаза мастеров и грохот машин, кативших для него неустающие колеса. Четыркину стало жаль себя, стало жалко ушедших в прошлое многих слепых годов, когда он был только один на свете. И Четыркину показалось—кто-то сказал ему в норе:

„Ах, Петр Петрович, конечно, навсегда“.

Четыркин сразу услышал клейкий и острый запах угля, рогожи, услышал железную музыку, и старенький тихий задорный голос запел в ушах:

Во лузях, во лузях, во зеленых во лузях
Вырастала трава шелковая...

Четыркин пролез в метелившую загородь, постоял, испуганно оглянулся... Со всех сторон вила, крутила, рассучивала метель белый лен. С Чарымы несло снежные лоскутья, лохмотья, пояса, а с луговин развертывались куски за кусками холсты.

Четыркин трудно и долго выбирался на дорогу. Крадучись, он шел мимо мастерских. Горели белыми огнями сотни окошек, дрожали, как вывшая вокруг метель, корпуса, дым труб смешался с вечерней темнотой, только пахло в метели гарью и дымом.

Четыркин захлебнулся в хлеснувшей рукавом метели. И за метелью он увидал рядом с собой обгонявших его двух людей. Они наклонялись вперед головами, точно бодались с метельным усатым ветром.

— Вывезли... на тачке... сегодня... Четыркина,—говорил один раздельно, будто выпуская из окна белую бумажку на ветер.

И другой, так же срывая слова, говорил:

— Давно... было... пора. Его... негодяя... убить надо...

— Тачка... хуже... смерти...

— В куле... Носом... в уголь... тыкали...

— Кошку... тычут... в послед...

Четыркин прижал в нагрудных карманах ладони к сердцу. Оно заколотилось, будто просилось выпустить из-под полушубка. И эти горевшие белыми саванами огней корпуса тогда стали Четыркину как прошлая, сегодня навсегда законченная жизнь. Он побежал...

Метель жужжала в ушах, в носу, над фуражкой, на барашковой опушке воротника.

Закрываясь от прохожих, Четыркин закоулками дошел до своей квартиры—и позвонил. Прислуга, вспыхнув на парадном электрическим светом, открыла дверь. Четыркин проскочил на лестницу, не слыша, как ахнула прислуга на негритянское лицо его и присела у недоуменных дверей.

В передней Четыркина встретила жена и протянула к нему заломленные руки:

— Петя! Петя!

А Четыркин опять размазал на лице сажу, всхлипнул и три раза тихо сказал:

— Куль! Куль! Куль!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

На Чарыме обсыхал летами маленький каменный остров. Был он в пяти верстах от города. Приставали к нему в непогоду рыбаки, и жили на нем чайки. Туда ночью и выехали на лодке товарищ Иван, Егор и Тулинов.

На острове полыхал костер. Будто загоралось озеро в одном месте, вспыхивало и не могло загореться пожаром. Огонь вспыхивал и утихал—и тогда казался он маячной лампой на бакене. Тулинов греб, упираясь в вязанку собранных на берегу дровишек. Егор правил. Товарищ Иван неподвижно сидел в середине лодки и молчал. Под лодкой слабо курлыкала и переливалась вода. Весла черпали ее широкими ладонями и мерно стучали на уключинах. Лодка, сбиваясь в темноте с дороги, гнулась, как гибкое тело, под кормовым веслом, костер и лодка, казалось, плыли друг другу навстречу.

Огонь становился все различимее и яснее. Застраняли его порою спины. И тогда лодка шла на розовевшие отсветы в темноте. На полдороге осторожно сменились: Егор перешел в весла, Тулинов на корму.

Подъезжая к острову, Егор три раза свистнул. И три раза ему ответили. Лодка вошла на освещенное полотно воды. Сережка наклонился с каменистого шершавого берега и схватил лодку за нос, уберегая от камней. Он подержал лодку, покуда из нее выходили, а потом все вместе подернули ее на берег и навалили на железную цепь грудку камней.

У костра было густо народу. Поворотились к приехавшим— и ждали, разглядывали. Старый Кубышкин потеснился на камне и дал место товарищу Ивану. И сразу зашептал ему в ухо:

— Со всех заводов ребята есть. Дело наклевывается. Ребята все наподбор. Егор, как цыган лошадь по зубам узнает, мастер людей нюхать.

Рассаживались кружком у костра. Сережка подкинул дровишек. Заглухавший костер повеселел, засмеялся золотым ощером углей, зафукал красным роем пчел, повалил мохнатый спутанный дым, покидался туда-сюда, начал укладываться к земле и закурил пиджаками, картузами, кисетами.

Тулинов закашлялся, товарищ Иван отмахивал дым, другие низко наклонялись в колени, а Кубышкин выругался:

— Пошел, пошел, едун! У меня, братцы, глазной закат. Будто кислое яблоко на зубах дрызгает... Не кидай больше горючего. Одной лампады нам хватит. Неровно́ рыба-кит выплывет со дна на огошек.

— Кит о двух ногах.

— Совсем и огня не надо. Собрались все...

— Полиция верные сообченья имеет от провокаторов... Поди, ищет?

— Глаз бы друг дружке не выколоть—и ладно.

— Дело минутное. Каждый знает, для чего собрался.

Сережка потоптался тогда на костре и две большие головешки выкинул в воду. Костер перестал дымить. Огонь копался в золе и шипел, как кипучая вода между камней.

Товарищ Иван вынул из кармана вчетверо сложенный листок, качнул пенснэ на переносице и подвинулся к огню. Все уставились на белый смятый листок, будто держал в руках товарищ Иван не виданную никогда раньше вещь.

— Мы, товарищи,—заговорил он,—в прошлый раз обо всем дотолковались. Повторяться не к чему. Собираться больше не станем, покуда не проведем на местах намеченное ранее. Сегодня выслушаем только последние сообщения с заводов и выработаем наши требования.

Товарищ Иван замолчал. Егор прибавил:

— Завтра надо приступить к делу. Всё уж обмозговали. Затяжка—вред. Долго ожидать—старость придет. Фабриканты подготовятся. И стачка пойдет хуже. Врасплох на медведя наскочишь, он медвежьей болезнью всю дорогу изгадит; в лоб да с подходцем итти, ружьем дразнить, встанет на дыбы и под себя подомнет.

— Дай мне поговорить,—тут перебил Кубышкин.—Не ндравится мне тары-бары растабары. Ребята все готовы. Сам знаешь, мастерские у нас гудут, будто ветер в трубе гу-гу-гу-гу... Кой чорт! Чего тут прохлаждаться? На других заводах тоже в носу не чешут. Ждут только сдвинуться с места.

— И у нас!

— Мы готовы!

— Разводи пары!

— Выйдем!

— Примкнем!

— Нас снимайте!

— Не отстанем!

Товарищ Иван начал опрашивать заводы. Говорили коротко, будто рвали слова, совсем не отвечали, а кивали головой. И Кубышкин веселился:

— О! О! Чем не солдаты?

А Егор спросил:

— Кому, товарищи, начинать?

— Мастерским!

— Кожевенному. У них свисток больно звонок!

— Ткачам!

— Кому, как не ткачам: пятнадцать тысяч народу. Тряхнут мощной—наводненье на Зеленом Лугу.

— Гляди, горит как дворец-то у них! Будто поп в ризе. Башка-то соборной камилавки выше.

— А мы—будто плоты по земле плывут. Червяки, а не огни у нас. И народу щепотка.

— Может, не загадывать, ребята,—у кого раньше выйдет!

— Сказал, дядя, тоже чушь. Тут разноголосица и получится!

— Не шутку затеваем.

— Бабам трепать у колодца впору так языком.

— Наметить беспременно надо.

— Мы начнем,—сказал твердо ткач.

Он сидел поодаль на большом камне и сверху смотрел на красную жаровню костра. Будто все сразу пересели с места на место и оборотились к нему.

Чарыма тихо шевелилось о гладкие камни, зевало во сне легчайшей зыбью и закутывалось темным одеялом ночи, подтыкаемым в берега. Лодки горбатыми рыбами, вынырнувшими из-под камней, ходили на привязи. Островок, как вершина каменного дерева, вцепившегося корнями в озерное дно, покачивался спросонья. А над ним повисли с неба серебряные кисти звезд. В дальней черни неба сияла и моргала бесконечными серьгами, четками, бусами, ожерельями ткацкая фабрика. Ткач, а за ним будто все—глянули на сонмы ночных огней фабрики и будто прислушались: не кричит ли завтрашний

тревожный и радостный гудок. Снижаясь до грудей, до пояса, до колен ткацкой фабрики, прижимались к ней и справа и слева нечастыми огнями другие заводы и фабрики маломерки.

— Товарищи!—говорил Иван,—на каждой фабрике и на каждом заводе есть свои особые нужды. Пускай отдельно их и предъявляют на местах. Обсуждать нам их незачем. Так и примем. Заготовлены требования?

— Есть!

— Уложено все как следоват!

— Ясно—у токаря одно, у слесаря другое, у кожевенника не похоже на молотобойца!

— Но есть общие требования,—перебил товарищ Иван,—с ними надо выступить от всех фабрик и заводов. Их нам надо разобрать. Прошу высказываться!

Торопясь, захлебываясь, дыша над костром цыгарками, сгруживаясь в черные глыбы, рабочие обсуждали счета Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов сверкавшим вдали фабрикам.

— Администрацию долой!

— На тачки ее! Запором от ворот!

— Мы Четыркина с мастерами вытряхнули!

— У нас завтра вывезем!

— Третьеводни мастеришка мы одного за ворота пинком!

— Ночью не работать! С бабой поспать некогда!

— При огне работы хуже нет. Глаза, будто иголкой, подтыкает свет. Тяжело ночью. Развозит, как два дня проработал без отдыху.

— Спят все дьяволы на свете, а ты, будто фабрика—пароход: у топки стой.

— Прибавки!

— Прибавки!

— Прибавки!

— Жрать нечего. Штаны свалились. Один гашник остался. Ребята одни сапоги на пятерых на разных ногах носят. Выпить не на что. На ночь баба перестирывает одно и то же бельишко, покуда не останутся одни кромочки. Брюхо будто в тюрьме от голоду.

— Прибавки!

— Прибавки!

— Расценки крепкие. А то кисель... Али студень... Ростепель на дороге... Кармана своего не знаешь. Карман твой в хозяйском животе под жилеткой.

— Как дождик осенью,—то зарядит, то ясно.

— Собаку будто куском дразнют: дадут, а то и не дадут!

— Мало, да верные! Штобы распорядиться я мог своими семитками.

— Скоту и тому дают одинаковую дачку. Худой хозяин не доглядит за животным—брюхо и подведет у скота...

— Двенадцать часов машине тяжело работать, не только человеку. Кости не железные у нас!

— Придешь домой—ни еда тебе, ни сон впрок не идут!..

— На детей некогда поглядеть!..

— Братцы, зачем и родиться было, ежели жизнь не для тебя, а для других, ежели жизни не видишь. В темнице... в башне сидишь.

— Восемь часов!

— Восемь часов!

— Восемь часов!

— В восьмерку я выработаю столько, да пол-столька, да четверть-столька!

— Знамо дело!

— Товарищи,—шевеля листок в руках, заканчивал Иван,—организация завтра отпечатает эти требования и распространит.

— Не все, не все!—выкрикнул Сережка.—Царя бы... к чорту! Министров!..

Рабочие засмеялись. Кубышкин ёрзнул на камне.

— Об них речь опосля!

— Кубышкина в цари выберем!

— А тебя в наследники!

Старик кинул в Сережку картузом. Сережка поймал картуз и сунул к себе за пазуху.

— С крестным ходом! До города не отдам, старичина!

Кубышкин махнул рукой, огляделся, ухмыльнулся, стащил с Тулинова картуз и надел на себя. Тулинов вздрогнул, схватился за голову, засмеялся—и остался сидеть так. С Сережки кто-то сзади сорвал картуз и швырнул в темноту. Рабочие засмеялись, меняясь картузами и быстро шныряя руками над костром. Кубышкин прижал картуз на макушке и перегибался в сторону, вытесняя Ивана. Улыбаясь, товарищ Иван встал с камня.

Чарыма медленно и лениво переодевалось. Обозначались смутными пролежнями берега, а на них черными кучами,

кочками осоки, камыши. Ветер начал поддувать от Николы Мокрого, из Заозерья, с Лысой горы, от Василия на Етке. Он шатался, не находя дороги, подгонял ёжиком зыбь, подхлестывал на пути островок и будто относил его со своего места.

— Пора, ребята, по домам,—вдруг сказал Клёнин.—Как бы на полицию не наткнуться. Она шнырит...

Егор, Тулинов, Сережка, Кубышкин переглянулись. А Сережка подошел сразу к нему и тихонько сказал:

— Ты погоди: дело есть. Наши поедут последние. Все сразу—место хорошее—полиция расчухает...

Клёнин присел на хромоножке и ничего не ответил.

Лодки отталкивал от берега Анс Кенинь, откидываясь назад и налегая грудью. Чарыма катилось к городу. В корму, в спину дул попутный ветер. Три низко осевших восьмерика быстро уходили, правя к берегу. На виду подрастал водяной бобрик, и скоро лодки, казалось, вывернулись из-под людей, люди сидели на воде, их несло, топя и окидывая брызгами. Ранний предутренний туман начал вылезать со дна. С неба заскользили бледные кисеи, они наматывались одна на другую. Над выцветавшими мельканиями ткацкой фабрики с маломерками будто пошел снег и закрыл их, запорошил хлопьями.

— Ну, какое еще, ребята, дело? Пора спать!—лениво зевая, сказал Клёнин.—Фуксом я попал сюда. Не для чего совсем. Кажись, все накручено на катушку!

Тогда на шею легла ему, тяжелая, упругая, как гибкий очеп, рука Анса Кенинь. Клёнина окружили.

— Понял теперь?—крикнул, плюясь слюной, Тулинов.

Клёнин пожижел и побелел, как туман, обволокавший остров.

— Что вы, что вы, ребята?

— Провокатор!—загремел Егор.—Предатель!

Старый Кубышкин наклонился к земле, выбрал с острым мысом камень, забормотал, дрожа бородкой и головой и просовываясь к Клёнину.

— Дайте, дайте мне, старику, первому размозжить ему голову!

Кубышкина обнял Сережка и вытряхнул у него камень.

— Погоди, дедко, успеешь... Дай допросить.

— Я... я... нет,—не глядя ни на кого, трудно выговорил Клёнин.—На меня наплели!..

Потом он быстро приподнялся на хромоножке, выпрямился и закричал дико, отчаянно, краснея и натуживая горло:

— Давай очную ставку! Кто, кто, кто сказал?

Чарыма плеснулось, захлеснуло крик, он улетел к пустым берегам, в осоки, в луговины, перекликнулся там и стих...

Сережка засмеялся. Анс Кенинь сжал зубы. Они не укладывались один на другой, соскальзывали и стучали.

Егор допрашивал:

— За сколько ты нас продавал? С какого ты времени торговлишку открыл?

— Ты... ты не ходил в жандармское? — рыдая, спрашивал Тулинов.

Старый Кубышкин визжал:

— Ты... ты не говорил на Кукушкина?.. Не он, не он Иуда, а ты!

Анс Кенинь тряс Клёнина за шиворот. Голова его моталась на жилистой шее, и ножка, уставая стоять, приседала.

Спокойно и резко говорил Егор:

— Не отпирайся! Аннушка тебя видела у жандармского. Мы не поверили. Выследили тебя. Я тебя выследил... И Сережка. Сегодня ты донес бы о забастовке?

Клёнин молчал. Со всех сторон вцепились в него руки. Все дрожали. И под дрожащими руками Клёнин тихо шатался, словно падал, и ему не давали падать, держали его на ногах.

— Сволочь, говори! — заревел над ухом Анс Кенинь.

Клёнин моргнул глазами... Глаза шмыгнули между плеч и голов на Чарыму. Все было бело вокруг, непроницаемо, узко. Клёнин увидал нос лодки, уключины, всплеснувшие руками весла, а кормы уже не было видно. Клёнин жалобно и злобно выбросил, как камень в воду, отчаянный вопль:

— Спасите! Спасите!

Сережка схватил его за горло, давнул и перервал крик. Анс Кенинь тяжело ударил сверху по темени. Клёнин охнул, юркнул головой вперед и прикусил язык. На губах выдавалась красная пена, и в лузгàх лопнули один за другим маленькие пузыри слюны.

— Завязывай его, завязывай! — завизжал старый Кубышкин.— Пора, пора ему помирать!

И еще раз спросил Егор:

— Не скажешь ничего?

И опять завопил Клёнин:

— Караул! Караул! Спасите!

Анс Кенинь зажал ему рот рукой. Тулинов и Егор вывернули ему руки назад. Сережка торопливо полез в карман, вытянул тонкую бечеву и скрутил руки. Старый Кубышкин вцепился в лицо и густо харкнул ему в глаза. Клёнин завертел глазами и встряхнул головой.

— Иуда, — стонал Кубышкин, — хуже Иуды...

Клёнина столкнули на камни, прижали... Сережка скручивал бечевой ноги. Клёнин вытерся щекой о камень и смазал харк. Он будто перестал понимать, думать. Он только лежал на земле, а над ним толклись какие-то посторонние ему люди, связывали ноги, совали ему в карманы пиджака, брюк, за пазуху камни. Клёнин вздрагивал от холодных, коловших тело камней, но свыкался, шевелился, укладывая движением удобнее камни на груди, на боках... Над ним говорили шопотом, и шопот дрожал:

— Не всплыл бы?

— Где же с таким грузом?

— Щуки и окуньё полакомятся.

— Щуки нет... Окуни—те хорошо клюют на мясо.

— А раки не откинут.

— Гад ведь какой, ребята!

Клёнин слушал, различал голоса Сережки, Егора, Тулинова. Ныл во рту прокушенный язык, дёргало под коленком на хромоножке, а глаза глядели будто отпотевшими, ничего не видевшими осколками зеркала.

— Надо отвезти поглубже...

— Спустим ногами...

— Пузырь ему нальёт, он стояком на слёжку и встанет на дне...

— Не накрыли бы, ребята, нас на берегу?

— Знает полиция али не знает про собрание на острове?

Тут Клёнин заморгал-заморгал глазами и, будто его спрашивали, спокойно сказал:

— Знает.

Вязавшие руки остановились. Но Егор засмеялся.

— Откуда она знает? Я его позвал на заводе вчера, а места не сказал. Сережка за квартирой следил. Клёнин сидел дома. Буди огородами вылазил, да не к чему ему было огородами. Сережка за ним зашел и привел.

— Да. Тогда не знает.

Клёнин вздрогнул. Он прищурился на Егора насмешливыми глазами, но от каждого слова Егора глаза разворачивались, умирали и круглели ужасом.

Сережка весело шутил:

— Ничего у тебя не выходит, Клёнин! Облапошили мы тебя... Долго ты не давался. По случаю пришелся. Веревочку сам на себя нёс... Мы с Егором по шпионской части тоже доки. Большая докука будет жандармам.

Клёнин сморщился. Из глаз выкатились слезы. Тулинов начал хлопотать:

— Пора, ребята! Больно долго возимся с прохвостом... Себе дороже. Бери, Анс, за голову, а я за ноги... Нагрузили камней много. Пожалуй, не унесем! Сережка, ты главной камень у ног-то поддерживай на весу! Мне не осилить зараз всего. И в лодку всем нельзя: перекувырнем вместе с ним.

Клёнина подняли. Середнюю часть тела сразу оттянуло мешком, камни тупо врезались в тело, и Клёнин заныл...

— Не любо? Не любо?—зашипел Кубышкин.

Сережка кинулся на Кубышкина:

— Держи, старик, лодку: рано залоговать! Помогай!

Клёнин перемог боль от камней, завыл и забормотал:

— Товарищи! Ребята! Братцы! Не буду... Не буду! Заслужу!.. Убью самого... главного жандарма... губернатора... царя... Пожалейте бабу мою!.. Одна останется!.. Девчонку... сироту... пожалейте!..

Кубышкин крякнул, топнул с плачем ногой, схватил за руки Тулинова и остановил:

— Погоди, погоди!..

На Кубышкина злобно закричали — Егор, Сережка, Анс, Тулинов. Старик замялся и тихонько выговорил:

— Ребята, ладно ли делаем? Побить бы... да клятву?..

Клёнин зарыдал, извиваясь плетью.

— Силантий Матвеевич! Силантий Матвеевич!

Тулинов толкнул Кубышкина плечом. Егор навел на него упрямые, угрожающие глаза. Старик плюнул и пнул с визгом Клёнина в отвисавший на перегибе зад.

— Какой я тебе Силантий Матвеевич, душегуб? Не пачкай меня своим величанием!

Клёнина понесли. Он забился, завертелся, размахиваясь телом, накренял лодку... На живот сел ему Сережка и крепко ухватился за борта. Выдавливая ему лопнувшие зубы, разрывая

щеки, он воткнул ему в рот острый камень... Крик смолк... Клёнин гнусел носом слова жалкие и косноязычные...

На берегу остались Егор и Кубышкин. Лодка скользнула в туман. В тумане заскрипели уключины, гнусил, стихая, нос Клёнина, колотились в борта волны... А потом уключины перестали скрипеть, в лодке завозились, застучало гулкое дерево под сапогами... А потом тяжело хлюпнуло...

Кубышкин выждал, будто видя в белом снегу тумана, как укладывалась разевавшая пасть волна, и как мелкие-мелкие-мелкие торопливые пузыри лопались на волнах. Дрожащими губами Кубышкин сказал курившему Егору:

— Спустили!

И сразу стали слышны уключины. В тумане заплескалась будто большая черная рыба—и лодка выскочила острым носом к островку. Сережка озорно закричал:

— Силантий Матвеевич, утопли!

Старик ничего не ответил. Он неловко забирался в лодку, долго примеривался, подтаскивал лодку к себе, придерживал рукой и, наконец, шагнул на середину. Егор оседлал нос и оттолкнулся от берега.

В тумане без пути и дороги ковыляло́сь Чарыма, и вместе с ним покачивался туман, покачивалась лодка, покачивались люди... Лодка шла наугад. Долго ехали в тумане и не сказали друг другу слова: за них говорили чайки. Проснулись птицы голодные на поёмных лугах, в осоках, на кочках—и закричали. Спряталось под белой пеной тумана Чарыма, гуляли стадами осмелевшие рыбы, слышали они чаечные крики и не уходили вглубь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ткачи начали. На Свешниковской мануфактуре—не дошла черная стрелка до обеденного времени — закричал гудок. И тысячи сердец ударили один такой ровкий удар, сжались, раздались губками и заколотились под синим теплом блуз. Будто посыпалось черное зерно гречихи из элеваторов—пошли со двора, из ворот, из калиток густо, плотно ткачи.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах—так чернеют леса вдалеке—зашевелились узкие пояса улиц, так разматывали катушки, тюки сукна, сушила, На маломерках

дружной артелью показались белые дымки у маленьких глоток— и гудки пристали к Свешниковской мануфактуре. Над рабочей слободой, над городом, над Чарымой, будто звон колокольный соборной Софии с концами и приходами, запела земля, облака, крыши... Из маломерных ворот, калиток, проходных будок, как из закромов, полилось жидкими струями зерно синее, голубое, розовое, красное. Словно огромными ковшами землечерпалок, ворота фабрик и заводов черпали рабочих и опрокидывали на улицы, на полянки, на площадки... На фабриках малого роста не кричали кое-где гудки, стиснули зубы калитки и ворота, не отмыкали запоров сторожа... А как только подкатывался черный шар под ноги, хрустели замки, трескались доски, выгибалось железо пузырем—и гудок догонял, налаживался, нырял и тонул поплавком в звенящей воде воздуха.

Наскоро, подхватывая гудки трубами голосов, вывозили мастеров за ворота, перевертывали тачки, надевали мастерам на головы дырявые ведра... Ручьи, родники, реки слились... Раскрылись на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах окошки, распахнулись крылечки, дворы: то высыпали цветными ситцами бабы, ребята, девушки.

Рабочая слобода пошла. День был ярок, как золотые колокола куполов Софии. Солнце скинуло с рабочих картузы, кепки, расстегнуло ворота блуз, рубах, раздвинуло полы пиджаков, опростоволосило баб и ёршики ребятишек. Красными гнездами поднялись над головами маленькие платки, ленты, и красный большой плат на белой планке из палисадника невысоко густел над передними людскими купами. В середине улицы подняли на руках рабочего в красной рубахе, смеясь, показывали на него пальцами, а он размахивал поясом. Рубаху раздувало, как большой красный костер. Вскидывали, качая, бабьи ситцы над головами. Гудки провожали. Клокотал над шествием водопад гудковой музыки и глушил чистые, ясные, звонкие фонтаны начинавшихся песен.

Но уже хрипли гудки, срывались, истаивали. Оборвалась коротким унылым выкриком Свешниковская мануфактура—и будто выпала из оркестра большая труба, и будто оркестр пошел в обратную сторону. Малые трубы не выдержали запева, покричали обессиленно, немного потужились и отрывчиво замерли. Шли тогда по Кобылке. И перекатилась, просыпалась медными гремящими листами железная марсельеза. На фашиннике загрохотали обозы, цокнули конские копыта, повезли

лафеты с тяжелыми пушками, пошли дома, развалились фундаменты, и тысячи каблуков нестройно, пыльно застучали по дереву... Словно лилась и плескалась под ногами вода, и был как течение вод широкий шорох одежд.

Марсельеза вела. Кобылка заворотилась к бульварам и уперлась на кресте в два бульварных паруса. И по двум узким полотнищам пошли. Точно выступили из земли березовые корни деревьев, и вырос невысокий поющий лесок. Он шел и шел вперед, вылезая березовыми корнями. А над леском реяли, как ширококрылые подёнки, листки. Вырывались они шелестящими стаями, кружились и садились на головы, на руки, на плечи. Как тысячи заведенных волчков, жужжали шаги по земле, как легкий ветер покачивал идущий лесок, и звенела над ним металлическими доспехами разгневанная марсельеза:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.

По булыжнику, пружиня звонкими копытами, выкинулись навстречу казаки—и осадили лошадей. Колючие черные пики наклонились наперевес, точно накренившаяся на подржавевших укрепах острая решетка. Казаки не остановили Свешниковскую мануфактуру. Стучали по переду бабы полусапожками. Они первые цветными фартуками запестрели на площади. С бульваров подпирало, катилось огромное людское колесо, и каждый поворот его приближал к казакам. Те оглядывались, и пики неровно шевелились в руках, коротели, вставали прямиком, откидывались в стороны...

Бабы вдруг заторопились, подняли руки, выпятили груди переростками-яблоками... Первый ряд побежал... Словно с катушки начали разматываться голубоглазые, красно-розовые, синие ленты платьев, фартуков, кофточек...

— Колите! Колите!—закричала одна баба.

И другие одним визгом, тревожным стадом, поддержали:

— Ко-о-ли-и-те!

— ...и-те... и-те!..—побежала, смирая вдали, вставшая на дыбы волна.

Казаки еще сдали лошадей, осадили, вычастоколили пики и шатнулись в седлах.

— Ура-а!—грянуло бабьим трезвоном.

— Ура-а!

— А-а-а!..—понеслось тысячами голосов.

Неумолкающим дождяным ливнем обвалился крик на казацкие чубы, пики, на казацких лошадей со вставшими торчком ушами и заржавшими мордами. Казаки повернули обратно.

Грозя нагайкой, беснуясь, оборачиваясь, казацкий офицер поскакал сзади своей сотни. Он гнал лошадь, прилип к осоке ее гривы, он норовил обогнать сотню и, ярясь, он только отставал от нее. На испуганной Параскева-Пятницкой улице серым дымом поднялось облачное пятно пыли.

Отовсюду приставали дети, пешеходы, из извозчичьих пролеток вылезали ездоки, бежали люди из ворот, из калиток, со дворов... Казалось, вышел на улицы весь город, и в домах оставались одни молчаливые и мертвые вещи. Рабочие прошли всем городом. Скрывались в полицейские будки городовые, уносилась в переулки конница, прижимались к стенам сбитые с дороги кучки солдат. Дома всеми своими окошками раскрыли удивленные рты и слушали никогда не слыханные песни, глядели на красные кивера маленьких флагов, как чолки тут инде поднявшихся над людским половодьем. В тесных зажимах улиц с золотой крышей неба будто летели и жужжали пчелиные рои, собравшиеся со всех пчельников земли. И так их было много, и так часто трепетали пчелиные крылья, что шум огрубел человечьими голосами, криками, песнями...

На площади перед Городской Думой, на рябом булыжном диске с бело-желтыми каменными стенами домов рабочие стянули с улиц узкие колонны, раздались широкими густыми полями, заполнили, как огурцы в бочке, каждую выбоинку камня, облепили стены, сжались, вплелись в друг друга жаркой и дрожавшей толпой. И только вот тут никто не раскрыл окон в домах, не вышел на балконы, не махнул приветливо рукой, а за стеклами, за шторами прилипли меряющими глазами побледневшие лица, лысины, крашеные женские рты, пудреные носы и вычерненные ресницы.

За балконными стеклянными дверями Городской Думы сновали мундиры, шашки, аксельбанты. Вход был заперт: из-за думского забора осторожно поднимались солдатские головы и прятались. Из заборных щелей, как усыпали щели разноцветными камнями, выглядывали охранные глаза войск, полиции и жандармов. Заперли ворота улиц отряды городовых, встали козлами солдатские

винтовки, подскакивали на отсидевших задах в седлах уланы, драгуны, казаки.

Заполдневное солнце свернуло с темени неба. Косыми стебельками лучей млело оно над площадью, переливалось в капельках пота, рябивших лица, и звенело в воздухе тишайшим жаром. Тихо было знойно голубевшее небо, и как горячий молчаливый булыжник были серые, в пыли, усталые люди на площади. И если бы вылетела из-за закрытых рам домов неслышная моль, ее незримый полет был бы слышен, как голос далекой трубы.

И Егора подняли на руках Сережка, Тулинов, Анс... Они держали его за ноги, прижимали к себе, натужились... Егор стоял по пояс над толпой. Он покачивался на нетвердой человечьей лестнице.

— Товарищи-рабочие! — ясно, каждою буквой кидаясь до бело-желтых домов, до заборных щелей, до затворенных охраной ворот в улицы, говорил Егор.—Товарищи-рабочие! Мы требуем восьмичасового рабочего дня! Мы не хотим ночных работ! Нам должны дать постоянные расценки! Заработная плата наша мала! Мы требуем повышения заработной платы! Мастера—первые враги наши. Мы требуем смены мастеров. Товарищи-рабочие! Мы должны добиться этого! Вон, поглядите, заперли окна и двери богачи, наши хозяева. Нам всем надо понять: не окна и двери заперты у хозяев, кошельки у них заперты. А кошельки эти смочены нашим трудовым потом. Мы должны открыть проклятые мошны. Деньги там лежат наши. Мы требуем свое, украденное у нас! Вон, поглядите, нагнали они с ружьями и нагайками солдат для нас! Вот ответ богачей на наши требования. Вон, глядите, за окошками дежурят дармоеды с колокольчиками на ногах, ждут не дождутся, когда мы уйдем. Вот на кого идет наша заработная плата. Товарищи, мы долго терпели. Мы поднялись теперь не зря! Мы мирно требуем! Товарищи, помните, хозяева будут брать нас измором! Они долго не уступят нам. Готовьтесь! Лучше умереть сразу, чем жить, как мы живем!

Толпа охнула, закричала, заревела, забухала сапогами по булыжнику.

— Да-а! Да-а-а!—ударился валами, озерами, плотинами тысячный гул.

— Не уступим!

— Не сдадимся!

— Не уйдем!

Опять поднимали Егора. Поднимали товарища Ивана, Тулинова. Поднималась Олюнька на плече у Сережки. Милыми бубенчиками в Сережкином сердце набрякивал голос Олюньки.

— Товарищи! Мы, работницы, не отстанем от мужиков! Вместе умрем! Бабье сердце жалеть умеет, любить умеет баба и сердиться умеет. Бабье сердце сердитое на богачей!

Олюнька была как красный флаг. Она кончила, замолчала... Сережка, скаля зубы, держал ее за ноги и не спускал. Олюнька рванулась, соскользнула с плеча. Сережка, заливаясь хохотом, разжал руки.

Толпа хлопала Олюньке в ладоши и радостно-радостно смеялась. Ткачихи окружили Олюньку. Аннушка стукнула ее по спине, обняла сзади, мигнула бабам—и Олюньку качали.

Потом качали старого Кубышкина. Долго шумел старик, смешил, дразнил солдат... И не удержали его на весу. Белая борода покривила в сторону, старик взмахнул руками, захватал воздух... и закричал испуганно:

— Черти! Да держите же краснобая! Все слова выроню!

Запели опять, срываясь нестройными перекатами голосов, выравниваясь, загущая хоры...

Тут полицеймейстер Дробышевский зыкнул на площадь от Афанасия Александрийского:

— Р-расходись! Стрел-л-ять буду!

Он дал знак. На всех улицах, замыкавших площадь штыками и конницей, ожили кòзла с винтовками, вспрыгнули с мест, переступили лошади, натянулись повода...

Марсельеза будто растаяла, утонула в колком и дробном грохоте толпы... Покачались. И кто-то звонко, пронизывая, крикнул:

— Сади-и-ись!

И сразу рабочие рухнули на площадь... Рухнули и начали торопливо выбирать булыжник. Подняли его... Каменные кулаки тысячами тысяч встали над площадью.

Дробышевский остолбенел. Толпа загудела злым и нараставшим шумом, будто почуяла она необоримую силу в себе, будто шла от нее эта сила и раздвигала площадь, опрокидывала дома, сминала изготовлявшуюся конницу, солдатские цепи... Дробышевский побежал мелким, семенящим шажком к Городской Думе, открылась калитка перед ним, и он провалился в нее... Потом снялись войска—и ушли.

Зазвонил колокол у Афанасия Александрийского к вечерне. Широкополый поп в широкополой шляпе прошел в церковь... Звонарь крепко и старательно качал языком, гудя над площадью.

Тонкий лён табачного дыма выходил струйками из толпы: будто вырастали пушистые серые травы над головами. Снесли большим навалом поднятый булыжник на середину. Когда мостили, так лежал тут булыжник нехоженный, свезенный с полей и с речных берегов. Теперь стоял на нем Егор, всходил на него товарищ Иван, всходили другие. Из улиц, из ворот в бело-желтых домах, уставших стоять запертыми, протягивались жадные уши. И само солнце спустилось ниже, прислушиваясь и теплея...

Расходились с площади, взявшись за руки, в замок, спутав фабрики и заводы, спутав ткачей с мыловарами, кожевенников с токарями, с молотобойцами, с мойками, спутав Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Так на лугу зеленой густотой растут несхожие цветы, травы, лопухи и тянут хоботками корней родимый сок земли.

Рабочие ушли. Площадь была горбата и шадровита. Обнажилась земля—и шел от нее легкий пар дыхания. Словно выломали каменную стену тюрьмы и выпустили узницу. Площадь глядела серыми плешинами, лишаями.

Из Городской Думы выходили мундиры, аксельбанты, шашки. Качая головами, они бережно обходили рыхлую мякоть земли. Из застучавших оконных задвижек и шпингалетов высунулись подкрашенные рты, пудреные носы, кружевные чепцы и масленые лысины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тридцать раз купалось солнце в Чарыме. Кричали гудки в шесть утра, в шесть вечера, кричали в полдень. На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах ныло в те часы голодное брюхо, свирепели бабы и глядели на отощавших ребятишек такими приметными жальчивыми глазами. Пережидали гудки—и забывали.

Починили отболевшую оспой площадь. Топтали ее каждый день тысячи ног, жгли тысячи докуренных цыгарок, и привыкла она слушать гневный грохот отчаянных песен.

Ночами вылезала полиция из участков, звонили жандармы шпорами в темноте, обходили спавшие дома и подымали с постелей, увозили спавших, нужных, людей... А днем начальство пряталось. Казалось зряшным и ненужным стоять городовым на постах, они часто уходили в будки покурить, посидеть с бабами, поиграть с ребятами в „свои козыри", в „акульки". Солдатские казармы держали на запоре и отменили отпуска в город. Раньше времени вывели солдат из лагерей и засадили в непроветренные за пол-лета казармы. Коротко играли вечернюю и утреннюю зорю горнисты. Серые жандармские, полицейские шинели висели на вешалках в участках, в жандармском... В городе было тихо, как на погосте. Свернулись фигами большие замки на зеленых дверях казенок, и сидельцы протирали пылившуюся посуду. Редчали базарные дни. Денного начальства не было. Оно не управляло. Было ночное начальство. Как тать, шарило оно по городу и ползло по ночным улицам на брюхе.

На Свешниковской мануфактуре, в старой, заглушенной ставнями конторе было денное начальство. Управляло оно Зеленым Лугом, Числихой, Ехаловыми Кузнецами и слало гонцов в город... Искали гонцы городское начальство—и закрывались казенки, выходили из тюрем ткачи, слесаря, железная дорога, тушили огни в ночных ресторанах, кабарэ, в кавказских погребках...

Толокся рабочий люд на лугу у старой конторы с ранних петухов до чарымской поздины, когда кулькало в Чарыму изопревшее от жары солнце, ковырялось на дне красными лапами, загребалось в донную тину, и черная ночная повязка завязывала глаза. На прощелявшей двери, на отвороте, наискось, как лента через плечо, висела белая бумага, и были на ней твердо, неясно написанные карандашом три слова: „Собрание рабочих депутатов". В конторе теснились выборные от Свешниковской мануфактуры, от маломерок, от железной дороги, теснили выборщики голосами, криками, спорами... Курили и депутаты и выборщики... И было „Собрание рабочих депутатов" как парная баня, курилка, постоялый двор... Сидели, стояли, лежали на крылечке, в сенях, на мостовинах, на лугу... Раздавали из „Собрания" листки, книжки... С крылечка часто говорили: Егор, Иван, Тулинов. С ночными поездами приезжали из Москвы товарищи Петры, Сидоры, Иваны, Егоры...

Обходили, кружа ночью, Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы Егор и товарищ Иван сторожкой походкой. Спал

Егор у Никиты на чердаке, а товарищ Иван спал в дровеннике на Золотухе у Янкеля Брука. Стерегли их на ночных крестах, на площадях, у заборов, у переездов... Аннушка прибегала спозаранку в старую контору: приносила еду и обнимала за косяком.

Кричали бабы в „Собрании рабочих депутатов“ жалобы на мужей, журжи на журжаков, журжаки на журж, указывали девушки на озорников ребят, тягались бабы с бабами о дровенниках, о корытах, костили рабочие друг дружку за долг, за обман, за драку... Глядели виновато в пол журжаки, ребята, била в грудь, захлебываясь горем, баба о корыте, и мирились повздорившие ткачи, слесаря, кожевенники, мыловары...

Как в дымной черной печке, за прожженным самоваром столом—был самовар в „Собрании рабочих депутатов“ без поддона—у крошек, у окурков, у опрокинутых блюдечек, у околотых клинышками немытых стаканов и кружек сидели судьи. В зеленой талонной книге с товарной станции—перевозили по квитанциям из зеленой книги рогатый скот, собак, живность по всем железным дорогам российской империи, нашли книгу у пакгауза, в мусоре—писали на обороте постановления „Собрания рабочих депутатов“. Был мал, как ноготь, карандаш, ломался, выскакивал скользким зерном из рук, не торопились искать, дописывали сажей, обгоревшим кончиком спички.

И несли бережно бабы, журжи, журжаки, спорщики, драчуны зеленую бумажку, показывали на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, хранили в сундуках, обертывали в платок, перекладывали в бельишко...

На сороковой день, ночью, загорелась сушилка на Свешниковской мануфактуре. Загудели гудки испугом и звали-звали-звали... Огонь пошел на корпуса, махая красным знаменем зарева. Пробудились Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы, залили топотом, криком, шумом улицы. Из города погнали медноголовые пожарные команды, погнали солдат, конницу... Выехало начальство... И тут рабочие взревели в красном угаре пожара, перехватили пожарных за подсилки, отняли топоры, повалили пожарные машины, настегали коней с лестницами и баграми—и кони понеслись от пожара,—продырявили рукава порезами, наперли на войска, на затрепетавшие зимней поморозней власти: Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы не давали тушить пожар.

Занялся, сухо щелкая, красным кольцом забор—и толпа отшатнулась на луг. Горой красных головней развалилась сушилка. Красная пыль понеслась над всей Свешниковской мануфактурой, и запылала огромным столбом башня у ворот.

— Ура-а! Ура-а!—торжественный и торжествующий крик перекатился весенними громкоголосыми грозами над пожаром, над солдатами, над старой конторой.

Егор сорвал с оглобли на пожарных дрогах звонок, зазвонил вытянутой рукой, взобрался на поваленную меднобокую пожарную машину, будто застывший пузатый ком пожара, и закричал, скача над головами толпы призывом:

— То-ва-ри-щи! Собрание рабочих депутатов приказывает вам тушить пожар и помогать пожарным!

Толпа ахнула, загудела, зарокотала—и тысячами рук, ног и глаз кинулась к машинам, полезла в огонь, побежала с ведрами, лоханями, опрокинула забор, заштуковывала рукава, затыкала пальцами, тащила их, как легкие пастушечьи плети, в рот огню, разметывала рукавами кровавые доски, рвалась и катилась черными вихрастыми клубками к корпусам... Прорвалась, вломилась, прыгнула через шипевший и дрожавший круглый венец забора. Свешниковскую мануфактуру отстояли.

А на другой день еще раз фабриканты и заводчики не приняли рабочую депутацию. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы заскрежетали зубами, и по ним прошел негодующий рев. Будто подняли фашинник на улицах, размахнули им и хлопнули о землю, а фашины покатились, загрохотали, затрещали на сломах.

На белом, из сахарной бумаги щите крупно, столбиком, суриком написал табельщик Митрофанов из мастерских рабочие требования, собрались под щитом у старой конторы—и двинулись в город.

Вперед! Вперед! Вперед!

—звала и вела марсельеза. Качалась рабочая слобода, как расходившееся Чарыма в осенние ветреные ночи, ворчливое, бесноватое, закипевшее в низколобых берегах беляками валов.

Прибыли с трех вокзалов накануне солдаты из уездных городов, прибыли новые сотни казаков, драгун—и начальство объявилось.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы наткнулись на железные, конные, стальные бульвары—и отшатнулись, замерли

в устьи Кобылки, в широкой пасти Фроловской, Гремячей, Бондарной...

А потом по белому щиту хлеснуло чётками залпов—и пошел на Кобылке, на Фроловской, на Гремячей, на Бондарной кривой железный дождь... Всплыли, расплескались красными паводками канавки, легли бугорками рабочие, бабы, ребятёнки на фашинник, посыпались с заборов, с крылец, с палисадников—и остались лежать. Дождь лил, краснея и дымя, черным градом стучал в стены, вонзался, застревал, пронизывал мягкое человечье тело, продергивал в него горячую дратву. И кровь закипала в дырке, убегала, врываясь в голову, в глаза, в рот, подталкивала, совала под коленки прострелом—и валила наземь. Конница рубила, шинковала, строгала плечи, руки, перерубала крики, слезы, брань... Кони храпели, неслись, сбивали... И ни один конь не растоптал человека. Кони перепрыгивали лежавших, взносились на дыбы, удила рвали губы, бил по глазам свистящий огонь нагаек, шатались кони—и не топтали, не могли топтать распростертые трупы, раскидавшиеся белые руки, застекляневшие морозные глаза...

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы опустели. Только рыдали за рамами рабочие домишки, рыдали дворы; крадучись, ползли раненые с дороги, сваливались в канавки, захлебывались, тонули, упирались руками, лицами в вонючий смрад стоков; стонали и приподымали с пыли искромсанные головы умирающие; валялись будто белым и коротким фашинником раскидавшиеся по земле руки...

Уковыляла конница. По всем улицам пошли патрули. Конные разъезды объезжали на дорогах трупы. Солдаты отвертывались от лежавших черными навалами людей. Из-за заборов выглядывали дети.

Заходившее солнце пекло мертвое человечье мясо. Мухи уже слетелись на теплую кровь, ходили по стоявшим безмолвным глазам, запускали тонкие хоботки в красные разрубы сабель, пили, тянули мертвечину, закидывали раны помётом... На деревьях каркали вороны, слетали на дорогу—и бочком-бочком-бочком подбирались к трупам.

На громыхавших вальках пригнали ломовиков, складывали поперек трупы, тут же рядом складывали кричавших раненых—и увозили.

Траурная ночь, бессонная, как день, легла черными разбухшими облаками над Зеленым Лугом, над Числихой, над

Ехаловыми Кузнецами. Ночью пошел дождь, замыл на улицах кровь, согнал ее с фашинника, прибил в рассолодевшую землю...

Слушали в рабочих домишках, как бил дождь о крыши, о железные водосточные трубы, о стекла, и казалось, будто капала то рабочая кровь ночным дождем.

В шесть загудели гудки. Кричали они, торжествуя, над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами. И были эти настойчивые суровые голоса как второй железный ливень. Рабочие зажимали уши, закутывали головы одеялами, совались под подушки. Дождь неумолкающе капал-капал-капал...

Днем собрались у старой конторы. Стояли огромным черным гудящим станом. Белели завязанные головы, перевязки. И, как раненый, подымался над толпой красный развернутый флаг. Товарищ Иван взобрался на высокую поленницу дров у обгорелого забора. Звеня голосом, как разбитыми стеклами, он кидал близкие и понятные слова. Точно говорил не этот худенький, чахленький человечек-косточка, говорила и дышала в нем стоявшая на земле, затаившаяся толпа. И подымалась ее широченная грудь...

— Товарищи! Мирных путей нет и не было. И не будет. Вместо хлеба—свинец, нагайки, шашки... Над рабочей слободой пронеслась смерть. Ее послало самодержавное правительство, заводчики и фабриканты, ее послал царь. Нас ждут новые испытания! Нас стерегут. Мы, большевики, говорили вам, говорим, кричим: к оружию! Только оружием рабочий класс добьется победы! Только вооруженное восстание рабочего класса даст ему освобождение!

У старой конторы нескончаемо вихрил воздух:

— Да здравствует вооруженное восстание!

— Долой самодержавие!

— К оружию!

— Смерть палачам!

И опять говорил товарищ Иван, говорил Егор, говорил Тулинов, плача и царапая себе грудь.

Словно низко опустились на землю тучи, тучи сталкивались, разбегались, трясли землю, кувалды голосов гремели ударами, а пустая Свешниковская мануфактура умножала громыхание.

И опять карьером, пыльным многоногим волчком вынеслись казацкие, уланские, драгунские сотни из-за складов, из внутренних дворов фабрик и заводов. Толпа не побежала. Она быстро разобрала высокие штабеля дров, кирпич, камень,

обугленные дреколья заборных перекладин—и ждала. Конница сбавила карьер, остановилась...

— Р-расходись!—кричал ротмистр Пышкин.

Толпа постояла, подумала, оглянулась, и глаза одних спросили глаза других, флаг медленно, лениво складываясь на ветру, опустился... Толпа разжижела, оторвались кучки, толпа дала узкие ростки людских протоков и начала развертываться по лугу.

Рабочие уносили поленья, кирпичи, черные перекладины. Конница шла по пятам. И вот она разорвалась на отряды, поскакала, замахала нагайками, саблями. Раздулись конские хвосты. Рабочие заторопились, побежали... Конница обгоняла бегущие кучки, хлестала, ловила, хватала... По всем улицам Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов повели черными табунами зажатых между коней рабочих.

Лязгнули тогда окна, двери... Неистово кричали бабы, старухи, лаяли собаки, свистели в свистульки ребята, кидали камни, песок и стучали по заборам оглушительной дробью палок.

— Кровопи-и-вцы!

— Негодя-я-и!

— Палачи-и!

— Наймиты!

— Царская сволочь!

Как закапала накануне рабочая кровь ночью на крыши, на водосточные трубы, на рамы, Аннушка кинулась через огороды на погост. Она измокла под дождем, приставала мокрая упругая земля к полусапожкам, истяжелила. Аннушка бежала, падая, вставая, дрожа в серой влаге, обливавшей грудь, плечи, живот. Егор поджидал у ветлы. И сразу прошли муки. Аннушка ткнулась на грудь и затряслась шопотом:

— Жив, жив, жив, Егòра!

Не любил Никита Аннушку. Егор не повел ее в сторожку. Он скинул мокрую шапку с копны сена, накошенного Никитой на зимние тюфяки, захватил охапку и внёс в склеп. Аннушка разделась догола, закутал ее Егор в свой пиджак, села она на сено и запорошила густо сеном простывшие ноги. Вместе отжимали в темноте смокшее платье, рубашку, фартук... Уснули в уголку склепа в теплой колючей испарине сена.

Стачка кончилась. Фабриканты и заводчики купили в складчину новые пожарные машины, внесли деньги на постройку

новой тюрьмы в городе и вымостили Думскую площадь торцом ровным и гладким—не занозишь руки, не отковырнешь деревянной заусеницы.

Свешниковская мануфактура загудела первая, загудели маломерки—и рабочие пошли с узелками с шести утра. У нового забора вокруг Свешниковской мануфактуры уныло околачивались безработные с обвязанными головами, испитые, исхудалые, как вороха пожелтевших осенних листьев. На всех фабриках и заводах ввели постоянные расценки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надежда Ивановна Караулова жила в одноэтажном доме, широком, как три этажа, снятых друг с друга и поставленных рядом. Низкий тупой лоб опушки серел из-под крыши с напуском, и три надбровных деревянных дуги, вырезанные мелким барашком, чернели над большими круглыми верхами окон. Три окна выходили на низенькую террасу и казались стеклянными иконами. От них откинулось в стороны по дюжине небольших окон. Окна мельчили, так были близки одно от другого, словно рот с белыми зубами днем и словно челюсть со вставными золотыми зубами, когда вечерами в доме горел огонь. Пониже тупого лба, на белой жести черной эмалевой краской намазаны были три отчетливых слова:

Союз Русского Народа

На улице пролегал путь на бойни. Каждое утро гнали мимо скот. С некоторого времени скот начал останавливаться тут, ревел и ковырял землю. Погонщики хлестали его плетями, пинали и, свертывая кольцом, ломали хвосты. Погонщики долго и трудно боролись со скотом, покуда не отгоняли его от дома. Надежда Ивановна, беснуясь, полураздетая, выскакивала на террасу.

— Негодяи! Мерзавцы! Что вы тут наделали! Почему каждый день ревут животные? Я буду жаловаться губернатору!

Выходил за ней старый муж генерал и шамкал:

— Та! Та! Надин, это ушасно!

Погонщики робко и жалко стояли у палисадника:

— Мы, барыня, сами с ума сбились: отчего такое? По всей дороге ничего идут... До тебя дойдут—и, сама видишь, какое дело! Будто не благородный дом какой, а бойня. На бойне так орут перед смертью!.. Не иначе, под улицей зарыто какое животное. Они его и жалеют.

Скот ревел перед домом. И было это непереносимо для Надежды Ивановны Карауловой. Был еще тогда Глеб Иванович Уханов городским головой. Уважал он почетную председательницу „Союза русского народа", разрыли улицу, распотрошили большой канавой—и ничего не нашли, кроме сгнившего под булыжником старого фашинника и монеты времени Дмитрия Донского. Улицу опять заделали, монету поместили в музей, а скот ревел каждое утро... И драли его погонщики.

В круглом зале у Надежды Ивановны собиралось правление „Союза русского народа": князь Кубенский-Белозерский, потомок Рюриковичей, державший почтовую станцию на Верейской дороге, три попа, рыбнорядец—миллионер—затонщик Оксёнов, пароходчик Варакин, начальник мастерских Четыркин и печеклад Степка Жила.

Надежда Ивановна жаловалась. Правление долго обсуждало странное поведение скота. Степка Жила, походивший на обглоданное козой дерево, скромно и робко сидевший поодаль от стола, заикаясь, заговорил последним:

— Не иначе, тут озоруют леворюционеры. И, конешно, жиды. По-нашему, по-деревенскому... вот я ежели печи класть... мы-то не могим... а старики знали заговор такой... печку склали... А печка не печет... Печка воет... В печку можно замуровать дьявола... за печурку... Сказывают, бутылку с водой... с опилкам закупорь, в кирпич заклади... печка из дому выживет... житья не будет. Будто маленький робёнок плачет, уливается...

Пароходчик Варакин потряс большой головой, как перезрелая, распертая в бока тыква, и накрутил на палец золотую часовую цепь с жилетки.

— Не мели, брехло, зря... И не к селу, не к городу. Тут не о печке разговор. Печки на улице, кажись, нету?

Рыбнорядец Оксёнов, рыжик с красными окуневыми глазами, любил наряжаться. Ходил он в цилиндре, в белой жилетке, носил модные ботинки и лил себе в карманы дорогие духи, пузырек на два раза. Надежда Ивановна узнавала его по запаху. Звенел звонок в передней, открывали дверь—и раньше Оксёнова в круглое зало входил запах духов и рыбы.

Душистый рыжик вмешался в разговор и тоже осуждающе сказал Степке Жиле:

— Ты, Степан, брешешь! У меня на фатере в новом доме печеклады грозились все печи изгадить... Цену они за печи заломили, а я не додал при ращете... Одно бахвальство и мужиковские слова! Печи, как печи...

— Да, вы, Степан,—тоненько прозудел князь Кубенский-Белозерский,—вы придаете большое значение народным суевериям...

Степка Жила покраснел, заторопился, испугался...

— Я гля примера о печках. Тут, конешно, другое дело. Фокус какой подвели другой леворюционеры! Скотина тоже здря не заревет...

Случилось так: гнали на бойню запоздалый скот с вечерних поездов. Правление „Союза русского народа“ заседало в тот час. Заревел скот, зарыл землю, лез в палисадник... Правление вышло на террасу. Надежда Ивановна зажимала уши и закатывала глаза. Скот, настеганный погонщиками, покатился дальше, унося убывающий рев и негодование Надежды Ивановны, негодование князя Кубенского-Белозерского, веселый кашель попов, фырк Варакина, Оксёнова, трясущийся живот Степки Жилы, хмурые брови Четыркина. Тогда правление „Союза русского народа“ поехало с жалобой к губернатору.

Была на бойню одна дорога, и губернатор не мог отвести ее. Поставили у дома городового. Скот ревел и при городовом. Степка Жила мудровал: запало ему узнать причину скотского буйства. Он крутил, вынюхивал, залезал в палисадник и глядел из-под кротегуса на проходящие ноги. Городовой часто дремал по вечерам и спал, похрапывая, ночью... В то время шнырил Степка Жила. И он уследил.

Вышли из-за угла два гимназиста, оглянулись, вынули из пазухи по бутылке и начали что-то лить на деревья, на землю... Кульк, кульк, бульк—закулькали бутылки. Степка Жила выкатился дворняжкой из-под кротегуса, закричал, схватил одного за пальто, другой кинулся вдоль улицы. Городовой снял сонное бремя с глаз и перехватил из рук в руки за шиворот гимназиста. Степка Жила разбудил Надежду Ивановну.

В другом зале зажегся огонь. Гимназиста ввели. Степка Жила втянул из бутылки темно-багровые капли и заурчал:

— Кровь в бутылке. Теперя, барыня, как же скоту не реветь на кровь? Он по своему... по скотскому разуму обизательно должён и рогом, и копытом, и мордой делать...

Степка Жила щелкнул гимназиста жирно и звонко по затылку. Фуражка слетела на пол. Гимназист вгляделся в Степку Жилу горевшими глазами, будто запоминая его на всю жизнь.

— Откудова, сукин сын, взял кровь?—тряся за грудь, выговорил Степка Жила.—Чей сын? Сказывай, а то мы тя на веревку... и в колодец!

Степка Жила еще раз приложил звонкую руку на щеку гимназисту, качнул его маятником в сторону, а городовой уравновесил по другой щеке наотмашь. Щеки гимназиста вспыхнули, и повлажнели глаза.

— Разгова-а-ривай!

Надежда Ивановна запахнула капот под мышками на колесившей груди, остановила Степку Жилу и городового, вцепилась в уши гимназисту и, закусив губку, принялась трепать.

Гимназист схватился за руки, отдирал, царапая, замотал головой, вдруг пнул коленком в живот Надежду Ивановну, вырвался и бросился бежать в двери. Надежда Ивановна вскрикнула, прикусила губку и побледнела. Но гимназист не успел: Степка Жила сделал ему ножку, и он растянулся на полу, хлопнувшись о дверной косяк.

Надежда Ивановна, охая, села на диван. Степка Жила придавил гимназиста, тыча его в пол и расквашивая нос. Он обежал глазами комнату и радостно закричал городовому, указывая на круглый столик в углу. На столике лежала тонкая собачья цепочка... Городовой обшарашил гимназиста с головы, а Степка Жила сел на ноги и взмахнул цепью... Свистела и лязгала цепь на спине, на мягких местах, на ногах. Гимназист закричал, забился, заколотился на полу... Старый генерал в ночных пантофлях, в халате, вышел из белых дверей и засмеялся мельчайшим, частейшим смешком. Он смеялся и приговаривал:

— Тук, тук, тук... за дело, за дело! Розочка слаще! Розочек бы, розочек бы надо!

Надежда Ивановна раскачивалась на диване, гладя живот, и сквозь зубы, сквозь нывшую боль тянула злобно:

— Так его! Так его! Не будешь! Не будешь!

Связали цепочкой руки и подняли гимназиста с пола. Перемогаясь, кривя вперед свой стан, Надежда Ивановна подошла к нему сзади и рванула больно оттянутые уши и пощипала шею разрывающими совочками ногтей. Потом ручки перекинулись на голову, на короткий бобрик, срывались, не ухватывали горстью... Надежда Ивановна забрала двумя пальчиками волоса

кисточкой и шатала кисточку из стороны в сторону, будто корчевала крепкий, не вылезавший корень цветка.

— Хе-хе!—визглявил Степка Жила.—За пискуны его, за пискуны, барыня!

Гимназиста повели.

И началось дело. Служил на бойне ветеринарный врач Пожарищенский. Доставали от него кровь гимназисты на бойне и кропили кротегусы Надежды Ивановны. Открыли гимназические кружки. Нашли у Пожарищенского журнал „Дело“ и казацкую нагайку. Пропал потом безвестно у сапожника Дунькина ребенок со двора... Ходил по городу рыжий еврей с шарманкой и тоже пропал. В оружейном магазине взорвался порох, и разнесло дом. Выгорел квартал...

В доме всемилостивейшего спаса собиралась черная сотня. Шли туда мясники, купцы, ломовики, золоторотцы... Гладкие, как лакированные выездные экипажи, с золотыми крестами и панагиями, мягко катили попы в задохнувшемся от жара и людской густоты зале темную вязь речей, служили, пели, крестили и крестились... На расписанных священными притчами стенах черными половиками чадили плакаты.

„Жиды погубят Россию“ — так говорил Достоевский.

„И два жида считают злато перед разложенным костром“ — так писал Пушкин.

„Жиды ожидают мессию“ — так сказали сионские старцы.

„Смерть жидам“ — так говорит русский народ.

„За веру, царя и отечество!“

За эстрадой, на стене, на огромном белом картоне круглел нарисованный земной шар. Поперек шара перевязью шла зеленая лента, а на ней, подпирая острыми верхами шар, неровно кололись буквы: „Европейские державы“, и вытаскивали канатами два черных человечка с красными надписями на фалдах сюртуков „жиды“ две буквы „О“ и „П“. А под ними стояла липкая черная толпа с крючковатыми носами, брюхастая, жирная, с пузатыми мешочками золота на груди.

— Православные, что это значит, возьмите себе в сердце!— кричала Надежда Ивановна и гневно указывала перстом на заднюю стену.—Это значит, православные, что проклятые

жиды во всем мире готовят смуты, захватили все деньги, банки, торговлю... Поглядите, они вытаскивают канатами две священных буквы „О“ и „П“. Они хотят отнять у нас „отечество“ и „патриотизм“! Они хотят основать во всем мире вместо европейских держав еврейские державы! Не позволим! Не дадим жидовскому Мессии быть нашим царем! Клянитесь, православные!

Будто под полом, под землей, ворочалось огромное тысяченогое чудовище, ворчало, шипело тысячами ноздрей, хлестало хвостами, фыркало и, топя слюной, начинало реветь и прыгать на каменных копытах:

— Клянемся! Смерть жидам!

— Гимн! Гимн!

Чудовище вставало, двигая поездами скамей, стульев, табуреток. Полиция становилась во фронт, прикладывая руки к козырькам. Князь Кубенский-Белозерский размахивал руками. Надежда Ивановна поднимала портрет Николая Второго и держала его над головой. Зало грохотало, как сотни ревущих расстроенных органов:

Боже, царя храни...

Лиясь шумной прорванной плотиной, гимн гремел над красными потными лицами, извивался под потолком, как змей с горевшей пастью, потрясал стены, дребезжал стеклами. Он стихал—и тогда князь Кубенский-Белозерский тоненьким певком возглашал:

— Императору и самодержцу всероссийскому ура!

Срывались, сваливались с гор снежные крутни, обвалы, обдавало плотной стеной грома:

— Ура-а! Ура-а! Ура-а!

— Русскому человеку житья нет,—бормотал на эстраде рыбнорядец Оксёнов.—Везде жиды. Лесопилок настроили. Хлебом торгуют. Фабрики наполовину жидовские. Газеты жидовские. К рыбе подбираются. На Вошме исстари владела наша фирма затоном, через подставное лицо на торгах отбил у нас затон Соломон Блюм. Подкупил оценщика за трешницу. И свой русский своему русскому ножку подставил! Так что не покупайте, православные, товар у жидовской нации! Своих русских купцов довольно покедова в нашей матушке Рассее!

— Верно! Верно!—гремело зало.

И кто-то тихонько пролез между криков:

— Сачок ты, Оксёнов! А товар у тебя гнилой!

Загалдели, посмеялись, загудели, громыхнули:

— Не перебивай! Не мешай!

Степка Жила вылез на эстраду и застучал кулаками по столу:

— Христианских детей таскают! Кровь тачают! Ребят наших свежуют! Поджоги делают! Съели у сапожника робёнка, косточек не оставили! Православные христиане, перед вторым пришествием живем! Как тут будешь жить, голова кругом идет! Правильно говорю?

Взвыл снова беспокойно и грозно, скаля зубы, дробя крики, рев и гам, зал. Вскочил, хлынул к эстраде, замахал кулаками, заплакал женщинами, затопал ногами...

— А... а... а!

— Правильно-о!

— Долой! Смерть!

— Бе-е-й!

— Молитву! Молитву!

— Гимн! Гимн!

Попы, играя золотыми цепями крестов и панагий, затянули:

Спаси, господи, люди твоя...

Молитва рассыпалась, как с церковного блюда рассыпались на пол деньги, затихала и возвышалась, будто сливались реки в одном устьи и рукавами отливались в даль.

— Заступницу! Заступницу!

Попы откашлялись и затянули:

Заступнице усердная,
Мати господа вышнего...

— Русские люди!—дрогнувшим голосом говорил Четыркин.— Наше государство переживает смутное время. Прежде поляки, а ныне жиды подкапываются под твердыни самодержавия. Жидовские банкиры, не жалея денег, подкупают рабочих и крестьян. Бунтуют на фабриках и заводах рабочие, в деревнях— мужики. И не понимают, под чью пляшут дудку.

Тут перебил тихий и спокойный голос из людского навала в дверях:

— Четырка, куль позабыл?

Четыркин загустел кровяным лицом, сморщился, опустил глаза... Зало, негодуя, обратилось к дверям. Полиция полезла в толпу, придерживая шашки и выглядывая неизвестного.

— Кто, кто это?

— Чужие!.. Крамольники в зале!

— В участок! Задержать!

— Давай его сюда!

— Чего пускают без разбору?

— Измордовать жидовского прихвостня!

— Бомбу еще кинут...

Зало сразу поднялось—и стульями, скамьями, табуретками поехало от дверей, сжалось, сгрудилось потным ускакавшимся табуном. Полиция втеснила в зал публику и заняла все проходы...

— Идет великое нашествие,—продолжал Четыркин,—презренный, пронырливый народ по милости глупых польских королей засел в нашем Западном крае. Правительство не выпускает его оттуда, но как у деревенской бабы не переводятся вши, так невозможно удержать жида в черте оседлости. Этот всемирный трутень пролезает в каждую щель, в каждую дырку... И вот заполонили Россию. Вам уже сказала наша уважаемая председательница, как хотят обратить они европейские державы в еврейские державы. По всей нашей земле ложью, клеветой, хитростью, подкупом они вытравляют любовь к отечеству, смеются над патриотизмом. Для чего это? Для того, чтобы закабалить русский народ, оседлать его верхом, раздробить нас на части—и самим властвовать над нами. Отсюда и бунты, отсюда и нестроение. Русские люди, берегитесь! Великие писатели, цари, митрополиты, святые старцы предостерегали давно от жида, а мы не слушались... Надо не опоздать, надо во-время отрубить руки супостату.

— Отрубим! Отрубим!—заревел и затрещал гигантский барабан глоток.

— Пархатые!

— Детей ловят!

— Кровь сосать!

— Сосать... сосать... сосать!—чмокало и щелкало зало.

— А я вот несогласен...—тяжелый, как битюг, лохматый, в грязном фартуке, кладя на стол серую, будто нечищеные сапоги, руку, сказал ломовик, протолкавшийся к эстраде.

Зало жадно затаилось, наклонило многоголовую густоту вперед, словно изготовляясь прыгнуть на ломовика, искромсать его, искусать, расплюснуть под молотами кулаков...

Осуждающе протянул один из попов:

— Строптивость есть зло.

Ломовик долго заикался, мямлил, отходил от стола, стучал растерянно пальцами, кровь наплывала будто из-под одежды на шею, на шелушчатое от летнего зноя лицо.

— Эй, оратель, говори что ли! Опосля пообедаешь!—кто-то крикнул взади.

И зало засмеялось весело и ласково, будто пощекотали у него в горле пышной лапкой.

— Это пошто же,—вдруг осмелел ломовик,—он вот... как его... не знаю... барин...

— Четырка,—подсказал тот же насмешливый голос.

Четыркин злобно сжал кулаки и выпучил глаза.

— Кажись, так. Над деревенским бабам смеется... над нашим бабам... Вши-де у баб ползают... Я так скажу: вши тут не для ча. Барину пересмешки разные легко и вольготно...А ты проработай с ба́бье... к примеру, на жнивье... Это не языком как хвостом от мух махать. Не вши от поту и с устатку забегают, а какой и другой, хуже нет, зверь выбежит. Ты дело говори... мы послушаем. Вши нам не в диковину. На вот посажу и тебе для разводу...

Ломовик шутливо махнул в сторону Четыркина ладонью. Тот съёжился, пошевелился на месте, поморщился, испуганно оглядывая свою тужурку.

Ломовика поддержали в зале.

— Молодца́!

— Говори, да оглядывайся!

— Жиды, жиды, а сами хуже жидов над народом смеются!

— Будет ужо. В баню ходить надо!

— Бариньё сами, а ква, ква, ква!

— Варакин, за сколько фальшивки покупаешь?

— Караулиха, держи дыру за караул.

— Отец Иван, и-го-го-го!

Князь Кубенский-Белозерский зазвонил в колокольчик, и околоточные в разных концах зала закричали:

— Молча-а-ть! Ти-и-ше!

— Крамола! Крамола!—пищал князь Кубенский-Белозерский.

— Эй! Князь-ямщик!

— Боже, царя храни! Боже, царя храни!

— Гимн!

Зало раскачивалось на ногах... Оно ёрзнуло к выходам, смеялось, негодовало, гудело—и опять захрипел все покрывающий крепкой сетью гимн.

— Портрет! Портрет вперед!

— Хоругвеносцы! Хоругвю давай!

От дома всемилостивейшего спаса, тесня извозчиков, сворачивая пешеходов, придавливая к заборам, к палисадам, снимая картузы, шляпы, кепи, ползло и кралось по улицам шествие. На коне, в конно-гренадерском мундире, в голове шествия делал смотр император и самодержец всероссийский Николай Второй. Бордовая рама заключала его вместе с конем в тесные пределы вчетверо сколоченного багета, пошатывалась, и казалось—конь переступал, высовывал морду за раму, остерегающе оглядывал булыжниковый путь.

Егор с Сережкой стояли у ворот дома всемилостивейшего спаса. Они пропустили шествие. Егор тихо и тревожно шепнул Сережке:

— Пахнет погромом... Надо следить в оба.

Черная сотня множилась. Собрания гудели по чайным, по трактирам, по богадельням, в церковных домах.

На Толчке, в базарные дни, в Гостином ряду, на Сенной, на Грибном болоте, у Казанской в Жестяниках, в Гробовых рядах, на важнях раздавали листки городовые, знатные дамы, Степка Жила; листки завертывали в товары по магазинам, оптовым складам, совали в карманы и густо оклеивали заборы, стены, телефонные и телеграфные столбы. Тонули, как крупинки отдельные в элеваторах, листки другие, ночные: ходили ранешенько надзирающие глаза на ловлю ночных листков, вычищали заборы, стены, столбы, заклеивали листками черными.

Мужики съезжались с вечера... Они подбирали листки и красные и черные, развозили по деревням, читали на сходах, на завалинках, в гостях, накапливали, курили, вырезали святых из черносотенных листков и наклеивали на стены.

Все нарастала и нарастала молва. Город готовился. На окраинах поднимались и закидывались высоко, загибая головы, рабочие песни—и сразу их топтали казацкие лошади, обливали горячим зноем нагайки, дырявили, трескуче лопаясь, пули. В центре, на базарных концах, у приходов, будто в огромном монастыре, будто в каждом доме были церковные хоры, тягуче

и уныло служили. Каждый день проходили шествия „Союза русского народа“ к губернаторскому дому, к архиерею, к Надежде Ивановне. Царские портреты кропили дожди, разъедала пыль. Они быстро менялись. И глядела с испода портретов крупными кеглями в рамочке из линеек одна надпись: „И. Д. Сытин. Цена 50 коп.“. Царь жил на улице. Сходились по вечерам на бульварах черные и красные артели, попеременно бегали друг за другом, роняли фуражки, трости, кистени...

В дом всемилостивейшего спаса швырнули коробочку из-под сардинок—и разнесло высокие окна с простенками, покалечило князю Кубенскому-Белозерскому бок, рваную мушку посадило Надежде Ивановне на щеке, согнулся один поп колесом и лёг на диван, не вставая больше к обедням. Задегтярили ворота у Надежды Ивановны. Черная сотня у пересыльной тюрьмы отняла у конвоя революционера, искромсала, иструхлявила на камню.

Переходили Егор и Сережка с одного собрания черной сотни на другое: рабочая партия готовилась. Привезли оружие и роздали красным дружинникам. За Чарымой, в луговинах, за кустарниками учились бить в цель из маузеров, винчестеров, браунингов, смит-вессонов. Следили за домом Надежды Ивановны. Шли там веселые балы. Привозили корзинами вино, в круглых окнах качались белые плеши голов, приезжал губернатор, полицеймейстер, городовые приносили ящики с оружием...

Город озирался ночными улицами. Стукали двери в швейцарской, на помойке звенело стекло, скидывали с возов дрова, дрались у кабаков: приходил испуг. По домам, по базарам, по улицам вертелись жужжащими волчками слухи. Моросили они дождем, облипали пылью, порошили в глаза, в сердце... Дошмыгали, досыпались, погустели черными пологами слухи над городом. Вечерами отряжала рабочая партия караулы в город. Нависал, снижался, шарил погромный дым. Губернатор не принял еврейской делегации. Старый общественный раввин внес в „комитет увечных воинов“ синагогальный сбор. Делегацию приняли. Губернатор спешил. На ходу, застёгивая мундир, губернатор, улыбаясь, говорил:

— Да... да... Всё будет сделано... Конечно, конечно...

Тогда евреи, в субботу, в еврейском квартале, в центре, в торговых рядах, вышли на балконы, на террасы, на улицы, в ворота и застучали в сковороды, противни, конфорные крышки, затрубили в трубы, заиграли на флейтах... Город вскочил, закричал, на улицах закачались конные патрули, пошли войска,

оцепили еврейский квартал, губернатор отменил собрания черносотенцев, и с базара погнали городовые съехавшихся мужиков.

Ночью начались обыски, облавы. Погром заглох. Вышел рыжий еврей с шарманкой из больницы—был болен еврей—и завертел рыдавшую ручку. Шарманка охрипло, сиротливо ныла по дворам:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

И маленькая девочка с черными козулями в носу подпевала, кладя голову на плечо.

У сапожника Дунькина нашелся ребенок. Лежал он на задворках в сточной канаве. Засосало, затянуло его тиной. Спускала канавы Городская управа, и ребенок всплыл. Вышли газеты на заре. Унесли их первые газетчики на места, а потом полиция повесила красные печати на типографских замках и увезла газеты. Но ходил по городу рыжий еврей с шарманкой, и на похороны к сапожнику Дунькину пришли рабочие с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов, пришли евреи со всех концов города.

Починили дом всемилостивейшего спаса. Затаилась черная сотня за ставнями, за шторами тут, затаилась в доме Надежды Ивановны, в поповских особняках, в церкви Александра Невского на Горах.

Егор с Сережкой ходили по улицам, толкались в запертые двери: губернская типография печатала входные билеты. Не пускали.

Погром пришел в коронацию, четырнадцатого мая. Съехались накануне мужики на базары. Торг с утра кипел на Толчке, Степка Жила раскидывал листки. Спорили, кричали. После молебна в соборе, за Толчком, со многолетием царствующему дому, Степка Жила с оравой запьяневших поутру каменщиков повел шествие на базар. Тут свои люди крикнули враз:

— Бе-е-й жидов!

Мужики проглотили меховые еврейские ряды, подожгли, опрокинули галантерейные будки, снесли хлебные склады... Торговцы-евреи с воплями кинулись с Толчка. За ними понеслись трости, кнуты, камни, выстрелы. Погром наполнил город, как ветер, как метель. Бежала, улюлюкая, толпа из улиц, переулков, пересекала площади, забиралась в дома, срывала ворота, выхлестывала рамы, волочила по мостовым жестяные грохотавшие

вывески, нагоняла и топтала евреев, выворачивая человеческое мясо из рубах, из пиджаков. Сбили погромщики замки у ренсковых погребов. И вино Сидорова, Петрова, Никитина ожгло брюхо. Выкатывали бочки, выбивали днища, отламывали горлышки у бутылок и пили из стеклянных черепков, из пригоршней, из картузов.

Еще раньше конные патрули отрезали Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы от города. Бежали рабочие на дым горевшего рынка и натыкались на заставы.

Около вечерен погром устал. Войска оттеснили всюду погромщиков. По всем городским дорогам, нахлестывая лошадей, горланя, качаясь на телегах, на навозницах, на таратайках, гнали мужики из города. С возов свешивались тюки материй, сыпался сахар, текло вино, торчали связки кос, новые колеса, решета, кадки, пестери... Пожарные тушили меховые ряды и отстаивали ряды бельевые, кожевенные, лабазы... Городовые на ломовиках подбирали убитых и раненых, подкидывали на вальки и прикрывали брезентом. По мостовым хрустело стекло, и были, как на болоте кочки, мостовые с выщербленным булыжником, с мусором у разгромленных домов. Выгнали дворников на уборку. Улицы запылили. Зазвенело сметаемое стекло. В окнах торчали тряпки, одеяла, белобокие подушки, купорившие дыры.

День был пасмурен с утра. Небо обросло густой серой шерстью. Быстро затемнел город сумерками. Скупо зажигались напуганные огни в домах. Улицы были пусты, как ночью. И на царскую иллюминацию, на золотые дорожки, протекшие по городу, на вензеля по казенным зданиям, на пестрядину трехцветных флагов, на цветные фонари губернского герба некому было смотреть. В садах играла музыка, и слушали ее одни дрожавшие под ветром с Чарымы мелколистные весенние деревья.

„ОРЕШЕК“

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В усадьбе Орешек был с белыми колоннами дом. Стоял он на горе, в парке. Только лицо белого дома не закрывали деревья, и оно сияло на солнце двумя стеклянными грядками рам. Над парком поднимался круглый купол, как опрокинутая чаша, а на чаше высокий прямой шест с клочьями флага. Под гору, будто тиковое платье, сбегали полосы, а там текла речка с замысловатым течением, рос бородатый кустарник, кужлявая березовая роща, и хлюпало в камышах с зыбунами чахлеющее болото—одним птицам дорога.

Влево, за рощей, вцепилась клещом в землю деревня Березники. На Березниках жила сто три года бабка Фелицата Григорьевна. Когда ходила на барщину бабка Фелицата в девках, дом и тогда был старый. У бабки Фелицаты Григорьевны было три зуба напереди, а пела она, как молодая, пела она сто три былины. Крепкая была у бабки Фелицаты память—и ей верили.

Царь Алексей Михайлович Тишайший любил рыбу нельмушку. За Николой Мокрым загибалось Чарыма будто медвежьим когтем—Шелиным мысом. Орешек высокой своей головой не пускал Чарыму на пустоши. У Шелина мыса нерестилась нельмушка. Царь Алексей Михайлович—рыболюб послал для порядка над рыбаками боярина Чернова. Закупал боярин рыбу нельмушку и слал в Москву. Царь помер, а боярину полюбилось на Чарыме—он и остался.

От боярина Чернова чудачливые господа Черновы и произошли. Прочудачили Черновы на всю Чарыму дураками, архиереями, пьяницами, актерами, один вором был, один в министры попал. Любил министр мужиков драть, барщину думал завести, да недолго министерствовал: убили революционеры бомбой. Бабы черновские были тоже наособицу: пили, как мужики, жили с каждым встречным и поперечным.

Облюбовала одна такая баба мальчонку звонаря в монастыре. Тихий был мальчик, забитый, из нищих подобрали. Сначала служил келейником у старого игумена,—да не наслужил. Выбежал ночью в разодранных порчёнках на монастырский двор—и взбаламутил всю братию. В звонари мальчика и приставили с тех пор. Барыня его сначала по головке гладила, зачастила к вечерням, к заутреням, в праздники славить звала в Орешек... Потом звонарёк в комнатные мальчики к ней перевёлся, спал собачонкой у ее дверей—и с мужем в драку ходил.

Бабка Фелицита Григорьевна помнила: жила другая баба, Варвара, от мужа гуляла. Рохля такой был муж, а распутница—непомерной толщины, не могла доставать до кушаний, вырезали для брюха в столе вырез в обхват, в чулки будто в мешки залезали ноги. Осатанела баба к тридцати годам, переспала со всеми помещиками на Чарыме, с дворовыми. Терпел-терпел муж—и не вытерпел, бил-бил ее на конюшне, как дворовую девку, сначала сам, потом кучеров заставил. После того три дня и три ночи пропадал по лесам, по полям, открыл на бабу гонение, садил днем на цепь, а ночью сам запирал спальню висячим замком и ставил под окошками стражу.

А была Варвара знатного рода: служил у царя в комнатных отец ее,—вступился старик, прикатил в Орешек, не пожелал выйти к тестю зять, Варвара с папашей и напылила по дорожке. Не сладил старик, прислал через год обратно Варвару. Обошла опять баба мужа: стал опять рохлей. Кантовала-кантовала баба—и вдруг сгинула, как утонула в Чарыме. Заточил ее рохля в монастырь на Глушице, на цепь, на медное кольцо. Заплатил немалый вклад монастырю,—пустоши, осоки за Шелиным мысом стали с тех пор монастырские. Где кончила дни свои Варвара—никому и невдомёк. Замуровал верный человек Варвару в мешок, а рохля у мешка сел, слушал крики ее с усмешкой, подавал ответный голос в маленький кирпичный глазок, ходил к бабе, покуда не затихла. Помирала баба, просила шопотком рохлю выпустить ее на белый свет, пропадал тоненьким волоском голос от голодухи,—не пожалел, насвистывал, похлопывал о голенища ладошками. А стихла совсем Варвара, посидел безответно рохля и день и другой у мешка, взвыл, вобрал руки в волосы и с мясом рванул с проборов, ободрал в красные кисточки ногти о крепкую заказную кладку. Верный человек разворачивал мешок, разбивал каленую плинфу в двенадцать фунтов... Сидела на цепочке баба ворохом тряпья

и костей: изодрала на себе одежду, висели бураками черные груди, наплыло брюхо к земле борами, мелкими складочками, запал синий пуп в глубину... Пахнуло из мешка смрадом—и погнал рохля в Орешек. Верный человек опять заложил дыру.

Олютел рохля—и застонали, заныли, закричали голосом господские деревни, скотные дворы, конюшни, рыбацкие сторожки... И накопил против себя зло рохля. Поехал утречком на прогулку—знали раньше—поедет, был первый слуга его заодно—продырявили насквозь из дробовика. Поймали утеклецов: осьмнадцать мужиков драли плетями перед господским домом и сослали за стены черные, деревянные—обло рубили стены навеки—в Якутский острог.

Недолго стереглись наследники, позабыли—и опять за свое за дворянское... Добывали добро мужики, не сходили с Чарымы, гнули бабы серпом спины над полями, над огородами, над ягодниками, кончали навечеру бабы, разгибали усталый серп и катились к господскому дому, тут выходил барин с барыней. Был в Орешке водочный завод. Завелся обычай такой: подносили бабам по стаканчику, хмелели с устатку бабы, завивался хмель в голове под длинным бабьим волосом, в пляс шли бабы, в песни, в хороводы... Пели, плясали исполу со слезами бабы, а барин с барыней похаживали на террасе, раззадоривали, подхохатывали ха-ха-ха... Была коноводчицей барыня—прискучит ей, махнет ручкой—бабы за ворота пьяной кучей.

Уйдут бабы—он и сам не прочь показать комедию для барыни. Ходил Петр Петрович по-бабьи на террасе, притопывал, махал носовиком, плел языком каламбуры. Барыня немка была с мудреным немецким прозвищем, величали мужики по-русски Могилой Ивановной—не ручку, крыло белое тонкое лебединое подавала в награду мужу. Был он мохнатый, большой, только не рычал по-медвежьи, ручку как возьмет, потянет к себе, без ничего оставит плечо, а Петр Петрович касался тихохонько губами до синих жилок и замирал. Носила Могила Ивановна в голубоглазенькой бисерной сумке сафьянную тетрадку с золотым обрезом о драных мужиках,—при ней делали все дёрки. Лежал мужик—задница голая—стыдно было мужику, а Могила Ивановна смотрела на нее, будто на ничего, и считала разы. Драл в большую провинность сам Петр Петрович. Не любил драть—не владел собой, расходился, засекал... Делала знак Могила Ивановна, кидались на руки ему люди,

заслоняли красную драную мужичью задницу, отбивался Петр Петрович, капали густо слюни на бороду, заглядывал на рваное, а Могила Ивановна клала ему на жарившую голову мокрый убрус. Слуги топились под горкой; поджёг конюх конюшню с первостатейными жеребцами, а псарь поджёг псарню; загорался дом от неизвестных огней; ржаное поле, раньше времени, в ночь положили на солому какие-то косцы; бегали мужики в бега... А куда убежишь?

Провинился сам Петр Петрович с горничной, приказала Могила Ивановна самому драть девушку. Порол он, а в размахе учуяла Могила Ивановна жальчивость, вырвала розги и хлестала-хлестала-хлестала сама. Собралась помирать девушка, честила барыню всякими словами и прозвищами, надсмехалась, охальничала... Тут Могила Ивановна швырнула розги оземь, вцепилась в лицо мужу острыми колючками ноготочков, провела по алым полям щек, окровянила, крикнула конюхам драть барина. Конюха дрогнули, раздулись ноздри, засверкали сладко глаза, начали подходить гуртом... Петр Петрович одумался, поднял в охапку Могилу Ивановну и вынес из конюшни, только ноги дрыгали и бились напрасно. Ночью горничная в отместку барыне повесилась на террасе. Выходила терраса в сад—и плакала Могила Ивановна с досады, глядя на тиковые поля с другой террасы и отворачиваясь от сада. Сломали террасу в сад, грозила по камешку разобрать старый дом, но умолил ее Петр Петрович не ворошить дедовскую память. Тогда перевела мужа злопамятная баба на другую половину, а к себе вызывала по колокольчику. Тянулась через весь дом по плинтусу тонкая проволока, и висел над изголовьем у Петра Петровича ночным караулом бронзовый колокольчик.

Уходили дни сумерками за Орешек, за Чарыму. И перестала пугать удавленница. Вышла Могила Ивановна в сад—тут какой-то человек из-за беседки на кидок бросил в грудь кирпичом. Слегла Могила Ивановна—и скоро кончилась.

Затрубили деревни, замесили грязь по прогонам, затопали на мостах, завили пыль на весь деревенский конец... И в первую кладбищенскую ночь вбили мужики смолёный кол до гроба, раздавили крышку, воткнули кол в тухлое брюхо покойнице, раскидали цветочки Петра Петровича и густо, не жалея, накормили могилу человечьим навозом. Кричали опять конюшни на поминках по Могиле Ивановне: не сыскали виноватых; сторожили могилу, покуда сам Петр Петрович не

крикнул последний раз на свете, сидя на дыре в нужнике. Отцовские грехи замаливали два сына—один в монастырь ушел, а другой дикасился дома.

Было в Орешке сорок комнат, облюбовал он боковушу, выгнул потолок куполом, заморский живописец расписал снизу доверху божественным письмом потолки и стены, поставили завитой, в золотых бараньих рогах иконостас, заделали кирпичом на киоты похожие окна, посредине в два обхвата на деревянной вышке поставили гроб под парчевым балдахином, и на резном столбике повесили саван. Когда приходило время спать, вползал голышом богохульник в комнатушку, плел языком несуразную дробь, вздувал свечи и лампады, оболокался в саван, прикладывался к иконам и залезал в гроб... Старый слуга Прокимен—так звали помещики слугу Прокофия—шаркал тогда в моленную, захлопывал барина крышкой с окошечками, тушил свечи и укладывался сторожем за дверями. Со страху две жены сбежали после первой ночи. Были за иконами потайные ходы, шли они из коридоров, с лестниц, отводились иконы в сторонку, пропускали и захлопывались иконостасом.

Назывaл святоша полон дом гостей, облюбовывал бабу и давал знак верным людям.

Вился он около бабы, показывал ей дом, вел темными лесенками, а там стерегли...

Лакеи хватали бабу, не успевала охнуть она,—и клали в гроб. Выводили бабу потайной лестницей в другой коридор, как наважденье было на бабу.

Выйдет она к гостям, а святоша будто и не отходил от гостей. Раз только вернулась одна баба в зал и ударила его через стол звонкой ладошкой.

За гуменниками стрелялись с мужем—и прострелил он мужа насквозь, согнулся тот в три погибели доживать остаточный век уродом. Сама баба гонялась за ним с пистолетом, а потом дневала и ночевала в Орешке, покуда не заменили другой бабой.

Конец пришел гробовщику не скоро, на сороковом году. Заволок он в гроб невесту лакея, осерчал лакей, прокрались с порченой ночью к Прокимену, связали впотьмах без стука и шума старика и добрались до барина... Проснулся тот... Оседлал лакей гроб, вздула свечу порченая—тут ему и смерть пришла. Не просил ничего: знал—прощенья не будет— и принял мученья. Не поднялась рука у лакея с невестой на

старика Прокимена, пожалели своего брата, и на темноту понадеялись, и на глухоту старческую... А старичок, покуда связывали его, ощупал их, заприметил, догадался. Утром веревки на нем ослабили—Прокимен и показал. И повезли их в тюрьму: правое дело, а злое! За одним одно, за другим другое, и за каждым накопилось и горя и смеху пустошь.

Сергей Николаевич—Кирика папаша—жил в Орешке зиму и лето. Развел он в Орешке зверинец и птичник. В старом парке, за сквозным, в мелких столбиках, забором был зверинец. За тонкой железной изгородью ходили олени с оленятами, козы, козлы, мериносы, лошак, два осла и лось. Под ногами у них катались белыми вертунами стада кроликов, будто росли на полянке клумбы усатых одуванчиков с красными глазами. За зверинцем, в стеклянном павильоне, был птичник: спали там птицы ночью. За плотным забором у птичника тесно и дружно ходили журавли, лебеди, гуси, белый и цветной павлин, куры дымчатые, куры золотые, куры плимутроки. Выходил утром на террасу Сергей Николаевич в халате и кричал:

— Здорово, команда!

Ревели тогда ослы, не сводя с него ушей и глаз, мычала лось, грызли железы козы и козлы, прыгали легко олени, ржал лошак, блеяли мериносы, кружили кролики белыми лентами, плескали лебеди крыльями, клокотали журавли, а курицы распушали хвосты маленькими чалпанчиками. Сергей Николаевич хвалился яйцами плимутроков и каждое летнее утро ощупывал куричий зад, суя туда два ловких и юрких, как ящерицы, пальца. Сергей Николаевич случал осла с лосью и ждал приплода. Мирно и тихо жил он, будто никому не мешал и не хотел мешать. Орешком управлял, похожий на плимутрока с белесыми пятнышками, немец Ифан Ифанович Гук. Ходил Ифан Ифанович по гуменникам, по лесам, скакал ржаными и овсяными полями, клеверами, тимофеевками и вел под уздцы конный завод. Отпускал он половину именских доходов на зверинец, другую половину делил с барыней и посылал Кирику.

Приходили и куражливые часы к Сергею Николаевичу. Забредали с полей в парк соседские поповские коровы. Жил в старые годы церковный причт на барской руге, церковь была господская, с барскими плитами на паперти. Сергей Николаевич серчал на попа, звали его, катил поп с дарами соборовать барина, а он топал на него ножками и величал кутьей и колокольней. От обиды у попа вываливались все священные

предметы на землю, а поповский скот выгоняли тем временем на лужок и доили в свою пользу. Когда поп говорил к случаю проповедь о тощих и тучных коровах, мужики прятали глаза в бороду.

Приезжал в Орешек урядник Афоня за налогами. Не любил платить налогов Ифан Ифанович и отсылал урядника к барину. Сергей Николаевич надевал тут на себя генеральский наряд, кашлял за дверями, двери тихонько растворялись, и погодив, показывался в них генерал. Афоня вздрагивал, замирал и тянулся во фронт, приподымаясь на цыпочках. Сергей Николаевич обходил три раза кругом Афоню, грозил пальцем и бормотал грозные и непонятные слова. Афоня и корпусом и глазами повертывался за кружившим генералом и, лязгнув ногой, уходил крепким маршем вон. На другой день присылали ему из Орешка кролика с красным бантом на шее и с вышивкой на нем: „Уряднику Афанасию".

И опять сердился Сергей Николаевич, гуляя в полях, сердился на мужиков...

— Ты, ты что? У тебя под шапкой воробей? Вылетит? Барина не узнал? Бунтовать! А? Долой шапку!

Мужики скидывали шапки и уходили, не оглядываясь.

Был на Березниках пастух Емеля, из ярославских. Шапчонка на Емеле была с драными отворотами, а по тулье цветы цепью. Повстречались они, Сергей Николаевич за свое, а Емеля весело засмеялся:

— Нашелся тоже указчик!

Сергей Николаевич измордовал Емелю кулаками, пинками, царапаньем—и пошел гусем домой. Тогда Емеля очухался, взвизгнул, кинулся вдогонку, взвил плетью и огрел барина хлопушками по тонким ножкам, по кормлёному заду — починил зад на лафтаки. Емелю засудили, и осенью наняли на Березниках другого пастуха.

Кипела охочая кровь варом в Сергее Николаевиче. Был он нехорош лицом, будто смазные сапоги в заплатах, брали бабы подарки, скалили зубы, а в награду ничего. И спал Сергей Николаевич на птичнике с завалящей скотницей: молоко спитое, не баба.

Рос Кирик Чернов в зверинце, в птичнике, на конном заводе. Закидывал он на крепкой лесе крючок с хлебом на отцовский птичий двор, хватали хлеб глупые плимутроки, петухи, вытаскивал Кирик птичину, завертывал ей голову назад, тащил в поле, к речке, к костру, жарили на угольках с деревенскими

ребятишками. Он гонял по парку, лазил по деревьям, качался на послушных качковитых вершинах, дразнил ослов, тыкал острым, как шило, наконечником на палке оленят, козлов, лошака... А как спали в обед скотницы, подкрадывался к ним, приподнимал, не дыша, легкую окутку и кидал репейник в волосы, на рубахи, на станушки. Беспокоил репей баб, пробуждались они, оглядывались по сторонам и, морщась, корчевали репей. Кирик охальничал за углом.

Ифан Ифанович приходил к матери в больших калошах. Кирик прибивал их гвоздиками к полу, управляющий валился, квася укладистый нос. Кирик вырос. И постарел Орешек. Сергей Николаевич одряхлел, сидел, не вставая, серой тушей у окошка в павловском обнимчивом кресле, тряс головой, грыз репу и вышивал гладью никому не нужные пояса. Ифан Ифанович по постным дням ходил в склеп к матери Кирика и потом проходил задумчиво в поля, стоял на межах, срывал и шелушил пальцами колосья... Кирик не любил Орешек и не гнездился в его старом дупле. Только приезжал он с Анатолием, Ветошкиным, с Витковским, с гулящими бабами на короткую побывку—и ходили тогда старые половицы в доме, поводя плечами, звенели жалобно выпавшими зубами хриплые клавикорды, а на конном дворе Ифан Ифанович отбирал жеребцов для показательной случки. Ночью в боковушке грузили пол перинами, спали там вповалку, пьяные, нагие... Вздувал спичку в темноте Кирик, поднимал над головой—и хохотал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ифан Ифанович Гук тридцать лет косил черновские луга исполу с березниковскими мужиками. Луга были неплодные, супесочные. В этом году вдруг Чарыма разлилось на все Заозерье, и поднялась трава на лугах густая, пòпоясная, как на перегное. Ифан Ифанович не сдал мужикам лугов исполу. На Петров день катил он по Березникам в город... Ребята бегали по деревне и не отвели отвода. Кучер, грозя ребятам пальцем, слез с козел и отвел отвод сам.

И тогда ребята закричали из-за изб, из-за колодца, с дороги:

Немец перец колбаса,
Купил лошадь без хвоста,
Он поехал, засвистал...

И над головой кучера, над выстрелившими ушами рысака прокривили пулями легкие камни.

— Шёрт,—пробурчал Ифан Ифанович, косясь недовольно на клочья дрожавшей бороды кучера.

Рысак взвил... Коляска быстро завертела тонкими ободами со стрельчатыми красными спицами. Один камень щелкнулся о кузов коляски, другие камни не долетали и отставали на дороге. Ифан Ифанович передвинул на сиденьи широкое свое тело и обернулся к Березникам. У отвода стояли ребятишки, кричали и грозили кулаками вслед. Кучер, хмурея лицом, тоже обернулся мельком на Березники и покачал головой. Съехали с горки в лощину, будто скакала сама дорога в кудрявой суматошливой пыли, и на подъеме рысак пошел шагом. Кучер, не выпуская натянутых проволок вожжей, озабоченно сказал:

— Обратно надо в объезд... В деревне што-то неладно. Не наварзали бы?

Ифан Ифанович побагровел щеками и шеей.

— Нишего. Объезд ошень далеко. Им надо шушленик.

Тридцать лет ездил Ифан Ифанович, тридцать лет отводили отвода в Березниках, кланялись, ждали гостинцев, протягивали руки: он не глядел и не платил.

За Вереей от города наскакали две пьяных тройки. Кучер свернул рысака и снял картуз. Ифан Ифанович заторопился, неласково и часто мотая головой. Тройки скакали в Орешек. На первой тройке сидел Кирик и держал на руках рыжую пьяную женщину, две других женщины обнимали его с боков. На второй тройке было густо народа: сидели, лежали, стояли. Анатолий стоял и держался за кушак ямщика. Женщины визжали и махали белыми обнаженными руками в кисейных широких рукавах. Кирик повел глаза, узнал орешковских, махнул рукой. Тройки проскакали.

— На побывка! — недовольно сказал Ифан Ифанович.— Делайт безобразий!..

— Барин—веселье,—ответил кучер и рванул рысака.

На Березниках ребята услышали колокольцы троек, встали у отводов, начали отводить, вглядываясь в молотившие ноги лошадей, и, узнав орешковского барина, опять затворили отвода. Ребята насмешливо глядели на осевшие тройки—и не шевелились.

— От-во-ря-я-й!—взревел ямщик и щелкнул плетью.

Ребята засмеялись.

— Сам отворяй!

Кирик просунул голову из-за рыжей женщины, достал из кармана горсть серебра и швырнул в ребят. Серебро зазвенело о перекладины отвода, ребята ахнули, захватали на пыльном пуховике дороги деньги, отвод скрипнул и побежал в сторону. Тройки ворвались в деревню.

Ифан Ифанович возвращался ночью из города. Навечеру прошла короткая, обильная мокрым гроза и замесила дорогу черным липучим тестом. Отвода в Березниках были открыты. Кучер пугливо торопился проехать деревню. На выезде, из-за срубов нового дома, густо и шлепко чавкнули комья земли. Рысак подхватил, понёс. Жирная грязь ударила в лицо Ифану Ифановичу, и белый чесучовый костюм его попежел. Соломенную шляпу будто сдуло ветром, и она, перекувыркнувшись в воздухе, всплыла в глубокой кальевой луже. На спину кучеру, как черные круглые часы, сел ком. Ифан Ифанович низко наклонился, и на загривок ему еще раз упала мокрая и слизкая глиняная олашка.

Мужики вышли из-за сруба на дорогу, выкинул один шляпу из кальи, наклал в неё, хохоча, грязи и повесил на отводной столбик. Рысак уходил на огни в Орешке. Мужики глядели вслед.

— Пузо немецкое!

— Не шляпу, самово бы выкупать в луже.

— Оскребай теперь блины с толстой шеи!

И замолчали, сели у сруба на бревна, закурили. И один грустно, устало сказал:

— Не так, не так надо было, мужики! Вышло одно озорство... и все... Заодно огреть бы по спине слёгой.

— Для началу довольно и так.

— Он это дело не оставит. Цепкой, как смола. Начнут попустому таскать...

— Ково тут таскать: всю деревню?

— Может, узнал?

— Поди ты — ночью узнал. Темно не темно, а рожи не видать.

Опять покурили, повздыхали. В Орешке раздался выстрел. Мужики вздрогнули.

Гремело эхо в полях, над речкой, над Березниками, словно выглядывало, где бы упасть и смолкнуть в ночи. Потом

в Орешке что-то лопнуло, разорвалось на части—и по дугам из парка выскочили разноцветные звезды. Орешек выступил весь белым фасадом, над ним разбили цветной горящий шатер, словно спустили с неба лампады и зажгли на ночь. В середине шатра, поближе к земле, плавилось яркое бенгальское пламя, и деревья парка казались золотыми. По темному своду мягко и нежно скользили бесшумные огни. Ярко вспыхивая, чем выше, чем дальше, они медленно угасали и стремглав по отвесу падали розовыми слитками. Улетала потухавшая звезда выше других, останавливалась там, задумывалась— и пропадала.

Мужики жадными глазами глядели на Орешек.

— Развлекаются! Люминации! Народ пугают!

— О, житьишко! Ведь, кажись, из одного теста сделаны, а совсем другая ухватка. Что богатство с человеком сотворяет!

В Орешке трубила медная труба. Звезды перестали показываться, только где-то в глуби парка зажгли костер. Подгорали снизу деревья, и красный свет текучим дымом кудрявился на колыхавших верхушках. У костра пели. Многими голосами перекатывались веселые песни. А потом затопали ноги, и точно завертелись на ветру в крылатках мельницы, зашумели, захлестали по ногам бабьи сарафаны со всей округи. В чутких полях всякий звук отдавался ясным, чистым ответом.

Шляпа Ифана Ифановича серела на отводном столбике. Грязь ползла по щекам столбика и скатывалась в булькавшую лужу. Мужики слушали и глядели на шляпу. И по мере того как убывала грязь в шляпе, шляпа шевелилась, будто ёжась от ночной остуды.

— Шляпе не место, мужики...—сказали и подумали враз все.

— Дразнить неково на свою голову! Надо ее от деревни отнести... От «греха» подале...

— Вот еще—относить! Висит и здеся... будто гороховище у отвода.

„Ту-ру-ру, ту-ру-ру"—звенела труба в Орешке. И казалось— в горло трубы входил весь орешковский парк, кричало каждое дерево, каждый листок, кричал белый дом рамами, куполом, флагштоком... Крику трубы мешал долгий протяжный отчаянный рёв осла. И по полям катились шары смеха:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха! Ха-а-а!

Мужики сдернули шляпу с отвода, стоптали, а потом молча вышли в поле, отнесли на переезд через речку и спустили

на воду. Теченьем шляпу завертело, как маленькое колесо, начало окунывать, погружать, топить—и белый поплавок скрылся под клокастыми ивами, проросшими от берегов в бегучие воды.

В Орешке плакал теперь надрывно, безутешно чей-то женский голос:

— ...ы...ы...ы!

На другой день Ифан Ифанович пригнал косцов из Заозерья, и началась косьба. В июле стояла сушина, сено подсыхало под косой,—на лугах тесно поднялись стога, но простояли недолго. Ночью подпалили в разных местах стога, и они запылали под набатный звон монастырей, погостов, приходов летней масленицей. На пожар побежали Березники, Анфалово, Нефёдово, Семигорье, в Верее забрался народ на колокольню, на крыши, на троицкие качели, меряли на глаз—далеко ли горит, из Прилуцкой слободы прискакали после пожара два багра и слободская бочка.

— Не хотел, жадюга, исполу! — кричали мужики Ифану Ифановичу, молча стоявшему у парка.

— И добро не свое. Пали свиней на бесплатном жару, немецкая выжига!

Из парковой калитки вышел навеселе Кирик с гостями. И сразу красные купины стогов заиграли в глазах, зашатались на блёклых ночных лицах.

— Ка-а-к кра-си-и-во!—воскликнула Зина, опираясь на руку Ветошкина.

— Charmant! Charmant! — бормотал Кирик и целовал руку Люды.

Володька мрачно озирал мужиков и застывшего избушкой у перевоза Ифана Ифановича. Работники стояли около управляющего с ведрами, с вилами, с топорами—и не двигались.

— К шёрту идите! — крикнул Ифан Ифанович. — Тушить клупо! Поджигатель надо найти!

— Не тушите! Не тушите! Это так божественно! Это так удивительно красиво!—просила Зина.

— Н-не надо, н-н-е на-до!—едва выговаривал Кирик, льня к Люде.

Люда щурилась на Володьку и тихонько и осторожно наступала на ногу Кирику. Ворот у рубашки Кирика отстегнулся, отвалился на сторону, и Люда в первый раз заметила широкую, как стол, смуглую, обожженную летом грудь. Заметила и тонко повела ноздрями, будто тянуя от нее тепло и жар.

За золотевшими усиками ресниц прокралась такая зовущая усталая скважинка желанья. Кирик густо, крепко прижал опять к ее руке губы, задержал их, пошевелил и сжал кожицу.

Володька криво дрогнул щекой и сказал резко Чернову:

— Не жаль тебе... твои сенокосы горят!

Кирик засмеялся и небрежно показал рукой на Ифана Ифановича.

— Е-ему жалко!

Мужики пересмеивали вблизи и любопытно разглядывали господ. Анатолий ходил селезнем у решетки парка около горничной и пьяно нашептывал ей:

— Я... я люблю пожары... Они возбуждают... Огонь — это кровь... кровь... страсть... Поля, как вы хороши! Откуда вы расцвели... в этой... глуши?

Горничная куталась в платок, закрывала рот и не сводила с Анатомия недоверчивых и восхищенных глаз.

Вышел из парка старый лакей Сергея Николаевича со шлепавшими по подсохшему заду помочами и перекрестился на полыхавшие рябиновыми головами стога. Пожар скоро наскучил господам, и они лениво уплелись в парковую калитку. Из парка послышался смех, кто-то запел, кто-то закричал ау-ау-ау, а потом замычала лось, прогрохотал осел, и забили на насеадлах курицы в павильоне.

— Удиви поди,—злобно пробурчал один мужик.—Без-забо-о-отные головушки!

— Помирать будут, захохочут!

Понемногу расходились и мужики, усмехаясь на неподвижного, строгого Ифана Ифановича.

— Гляди не гляди,—шутили мужики, уходя.—Многова не увидишь. Щитай, сколько на остатке будет. Обрадел урожаю: вот те шиш, не урожай!

Ифан Ифанович провожал одним глазом мужиков и не мог его отвести от цветных рубах, другой глаз следил за красной сухой пыльцой над стогами. Зачинался несмелый ветер с Чарымы. Он надувал красную пыльцу на весь луг. Вдруг, будто красный мех, большой ношей поднялось сено с одного горевшего стога, перекинуло его, кроша на лету, на поотдальный стог и окутало сразу во весь рост красной шалью.

Ифан Ифанович забегал тогда у парка, кидаясь на работников:

— Чего стойит! Лошадей! Фывози!

Работники бросились на конюшни. Ифан Ифанович нетерпеливо ждал, прислушиваясь к топотавшим ногам работников, бежавших по парку. Долго искали ключи, будили конюхов, искали сбрую, гомонили, кричали и ругались. Наконец загремели по деревянным въездам на конюшни лошадиные копыта, заскрипели ворота, затпрукали конюха—и на Ифана Ифановича покатились колёса ондрецов, лотков, навозниц.. Из парка одну за одной гнали лошадей. Ифан Ифанович радостно мотал головой и твердил:

— Карашо! Карашо!

Сено быстро перекладывали на лошадей и отвозили из подветренной стороны, вырывали из огня занимавшиеся стога, таскали сено охапками, пестерями, мешками... Вилы бодались на свету с сеном, кололи его, тормошили. Казалось, в стогах засели какие-то враги работников, и они нападали на них. Отбили от огня и навалили большую гору сена. Дотлевали уже подземным огнем красные бадьи стогов, будто плеши на стриженной голове луговин. Работники уходили досыпать оставшиеся часы до начала работ. В помутневшем от огня и рассвета поле долго стояли Ифан Ифанович и старый лакей. А потом Ифан Ифанович вздохнул, подошел к лакею, улыбнулся ему и горько сказал:

— Какой сено! Какой было сено! Спасай немножко! Совсем мало!

Старый лакей прошамкал:

— Бог дал, бог и взял, Ифан Ифанович, а кто на чужое добро руку поднял, богаче не будет. Мужики не иначе искорку метнули... Обида, вишь... сколько годов пользовались, а нынче—ничего!..

— И я не пуду Ифан Ифанович,—закричал управляющий,—когда я пуду отдават сено напополам!

Ифан Ифанович вошел в калитку и стукнул дверцами. Старый лакей брёл за ним в ночных туфлях и тихо твердил:

— Так-то бы не надо, так-то бы не надо! Мужик терпеливой, как земля, терпеливой, а я скажу, памятливой... памятливой мужик... Медведя вот за кольцо водит цыган, в носу продето кольцо, под хозяином медведь живет. А долго ли находит? Медведь... он рехнется сразику, да в обхват, косточки у поводыря как у комара треснут... Али медведь идет с цыганом мимо пруда какого... в воду раз—и давай хозяина крестить в тине. И докрестит, покуда тот мокрый язык не

высунет, и покуда пузырь в ём не лопнет. Мужики наши маются сенами. Мужикам, ой как, сено надобно! На волю-то выделяли, худобину одну мужикам нарезали. Вот зло-то и осталось. Сорок лет зло, будто чесотка на руках, зудит без памяти. Ни земли настоящей, ни лугов у нашего мужика. Обидеться, осерчать тут недолго.

Несло едкой палениной земли и будто невидимо окуривало парк, фыркали ослы в зверинце, и лось в тревоге поднимала морду на ветер. В доме закрыли окна с луговой стороны и перекатили кресло Сергея Николаевича на другую половину.

В жнитво в Орешке была помочь. Господский хлеб, высокий и желтый, на сытом навозе, на уходе, на глубокой плуговой пашне, вызревал рано. Рано и повалили его с ног. До того загорались жнива в разных местах. Ифан Ифанович объезжал поля сам. Качались сторожкой в близких и дальних полях верхами ингуши. Не пропускали они ночью ржаными, пшеничными проселками. Мужики ходили большой дорогой, в обход, захватывали горстями придорожный колос и кидали под ноги. Поля отступали от большака сплошной щетиной желтой соломы, и брошенный под ноги колос прорастал зеленой атавой.

Собрались на помочь березниковские, анфаловские, нефёдовские, семигорские бабы и девки. К вечеру открылись колючие подступы полей к Орешку. Будто низко выстригли покатную голову земли и оставили чуб на макушке—орешковский парк. Позади дома, у конюшен, на тесовых, срубленных к помочи столах кормили и поили помочан. С террасы глядели господа на белые, розовые, голубые, красные бабьи платьишка. И тянулись от столов к террасе, от террасы к столам острые, как серпы, и чужие паутинки взглядов.

Земля засумерничала. Первый табунок баб плеснул ситцами и потопался на мягкой траве. И будто из травы, из деревьев выросли сразу ребята с гармоньями, повалили со всех сторон на господский двор, взяли столы в черную петлю, допивали из дролиных рук недопитое вино и налаживали, примериваясь на пиликавших ладах, уже плясавшую в вечерней свежести плясовую. Обошел последний стакан круг, и гармоньи враз глубоко вздохнули, раскрывая зажатое горло. Дворовая земля забурчала, замолотила, забухала, словно изогнулась под сороконожками пляса—пестрое человечье варево шелушилось в глазах, и будто в бурю несло с открытых дорог, полей, лугов лист, траву, дождь щедрыми, неубывающими ворохами. На террасе

хлопали в ладоши, и женщины, вздрагивая, поводили плечами, перебирали на полу тонкими ножками, дразнили слипавшимися глазами хмелевших мужчин.

В наступавшей из парка темноте помочане на плясу перешли за ворота, постояли, поторкались, поплескались из стороны в сторону, как огромный чан с водой, и гармоньи повели в поле, на дороги, на тропки.

Все дальше и глуше были голоса, песни, гармоньи. Они оплетали теперь звенящими сетями Орешек спереди, сзади, с боков. Ифан Ифанович подошел к па́рковой калитке, приклонился к ней и долго слушал усталую темноту ночи. И ему казалось, пела и плакала вся черновская земля. С террасы доносились звенячие ручьи рюмок, бокалов. Ифан Ифанович вздохнул и горько сморщился. Он подальше обошел террасу и сел на крылечке у своего флигеля. Старый лакей брёл по дорожке мимо и, всматриваясь, остановился у ступеньки. Ифан Ифанович похлопал рукой рядом с собой. Старик сел и молчал. Ифан Ифанович пододвинулся к нему. Старик наставил ухо.

— Я нишего,—сказал управляющий.—Ты кочешь что-то сказать?

Старик помедлил и зашептал, кивая головой на красневшую вдалеке террасу.

— Урожай пропивают...

Ифан Ифанович зашевелился. И опять замолчали. Управляющий закурил трубку. Огонь облизал пегое лицо Ифана Ифановича. Седой волос, будто мукой у мельника, запорошил щеки его, скомканный, как изжеванный, подбородок и висячую паклю бровей. Старый лакей покачал головой.

— А много нам, Ифан Ифанович, годов обоим вместе... Без малова два ста.

Управляющий ничего не сказал, только затянулся лишний раз трубкой и лишний раз вздохнул. На террасе хохотала пьяная Люда, и кричал Анатолий. За флигелем шумели и шорохшили деревья. И бурчал сам с собой старый лакей:

— Парк наполовину при мне подсаживали, от земли не видать. Какие дерева выросли! А мы к земле... хе-хе!.. Горбики у нас выросли...

— Та... та,—грустно шамкнул Ифан Ифанович.

На другой день после помочи из-за Шелина мыса дунул холодный ветер и взвил дыбом орешковский чуб. Нахохлились поля,

заосенело на лугах, и встал угрюмевший день. В Орешке начали топить риги: молотили. По амбарам в будто прикованные к стенкам закрома укладывалось свежее зерно и, шурша, проливалось через края на кирпичный пол. Неверное солнце через неделю выплыло вдруг из-за Чарымы распаляющим колесом. Вздыбились несжатые мужицкие поля, изомлели поля сжатые, стриженные, и запела редкая, еще не отпевшая за лето птица. Деревенский серп начал прибирать к рукам готовый колос. До полудён бабы шибко наступили на свои загоны и отрезали полы у полей. А с полудён на чеканной голубой вышине неба отбился и заболел густой чернотой один край. Чернота жадно поползла кверху, раздалась в бока, упала на чарымские воды. Солнце тужилось и не поддавалось, ныряло в темные складки туч, вылезало в светлые прогалины сияющим золотым блюдом, и опять его накрывали плотные ставни облаков. Туча, ворча и сердясь, задергивала непроницаемый, клубивший черным дымом занавес. И солнце заглохло. А тогда будто развернулся над землей неохватимый дождевой зонт. Чернота вышла из берегов и разлилась повсюду, замахали молнии красными мечами, и вслед навалился тяжелой каменной грудью гром и стукнул кулаком о кулак. Загрохотали небесные полы, закачались небесные стены, и черная крыша с треском и вереском свалилась внутрь. Разъяхнулась чернота на стороны—и в прогон ворвался сзади крутящий сивый столп. Его давнули с боков черные паруса грозы, он наклонил вперед седую голову и, ступая на землю набухшими ногами, вышел из туч. Тут полоснула молневая плеть вокруг шеи красным кантом, гром оглоушил в затылок, и столп зашатался, повалился, загромыхал, рассыпался тесным и спорым градом.

Град прошел—и полей не стало. На полях лежали изломанные долгоногие кузнечики-колосья. Гроза скатилась за Верею, и опять вышло солнце.

От Березников, от Нефёдова, от Семигорья бежали в поля бабы, мужики, а впереди прыгали по лужам ребята. Бабы стояли на межах и тёрли передниками глаза. Мужики безмолвно поднимали колосья с земли, выпрямляли рожь, глядели молчаливыми, затаившимися глазами на примятые, изъезженные грозовыми колесами полосы. Ребята собирали в картузы крупный яичный град, сосали его и кидались наперекидку. Мужики долго ходили по полям. Сошлись вместе на смыках

Березники, Анфалово, Нефёдово, Семигорье, сидели грачьем на перегородах, размахивали руками, тыкали друг другу в грудь и указывали на горевшие под солнцем золотые кустики окон белого дома в Орешке. Зеленая вымытая крыша дома отливала блестящим шелком, ясно лоснилась, и ходили по ней серебряные домашние голуби.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В первое воскресенье от градовой тучи на Березнике была гулянка. Каждый год на гулянку варили пиво. Не варили в года неурожайные, скупые, не варили в года градобойные, в червивые года.

Мужики напились в этот несчастливый год с ночи. Накануне ездили в город со скороспелкой и привезли водки. День спали, а к вечеру опять напились. Пришли на гулянку работники из Орешка и недолго нагуляли. Была запросватана девка из Березников за орешковского конюха. Нареченного зятя нареченный тесть кое-как угостил по бедности, зять закуражился, заломался, вышел из избы на улицу и хлеснул стягом по раме. Началась драка кольями, тростями, поленьями. Кровь чиркала из голов, как вода из лейки, тонкими волосками, плыла из носов, капала из багровевших щек.

Орешковские работники убежали за мостик через безымянную речку, оттуда перекидывались с Березниками камнями, бранью, а потом их опять погнали березниковские, затараторив бегущими сапогами на мосту. Загнали работников в парк и у решетки остановились. Рванули раз—другой на углу решетку, сорвали ее с места, обрушили наземь, в парке кто-то свистнул, испугались и кинулись бежать в Березники. Работники высыпали за усадьбу, грозили вдогонку кулаками и злобно глядели на убегавшую, падавшую на бегу ораву березниковских мужиков и парней.

На другой день провезли Березниками из Орешка в город зерно. В Семигорье, Нефёдове, Анфалове забегали бабы из избы в избу, и один тревожный, гудучий говор, как неперестающий комар под пологом, заныл в деревнях:

„Хлеб увозят! Хлеб увозят!"

Мужики сидели весь день на бревнах в Березниках. Бабы высовывались из окошек и прислушивались. Приходили мужики

из Анфалова, из Семигорья, из Нефёдова, ходили мужики гуртом в гуменники, сидели там, спорили, кричали—и к вечеру тихо разошлись.

В субботу еще, как березниковские мужики ездили в город со скороспелкой, встретили они на тройках орешковского молодого барина. Ямщики гикали и щелкали плетями. Плети тянулись за тарантасами, как коровьи хвосты. Пугались мужицкие лошади с возами и сворачивали в придорожные канавы. Закидал грязью, напугал и прокатил мимо. Мужики глядели вслед и гневались,

— Зачастил!

— Гоняет туды-сюды: то в именье, то из именья...

— Распутниц возит!..

— Не может шею сломать!

— Житье сахарное, мужики! Сыт, пьян и нос в табаке.

Кирик кончил весной электротехнический институт. На выпускной выпивке он начал пить и раскутился на все лето. Кутили в городе, кутили в Орешке. Ифан Ифанович прятался от него и прятал деньги. Сергей Николаевич сидел в кресле, вышивал пояса, жмурился на крики и возню в доме, глядел непонимающими потухшими глазками на проходившего Кирика с гостями, кивал головой и тихо спрашивал у старого лакея:

— Откуда такие?

Лакей жалобно кривил щекой.

— Кирик Сергеевич! Сынок-с. Не узнали-с?

Сергей Николаевич задумывался, припоминал и опять спрашивал:

— Из города?

Лакей, отчаянно вдавливая слова в уши Сергея Николаевича, торопливо говорил:

— Да молодой же барин, молодой барин...

— А!.. А!—вдруг тянул старик.—Наш барин. Приехал на побывку из армии... Красавчик, красавчик барин! Турок колотил под Плевной... Не увидал бы, как бездельничаем мы с тобой!..

Старый лакей дрожал головой и безнадежно поправлял на ногах Сергея Николаевича сползавший плед. Старик хватался за пояса и продолжал вышивать.

В дни дождливые, сырые, с ночи занывали ноги у Сергея Николаевича, и токало в спине долгими большими рывками.

Старик плакал. Старый лакей садился на пол с утра и растирал ноги. Откладывались тогда пояса на стол, и Сергей Николаевич выводил каракули на маленьких, нарезанных лакеем клочках бумаги. То писал старик сорок лысых и сорок плешивых против погоды. Старый лакей раскрывал окно в пасмурный день, клал на ладонь бумажки и сдувал их. Ветер подхватывал бумажки, вертел за окном, Сергей Николаевич радостно взвизгивал в кресле и чмокал губами:

— Солнышко! Солнышко!

Ночью на воскресенье Володька сквозь сон слышал, как осторожно поднялась с кровати Люда, накинула капот и, шаря стену, пошла из комнаты. Легко и осторожно скрипнула дверь и затворилась, и где-то далеко через анфиладу комнат скрипнула другая дверь, прозвенел звонок, и дом стих.

Володька сел на постели. Люда ушла к Кирику. Володька потрогал грудь. Под теплой ладонью билось ровное сердце. И так, не ускоряя и не медля обычного хода, работало сердце, пока он думал пойти за Людой, рвануть на себя дверь или толкнуть внутрь двери, войти в комнату Кирика и застать их. Сердце билось холодно и лениво. Только во рту от пьяного вечера тяжело пахло, и стенки пересохли, на нёбе лежала шершавая плёнка, и язык был груб и неповоротлив. Володьку замутило. Он прошел к умывальнику, открыл кран в рот и глотнул, помазал водой залипшие глаза, вспрыснул на лицо пригоршни теплой, неосвежающей воды—и опять лёг на кровать. И не мог уснуть.

Под утро, когда Володька увидал стоявшие у кровати ботинки, он быстро свернулся, оделся и стал ходить по спальне. В раскрытое окно несло мокрой свежестью парка. На конюшнях фыркали кони. На крыше ворковали голуби. На террасу капали с крыши крупные ровные капли, и звук каждой капли был отчётлив и отделен.

Вошла осторожно Люда, остановилась и опустила голову. Володька повернулся к ней и насмешливо спросил:

— Уже состоялось? Скоро. Иди обратно: вам еще рано вставать.

Володька обошел ее и вышел в коридор.

Люда устало покосилась на его спину, усмехнулась на прилипший к спине серой бородавкой репей—бросил его вчера в парке Кирик—зевнула, вслушалась в Володькины шаги по лестнице—и встала в окне, раскинув розовые крепкие руки

на косяки. Пробудившийся за парком ветер повеял на темные стриженные подмышки,—Люда встряхнула на зябнувшие руки широкие рукава и долго вбирала в себя утренний холодняк.

Под окном зачавкала опившаяся вчерашним ливнем земля. Люда высунулась на подоконник и увидала уходившего мужа. Она прищурилась, поглядела, помолчала—и вдруг крикнула зовуще и нежно:

— Володька! Иди... спать!

Он не ответил и не посмотрел на нее. Люда недовольно наморщилась, подобрала капот, быстро села на подоконник и перегнулась за окно.

— Куда ты пошел, Володька?

Люда резко дернула кружево на рукавах, зашевелилась на его молчание и негодующе взвизгнула:

— Ты... ты груб!

Еще раз чавкнула мокрыми губами земля под Володькиными ботинками, и он исчез в аллее. Люда звонко щелкнула рамой. Побагровев от гнева, она широко распахнула двери из спальни и пошла к Кирику, ступая сильными уверенными ногами на скрипевший паркет.

Прошло воскресенье. Володька не приходил. Люда хохотала, хохотал Анатолий. Ждали Володьку до ночи. Кирик хмурился. Ночью пили опять на террасе. Плясали пьяные ингуши и не сводили глаз с открывавшихся грудей Люды. Плясала Люда, ингуши дико взвизгивали на круглые повороты широких бедер Люды и шаркали о пол мягкими подошвами. Муж Зины лежал в углу террасы и спал, храпя. Зина накинула ему на лицо носовой платок и целовала пьяными губами Ветошкина за громоздившимися букетами астр и георгинов на столе. Анатолий подглядывал и грозил со смехом пальцем. Кирик был в рубахе, без пояса, бледный и дрожащий. Он хватал Люду при всех поперек живота, тянул к себе и тушил свечи. Витковский кричал на весь парк грохочущим голосом:

— Не позволям! Не позволям!

И, качаясь и опрокидывая бутылки, стаканы, цветы, зажигал свечи.

Забрезжило новое утро... Прогнали захмелевших и махавших кинжалами ингушей... Разошлись по огромному, тонувшему в темноте дому, кричали и слушали эхо, катившееся по анфиладам комнат, по залам, по боковушам, по гостиным... Люда обвила изнемогшего Кирика за шею и увела к себе.

На террасе замедлил Анатолий. Он трусливо оглянулся на стеклянную дверь в дом, прикрыл ее, перекинулся через балюстраду и тихо позвал:

— По-о-ля!

Из-за деревьев показалась маленькая в белом женщина, махнула ему рукой к себе—и опять спряталась в деревья. Анатолий сошел к ней.

Ифан Ифанович Гук отправлял в понедельник зерно в город. Кирик и гости поднялись к вечеру. Обедали поздно, тихо, устало. Взглядывали друг на друга, и у всех были синие круги у глаз, глаза прятались друг от друга, разбегались застенчиво и стыдно падали в тарелки, в бокалы с содовой, с лимонадом. Люда первая бросила хлебный шарик в мужа Зины, а Кирик чокнулся с Людой. Но встали из-за стола скучавшими, ленивыми, недовольными собой.

Перед поздним вечерним чаем гуляли около сгоревших стогов. Черные выпалины на лугу, ровные, круглые, были как знаки недоделанных клумб в цветнике. С лугов ушли в перелесок, добрели до Шелина мыса, сидели на берегу Чарымы и глядели на белые стога шатровых колоколен в приходах... Над Чарымой, как в воронке, крутили и кричали чайки. Темнозеленые волны шли бороздами. Будто глубоким плугом пахал ветер воды, и будто на пашне плуг отворачивал пласт за пластом.

Женщины скоро зазябли, начали кутаться. Поднялись обратно. В деревне Каменке у перелеска пили молоко и ели мягкий с солью черный хлеб. Бабы обступили и щупали на Люде серый жакет.

И как сели за вечерний чай на террасе, мужики березниковские, семигорские, анфаловские, нефёдовские мазали телеги и не отводили лошадей в ночное.

Чем ближе подступала ночь, тем более сиверило, с Чарымы широкими холстами тянул пронизывающий дольник. Сели играть в карты в комнатах и затворили окна. А за ужином опять завился над столом кудрявый и пьяный хмель. Пили отвальную. Гости собирались назавтра в отъезд. За полночь слегли, кто где сидел, по разным комнатам. И снова Анатолий спустился в парк к Поле.

У подорожного креста за лесом собрались в середине ночи мужики на телегах и неслышно поехали в Орешек. Прямиком, лугами, по всем дорогам окружили они усадьбу и сразу

с разных концов выехали к хлебным амбарам. В воротах, на выездах, у рабочих казарм встали с топорами, с дробовиками дозорные. Над телегами засветились фонари.

В тишине спадавшей ночи загремели первые железные удары о замки. Хлебные амбары со скрипом открыли удивленные пасти ворот. Сильно, кряхтя, в ненарушимой деловой тишине, мужики, светя фонарями, подвешенными над закромами, начали насыпать мешки.

Тут откуда-то выскочил ингуш, закричал, на скотном дворе промычала корова, на конном дворе заржали кони, встрепенулись курицы, и заклохтали, загорланили петухи... Ингуша сразу, дружно незаметно смяли, отняли у него ружье... Он подрыгал ногами и подавился тряпкой, плотно заткнувшей рот.

Но уже Орешек проснулся. От флигеля размахнулся огненным крылом выстрел. В рабочих казармах раскрылись окошки. Сонные рабочие кинулись к двери: дозорные наставили ружья — и рабочие отшатнулись. Они норовили вылезть в окна, но дозорные угрожающе закричали... Не утерпела одна баба, мотнула головой в подбелившуюся светом ночь и воззвала тонко и дребезжаще, как в звонкое медное било:

— Гра-а-бят! Гра-а-бят!

И тогда зашумел, заёрзал черный мужичий улей у хлебных амбаров. Ифан Ифанович в халате, в пантофлях, с трубкой смело вышел из флигеля.

— Кровосос! Мироед! Г-гадина! — набатом голосов встретили мужики управляющего.

Ифан Ифанович не испугался и приказал:

— Я коворю — малшать!

— Хо-хо! Хо-хо! — рявкнуло у амбаров мохнатое мужицкое горло.

Кто-то свистнул, другой лязгнул топором об угол амбара, тревожно заржал конный двор, мужицкие лошади ответили... Будто всколыхнулась проходившая ночь страшным конским смехом с оскаленными венцами белых зубов, перекликнулась в парке, над крышами.

— Вы как смейт грабить? — закричал гневно Ифан Ифанович. — Я не испугал ваш шума! Я пуду штрелять!

Он закричал и не докончил. Еще раньше чем он не докончил, два ингуша, стоявшие около него, не утерпели, сорвали с плеч ружья и пальнули в мужиков. Взрыдала лошадь, покачнулась,

припрыгнула в оглоблях и медленно завалилась набок... Оглобли хрустнули, телега перекувырнулась, разорвался мешок с зерном, и зерно хлынуло с плеском, как вода из широкой трубы. Застонал один мужик, прилипая к животу ладонями, и осторожно, вытаращивая глаза, приседал к земле, будто боясь покачнуть раны.

Тут как ветром подкинуло мужиков над землей. С топорами, с вилами, с кольями, с кнутами они сомкнулись около Ифана Ифановича, хряснул о голову управляющего брошенный на кидок фонарь, Ифана Ифановича подмяли и сломали... Не своими голосами зашлись ингуши на земле, только охнул Ифан Ифанович, и земля затопотала, забормотала бессвязно мужичьими сапогами.

— Братцы!—заплакал скрюченный мужик на земле.—Братцы! Кончаюсь! Ребятишек... не обидьте!

Мужик взвился вьюном, перекатился с боку на бок, перевернулся на брюхо и вцепился ртом, руками, носками сапог в пылившую серую землю. Еще раз он застонал жалобно и нескончаемо, тело подбросилось, и мужик стал, отдрагиваясь с головы до пят, тянуться-тянуться-тянуться—и остановился. Околевшая лошадь подняла ноги кверху. Брюхо на виду пучило.

Будто запнулись мужики о смерть, смолкли, будто оглянулись по сторонам и не узнали, где они были. А за передышкой загрохотали сами небеса, заурчала земля, застучали деревянными кулаками здания Орешка. Снялись дозоры с мест. Щелкнули дробовики в глядевшие нежной серью окна главного дома. Зазвенели стекла и посыпались по стенам плачущими осколками. Тогда ревуче бросились мужики в дом, неся топоры, вилы и криками открывая двери, окна...

Старый лакей высунул голову в окно и в ужасе заскрипел:

— Что вы, что вы, полоумные!..

Из рабочих казарм убегали в поле бабы, несли детей, работники прятались в парке и выглядывали из-за деревьев. Занимался пожаром флигель управляющего. Пятеро мужиков перебегали от постройки к постройке и поджигали. Огонь вьющимися змеями полз по стенам и подтачивал углы, крыши, растоплялся, усиливался треском, плескал, клокотал...

В сорока комнатах орешковского дома валились зеркала, статуи, картины, грохотала мебель, плыли стеклянные и хрустальные ручьи посуды по паркетным полам, растянулись вповалку шкафы, комоды, шифоньеры изломанными штабелями,

мотались оборванные куски шпалер, секли топоры черные глянцы роялей, красное дерево клавикордов—и с боковуши внизу зажигалась красная сухая теплина. Мужики гнали по анфиладам комнат, по коридорам, по лестницам—и за ними гнался перегоняющий тряпичный дымок из боковуши.

Кирика и Люду нашли в кровати... И он не успел протянуть рук, как опалило на ней ночную рубашку хлынувшей кровью из грудей. Кирика скинули на пол, топор рубанул по ногам, впился в плечо, а потом Кирика головою вперед вдвинули сквозь лопнувшие стекла, и он рухнул о землю, как подрубленный молнией крест.

Растоптали, размяли, растолкли рыдавшую Зину под диваном. Разрубили около нее Ветошкина. И добрались, докатились гневом, криком, плюющим ртом до Сергея Николаевича. Старик сполз с кресла, стоял на четвереньках, ноги не двигались, и он не мог уползти. Мужики не узнали в нем старика, мужики узнали в нем молодого строгого барина. И как мясо, топоры зарубили старую тушу. Лакей дрожал рядом на коленях. Отвалилась у него нижняя губа, и текла с нее густая, липучая слюна, будто горячее застывающее стекло. Пронеслись мимо... И старик, пятясь от кровавой груды Сергея Николаевича, всплывшей и будто ёрзавшей на крови, трудно полез в окно. Из людской бежала прислуга, спускалась по трубам, выскакивала в окна.

Мужики вытолкнулись из дома на двор мокрые, с красными топорами, с кровоточащими руками, рваные, сиплые, рехнувшиеся. Красной дрожью окропился весь дом. Из окон валил густой клубучий чад. Будто в каждом окне была дымившая труба, и в доме топились сотни печек. А потом, крадучись, кашляя дымом, вывернулся из дома Витковский, за ним муж Зины, в ночном белье. Забили в набат соседние приходы. И мужики заторопились. Они повалили к хлебным амбарам. Издали, на ходу, наставились дробовые дула, шарахнулись красными плевками—и Витковский и муж Зины легли у входа. Витковский отполз на тропку, вешившую накрест двор, и не мог переползти бугорок. Он долго укладывался на нем хрипевшим горлом и кого-то звал рукой.

В багровом свете подняли уши торчком мужицкие лошади и бились в упряжках. Мужики разом, бегом, одним напором засновали по въездам в амбары. Телеги наполнились мешками. Лежали они на телегах, перевешиваясь через края, тыкали

лошадей в отодвигавшийся зад... Будто навалили на телеги пьяных людей грудой, наспех, вповалку, и вино качало их во все стороны. Навалили телеги, отвели возы на дороги и подожгли пустые хлебные амбары. Добивали, доколачивали инвентарь у служб.

Ревел и плакал скотный двор. В низкие разбитые окна коровы выставляли рога и обивали их. И метались тогда вместо рогов красные кропила, красили плакавшие глаза и жалобно просившие морды. Мужики не выдержали. Охнули согласно и жалостливо отвалили ворота. Скот хлынул на волю, как вода через раздавленную ледоходом старую плотину. Ярки, бараны, телята совались под ногами и вылезали под брюха коров и быков. Животные заметались вокруг... Сорокапудовые племенные быки тяжело носились около горевших зданий, звеня сорванными цепями. Мужицкие лошади шарахнулись. Опрокинули один, другой воз... И торопясь и спеша, воза задрожали на дорогах, поползли, словно сдвинулась земля вместе с двором—и пошла. Мужики тпрукали, кричали, били лошадей, выгоняли в поле кольями, ременницами ревевший скот. Скот упирался и не сводил огромных печальных глаз с живых красных стойл.

Быки вдруг заревели долго и страшно, разбежались от главного дома, кинулись к скотному двору и прыгнули в широкие пылавшие ворота. За ними вбежали несколько коров и застряли в воротах, обрушились, забились ногами, опаленным выменем. Крыша качнулась над скотным двором, сползла вбок и провалилась на подгоревших стропилах. Быки замолчали.

На конном дворе горело внутри. Долго сбивали замки, отогнули широколапые петли—и не могли вскрыть крепких дверей. В малые окна над воротами закинули головешку и подожгли сено. Кони били о стены ногами, будто сотни невидимых конопатчиков конопатили стены, кони грызли стойла, рвали цепи, удила, выламывали решетки, кони ржали непрестающим отчаянным зовом. Теплый дым расползался как болотный, из каждой былинки куривший туман. Конный двор дрожал мельчайшей неуловимой дрожью, будто дрожала нежная и тонкая кожа задыхавшихся рысаков, переходила на стены—и они вместе умирали. Огонь выкарабкался из-под крыши в углу, крыша раскалилась, и ее загнуло как козырек картуза. Дым побежал в отверстие, быстро занялся угол, и по стене неудержимо пошла краснота. Кони носились теперь косяком по колебавшим

полам, кидались в запертые двери, лягали их, отодвигали полотнища зубами, глядели в щели огромными безумными глазами. Мужики еще раз навалились на двери, просунули толстые слёги в дыры, покачали ворота—и бросили. Кони жалко ржали и стонали, выжидая, набиваясь в узкий проход к дверям...

Мужицкие лошади уходили. Жар от горевших вокруг зданий палил уже мужицкие пиджаки, рубахи, подступал к горлу. Наклоняя головы, мужики заспешили из пекла. Постояли они вблизи убитого мужика, бережно отнесли его от огня на середину двора и опрометью бросились в усадебные ворота.

Орешек долго горел один. Только ржали кони, убывая в косяке, все тише и тише, только ревели коровы, набредая с полей, только пели петухи спутанные часы времени, и в зверинце сбились животные в угол испуганным табунком, ноя о своей звериной тревоге.

Анатолий давно лежал в поле у огорода за Семигорьем. Он видел, как горели облака над Орешком, и, казалось, загоралось само небо. Пять верст было до Орешка, пять верст он крался из парка лугами, перебегая от стога к стогу, садился в кусты, полз ложбинами—и все дрожал-дрожал-дрожал... Поля первая увидала мужиков. Она юркнула из беседки к дому, подсмотрела. А потом Анатолий услышал выстрел и ответивший ему грузный, закипевший обвал голосов у амбаров.

— Бегите! — шепнула Поля, вздрагивая и вытаскивая его из беседки. — Мужики... убьют... На большую дорогу... не выходите...

Анатолий слушал набат. И все устойчивее, и все яснее, где-то внутри, в животе, вдруг оголодавшем, переливалась, щекотала, вспрыгивала радость. По большой дороге, поперек полей, мчались верховые, бежали мужики, бабы. Анатолий пригибал голову к земле, пропускал мимо—но эти скакавшие верховые, бежавшие мужики, бабы были не страшны: они, любопытствуя, только торопились на пожар, а он уходил от пожара.

Набат кончался. Наставшее утро проглотило зарево — и над Орешком остался мутный тяжелый полог гари. Анатолий вышел тогда на большую дорогу. Сломал на канаве молодую гибучую иву, очистил ее от кожицы; свистнул, извиваясь в руках, белый прут—и Анатолий весело засеменил к городу.

Он шел. И чем дальше он шел, тем чаще хотелось ему запеть, закричать, запрыгать, броситься на шею к игравшему на рожке старому пастуху в Верее, выгонявшему скот. Выходила на дорогу Люда, Кирик... Анатолий мельком думал о них, и в горле опять спирался трепетавшим клубком никогда раньше не знаемый восторг.

Старый лакей, когда умолкло все, когда только трещал огонь, выбрел из парка на безлюдное пожарище первый, согнулся низко и не смог разогнуться: горб отяжелел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Топ... топ... топ...

По Верейской дороге, на заре, шел на-рысях кавалерийский отряд. Ротмистр Пышкин, будто огромная афишная вертушка, круглый, гладкий, с выточенной на ней балясинкой головы, с жирным выменем подбородка и с выдавленной на воротник малиновой шеей, запарил лошадь. Как белые стружки, валилась с нее пена, задние лошади пену растаптывали и оставляли после себя другую пену. Казалось, по Верейской дороге везли грязный хлопок, ветер выдул его из тюков и раскидал по земле клочьями.

Ротмистр Пышкин запоздал. В ночь ушла из города по Верейской дороге рота солдат, и губернатор укатил вместе с нею в коляске. Ротмистр Пышкин поздно вернулся из Заозерья, пересел с загнанной лошади на другую, сменил отряд и кинулся вдогонку.

В Заозерье, на бумажной фабрике Сумкина, был бунт. Рабочие пробуравили цистерны с нефтью, спустили их в реку, разнесли контору, подожгли целлюлозные склады и бросили директора фабрики в огонь. Ротмистр Пышкин усмирял бунт. На фабричный двор согнали рабочих, отобрали десятого, отвели под черные сталактиты градирни на электрической — и расстреляли. Тогда под плетями казаков рабочие бросились вон со двора, повалили цепи солдат, полезли на заборы, на крыши... Спокойно, не торопясь, расстреливали бегущих по дорогам от фабрики, снимали на мушку с заборов, с крыш... Рабочие валились на двор черными кричавшими глухарями.

Ротмистр Пышкин сидел на коне и вытирал запотевший лоб. Тело было так грузно, так прилипчив был мундир, словно потная испарина всегда отделяла скользящей кожей одно от другого. Пышкин, жуя губой, потея, кричал:

— Bien! Bien!

И плети носились, хлестали, свистели, как сорвавшийся с маховика ремень. Потом усмиряли по деревням—отправляли подводы с арестованными в город, допрашивали, сожгли непокорные хутора.

В особняке у Сумкина был обед. Играла полковая музыка, вызванная из подгородных лагерей. В саду, на газоне у террасы, плясали пьяные солдаты Пышкина. Гости хлопали в ладоши. Сумкин роздал солдатам по зеленой трехрублёвке. Пышкин сидел на террасе и пьяно ревел:

— Ге-р-ои! Бла-а-го-дарю!

Вычистили фабричный двор—убрали трупы, зарыли... И фабрика пошла. Загудел ранний гудок в утренних туманах по реке, над озябшими лесами, перелесками, над рабочим поселком—и в фабричные ворота, калитки повалил оголодавший от бунта рабочий люд. Тут Пышкина вызвали из города—и он поскакал.

Топ... топ... топ...

В зарозовевшем воздухе утра показалось под горой Семигорье. Мокрое, нежное, выкупанное в росе, оно уже пробудилось. Отряд на-рысях вошел в село. У отвода, придерживая его за грядку, кланялся десятский и бормотал:

— К батюшке пожалуйте! К отцу Николаю на двор. Тамотка все.

И десятский побежал в прогон. Отряд задержался и легко пошел в узком прогоне. На широком выступе теплился окнами серый двухэтажный дом. А перед ним на лугу красное, белое, розовое бабье и мужичье становище недвижимо и молча глядело на кавалеристов. Солдаты огородили толпу спицами штыков.

Пышкин слез с шатнувшегося нà сторону коня и потянул на огромный зад мундир, приподнявшийся на спине большим карманом. Быстро, как пролилась бы вода из опрокинутого сосуда, спешились казаки. Толпа раздалась. Пышкин по широкому зеленому ковру луга вошел в дом.

Щуплый, в очках, с жиденькими космами проседевших волос, как у старой лошади вылезшая грива, черненький, будто большая козуля, отец Николай Грацианский вышел навстречу к Пышкину. Губернатор махнул ручкой.

— Мы тебя заждались, Никанор Иванович! Ты, видно, загулял у Сумкина? Он чревоугодник! А дела тут безотлагательные... Садись—учиним маленький военный совет!..

— Вот на этот, вот на этот стулик: он покрепче,—засуетился отец Николай, усаживая Пышкина.

Губернатор засмеялся.

— Это вы, батюшка, правильно... не лишнее, не лишнее стул ему подать с выбором. Ха-ха! Бог не обидел комплекцией Никанора Ивановича.

Грацианский юлил около Пышкина. Черный подрясник его хлопал по сапогам, закидывался полами и шелестел о брюки.

— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!—пел отец Николай.—Совет советом, но прошу хлеба и соли... чем бог послал... Надлежит, надлежит подкрепиться!

— Да, да. Merci! — гудел губернатор. — Пожалуй! Мы за столом, господа, обсудим положение. Садитесь, пожалуйста.

Вокруг стола, уставленного пирогами, рыжиками, маслом, сметаной, горками сотового мёда, а сбоку клокотал и шипел большой, ярко начищенный латунный самовар со стаканами, будто пароход у пристани, окруженный лодками, уселись— губернатор, Пышкин, офицер отряда немец Шварц, круглый и маленький, как глобус, и орешковский земский начальник Борис Александрович Измаильский.

Поп дружил с земским начальником, и они перешептывались за самоваром, сближаясь носами. Походил Измаильский на широкий пирожный лоток с маленькой полочкой—сугорбием, голова, как куричий хохол, срубленная сверху, выросла на лотке, лицо у него было мелко, пупырчато, и нежнейшая розовая краска плыла под кожей, подбородок с козлиной бородкой сплюснулся старой, сношенной туфлей к носу, а тупой узкий полог лба висел над жадными, нюхающими блиставшими глазками. Била его часто жена Любовь Давыдовна, крещеная караимка, выгоняла вместе со свекровью на кухню и, засучив рукава, кричала в дверях:

— Обезьяна! Овечий глаз! Подлец!

Но был грозен в орешковской своей канцелярии земский начальник Измаильский. Распушался там куричий хохол головы, выпирали квадратные плечи, и руки, сухие и хваткие, путались в масляном мехе бородки. Мужики кланялись твердо, прямо, насмешливо. Он завидовал мужицкому крепкому поклону. Ерзал он, к плечику отгибал головку, шепелявил, шаркал

ножками перед начальством, кидался услужить, поддержать обшлаг пальто, скромно выдвигал из-под вешалки калоши и ласково прижимал ручки к пышным, как вата, соскам груди. Перешептывались теперь поп-козуля и земский за самоваром. Поп вытащил из кармана исписанный листочек, и они вместе что-то на нем проверяли.

— Господа, — говорил губернатор, — один неверный шаг, и беспорядки будут продолжаться. Надо наказать строго, но справедливо. Преступление совершено беспримерное. Трагедия в Орешке потрясла меня... Я решил найти негодяев во что бы то ни стало. Порка, и порка, и еще раз порка дадут, я полагаю, самые благоприятные результаты. Тут я должен довести до вашего сведения, что благодаря уважаемому батюшке — я не премину сообщить о сем министру внутренних дел—наши поиски весьма облегчены. Отец Николай составил нам списочек наиболее неуживчивых и крамольных крестьян в его приходе...

— Есть, есть,—пролепетал поп за самоваром и протянул листочек.

Борис Александрович Измаильский бережно перехватил листочек, обежал стол и, наклоняя лоток плеч, протянул бумагу губернатору.

— Вместе мы... мы вместе с отцом Николаем...

— Премного обязан,—поблагодарил губернатор и продолжал:—Я попробую сначала апеллировать к разуму этих озверевших...—Губернатор не нашел нужного слова. А затем, Никанор Иванович, ваше умение, ваша находчивость,.. вы понимаете сами...

Ротмистр Пышкин пошевелился и сглотнул рыжик, мелькнувший в усах сметанной спинкой.

— Слушаюсь!

— И вы, господин Шварц, знаете свое дело...

Офицер приподнялся, перегибаясь через стол:

— Так точно!

— Мы пробудем здесь немного и с Борисом Александровичем проедем дальше... В Нефёдове, Анфалове, Березниках уже с ночи должны быть собраны сходы. Там нас ждут. Обедать мы будем в Куркине, у помещика барона фон-Тюмен. Третьеводни на него было сделано маленькое покушение. Мужики посекли его управляющего и повесили на усадебных воротах красную тряпку. Я отправил на охрану к нему небольшой

отряд. Он уведомлен о нашем приезде. Кстати расследуем и этот случай.

Губернатор передохнул и обратился к попу:

— Вы меня извините, отец Николай, вам как пастырю будет тяжело присутствовать при экзекуции над пасомыми вами, но я прошу вас также выйти для увещевания. Так сказать, будут представлены гражданская, военная и духовная власти! Хе-хе!

Поп вдруг побледнел. За перегородкой кто-то тяжело охнул. И поп залопотал:

— Я на пчельничек, я на пчельничек. Пчельничек у меня... хозяйство... требы... Увольте, ваше превосходительство! Мне... мне не будет житья от мужиков.

Губернатор поморщился.

— Ну, хорошо! Ну, хорошо!

Он оглядел офицеров и начал вставать.

— Merci! Merci, батюшка! Ваш стол мне надолго останется памятен в столь тревожных обстоятельствах. Merci, господа, прошу кончать и следовать за мной.

Офицеры качнули стол, загомозили стульями, Измаильский услужливо вспрыгнул, поп кланялся... По щели, из-за перегородки, как по лесенке снизу вверх, выглядывали глаза семейных Грацианского.

Губернатор с листочком в руках вышел на крыльцо. Дрогнули и выпрямились солдаты. Ротмистр Пышкин сделал знак. Будто один раз махнул флагом сигнальщик—и поезд встал на пути, — казаки встрелись на седла. Красное, голубое, белое розовое становье повалилось на колени. Бабы захныкали. Ребятишки не становились на колени, недоумевая глазами. Староста ожал руку к земле — и ребята юркнули рядом с отцами и матерями. Измаильский оттопырил губу и засунул руку под полу форменной тужурки. Губернатор покашлял немного, переложил из левой руки в правую листочек и заговорил:

— Я прислан к вам государем императором. Я могу сравнять с землей ваши избы, а вас всех согнать в Сибирь с женами и детьми. Но я не буду этого делать. Я знаю, вас научили бунтовщики... революционеры... зачинщики. Выдайте нам зачинщиков. Сознайтесь честно, кто ездил в Орешек за хлебом и бесчинствовал, грабил, убивал там... Становись направо и налево. Становись направо, кто не был в Орешке!

Толпа дружно, как где-то осыпался песчаный берег, раскачалась и сдвинулась вправо. Сдвинулась вправо и потупила глаза. Губернатор покраснел, смял в руках листок и закричал:

— Последний раз спрашиваю—кто зачинщик?

Толпа помолчала, и первые взвыли бабы, а за ними мужики и ребята:

— Винова-а-ты! Винова-а-ты!

И опять рухнули на колени, гомоня и крича.

— Мерзавцы!—взревел тогда губернатор и, вдруг оборотившись к Измаильскому, взвизгнул на него: — Кто приказал собрать в одну кучу баб и детей? Кто-о, я спрашиваю!

Лицо Измаильского облилось клюквенным соком, он, дрожа, подскочил к губернатору и зашептал:

— Есть основание думать, ваше превосходительство, женский элемент также участвовал... староста...

Но губернатор взбешенно не дал ему кончить:

— Да-а-ть старосте двадцать пять розог! А вам объявляю строгий выговор!..

Измаильский, будто вытягивая губы поцеловать губернаторскую руку, преданно глядел на губернатора и спрятал голову в воротник тужурки.

Солдаты схватили старосту, сдернули с него штаны. Свежие розги в три человечьих обхвата лежали у поповского дома: ночью заготовили розги староста с десятским и привезли с болота. Взвизгнула первая лоза, староста простонал, толпа отворотилась, дрожа... Розги захлебывались свистом, и свист горько хныкал человечьим отчаянным голосом:

— Бескрестники! Бескрестники!

Губернатор услышал, топнул ногой и на двадцатом ударе бросил:

— Прибавить еще пятнадцать!

Красный зад, как мясо под сечкой, ужимался, подскакивал, староста сдавил голову за шею и трудно затаивал стоны, вгрызаясь в землю перекошенным ртом.

— Перепорю всех!—гремел губернатор.—Вот они зачинщики! Знаю всех! Не отопретесь!

Губернатор помахал поповским листочком. Бабы заголосили поминальными, похоронными причитаниями, дети громко вцепились суматошным плачем. Ротмистр Пышкин замалиновел, усы, как рыбьи кости, растопырились, заходило вымя подбородка... Губернатор, изнемогая, растерянно подставил ему ухо.

Выслушал, сунул листок и кивнул головой. Тогда сошел с крыльца, въевшись глазами исподлобья в толпу, Пышкин. Брюхо огромным боченком наперло на передние ряды. И вдруг хриплый, прерывающийся на части голос зыкнул:

— Бабы со щенятами налево!

Толпа разорвалась на две неравные части. Солдаты отогнали баб и ребятишек в прогон. На выступе остались одни оробелые мужики. Бабы плакали в прогоне и не уходили. Пышкин начал вызывать по листку. Мужики выходили, и солдаты кричали:

— Ложи-и-сь!

И розги полосовали, извиваясь натугой.

— Приготовля-я-йсь!—распоряжался фельдфебель.

Смущенно и молча стояли вызванные мужики грудкой, расстегнули штаны и придерживали их руками за гашник.

— Кутьков!—хрипел Пышкин.—Стеклов! Молоков! Овчинников! Огольцов!

Бабы бились рыданьями в прогоне, падали на колени, протягивали руки... Голосила баба на стоны своего мужика, и мальчонка рвался сквозь колючие солдатские цепи на голос отца.

Солдаты уставали пороть. Изломанные лозы, в крови, густо усыпали лужок. Концы лоз отламывались после первых ударов и высоко и далеко отлетали в сторону. Долетела одна такая лоза до Пышкина, лизнула ему руку и замазала кровью. Губернатор поёжился плечами. Офицер Шварц перекатил глобус на другое место. Пышкин тихонько вытянул двумя пальцами платок из кармана, обтёр руку, оторвал от платка кровавое пятнышко длинной ленточкой и отшвырнул, не глядя, от себя.

Мужики не отводили глаз от грузной, качавшейся на ногах туши Пышкина. Из-за занавесок в поповском доме выглядывали поп, попадья, попята и поповны...

Августовское солнце меденело над Семигорьем. Не выгнанный из хлевов, блеял и мычал скот. Отворила запор одна коровенка наназьму и с тёлкой шла по прогону. Услышала бабьи причитания корова и, вытягивая морду, как загнувшийся носок старого сапога, размычалась жалобно и зовуче. Баба подняла с плачем хворостину и погнала ее торопливо на двор.

Лозы убывали на виду, будто солдаты торопились израсходовать их скорее, цапали по две, по три и, не доломав, откидывали. Пышкин выкрикнул последнего в списке и сунул список

в карман. Вышел горбатый старик, перекрестился на церковь и, подрожав горбом, задорно обратился к мужикам:

— Простите, братцы, может, не выживу от губернаторского угощенья. Туда мне и дорога. Попа помни, ребята! Не иначе проклятый попишко подушной список написал...

Мужики сразу загромыхали, бабы взвизгнули истошно и надрывно, перестали сечь солдаты, губернатор затопал ногами, в цепи лязгнули штыки, Пышкин пошел на горбатого старика, тяжело шлепнул его ладонью по щеке—и уронил. Старик свалился на горб, закричал, перевернулся и, сидючи, заплакал. Тут мужики сорвались голосами, остервенели, забили в грудь кулаками, запередвигались на месте, подняли голые руки кверху. Губернатор, Измаильский трусливо сжались на крыльце. Пышкин лениво отступил на шаг и кратко сказал казакам:

— Вспарь!

Только успели взвить нагайки, только успели опуститься кружком, мужики снова упали на колени и завыли, укрывая головы. Бабы еще отчаяннее поддержали тонким бесконечным визгом, словно заплакало в прогоне деревенское коровье и овечье стадо, замяукали кошки, закричали огороды, сама выхоженная веками прогонская земля.

— Стой!—крикнул Пышкин казакам.

— Бунт! Вы бунтовать в моем присутствии!—несмело и жалко шумел губернатор.—Вы наносить оскорбления представителю высшей власти в губернии! Крамольники! Запоррю!

Солдаты снова замахали лозами. Горбатый старик опустил голову, уперся глазами в раскутавшиеся онучи повыше лаптей, потрогал их рукой и стал заботливо увязывать.

Пышкин подошел к губернатору и вполголоса сказал ему:

— Старик не выдержит розог.

Губернатор перекосился, подумал.

— В тюрьму его тогда... Под суд!

— Слушаюсь!

Тут наклонился сзади угодливой спиной Измаильский и шевельнул губами. Губернатор недовольно взглянул на пылавшие помидорами щеки Измаильского.

— Ваше... Ваше превосходительство. Уже поздно. Пора дальше.

Губернатор заскучал, немного постоял, потом поманил к себе Пышкина.

— Никанор Иванович! Ты тут распоряжайся... Рука у тебя легкая... Нагоняй нас... Построже, построже, смотри!..

— Не извольте беспокоиться!—гаркнул Пышкин.

— Погодите, дайте мне уехать,—сказал устало губернатор.

Он выждал, пока не кончили сечь лежавшего мужика, и, на смене к другому, задержал экзекуцию. Из-за поповского дома вывели губернаторскую коляску. Губернатор пожал руку Пышкину, Шварцу и, презрительно наведя глаза на Измаильского, небрежно выдавил:

— Вы... нерасторопный... садитесь со мной. На вашем тарантасе повезут арестованных.

Измаильский счастливо подсаживал губернатора в коляску и сел бочком, почти на крыло, рядом. Коляска на мягком ходу пошла. За нею поскакали трое казаков.

И будто с отъездом губернатора Пышкин озлел последней лютейшей злобой. Он заходил по лугу, выдергивал сам из сотни непоротых мужиков не приглянувшегося ему и резко чеканил:

— Пятьдесят!

— Семьдесят пять!

— Сто!

Розги приходили к концу. Солнце тянуло за полдень. Становилось жарко той распекающей августовской жарой, когда холодит простывшая за ночь земля, а солнце жжет густым и плотным огнем. Пышкин заторопился. Он выстроил мужиков, как солдат, рядами, обошел, как на смотру, ряды и, криво ухмыльнувшись одними щеками, закричал:

— Рваная команда! Расстреляю каждого пятого! Указывай зачинщиков!

Ряды неподвижно стояли. И тогда стали выводить пятых. На лугу все замерло, оцепенело, убавилось в росте, сжалось к земле. В строю зияли отверстия, как выпавшие рамы в нежилом доме. Выведенные из строя мужики, не веря, дрожа, оглядывались на дырявые ряды и на бабий прогон.

— Взять их!—заревел Пышкин.—И... расстрелять. Вон тут!..

Пышкин указал на поповский новенький чистенький амбар неподалеку. Офицер Шварц скомандовал. Солдаты вышли из цепи, подтолкнули обомлевших мужиков и погнали к амбару. Мужиков поставили к стенке. Шварц выстроился с солдатами напротив. В мужицкие груди уже глядели черные дырки стволов, Шварц высоко занёс голос...

Но тут с криком хлынули бабы из прогона, смешали цепи, хватались за винтовки и отнимали их, хватались за ноги казаков,

подлезали под брюха лошадей, мужики кашей навалились на Пышкина... И только одно бабье неугомонное, отчаянное, безумное слово перекатывалось в ушах:

— Повинимся! Повинимся! Повинимся!

Мужики побежали от амбара, опрокидывая солдат,—и утонули в неистовавшей толпе. Солдаты и казаки снова крепким кольцом окружили толпу, отодвинули от Пышкина. Бабы, рыдая, начали выдавать. Катались по земле бабы оговоренных мужиков и выдавали других. И скоро не оговоренных не осталось.

— Все мы зачинщики! Все мы зачинщики! — вопили мужики.—Стреляй всех!

Толпа крепко и тесно держалась друг за друга, бабы прилипли к мужикам, их оттаскивали и не могли оттащить. Пышкин снова выстраивал в ряд, толпа не давалась, держалась кучей, выдергивали одного, другого, пороли и не находили зачинщиков.

Из Березников прискакал верховой от губернатора. И, не управясь на месте, погнал Пышкин мужиков по пыльной Владимирке, в Березники. Баб долго стегали казаки и наконец оттормошили. Плачущим, воющим стадом шли они позади и глотали родную пыль мужицких сапог, лаптей, валенок. Круглая афишная вертушка ротмистра Пышкина высоко вздымалась над шествием.

И в Нефёдове и Анфалове забирали мужиков. В Березниках соединили четыре деревни и повели в Орешек. На пепелище выстроили мужиков. Бабы, как на помочи, стояли стеной у парка. Губернатор говорил речь, не выходя из коляски. Потом водили по рядам прислугу из Орешка. Старый лакей опознавал, опознавали другие... Сводили счёты парни, счёты гуляночные, любовные... Отделяли мужиков, и казаки угоняли в недогоревший сарай.

Опять кидались бабы к мужикам и отплескивались перед колючей изгородью нагаек. Пороли до вечера на месте старой барской конюшни. Набили мужиками полным полно сарай. Кинулись еще раз бабы к сараю... Шварц выкрикнул команду: застрекотали пули о голову парка, толпа легла на землю, побежала, разбежалась... Выпустили тогда казаков, и они погнали толпу в поля, на дороги, на тропки: уныло загудели крестьянские земли бабьим и детским далеким плачем.

Коляска губернатора поскакала в имение барона фон-Тюмен. Пошел за ней на-рысях ротмистр Пышкин с отрядом. На

тарантасе Измаильского помчали офицера. У сарая встали на дежурство фельдфебеля с воинскими командами из Семигорья, Анфалова, Нефёдова, Березников. Прятались в парке всю ночь бабы забранных мужиков, дрогли и подглядывали за солдатами.

В пушистом утреннике, как мохнатыми купальными простынями закутавшем землю, в робком просыпающемся рассвете вдруг от Куркина затопали лошади, и задребезжал тарантас. Из губернаторской коляски и тарантаса Измаильского трудно и крикливо вылезли губернатор, ротмистр Пышкин, Шварц, барон фон-Тюмен, а Измаильский остался сидеть на козлах коляски. Пьяно и злобно закричал Пышкин:

— Д-давай их сюда! В-вы-води!

Бабы заторопились, ближе подползая на остывающих брюхах к сараю. Мужики забормотали, загудели внутри сарая. Солдаты раскрыли ворота. Мужики посиневшей, скорчившейся от холодной ночи грудой испуганно вылезли на белевший луг. Барон фон-Тюмен в суконной поддевке, в сапогах, с желтым хлыстом в руке, на голову возвышался над всеми, был сух и сер, как сухостойное дерево. И был у него голос грубый и охриплый, как у старого пса.

Мужиков было человек пятьдесят. И как вышли они, Пышкин, дыбая на разъезжавшихся по инею ногах, полез в карман и вытащил поповский иструхлявленный листок. Долго все разбирали листок и неуверенно называли фамилии. Мужики не выходили. Вздрагивал и переминался мужик, услышав свою фамилию, опускал глаза, и будто по телу рассыпался этот же белевший в глазах луговой мохнатый иней.

— Никого нет,—вытаращил глаза Пышкин.—Все убежали!

Зашатался тогда барон фон-Тюмен, помахивая хлыстом и загремел высоко, словно у крон парка:

— Мы и так найдем! Мы и так найдем!

Барон фон-Тюмен всмотрелся в мужиков, растолкал их и указал в середине на одного.

— Это... н-не-годяй!

Мужик снял картуз. Солдаты вытолкнули мужика. Барон фон-Тюмен вяло тыкал хлыстом.

— И этот... и этого... вот его!..

Тут вмешался губернатор, потянул барона фон-Тюмен к себе и сказал:

— Милый, будет, будет... Достаточно...

Пятерых мужиков отвели в сторону, остальных снова загнали в сарай. За обгорелыми остатками конного двора поставили мужиков в ряд. Пышкин, качаясь, прошелся по фронту охраны. Солдаты глядели на него упорными невидящими глазами, не видя подняли винтовки, приложились, стыли в руках ложа и дула, как неровный фашинник на дороге, не укладывались ровно.

Когда мужики закричали и, валясь друг на друга, задрыгали на земле хватающими руками, зажевали землю, один солдат выронил ружье, откачнулся назад и упал на спину, белее инея. Шварц позеленел и твердо приказал фельдфебелю указывая на солдата:

— На двадцать суток под арест!

Бабы, безумно крича, уже выбежали из парка. Солдаты встали наперерез и дали один, другой, третий залп в воздух... Бабы упали и не подымались, воя и закрывая головы.

Подъезжая к Куркину, губернатор отодвинулся от заснувшего у него на плече барона фон-Тюмен и сказал вполголоса:

— Однако, это неприятно!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

В тот год российская земля запела эту песенку, заиграла в оркестрах, на гармоньях, на роялях... С весенних оттепелей таилось тревогой сбившееся сердце... Ночные облака были багровы над российскими деревнями. Замирали фабричные трубы в городах—и ржавели гудки. По дорогам, по задворкам, по речным и железным путям егозили широкоротые слухи. Хлеб вздорожал на пятачок в пуде. Широкогрудую, широкозадую, непобедимую, неустрашимую российскую армию бил косоглазый мизгирь-японец. Раньше того, просолевший в крепком морском засоле, российский флот раскис, не дойдя до Порт-Артура. И его дотопили у Цусимы. Шли, как в крестном ходе, поездами иконы на Восток, не мигал глазками Пантелеймон Целитель, навел пику несворотимую Георгий Победоносец, и Никола Зимний и Никола Вешний кужлявили мужицкие бороды. Не помогли: супостат не убоялся небесных сил,

закидал огнем небесное воинство... И свалили иконы, отступая, в сараи, в цейхгаузы, покидали у сопок на растопку в солдатские кухни. И тут тогда запела вдруг свистунья ласточка:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

Александра Александровна никогда так не торопилась думать, как в те немногие часы от прихода Анатолия до первых известий из Орешка. А часы, как клячи по худой дороге, брели вяло, надсадно...

Александра Александровна давно так много не ходила по комнатам. Груди подпирал забурливший живот, будто затворили тесто в животе, а дрожжи уже ходили кислыми пузырями. Александра Александровна на ходу останавливалась, сморщивалась, поглаживала груди—и глаза робко просили пожалеть ее и пощадить от дурных мыслей. Пелагея налаживалась к ночи с водой, с дедовским дубовым судном, полоскала бутылки... Александра Александровна обходила все комнаты, заглядывала на кухню, наступила на лапу Василию Васильевичу, зажала уши от крика кота, взяла его на руки, прижала к себе, помурлыкала и спустила на пол.

— Когда же, когда же они приедут?—громко спрашивала Александра Александровна пустые комнаты.

Анатолий выспался. Он рассказал еще раз Александре Александровне сначала, скупо, по-новому, забывая рассказанное утром.

— Как ты думаешь, они уже выехали?—кричала Александра Александровна часто и горько.—Вольдемар так кинулся...

Анатолий лениво повертывался от окна и отвечал:

— Нет, не выехали!

Александра Александровна замирала.

— Что ты говоришь? Почему?

Анатолий будто обдумывал и не узнавал в себе приходивших соображений.

— А я не знаю...

Александра Александровна переглядела во все окна на знакомые закоулки дороги, пересидела на всех диванах, креслах... Садилась она в каждой комнате ближе к дверям, словно из каждых дверей могла выйти Люда.

Анатолию надоело стоять у окна и смотреть на бульвар, на качавшиеся озябшие березовые вершины, он пробрёл в

белый зал, открыл крышку рояля, побренчал, взял чистые басовые аккорды, а потом незаметно, само собой, тихонько клавиши вспомнили и затянули:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

Александра Александровна быстро вошла, застонала и положила руку на разбегавшиеся пальцы Анатолия. Музыка прервалась звенящей кляксой. В голосе Александры Александровны была скорбь.

— Как ты можешь в такие... страшные часы... играть эту шарманку?

Анатолий удивился, но играть перестал. А вечером вошел Володька в дом... Никто не спрашивал его. Александра Александровна смотрела за ним в темные двери, будто ждала Люду. Она не докрепилась—и села. Володька пошевелил губами, пошевелил пальцами, постоял, подумал, вгляделся в каждого, а потом спокойно сказал:

— Люда сгорела в Орешке.

Александру Александровну качнуло в сторону, она уперлась в кресло, губы сжались, оскалились зубы, голова свалилась набок, грудь начала часто и глубоко ходить, будто разбегаясь. Припадок продолжался девять часов. Он прошел. Остался от него запах лекарств и большое белое тело Александры Александровны, надолго улегшееся в постель. Кот Василий Васильевич норовил пробраться в спальню и жалобно мяукал у дверной щели. Карушка скрёбся о порог, а под скамейкой на дворе вырыл глубокую яму. Чесался правый глаз у Анатолия, и во сне каждую ночь вырастали у него женские косы до полу, а в волосах шевелились пузатые вши.

Пелагея соединила тогда приметы вместе: приметы были к покойнику в доме. Вши сулили наследство Анатолию, а косы сулили смерть Александре Александровне. Должна была расстаться она с косами, вместе с косами и с богатством и с хозяйством.

Пелагея так решила и забегала на зов Галины Сергеевны скорее, чем на зов Александры Александровны. Пелагея угадала. Два припадка свалились на одной неделе. После второго припадка Александра Александровна не могла лечь: она сидела на кровати в подушках. Ноги были спущены с кровати на маленькую скамейку и закутаны одеялом. Раздувались

каждый день ноги водяными пузырями, пузыри не лопались и все мужали... И расплылись они в водяные поля с глубокими перехватами. Александра Александровна легла клокотавшими грудями на подушку, прижалась к ней и больше не разгибалась. Брюхо подпёрло будто к самому горлу жирными складками и задушило его. Она не спала ни днем, ни ночью, а только вся тряслась и выглядывала исподлобья плакавшими глазами, посовывалась вперед—и не могла протянуть рук, не могла задержаться за кровать, за подушки. Так ночью она и упала на пол, разбила лицо о дубовое судно и попала рукой в горшок. Тяжело поднимали Александру Александровну торопливыми виноватыми руками. Положили ее на спину. Она хлебнула один раз воздух, облизнула губы языком, будто с присохшей манной кашей на нем, подернулась одним коротким толчком, закрыла глаза—и в горле захрипело... Сорок восемь часов Александра Александровна молчала, только плавилась в горле невыходящая мокрота, тело было недвижно, как кровать, а на правой руке куда-то бежал-бежал-бежал мизинец. Анатолий осторожно открыл матери веко—и на него глядел непонимавший зеленый глаз.

Анатолий звал ее:

— Ма-а-ма!

Пот лил по белому лбу, словно грунтовые непросыхающие воды в низинах. Пелагея часто прибегала с кухни и вытирала лоб полотенцем. Привезли старого доктора Пирожкова. Он походил в спальне, посморкался, встал у нее в ногах, пристально и долго глядел на нее,—играли они в карты с Александрой Александровной сорок лет,—потом выкатил на палец глаз ее, поднёс к ресницам горящую свечу и потушил ее.

— Все кончено,—сказал доктор,—все там будем...

Он поперхнулся, пофыркал старым, морщинистым носом и закричал на всю спальню:

— До свиданья, Александра Александровна!

Пелагея заплакала на кухне.

В белом зале читала над покойницей молодая монахиня Девичьего монастыря. На аналое лежал закапанный воском псалтырь. Ночь была длинна, как длинна была толстая книга—псалтырь. Голос уставал, надрывался, ложился отдыхающим перерывом на страницу с киноварными заглавными буквами, будто освещенными окнами в главы. Глаза смыкались, близоручили сном... Монахиня черным клювом скуфьи вздрагивала

над книгой и пошатывалась. В затаившейся тишине дома было только двое: монахиня и Александра Александровна. И монахине застращала ночь. Она вдруг покосила усталый глаз на покойницу, и глаз ожил, широко раскрылся, а рука взялась крепко за аналой. Голос громко зáвыпевал наизусть давно запавшие в рот слова, бодрился, но будто кто-то мешал ему в комнате. И опять монахиня взглянула. А тогда явственно, как дрогнувшая ее рука, на груди покойницы пошевелилось покрывало, и на голове качнулся большой бант у чепца. Монахиня побелела саваном, впилась руками, глазами, голосом в книгу и еще пуще закричала над покойницей знакомые слова. Монахине казалось, за колоннами кто-то шарил по полу, кто-то выходил из стен и становился по углам, а над покойницей шелестело покрывало, и будто начиналось легчайшее дыхание в уже запахавших губах. И еще явственнее озирающий глаз заметил дыхание покрова. Монахиня была мокра, как в жаркий, разморяющий день. Волосы под скуфьей горели, росли, им было тесно. Она кричала, она хотела перекричать страх, спрятавшийся под ряской, под пересохшими ресницами, она думала заглушить шорохи, шелесты, шопоты, дыхание покойницы звенящей кутерьмой бежавших вперегонку слов... Одна рука перекидывала страницу за страницей, другая рука крестилась, спина наклонялась, а покрывало дрожало все смелее и смелее, и грудь покойницы дышала трудно и жалобно. Монахиня выкрикнула еще раз, попятилась, ужаснулась и зачитала, безумея: „Да воскреснет бог и расточатся врази его“... Грудь покойницы охнула, покрывало медленно и густо поползло... И тогда закричала монахиня, кидаясь из комнаты:

— Встала! Встала! Встала!

Дом проснулся, загремели стулья, вздувался огонь, скрипнули двери. Монахиня вбежала на кухню. Пелагея кинулась в комнаты, а с печки упала и застонала на полу старая бабка.

Вошли в белый зал и вздрогнули: на груди Александры Александровны сидел Василий Васильевич, тыкался мордочкой в ее лицо и жалобно мурлыкал. Он оглянулся на вошедших и крепко прижался к покойнице. Глаза его были мокры. Володька протянул руку, Василий Васильевич окрысился, зафукал, выпустил когти, не подпускал. Володька поднял с полу покров, накинул на кота и снял его. Пелагея подхватила покров и вытряхнула ревевшего Василия Васильевича за окно. Кот долго бросался на рамы и просился в дом.

На кухне охала бабка-стряпуха и тёрла поясницу. Жила она в доме вместо Аграфены. Давно уже ушла Аграфена в соборную сторожку, в хозяйки к соборному звонарю. Пелагея вернулась на кухню и засмеялась над бабкой.

— Ишь, старая, жизню-то ка-а-к бережешь, одной ногой в гробу! По лужку, думала, бежишь, ан печка-то с коврик!

Бабка насильно ухмыльнулась, осторожно шаркая хребет в красном огне лампы.

Переполох затих. В белом зале, кося насмешливый глаз на покойницу, радуясь праздничным киноварным заставкам, снова читала монашенка. Порой она перебивалась: приходила смешливость, и она жадно и крепко начинала креститься от сомустителя-беса.

В темной спальне неожиданно загрохотал хохотом Анатолий. Галина Сергеевна вздрогнула.

— Гал-ли-ночка!—давился Анатолий.—Извини... но ко-о-т, но ко-о-т!..

Анатолий, хохоча, слез с кровати, в темноте пошарил одеяло жены, наклонился к уху и весело зашептал:

— Можно к тебе под одеяльце?.. Мне страшно...

Галина Сергеевна вскочила, толкнула его в грудь, закричала в слезах:

— Уйди, уйди, негодяй!

— Но почему?—грустно спрашивал Анатолий, лениво укладываясь к себе на кровать и горя желанием.

— Гад! Гад! Гад!—кричала Галина Сергеевна, занывая долгим и тонким плачем.

Отпевали Александру Александровну у Федора Стратилата на Наволоке. Трудились у гроба три попа с дьяконами. Пел соборный хор. Никита зажёг полный свет. Он посматривал на учителя Тар-Тárары и кружил около него. Разносил на серебряном блюде свечи Никита и, стоя перед Тар-Тарары, покуда тот шарил свечу, шепнул ему:

— Разе тоже... из эфтих?

Тур улыбнулся, сощурил глаза под стеклышками. И Никита отошел дальше.

Анатолий скучно стоял у головы матери. Александра Александровна пахла. Водяные пузыри лопнули на ногах, и гроб промок у гвоздей на спайках. Мутные капли редко и густо капали на каменный пол. Анатолий разглядывал служивших попов. Они закатывали глаза кверху, одергивали горбы риз,

трясли поющими бородами и широко раскрывали рты. И казались они Анатолию поварами на кухне, хлопотавшими у плиты. Тело матери было самым обыкновенным мясом, чуточку несвежим и пахучим.

Плакала в углу какая-то нищая старуха. С мольбой воззрилась она на иконы, крепко тыкала в подсохший лоб щепоткой пальцев, оставляла на лбу заметное место и надолго замирала, сгибаясь, на стуже пола. Анатолий удивлялся.

И так, переводя глаза от попов на нищую, от нищей на Галиночку, шептавшуюся о чем-то с Туром, Анатолий трудно стоял обедню, а потом отпевание. Глубоко дохнув, он ёрзнул губами около смердевшей руки матери. Тление рвотой застряло в горле, Анатолий крепко сжал усатые губы и отбежал к стене. Попы нюхали липучий запах тела спокойно, незамечавшими носами, ртами, будто в церкви было от натопивших воздух свечей и лампад только жарко и душно.

Александру Александровну понесли. Анатолий встал на свежей груде желтой глины у могилы, подергал вплывшие глубоко калоши—и застыл. Гроб, осторожно качаясь, встал на дно. И тогда торопливо о крышку гроба застучали прощальные комья земли.

Володька подошел к Анатолию, стиснул ему сзади бок вместе с пальто и шепнул:

— Не знаешь, чью старуху хороним? Брось, хоть для приличия, земли!..

Анатолий потащил опять калоши из глины, наклонился, схватил жадно большой комок и громко сбросил на крышку. И довольно огляделся кругом.

Поехали с кладбища быстро, словно жалели о напрасно потраченном времени, поехали к нагруженным поминками столам, к винам, к траурно запечатанным зеркалам.

Анатолий скоро захмелел.

— Володька,—говорил он вполголоса через стол,—ты ничего не слышишь? Нет? А я слышу—я не мог бы сделаться медиком.

Володька пошевелил рукой, будто хотел достать Анатолия и ударить его.

Ночью Никита поправлял лампаду у Сосипатра Свистулькина, бил часы над Александрой Александровной, постучал колотушкой над могилкой и сел рядом на пенёк покурить. Так сидел Никита у каждой могилы первую ночь, словно жалел

он каждого лишнего человека, засыпавшего в теплой земле у Федора Стратилата.

В темноте спал усталый голубой дом на бульваре. На столах стояла неубранная посуда, недоеденные кушанья, недопитые вина. Подкосило ноги Пелагее, слегла она на кухне— и оставила посуду до утра.

И ходил только всю ночь по комнатам, как Никита на кладбище, Василий Васильевич, взбирался на столы, отвертывал мордочку от кушаний, не кидался на выбегавших из углов мышей. Волочил он опущенный хвост, горел зелеными глазами в темноте, подолгу стоял, прислушиваясь, у спальни Александры Александровны и не находил себе места.

Под утро он вспрыгнул на рояль, лег, зажал между лапок оставленный там маленький пузырек, застонал—и откусил пробку. Из пузырька полилась жидкость. Василий Васильевич жадно лизал ее. Глаза кота опьянели, он свалился на клавиатурную доску, свернулся с нее на пол, полежал, вытягиваясь, трудно встал, шатаясь добрел до дверей спальни—и тихо-тихотихо замяукал. Потом Василий Васильевич скорчился, изрыгнул... По комнатам, глуша запах яств, вин, запахло валерьяновыми каплями.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В то время как Василий Васильевич искал Александру Александровну, на Прогонной улице, на казенной квартире шло обмывание ротмистра Пышкина. Дом ярко плавился огнями. К подъезду скакали собственные экипажи, верховые, извозчики. Длинный лошадиный поезд протянулся по Прогонной.

Разбегаясь от Прогонной, как паутина, булыжными улицами, ночной город был пуст, только проезжали конные патрули, гремя по камню, провели взвод солдат к квартире ротмистра Пышкина, и поперек улиц переходили наряды жандармов, обыскивая нужные дома.

Патрули появились после полуночи. Город уже раскрыл свои кровати, зажёг лампады по спальням, допивали последние бутылки по ресторанам гуляки, маркеры уносили шары в буфеты, дворники сидели за воротами в шубах, редко скрипели калитки, и громыхали парадные двери, прощаясь с гостями,

в Гостином ряду лаяли дворняжки, остерегая товары, а над всем городом, на рассыпанных по окраинам вокзалах кричали уходившие и приходившие поезда. Ночных звуков было немного, звуки были скупы, завернуты были на улицах магистрали фонарей, и темнота лежала ровно, густо, задумчиво...

И вдруг магистрали зажглись полным светом, будто невмоготу стала ночная темь городу, он испугался, проснулся, начал вставать, побежали торопливо люди, проскакали казаки и раскидались по улицам; на крестах, в переулках жандармы, городовые начали останавливать ночных прохожих, обыскивать, задерживать, проверять документы.

В театре был спектакль: открывали сезон. К полночи спектакль кончился. С полночи начался костюмированный бал. Военный оркестр грянул любимую песенку:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

Все задвигалось, залопотало, зарукоплескало, зашелестело платьями, шлейфами, зазвенькало шпорами, орденами, саблями...

Тут ротмистра Пышкина окружили дамы, военные, подошел губернатор, предводитель дворянства. Огромное тело Пышкина было будто освещено мерцавшими на нем глазками дам, и любовный ливень женской ласки будто еще ярче, еще виднее расцветил прильнувшие на груди по тику ленточек ордена...

Ротмистр Пышкин стоял на одном месте, видный всему залу, словно поставили ему гигантский памятник в театре из розового мрамора, и как разноцветный пояс статуи были женские головы, прически, проборы. Он улыбался и млел, вздрагивая белым выменем подбородка. Он кривил рот, и дамы щелкали ручками, махали веерами, мужчины обнимали его за талию и брали под руку... Военный оркестр бессчетно повторял:

Пой, ласточка, пой,
Сердце успокой...

И вдруг будто каменная рука пошевелила толпу около ротмистра Пышкина... Каменная рука качнулась из стороны в сторону, раздвинула широкий проход, статуя одиноко замерла, щелкнул хлопушкой клубок огня над нею, сверкнуло, брызнуло, пролилось—и огромное тело загрохотало на полу...

Оркестр сорвался... Зало загремело бегущими ногами, давкой, криками, плачем.

Ротмистр Пышкин затихал. На лбу у него выросло красное дикое мясо. Глубокие глазные впадины стояли как две маленьких кофейных чашки с черной кровью. Торчали жалко громадные подошвы сапог, и сверкала на одной из них отливающей сталью приставшая кнопка.

Проходили оцепеневшие минуты. У театра запрудой стояли кареты, пролетки, кучера, извозчики; дежурные околоточные прохаживались у подъезда, городовые стыли у колонн, и некие штатские юлили в отдалении.

Из подъезда быстро вышел молодой студент. Он не спеша оглядел околоточных и крикнул:

— Извозчик! В полицию!..

Пролетка быстро пошла за угол—и скрылась. Потом вырвался из подъезда, как белый пар из трубы, пристав и без памяти завопил:

— Лови! Лови убийцу! Убит Пышкин! Убит Пышкин!

И сразу задребезжали извозчичьи пролетки, извозчики занукали лошадей, захлестали кнутами, лошади заржали, заподымали головы... Начался торопливый разъезд извозчиков в улицы, в переулки, в тупики. Городовые и околоточные кинулись на не успевших отъехать извозчиков и погнали в Прогонную. Полиция вынырнула отовсюду. Спеша, запирали все выходы и входы. Затопали театральные лестницы, вестибюли, открылись с лестниц форточки, окна. Толпа валила ко всем выходам—и останавливалась. Медленно обыскивали, опрашивали, переписывали. Набрав партию, отмыкали двери и выпускали.

Зажглись в городе мгновенно магистрали. Ударили враз из полиции, из казарм, из жандармского телефонные звонки: правительство начало охоту за террористами.

Мертвого ротмистра Пышкина вынесли по задней лестнице, уложили в карету, городовой вскочил на кучерское сиденье— и карета помчалась с тяжелой кладью. Тут же осторожно вышел губернатор со свитой и, садясь в экипаж, грустно говорил провожатым:

— Господа, мы потеряли замечательного человека! Потеря невознаградимая, господа! Они знали, кого нас лишали. Ах, Никанор Иванович, Никанор Иванович! Бедный Пышкин!

И ночь и день, будто в завоеванном городе, носились по улицам казаки, разгоняли кучки идущих на базар баб, гнали в задохнувшиеся участки новых арестованных, били в тесных

проулках студентов, гимназистов, курсисток. По всему городу звенькали колокольцами жандармские шпоры, словно собрались в город жандармы со всей России, жандармы все прибывали и прибывали, и все меньше и меньше оставалось народа.

В соборе была панихида по ротмистре Пышкине. В суконных поддевках, в чуйках, в долгополых кафтанах стоял за чиновниками Гостиный ряд, грустило духовенство черными бархатными ризами, молились усердно сыщики, городовые, жандармы, пригнали приюты, ясли, богадельни... Начальство разъехалось после панихиды, а толпа подняла высоко портрет императора Николая Второго, и синещурый, будто с помороженными глазами, со стриженной русевшей бородкой, покатил всероссийский самодержец по Толчку, по Золотухе, по Прогонной в звоне стекол, в грохоте булыжника о стены, в еврейской крови, брызнувшей из лавок, из домов, из часовых магазинов, из кабинетов врачей и приемных адвокатов...

Над Пышкиным читали монашенки. В гробу не вмещалось разбухшее тело, лопались пуговицы на мундире и со свистом летели в потолок. Плакали дети около гроба, а жена часто и горько звала его:

— Ника! Ника! Ты слышишь?

Везли на кладбище ротмистра Пышкина, играла музыка, цокали верхами казацкие сотни, а за ними стражники, а за стражниками шли пожарные в медных касках, „Союз русского народа“ с хоругвью Георгия Победоносца, и в кафтанах с серебряными галунами, в медалях, соборные хоругвеносцы. По панелям глядел затаившийся молчаливый народ. И тут и там взлетали над ним, будто белые птицы, листки. К лиловым рваным буквам гектографа наклонялись внимательные глаза чтецов:

„Ротмистр Пышкин казнен по постановлению партии социалистов-революционеров“.

В ночь листки наклеили на заборы. И долго висели они на окраинах, смываемые дождями и замораживаемые метелями. И еще дольше читали их мужики, привозя в базарный день с Толчка, в Семигорье, в Нефёдове, в Анфалове, в Березниках.

По первопутку затопили мужики в Заозерьи помещичьи усадьбы и хутора, выжгли барона фон-Тюмен в Куркине, и опять поехал губернатор в объезд, а с ним ротмистр Ведерников... Пленных не имели... Социалисты-революционеры начиняли новые бомбы—и динамиту недоставало.

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе были трехцветные и красные флаги. Первый раз шли по улицам меднотрубые оркестры, играя марсельезу. То царь Николай Второй расклеил на заборах, на щитах, на афишных вертушках манифест семнадцатого октября.

В соборе был молебен. Протодьякон долго выводил мохнатой трубой многолетие, и два архиерейских хора ударили рывком в задрожавшие высокие соборные рамы славу. В соборе было негусто народа. Не была черная сотня. Губернатор глядел себе под ноги. Архиерей вяло и устало стоял на красном возвышении под строфокомиловым золотым яйцом на хоросе, и сам огромноглазый господь Саваоф-бородач сырел недовольно в купольной нише наверху.

На улицах было веселее. И там не пели многолетия Николаю Второму. Там распутались цветные ленты народа, выросли над улицами красные клумбы флагов, влезли на фонарные столбы, будто черные ученые медведи, ораторы, махали люди платками, флажками с балконов, с террас, с крыш, из слуховых окон, в небе плавали, улетая, будто фонарики, разноцветные детские шары.

На торцовой Думской площади выросли осенние шелковые рощи знамен.

Говорил голова с балкона; говорил товарищ Иван, Егор; говорили адвокаты, врачи, литераторы; говорили фабриканты; говорил немец коммивояжер, продававший до того орга́ны в трактиры и рестораны; говорили прачки, судомойки, ломовики, студенты, гимназисты; говорила классная дама и мещанский староста; говорил ресторанный буфетчик; раскрашенная певичка из кабарэ размахивала собольим боа; говорил старый сивый мерин князь Кубенский-Белозерский и кричал ура государю императору и самодержцу всероссийскому.

Будто не говорила никогда раньше российская земля, будто была нема и глуха она доселе, будто порваны были, как струны в старых клавикордах, голосовые связки—и теперь на митингах, на собраниях, на улицах, на площадях, с балконов, с террас, с фонарных столбов лилось путанное, косноязычное горячее чеканное олово слов, и серебрились зубами незакрывавшиеся рты...

А еще раньше, еще вчера стояли фабрики и заводы. На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах вели артелями рабочих, подтыкали прикладами в спины, дежурили по углам конные патрули, и была тишина в улицах, как на замерзшем зеленой стеклянной крышей Чарыме. Не отходили и не приходили поезда. Сорвало телеграфные и телефонные проволоки рванувшим ветром рабочих рук. Магазины, лабазы, склады, торговли затворились ставнями, дверями, замками, запорами. Пекаря не пекли. Извозчики не возили. Не горело электричество и газ. Водовозы гремели бочками на центральных улицах. Нацеживали водовозы скупыми мерками воду в вазы, миски, самовары, тазы, в хрустальные графины. Прачки не стирали. Сапожники навалили в углы колодок и не выдергивали дратвы из заплат. Газеты не выходили. Дворники не мели обраставших окурками, огрызками яблоков осенних улиц. Пожарные не выехали на пожар в Дымковскую слободу—и сгорел офицерский клуб с пьяными офицерами. Прискакал туда брандмейстер, покричал, побегал, посмешил равнодушно глядевший народ суетой и не стал дожидаться пожарного конца, утрусил, скрылся...

И было так по всей земле русской. Распалась она на города, на села, на деревни, лопнули жилы телеграфных и телефонных проводов, ржавели рельсы, стояли вагоны с зерном в тупиках, прояснели небеса над фабричными рабочими слободами от дымовых облаков, выглянуло настоящее голубое небо, не шили сапог, не пекли хлеб, не гнали воду по железным трубкам, кухарки не топили печей, и плиты стояли холодными.

Тогда государь император и самодержец всероссийский дрожащей рукой подписал—и лаком покрыли дрожащую подпись—манифест семнадцатого октября.

День за днем кружил по улицам разноцветный, поющий, говорящий город. И уже связывали заклепками на проводах распавшиеся гнезда, натягивали новые проволоки, вагоны вывели

из тупиков и по загудевшим опять рельсам развозили армию в хмельные, заговорившиеся города.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах не висели трехцветные флаги, не висели флаги красные. Рабочая слобода была пуста. Она собиралась спозаранку у железнодорожного училища за мастерскими и в ранние, мехом утренников охваченные часы митинговала... Был там „Совет рабочих депутатов“: захватила рабочая слобода казенное здание... Везли и тащили и несли туда оружие—маузеры, винтовки, револьверы, сабли, дробовики, порох... Гнались уже за товарищем Иваном сыщики, прятался Егор у Никиты, и Тулинов жил у старого Кубышкина. Сторожко, сдавливая за пазухой браунинги, крались из города к „Совету рабочих депутатов“ и Егор, и Тулинов, и Иван. Миновав людные на чистой городской половине улицы, они открыто, как по гудку ходили раньше на работу, шли на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

— Не верьте, не верьте!—кричал Иван, кричал Егор, кричал Тулинов.—Не забывайте павших товарищей, зарубленных, расстрелянных, застеганных насмерть! Самодержавие сжало зубы. Великая октябрьская забастовка заставила его отступить. Оно отступило, затаилось, оно готовится к прыжку на горло рабочему классу! Организация! Организация! Вооружайтесь! Готовьтесь дорого продать свободу: она забрызгана вашей кровью! Не поддавайтесь провокации! Стерегите каждый свой шаг! Не слушайте мирных болтунов, говорящих на городских перекрестках! Не слушайтесь буржуазии! Долой меньшевиков, затемняющих ваше классовое самосознание! Они ведут вас на гибель! Долой куцую, как обрубленный собачий хвост, свободу! Надо закрепить настоящую свободу. Закрепить ее можно только оружием! У рабочего класса один путь и один выход: да здравствует вооруженное восстание!

Шли хмуревшими сдержанными колоннами в город. Заполняли улицы крепкой густотой рядов. Будто выросли темные чарымские камыши и осоки на каменной мостовой.

Виляющей, расхлябанной походкой облепляли рабочих, как елочными украшениями, студенты, гимназисты, дамские шляпы, шапочки, котелки, палантины, шинели, горжеты, боа, кокетливые шелка отделанных серебром и золотом знамен кадетской партии, чернила анархических плакатов и стяги могутных эсеровских мужиков, поднимающих лаптем тягу земную.

За высокими заборами, в проходных каменных дворах с наглухо нахлобученными воротами ржали лошади и переступали на асфальтах. Казацкий чуб, ус, как черная трубка, показывался у щелей. И опять ржали лошади, лязгали ложа винтовок о камень, позванивали легкие скороговорчатые погремки шпор, и, шурша и хлопая, терлась о шинель перекладываемая в ножнах шашка.

Рабочие кричали за заборы, в дворы:

— Опричники!

— Охранники!

— Эй, выходи! Чего домовничаете?

— Убийцы!

— Кого стережете?

Высокая волна лилась, укатывала кричавших, кричала смена, и все покрывающая ликующая песня будто зажимала рот, глушила ответы...

А на десятый день полиция заняла „Совет рабочих депутатов". Два дружинника стояли на часах—и стреляли из маузеров. Их зарубили. Захватили в Совете делегатов от Свешниковской мануфактуры—и увезли. Нагрузили на воза литературу, оружие, порох. На Зеленом Лугу рабочие остановили—и отбили воза. Гудками на Свешниковской мануфактуре, гудками на маломерках созвал бездомный „Совет рабочих депутатов" Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы.

Хоронили дружинников у Федора Стратилата. Несли через весь город по Прогонной, по Толчку, по Желвунцовской. Боевая дружина с маузерами охраняла гроба.

Будто весь городской кумач раздулся кострами на улицах. В холодной октябрьской мути рыдали из клуба приказчиков медные лилии оркестра похоронный марш. Тихими задержанными шагами, как на неверных болотных зыбунах, шли рабочие. И вилась и плакала всеми чайками с Чарымы, с поёмных лугов, с Шелина мыса, из Заозерья тысячетрубная песня:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...

Рабочие цепи с красными повязками на рукавах шли гуськом около тротуаров. Они ступали в шаг с колоннами, мерявшими улицы неторопливой задумчивой раскачкой. На тротуарах

теснилась чистая городская половина и не смела сойти на мостовую. И только там, где кончались рабочие цепи, валила кучей, грудой, семенящим, шамкающим стадом толпа, ходившая на все похороны, на парады, на смотры, на бега, на иллюминации. И казалось—у черного огромного рабочего тела с красной головой знамен был ненужный пестрый хвост.

Перемежались уныло плакавшие песни с оркестром, сменялись улицы переулками, площадями, поворотами, ползли денные серые часы один за другим черепахами, стояли, как взявшие на-караул, фронтонами, колоннами, пилястрами шпалеры домов по бокам,—рабочие скорбно шли-шли-шли и несли своих товарищей на зарубцевавшихся плечах...

И снова не было на пути городовых, казаков, драгун... Снова ушло начальство в дома, заперлось на ключи, на цепочки, сникло... И никому не было оно нужно.

Сережка с Олюнькой забежал к дяде погреться в сторожку, приобык немного, закурил... Никита грустно поглядел на него и вздохнул. Олюнька отошла в тепле, согрелись красные руки, и на посиневшем лице проступили розовые теплые капли. Кладбище шевелилось, шуршало тысячами ног за стенами. Олюнька звала на улицу. Никита задержал Сережку у порога и шепнул:

— Народу, как песку... Не бывало так. Поди, в земле и то меньше лежит!

И запнулся. Олюнька вышла, и Сережка заторопился, бормоча на ходу:

— Народу, как людей, дядька! Прощай покеда!

Никита взял его за рукав и сердито сказал:

— Вот она и слобода вашему брату... Ты... ты... как теперь? Мое дело сторона... И ходить сюды шабаш? Жалованью... моему убыль...

Сережка юркнул глазами на Никиту. И вдруг сказал приметно, горько, с расстановкой:

— Тебя, дядька, за такие слова укокошить мало.

Никита выпялил синевшие глаза под кудластыми сивыми бровями, как торчащий бараний мех в дырявой рукавице.

И Сережка сразу усмехнулся.

— Носить тебе не переносить еще денег, дядька, за квартиру! Помалкивай, знай! Полощи себе брюхо бальзамом. Свобода липовая! Господская!..

— Гумага, значит, одна?—весело спросил Никита.

Сережка не ответил, не оглянулся, догоняя Олюньку. Никита стоял на крылечке. Потухла у него цыгарка, и шелушилась прогоревшая бумага на кончике. Держал Никита цыгарку мокрыми губами, жевал и удивленно глядел на черный людской поезд, без конца, без края топотавший в ворота.

Бежали обратно зазябшие колонны, как школьники бегут по пересыпанным ночной метелью дорогам в полях. Окоржавелыми руками держали знаменосцы древки и скручивали красными зонтами.

„Совет рабочих депутатов" заседал всю ночь в ночной чайной на Числихе. Пришли к полночи дружинники, отвели хозяев и гостей в боковушу, заперли, задвинули ставни в чайной, погасили огни по улице—и в заднюю половину, через двор, собрались депутаты. Не было у „Совета рабочих депутатов" своего помещения, и каждую ночь он передвигался с квартиры на квартиру. Табельщик Митрофанов в маленьком деревянном сундучке копил и хранил „дела" „Совета рабочих депутатов".

На Свешниковской мануфактуре, на маломерках с ночи поставили полицейские караулы: гудки не закричали утром. Тогда по Зеленому Лугу, по Числихе, по Ехаловым Кузнецам побежали гонцы. Ребята кинулись по заледеневшему фашиннику, гомоня и стуча в рамы, в ворота, в трубы.

Уже захлебывались улицы народом, а ребята обегали концы за концами, кричали по дворам, в пустых переулках, стучали по трубам, палисадникам, опушкам, путались, стучали по два, по три раза. Забыла полиция маленький масляный завод на Кузне, и он загудел тоненьким своим свистуном.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вывалились через бульвары на Прогонную, снимали приказчиков, винный склад, колбасные, типографии, булочные... Снова встал город на ноги, забарахтались улицы, дома, полицейские будки, извозчики... Словно в ледоход несло по улицам мутное, темное течение. И снова красный огонь знамен, чистый и ясный, бездымными факелами показывал дорогу.

Рабочие шли к тюрьме. Они несли на качливых коромыслах из белого железа с красной дорожкой поперек плакаты...

Требуем освобождения рабочих депутатов!

Долой тюрьмы и застенки!

Амнистию политическим!

По длинным улицам один за другим выстроились, как разведенная борами огромная гармонья, эти плакаты. И будто тысячами голосов они перекликались между собою:

— Требуем! Требуем! Требуем!

На Зосимо-Савватьевской площади, у губернаторского дома со стеклянным закрытым балконом толпа остановилась, и плакаты развернулись веером. За дубовыми зеркальными дверями входа, в окнах внизу прилипли караульные с винтовками. Будто стояли там густым частоколом штыки, и губернатор из бельэтажа слышал их лязг. Никто не вышел к толпе. Только из-за малиновой шторы, из спальни, в углу, глядел под кромочку губернатор. Пах у него соленым бромом рот, и золотые верхние зубы прикусывали нижнюю нетерпеливую губу.

Толпа сдвинулась в сторону, как нагнул ее ветер, как заплеснуло волну кверху,—и пошла. Губернатор все смелее, все шире раздвигал штору, просунул в щель нос, два пальца, а сердце покойно свернулось маленьким ласковым котенком под жирным шпиком соска и не мешало больше неловкими, запинающимися толчками. Губернатор легким шелестящим шажком перешел в кабинет—и позвонил лакею. Жмурясь, зевая, тихонько протянул губернатор:

— Э... Э! Братец! Да-а-й караульным по чарке!

Толпа перешла мосты через Ельму, обогнула старое городище—и желтые башни тюремного замка, будто поднятые на высоту широкогорлые круглые чаны, преградили дорогу. И сразу перед коваными железными воротами выпрямилась серой натянутой веревкой шеренга солдат. Где-то проиграл трескуче рожок. Солдаты взяли на-изготовку, ожидая... На ходу, на первом перекате марсельезы, офицер крикнул... Залп отчетливо, ярко, раздельно хлеснул по трубам оркестра. Трубы, будто раздвинулся куст лилий, мотнулись, развалились повисли чашечками книзу, а из них вытекли живые человеческие крики; большая труба постояла немного кричащим рупором—и груда измятой блестящей дырявой меди задрожала на земле.

Толпа опрокинулась на спину... И как поворачивала, пригибаясь, залпы кинулись вдогонку, крошили, рубили, пронзали стальными горячими иглами, кидали людские волока́ на старое городище. С Прогонной наскакали казаки, драгуны—и началась сеча. Толпа была заперта в огромные каменные сундуки улиц. Она ломилась в ворота, в дома, в окна... Били ее у ворот, выталкивали из окон, она прижималась к стенам,

царапала их, ползла у фундаментов, пряталась за тумбами, за палисадниками, под навесами парадных... Дружинники выломали ворота у одного дома, сгрудились около дыры и встретили казаков частым браунинговым огнем. Упали, раскраивая головы о мостовую, первые всадники,—и казаки сразу повернули, понеслись, столкнулись с драгунами, смешали их, завернули... В передышку безумевшие люди вырвались в переулки, в проходные дворы, в сады, поплыли в замерзавшей Ельме, неся по городу жуткую молву.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах плакали бабы, не находя мужей, братьев, отцов. Черная сотня в тот вечер оскалила белые клыки—и куснула. Из дома всемилостивейшего спаса Степка Жила вынес портрет государя императора и самодержца всероссийского—и пошли. Били резиновыми тростями, палками, дубинками гимназистов, студентов, гонялись за евреями, разворачивали магазины, квартиры, волокли евреек при матерях и мужьях в сараи, в дровенники, под лестницы на Прогонной, на Золотухе, в Дымкове, на Бульварах. Губернатор вышел на балкон, открыл стеклянное окно и держал речь. Кричали сотнями черных голосов:

— Не посрами-и-м!

— Сокруши-и-м!

— Раздроби-и-м!

— Смерть жидам!

— Да здравствует государь император!

— Урр-а-а! Урр-а-а!

Черная сотня выла, размахивала палками и, обнажая головы, пела пьяно и тягуче гимн.

Пришли вечера темные, снежные, пьяные. Чарыма снаряжало снежные корабли от Николы Мокрого и посылало на город. Корабли роняли белые паруса, снасти, обваливались сугробами корпусов, загружали дороги, горбыли, настилали пухлые тяжелые насты...

Государь император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, князь тмутараканский и прочая и прочая поехал на богомолье к Троице-Сергию, поехал в объезд по великим и малым городам умиренной империи.

Закулачили ноябрьские стужи, занесло Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы, как ни в один год не заносило. Готовилось Чарыма к полноводному весеннему разбою. Таился „Совет рабочих депутатов" на задворках, сходились, захватывая

просторные барские квартиры, особняки, подгородные дачи—и исчезали. Митрофанов хранил сундучок.

На Свешниковской мануфактуре, в мастерских, у мыловаров, у кожевенников прибывали дружинники. По чердакам, под полами, под порожками, под опушками отпотевали до поры до времени укладистые браунинги, неповоротливые берданы, тяжелодулые винтовки, щеголя-маузеры. В сараюшках, в вырытых ямках, под дровами, в ящиках, в корзинках дремал гремучий огонь толстобрюхих бомб килами, ведерками, чугунчиками; сохли пироксилиновые пряники-шашки и черная мелкая пороховая икра.

Оборвали с заборов зимние ветра манифест семнадцатого октября, варили сладкое варенье кадеты на лекциях, в театрах, в клубах, в народных домах; начиняли сардинки гремучим студнем эсеры; меньшевики чистили тупые клювы и дрожали выпирающим полным зобом торжества, пробовали маленькими ложечками поминальную кутью.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вооружались. На погосте у Никиты собирал товарищ Иван боевиков-дружинников, а Никита ходил с колотушкой, в больших валенках, свисавших с колен рваными ушами, стучал дозорным погремком, посвистывал, пил черный, как деготь, бальзам.

Начинала в шесть утра гудеть Свешниковская мануфактура, к ней приставали малого роста гудки, заливалась сирена в мастерских: Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы хлопали дверьми, засовами, и уныло по морозцу скакали рабочие на всполье к проходным будкам меж тусклых ночников в домах...

А небо висело такое гладкое, мирное, нежное, в серебряной сбруе с наборными камнями звезд.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Москве, на Пресне, шел летний ремонт с подвесных люлек: шпаклевали и перетирали декабрьские раны тысяча девятьсот пятого года. Стропилили, крыли новым железом крыши, развозили закоптелый, покропленный кровью кирпич на бульвары, разбивали его на щебенку, выгибали бульвары на рабочей крови кривым рогом, красили тоновыми колерами горячие

летние лбы домов и золотили дырявые, прорешные церковные купола. Пресня переодевалась.

Опять дружинники хлебали из общего рабочего котла нищету, долгий солнцеворот рабочего дня, безработицу, сырой сон подвалов, вороватые ночные обходы жандармов по указу его величества... Декабрьских дней не было. Праздновали царского зимнего Николу. Жгли иллюминации на Пресне, и звонили древние колокола над Москвой, как при царе Алексее Михайловиче. Егора звали Степаном. Жил он в Москве, на Пресне, третье лето. И будто на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, в шесть утра будили гудки, и он бежал по колкой каменной мостовой на фабрику. Кончали в вечерние зори на фабрике, и он кружил по путанным, как у спящего человека волосы, московским улицам, тупикам, переулкам в Замоскворечьи, в Лефортове, на Девичьем поле, на Таганке, на Арбате, взбирался по черным, будто закопченные трубы, лестницам в каморки, проваливался в дыры подвалов, плыл, отдыхая, на громыхающих флигелях конок в Сокольники, на Воробьевы горы. Лежала в кармане темно-синяя бессрочная книжка Степана Петровича Ежикова, мещанина города Козельска, особых примет нет.

А потом на Пресне шел летний ремонт, убирали лохмотья рабочей власти, ночью была облава... Взяли Степана Петровича Ежикова, повели, посадили, повезли... Пришел некий человек в камеру—ходил он по Зеленому Лугу, по Числихе, по Ехаловым Кузнецам по своим надобностям,—поворотили к свету, зорко шмыгнул человек в глаза, просмеялся, будто смеялись не тут, а за дверями, просмеялся и сказал:

— Да, это он: Егор Яблоков.

Чарыма синело в узкую книжную четверку решетки вторым вечерним небом, а ночами на островке зажигались, как устье печки, костры. Егор слышал далекий гул Свешниковской мануфактуры, и не были слышны маломерки, только будто миндаль на прянике плыл гул Свешниковской мануфактуры отдельно, вверху, а под ним что-то гудело неуловимое, широкое, развернутое крылами.

Егор опять был со своими. Будто тут, рядом, за дверями начинался вихрастый фашинник Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов. С Чарымы часто дуло прогорклым сырым ветром, болотными туманами—и тогда Егор втягивал насторожившимися ноздрями родной запах.

Года не проходили. Он еще вчера проскользнул по Кобылке к Девичьему монастырю, прокрался по стене, выждал в повороте башни, баранья папаха была как густой куст репейника, не примечала, прислушался к затихнувшей стрельбе на Зеленом Лугу, едва различимые полуночные тропы вели к насыпи. Егор быстро пошел, перекинулся через насыпь—и зашагал настами к Чарыме. Он шел всю ночь. Дубленый пиджак был подтянут зеленым кушаком, папаха сидела копной на голове, заиндевела, протекла потными протёками на лицо. В карман сунул накануне товарищ Иван темно-синюю книжку; прижался к ней теперь морозным боком браунинг, как верная собачонка.

Ходили по чарымским дорогам рабочие на побывку в свои деревеньки, носили папахи, носили дубленые пиджаки с красными, голубыми, зелеными кушаками... Егор шел на побывку в места глухие, в Заозерье, за Николу Мокрого. В торговом селе Большие Пороги — шла тут дорога в Заволочье — купил Егор малый сундучек на базаре, чайник... Спустил задешево папаху, пиджачонко с кушаком, перерядился в пальтишко, в вязаную шапчонку, переночевал на постоялом дворе—и еще отшагал двадцать верст до станции.

Скакал Егор на станциях с чайником, цедил куб с кипяченой водой, полоскал брюхо теплом, ехал-ехал-ехал в Москву. Была явка в уме, как родинка на шее за воротом—не смоешь, не покажешь, не позабудешь. Года не проходили...

В декабре на Свешниковской мануфактуре ввели две смены за дни забастовочные, за дни прогульные, вернулись старые мастера, на желтых дверях в конторе вывесили расчетные белые флаги, будто вывели за ворота, на мороз две тысячи ткачей и пнули коленком под зад.

Фабрики и заводы встали. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы пошли в город. В рабочих стреляли. Тут напали рабочие на оружейный магазин, разнесли, разбили, побежали с оружием в рабочую слободу—и вкопались на бульварах... Дружно, нажимом, дубинушкой повалили первую конку на рельсах... И пошло... Согнали по бульварным линиям конки на выходы с бульваров, согнали извозчичьи сани, потащили доски, кадки, ведра, корзины, железо, кирпич, заскрежетали пилы по телефонным, по телеграфным столбам, лопнули проволоки, перекочевали бульварные, прямые, как нитки, решетки на перегородки к баррикадам... Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы оторвались от города.

Баррикады вырастали по улицам черными сугробами. Будто шла долго черная метель, и выпирала земля черные бугры дерева, железа, проволок, дранки, камня. Встали баррикады на объездах с полей в рабочую слободу: копали там мерзлую землю, били скорые сваи, заваливали, рыли окопы...

Как отстегнули коней от конок, погнали их верхами вожатые в город,— спутались конки путями во всем городе, заставили рельсы недвижимыми флигелями, словно посередь улиц пролегла новая городская стройка, словно из одной стало две улицы, две Прогонных, две Золотухи, две Кузни. В морозной темноте зажглись на баррикадах красные фонари флагов. И казаки сделали первый налёт на бульвары. Разошлись кони скаком в серебряной пыли, как булькала и бурлила под ногами пена в водопаде, надвигалась издали, оставалась позади густой гривой горбатого потока.

В дыру баррикады, вымеряя глазами непроскаканный конями клочок земли, наблюдал Егор. Дружинники замерли, подпуская казаков. Казаки наскакали, навострили пики... И выкинули сухие маузеры невидимые, вертлявые, въедчивые пики... Казаки накололись. Егор снял хорунжего. Он перекинулся на спину, свис вбок, конь понес, хорунжий запутался ногой в завернувшемся петлей стремени, и долго хлопалась и прискакивала на дороге голова хорунжего, будто хотел он вскочить в седло, всплескивал руками, поднимался, обрывался, конь скакал, и он стучал и стучал обмягшим затылком о ледяную корку...

Маузеры зачастили. Перед баррикадами бились раненые кони, стонали и царапали снег раненые... Казаки опрокинули лошадей и, рассыпавшись, кинулись обратно. Маузеры догоняли, торопились... Егор тревожно закричал:

— Стой! Стой!

Дружинники повернулись к нему, не отнимая маузеров.

— Ребята, надо бить на-верную! Патронов нам не подвезут со складов. Пуля, как золотой. Бить будем у загородки, в лоб... Гляди, опочинились на первый раз ничего!..

Прорывали войска баррикады с налёта на других концах Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов. Сидели за каждой баррикадой горсточки дружинников, отбивали дробовиками, бульдожками, редкими маузерами...

Ночью захлебнулась рабочая слобода народом, хрустел и шелестел и скрипел ухоженный снег, стучали топоры, пилили, волокли, копали, строили новые тесные баррикады, ряд за

рядом, перегораживали от стены до стены ночные улицы, лазили в лаз сбочку на пробу бабы, подтыкали их в зад дулами ружей дружинники и смеялись. Бабы были в теплых, завернутых на голове шалях.

— Ну, толстоголовые!—кричали рабочие.—Не мешай! Пеки пироги, знай! Тут дело не бабье!

— А мы в сестрички! А мы в сестрички!—отшучивались бабы.

„Совет рабочих депутатов" заседал в поповском доме у Богородицы-на-Подоле. С высокого балкона поставили прямую мачту, привязали ее железными увязками к князьку и прибили по рубчику красный флаг. Он заплескался утром над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами. Будто плыла рабочая слобода по земле на тысячах кораблей, трепал встречный ветер флаг и мешал итти кораблям.

Ночью закоченели мерзлой капустой мертвые казаки перед баррикадой, раздуло и заморозило лошадей, раненые отползли недалеко, кончились и застыли. Дружинники чутко перелезли поверх баррикад, подкрались кошками к трупам, сняли винтовки, шашки, револьверы—и заспорили, деля оружие.

— Я из винтовки. Я в солдатах был. Маузер—это чиркалка, а не оружие.

— Невидаль какая—в солдатах был! А я охотник какой! Птицы нет—и то птицу застрелю.

— Мне винтовка, тебе и берданка хорошо.

— Ложа у тебя за бороду задевает!

— Отстаньте, ребята,—сказал Егор,—дело только начинается, стеречь надо каждое лишнее слово, а у вас зубной доктор зубы глядит. Гляди строже в темноту!

Егор говорил, не отрывая глаз с темневшей пустой площади. Дружинники пошептались—и замолкли.

Вылезли и в других концах за баррикады, снимали с убитых солдат оружие. На Зеленом Лугу вылезли, поползли. Солдаты встретили от Винтеровского моста жадной бесшабашной стрельбой. Полежали, пригляделись и, не подымаясь с земли, тянули винтовки, а потом волокли за собой в лаз.

За ночь густо обстроились на баррикадных улицах. Будто проводили по улицам канализацию, разворотили, распороли брюхо земли, вывалили кишки наружу, и свернулись они поперёком.

Мороз глушил. Развели скупые костры на дворах, бегали попеременно хлопать рукавицами, палить руки, поворачиваться

спиной, брюхом, совать валенки, сапожонки в огонь. Вестовые-подростки гоняли с одного конца на другой. Разбирали новое оружие новые дружинники.

— Куды ты, куды ты!—держала за рукав баба.—Поковыряли земельку, помогли—и будет. Григорий, останавливайся!

— Иди спать,—сердился дружинник.—Ребята одни остались. Пробудятся—и жильцов перебудят за перегородкой.

Баба хныкала.

— И стрелять-то ты не горазд... Зря ружье займешь. Отдай, у ково глаз есь. Пойдем домой. Непроворной солдат—мишенька для пуль.

— Сама ты непроворная! Катись! Не срами при народе, полохало!

Баба прижала к себе, охватила с руками спереду, ёрзала на спине толкающими пальцами.

— Изрубят, изрубят, в кашу изрубят тебя. Ой, я несчастная вдова... с малышам... соплюнам... куды я денусь-то?

Григорий окунывался в близкие глаза, встряхивался, вел бабу в проулок, толкал в спину и зло шептал:

— Застрелю, суку! Где бы... поддержка... Тут сердце выворачивает...

Баба оставалась одна. Она долго стояла, мазала на замерзающих щеках слезы, выглядывала вслед скрипевшему валенками Григорию, крестила ему спину и тихонько шла думать, не спать над раскидавшимися в тряпье ребятишками.

На Числихе, на баррикаде, разговаривали ткачи:

— Спит, поди, теперь, ребята, Свешников на золотой кровате?

— Да-а, спит!? Держи карман! Казаков поит из своих ручек на нашего брата.

— Не-е-т! Сегодня никто в городу не спит, зенки не закрывает. Любопытство, брат, это—болезнь. Прилипчивее бабы.

— А тебе, Ванька, не страшно?

— Как не страшно! Ясно, страшно.

— А чего тебе страшно?

— А того страшно,—о чем, думаю, человек думает, когда помирает. Вот этого и страшно.

— И трус ты, я погляжу!

— Храбрость дело наживное. Храбрости на всех хватит.

— Винтовку взял—значит, нечего и рассосуливать.

— Хвасливые, знаешь, бывают... До-ветру часто бегают...

— Ребята, будто кашлянул кто?

Дружинники заглядели всматривающимися, сверлящими морозную ночь глазами.

— Это я,— проговорил ткач у сторожевой дыры.—Тишина будто на небе, а не на земле: спать охота.

Будила баба прилегшего на кровать мужа в Ехаловых Кузнецах.

— Постыдись! Постыдись! До сну ли теперь. Другим больше надо?

— Дай отойти-то, неуёмная. Мороз на спине ровно кожу обдирает.

— Больно долго обдирает: спина-то у тебя с крышу! Пыхнул раз—она и обогрелась. Коля, итти надо. Мне глаз не поднять на соседей.

Баба снаряжала кузнеца, укутывала его тепло, давала байковые нарукавники, одергивала, сама завязывала пестрый шарф на шее...

— Береги себя, Коля,—прилипала баба утешающим поцелуем.—Может... все и хорошо обойдется.

Коля долго шел к „Совету рабочих депутатов", останавливался, курил, думал, поворачивал обратно и опять шел. В „Совете рабочих депутатов" несли дежурство трое рабочих и товарищ Иван. Сидел Иван за письменным столом батюшки, поблескивал стеклышками и, как водя носом по бумаге, писал и откладывал в сторонку маленькие исписанные листки. Стояли на столе фотографии матушки и батюшки, лежало с красной муаровой закладкой малиновое евангелие, стояла горкой золоченая бумажная игрушка Киево-Печерская лавра, и над столом, с панагией, с орденами, в митре, в черной раме висело сухощавое, костяное, игольчатое лицо митрополита Филарета.

— У Параскевы-Пятницы народ нужен,—говорил дежурный,—иди туда. Чего тебе? Выбирай в углу амуницию.

Там стоял небольшой пучок ружей, сабель, а на полу лежали грудкой револьверы.

— Патроны клади в карманы. Оружие бери на одного. Одним бойцом будет больше.

Коля уходил с винтовкой.

— Кышкни там на улице народ: зря-де в Совете оружье ржавеет. Сто тысяч народу с бабами живет в слободе, а, поди, двести человек в дружине...

Спокойная, как лежит недвижным пластом в золотых доспехах Чарыма в безветренные июньские дни, была эта первая баррикадная ночь. Не отбивали часы в церквах, не свистели городовые, не ездили ночные извозчики на прыгучих глаженых полозах—город застыл, вымер. Глядели сквозь мутную пряжу облаков непонимающие звезды: ясные детские глаза, открытые под цветным пологом, сияющие за радужным зайчиком...

— Подкрадываются, ребята,—шептали дружинники друг другу.

— Виданное ли дело, с генеральской храбростью оставить не при чем слободу!

— Тут минута дороже денег. Нам ли давать крепости строить!

— Тянись, товарищи, ухом и брюхом. Удар обдумывают...

— Зады-то у нас как?

— Все равно не живать, кажись, на свете!

— Другие за нас поживут всласть: не мерзни боле на морозе! Эх! Поддержат ли, братцы, другие города? Весточки, поди, полетели! Партия на што другое, а заварить кашу нигде не откинет... Послала давно...

Члены „Совета рабочих депутатов" обегали баррикады, совали патроны, вели бойцов, проверяли караулы... Шевелилась всю ночь рабочая слобода, будто была она городским сердцем, сердце работало, билось, подымало грудь, а город, как мертвое туловище, был недвижим, раскинул длинные ноги улиц, переулки рук. На баррикадных работах члены „Совета рабочих депутатов" звали:

— Товарищи! Кому оружие? Тут и бабы сделают. В Совете порожнее оружие. Совет вас призывает. Утром начнутся бои, товарищи! Необходимо напряжение...

— Давай, давай!—кричала рабочая молодежь и шла в Совет.

— Захвати на меня!

— И на меня!

— И на меня!

— Идем вместе!

— И тут делай... и там делай,—ворчал старик.—Ну, забастовка, ладно... А пошто на солдата с голым рукам лазать? У казака рогатина, а у нас пальцы короткие...

— Дедко, не подрывай!..

— Я ничего... А копнем, што ли, друже? Землекоп не землекоп, из артели не выкинешь старика, едрёна мать!

Грозили в других местах члены „Совета рабочих депутатов“:

— Товарищи! Дружинников мало. Не выдавайте! Дело начато нешуточное. Зевать некогда. Ворвется в слободу казачьё, попомните лето, пощады никому не выпросить. Разбирай оружие! В Совете сами сидите, сами решили драку!

Кидали бревна, лезла земля глыбами, валили заборы, палисадники, набивали мешки мерзляком, но мялись—не брали оружие, не шли.

— Сами што сидите?—кричал задирающий бабий выкрик.

И другой вторил ему:

— Других на смерть посылаете!

— Что верно, то верно,—тихо, несмело говорил, роя яму, кожевенник.

И враз, негодуя, шумели токаря, слесаря, железная дорога, ткачи.

— Стыдно, стыдно, бабы!

— Молчите, мокрохвостые!

— Сами выбирали!

— Без Совета нельзя!

— Кто распоряжаться станет!

— Ты што—рабочий али не рабочий? Бабьему слову обрадовался! Кому яму роешь?

Член „Совета рабочих депутатов“ перебивал и махал рукой.

— Товарищи! В Совете пятьдесят человек. Сорок человек сидит с оружием за баррикадами. Десятеро дежурят. Совет посменно работает.

Замолкали, лениво шли к Совету. И тогда на поповской лошади повезли оружие по местам, совали в руки, надевали через плечо. Смеялся шутник, вздыхая и подкидывая ружье:

— Скоро ли, товарищи, конец оружию? Этак всех в дружину запишут: некому будет труса водить!

К утру пошел снег. Распороли ветра пуховые перины облаков, подули ветра, повертелся сначала мелкий, колечками, легкий пушок, долго не садился, пылил, потом свалился комок слежалого, покрупнее, пуха, а потом вывалили перины, тряхнули распоротыми наволоками, и повалило, повалило, потекло... На баррикадах, как на крышах, укладывался чистый усатый снег, укладывался на папахах. Дружинники больше ничего не видели

перед собой, не видели и с той стороны ничего. Казалось, не было баррикад, города, земли, а только летел откуда-то и куда-то и зачем-то снег. Снег спутал дороги, улицы, площади. А в путанице на баррикады стали натыкаться мужицкие лошади. Мужики правились до свету на базары, на Толчок, на Грибное Болото, к Казанской и натыкались, тпрукали, вылезали из саней с бранью. На Кобылке сгоряча сами выстрелили ружья: свалилась лошадь, подстрелили мужика. Вылезли за баррикады и осветили фонарем. Мужик ворочал большими плачущими глазами и стонал, хватаясь за груди:

— Ой, робята! Ой, робята!

Два дружинника виновато понесли его на брезенте, стянутом с воза, в Совет. Казалось, сами они уныло и безнадежно стонали с мужиком вместе, и вся мужичья боль, отчаяние, укор были своими. Дружинники не донесли мужика до Совета. Мужик вдруг зачмокал губами, кровь выперла через пальцы густым суслом, глаза моргнули и встали... Остановились и дружинники.

— А! А!—горько махнул один рукой.

— Куда его теперь?

— Куда, куда? В снег—и крышка. Будешь долго думать—все равно не воскресишь. Ну, всыпался—и ничего тут сделать нельзя.

— И мы тоже!

— Мы же... мы же не хотели... Э-эх! Жалко мне его!.. И себя... жалко...

— А в снег не годится. Снесем в Совет. Пускай там важдаются с ним. От нечего делать поп кстати отпоёт заупокойную обедню.

Дружинники понесли мужика дальше. В „Совете рабочих депутатов“ оглядели его, товарищ Иван потрогал голову, обстригли крючки на шубёнке, развернули полы, расстегнули пиджак, разорвали рубаху,—на груди, недалеко от сердца—будто вырос третий сосок—чернел тупой сгусток крови.

— Неси на улицу: помер,—сказал дежурный.—Покойников еще будет довольно. Клади у сарая там. Вместе со своими зароем. Холодно на дворе: день—другой не протухнет.

Дежурный отвернулся. Дружинники начали браться за мужика. Вдруг дежурный быстро, скороговоркой, сердито закричал:

— Зря в людей тоже нам не лицо пулять!

— Да разе?..

Дружинники охнули на ответ, покачнулись у порога и молча понесли мужика по лестнице, торопливо и осторожно стуча по обледенелым ступеням.

Шутили с мужиками дружинники у других баррикад:

— Министров выбиваем!..

Мужики испуганно оглядывались и тихонько, подумав, говорили:

— Дело это хорошее... Так... Так...

Они держали лошадей за подузды, несмело осаживали, не знали, что делать, что говорить.

— Сига-а-й к нам, что ли!—звали дружинники.

Мужики молчали и уныло глядели под ноги.

— Ну, отъезжай, отъезжай! Заворачивай оглобли, некогда нам. Провороним настоящую дичь. И тебе худо будет.

Дружинники толкали мужиков дулами. И мужики робко, дрожа, спрашивали:

— А я поеду, значит? Можно, братцы? Отпустите Христа ради!

— Гони!—кричали дружинники.—Спятил ты, деревня? Сказано, министров выбиваем... самодержавие... а не мужиков...

Мужики дергали лошадей вбок, кидались в метель... И было слышно, как хлестала-хлестала-хлестала, торопилась испуганная ременница. А у одной баррикады мужик отогнал лошадь в метель и заорал:

— Эй, прохвосты! Лентяи! Ни дна бы вам ни покрышки!

Старый дружинник громыхнул ему вслед, в слепую метель, дорогую и пустую пулю.

Снег пошел, сбил работы, наскоро заканчивали и разбредались по домам. Скоро остались на улицах одни дружинники.

Центральные бульварные баррикады защищали мастерские. Аннушка была в полушубке, в папахе. Держала она маленький маузер маленькими вцепившимися руками. И еще были две бабы: Олюнька и Фекла-Пегая. У Феклы-Пегой живот выпирал большой сахарной головой. И Кубышкин смеялся:

— И от какого такого дела у тебя опухоль, Феклушка? Где нагуляла-то?

— Ветром надуло, ветром надуло, Силантий Матвеевич,— отвечала Фекла-Пегая.—Тебя и на столько не хватит.

— Знатьё бы, знатьё бы!—шелушил щеки старый Кубышкин.

Фекла-Пегая тыкала беременным животом Анса Кенинь и шепталась с ним. Он говорил вполголоса:

— Не место тебе здесь, Фекла. И от ребят мне неловко. Уходи ты!

— Где ты, тут и мне место. Не уйду. В брюхе у меня тоже дружинник сидит. Больше народу...

И Фекла-Пегая осталась. Был у Олюньки с Сережкой медовый месяц, сладкий, бессонный, синие кольца он кинул в глаза, замаял... Олюнька нацепила на рукав красный крест и сидела строго, неподвижно за Сережкиной спиной.

На центральных баррикадах было снежно и тихо: не натыкались мужики. Егор наклонился к лицу Аннушки из метели.

— Снежит, Аннушка, снежит! Как бы где не прокрались солдаты! Ты не замерзла? Поди, погрейся!

Егор бережно смахнул с груди, с плеч ее влажный, как белый бараний жир, пласт снега. А Кубышкин не унимался, привязывался к Фекле Пегой:

— Тебе родить надо, а ты на дворе морозишься! Не убежит тут, кроме как на небо, твой Богдан Хмельницкой!

— Отвяжись от меня, старик!—сердилась Фекла.—Баба, ты знаешь, на-сносях—сама себе не хозяйка. Накрою тебя сарафаном... заплачешь...

— Тьфу! Тьфу! По-собачьи, значит?

Кубышкин подумал, посмеялся себе под нос и заговорил ко всем:

— Знаете, ребята, Фекла мне напомнила... Собачка была у меня у молодого... Пулькой звали. Собачка была с большой кулак. Скажу: „Пуль, Пуль!“—она, как мышь, белой шерсткой тряхнет, фью—и нетути. Бег был необнаковенный. Вот... Просится ночью на двор, задом трется о пол... Выпускать бы, а спать охота, будто не спал никогда. Покричишь, пошумишь на нее—Пулька помолчит, потом опять за свое. Я и научил ее ходить, как кошку, на песок. Корытце такое сделал... Подведу ее к корытцу с песочком, ножку подниму у Пульки, она и сделает. О, Фекла, каки дела быват на свете! Разродисся ты тут не ко времени. С царем надо за воротки, а тебе перегрызай пуповину!

Фекла-Пегая обняла сзади старого Кубышкина и ласково напорошила в лицо ему снега.

— Не вводи в грех, не вводи в грех!

— Нет, право, Феклушка, ты бы гору-то за угол, за угол, на постельку!..

Метель расходилась. Дружинники не видели друг друга, только что-то черное, серое копошилось рядом. Егор перекликался с Тулиновым:

— Дружище, не занесло?

— Не-е-т! Видать маковку.

— Тулинов! До времен-то каких дожили! А?

— Да-а! Только бы на земле удержаться!

— Прокарабкаемся! У меня в левом глазу чешется.

— А у меня в правом.

— Оба врут.

Метель наметала снег лопатами. Дружинники утаптывали его. И хотя снег вил, крутил в непроглядной вышине спереди, сзади, но было уже светло. Кто-то сильнее метели распоряжался светом и тьмой—и утро пришло. И как-то вдруг сразу весь снег свалился, проглянули дома, улицы, облака. Облака будто сжали белые зубы, будто простегали распорины облаков толстыми швами, и снег засел в мешках. А дома были одеты в беличьи меха, а на улицах растянули пышные шкуры белых медведей. И никто не ходил по ним до полдня.

Войска пошли в наступление в полдень. Обложили они с бульваров Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Войска лили на баррикады трескучий горох пуль. Дружинники не отвечали. Войска не подходили близко—и стрельба была напрасна. Шарахнулись вдоль бульваров шрапнельные метлы, одна, другая, третья. Дружинники лежали на земле—и не отвечали. Тогда войска, нагибаясь, лениво и вяло начали подходить к баррикадам. Их встретили редким, на выбор, на мишень, огнем маузеров, винтовок, дробовиков... На Зеленом Лугу на ткачей кинулись солдаты в штыки. Ткачи вылезли на конку и, свесив ноги с конки, сидя, куря, деловито метясь, расстреляли два серых клубка шинелей. На Кобылке валились дружинники от невидимого солдатского огня. Где-то щелкало, трещало—и дружинники падали. Тут выбила баба напротив стекло в зимней раме, протянула руку вверх и закричала:

— На колокольне! На колокольне!

Дружинники вылезли за баррикаду на бульвар, забрались на деревья—и оттуда пули зазвонили в колокола... Солдат сняли. Перегнулся один солдат грудью на перила, выронил винтовку вниз, и шапка его завертелась, завертелась... Так и остался висеть солдат во весь день с вытянутыми руками вперед.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах была пустота. Крались по стенам редкие бабы, дети, только за баррикадами, в проходах между ними, стояли, сидели, лежали застывшие сторожко дружинники.

Рабочая слобода отбила все атаки. Стояли на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, как фабричные трубы, колокольни. „Совет рабочих депутатов“ посадил метких стрелков на колокольнях, и они оттуда выбирали на выбор офицеров, фельдфебелей, унтеров... Были им открыты городские улицы, солдаты, поджидавшие казацкие сотни в запертых дворах.

Дружинники устали. Метельная бессонная ночь, денные бои были как колодки на знобивших ногах, кружились мельничными жерновами головы, глаза липли...

А навечеру солдаты отошли—и в городе началась частая-частая-частая ружейная потасовка.

— Ура! Ура! Ура!—покатилось за баррикадами.

Из города бежали гонцы-рабочие. Подняв руки кверху, бежали они к баррикадам и кричали:

— Моршанцы! Моршанцы! Восстал Моршанский полк!

За баррикадами запели, закричали, засмеялись. Дружинники рвались в город, как привязанные к столбам на конном дворе кони. Ночью они выступили.

Баррикады выросли на Прогонной, на Золотухе, на Толчке.

И опять была спокойная, как снежное поле, ночь. „Совет рабочих депутатов“ захватил типографию. Печатали в ней „Известия Совета Рабочих Депутатов“. Выносили скипидарные мокрые груды газет, раздавали на улицах, на баррикадах, в Совете.

Товарищи!
В Москве вооруженное востание!
На Пресне идет бой!
В войсках брожение.
Войска отказываются стрелять
в пролетариат!
В Петербурге восстали матросы.
Кронштадт взят!
В Харькове, в Саратове встали фабрики
и заводы.
В Златоусте образовался Совет Рабочих
Депутатов.
К оружию! К оружию!
Да здравствует вооруженное восстание!

По баррикадам, перекатываясь, как далекий ворчливый гром за Чарымой, гудели многоголосые ликующие крики.

И Аннушка шептала Егору:

— Правда ли?

Егор морщился и молчал. И будто понимал, не слыша ее Тулинов и тоже шептал на ухо:

— Врут, врут, Аннушка!

Подобрали оружие на улицах. Дружинников прибывало. „Совет рабочих депутатов“ обвыкался. Пробрались закоулками за баррикады врачи из города: послала организация. В поповском доме перевязывали, лечили. Сколотили из рабочих и баб отряд санитаров. Был на бульваре маленький аптекарский магазин Августы Линдер, немки. Посадили туда рабочих для охраны, и Августа Линдер трясущимися от испуга, как тонкие черствые батоны, бело-розовыми руками отпускала лекарства для Совета. Разделили дружинников на три смены: отсыпались они в соседних с баррикадами домах. А Сережка с Олюнькой бежали домой: шли последние дни медового месяца.

Ночью из-за трех баррикад, в разных концах, сделали вылазку в город, привели городовых, офицера. И один городовой, вытягиваясь, отстраняясь от своих товарищей, залепетал:

— Я... ежели... где пост... я и на пост встану...

Дружинники весело засмеялись. Старый Кубышкин походил около городового. Тот следил за ним глазами, как троекратный иконный лик над церковным входом. Глаза у городового не двигались, но они видели прямо, с боков, они будто видели на затылке. Городовой был огромен, будто высокое парадное крыльцо.

— Не подходишь: мал ростом,—сказал Кубышкин.—Упадешь—поленница дров свалится на голову.

А офицер скорчился, презрительно плюнул, окинул волосатый грязный отряд дружинников и заносчиво закричал:

— Ведите нас к вашему... как его... к набольшему!..

Дружинники нахмурились. Сережка сорвал с плеча ружье и наотмашь ударил в грудь офицера прикладом. Егор не успел схватить за руки—офицер упал, выждал поднимавшуюся в груди боль и злобно зашипел:

— Р-раз-бой-ни-ки!..

Городовые беспокойно задвигались, переступили кожаными ногами, свернули плечи крутыми дугами, не глядели ни на

кого. Дружинники опять весело засмеялись. И больше всех смеялся Кубышкин.

— От разбойника слышим, ваше благородие! Будет валяться-то, вставай! Мундир запатраешь!..

Егор допрашивал офицера:

— Откуда ждете войск? Моршанцев усмирили?

Офицер молчал. Его жадно и цепко подбросили со снега и поставили на ноги.

— Говори!

— Отвечай!

— Шевели языком!

Офицер, ухмыляясь и гладя болевшую грудь, прохрипел:

— Я отвечать не стану...

Сережка взмахнул рукой, Анс Кенинь пошел к офицеру быком, Егор дрогнул весь—и выстрелил офицеру в рот.

— Это так!—сказал Анс Кенинь.

Городовых повели в Совет, и они наперебой галдели:

— Солдаты отказываются!

— Бунт!

— В Моршанском пища гнилая!

— Заперли моршанцев!

— Из Петербурга идут войска!

— Ждут с часу на час!..

— Сегодня будут!..

Егор поднял маузер над головой:

— Замолчи-и-те! В Совете расскажете!

И в молчании Кубышкин вдруг сказал печально, поворачивая назад:

— А я, ребята, снежком... снежком его запорошу. Больно в глазах рябит...

И он побежал к лежавшему невдалеке офицеру.

В Совете городовые наперерыв торопились отвечать на допрос, укоряли друг друга в укрывательстве, спорили, кричали. Молчали только двое. Стояли они у порога: теребил один светлую пуговицу, а другой засунул глубоко в карманы руки с обшлагами, будто думал первый какую-то упорную неразгадываемую думу, а второму было холодно и скучно стоять.

Дежурному надоело допрашивать. Он печально и злобно забормотал:

— Все, что ли, продали? Нет ничего больше за душой продажного?

Городовые смешались и раскрыли рты. Дружинники захихикали, нацелились гадливо взглядами на городовых, поплевали губами без слюны, точно в комнатах был тяжелый, вонючий смрад. Дежурный помолчал и спросил:

— Жалованья сколько получаете? Шашнадцать? Четыре рубля вам цена: половину на гроб, остальное на похороны.— А потом он повернулся к молчаливым городовым у порога.— Вон... стòящие ребята. Те, видать сразу, мужики настоящие... Тем... и мы бы шашнадцать дали. Курилов, веди их всех в сажалку... Побегут—чокни...

Была рядом сажалка в портерной: торговали винишком, пивишком в те времена не ближе ста сажен от церковной ограды. Сидели в сажалке теперь попы, по пять попов с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов, коровье-здоровье из черной сотни, кабатчики, воры и церковные старосты... Разбавил городовыми сажалку Курилов, загонял сердито за стеклянные двери и втемяшил последнему городовому, будто парадное крыльцо, в одно время кулаком в зашею и ногой в широкое место. Шепнул городовой Курилову на дороге:

— Отпусти меня: потом слюбится... Раскатают вас по бревнышку... я к начальству... так-де и так... Фамилька-то Курилов?

И чокнул Курилов вдогон, даже языком сладко лизнул губы.

А днем опять началось... Дружинники видели с колоколен: шли войска с вокзала конные, пешие, с пушками. Проходили недалеко за каменными домами, и заливался тоненьким жидким ширкунцем оттуда запевала:

Засвистали козаченьки
В поход с полуночи,
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи...

Войска пошли густо, хлебным тестом через края квашни. И воздух задырявился, заразàлся, заветрил... С крыш, колоколен, в баррикадные лазы редко, споро стреляли дружинники. Солдаты убывали. Будто било молнией в лесу дерево, и валилось оно, а другие деревья стояли. Бегали много раз солдаты и на Зеленом Лугу, и на Числихе, и в Ехаловых Кузнецах. Урали солдаты в штыки—и кидалось им, кроша мелкой мясной крошкой, пламя в лицо, прыгал черный мячик из-за баррикад, как в лапту играли—и солдаты урали напрасно.

Тогда высоко над Ехаловыми Кузнецами всплыли меховые шкурки—и пролились в уши шумом, крякнувшим железом на крышах, колотушками по дереву. Шкурки свернулись в облака, в дымные клубки, все ниже и ниже спускались над крышами, точно сметали с крыш слежалый снег и засыпали землю вместо снега железным каленым гравием. И будто после пирушки, у стола, на полу раскидал кто-то темные стаканы, кубки, бокалы... На подмогу, по баррикадам, по домам, по улицам послали из города пушки грохочущий рев трехдюймовок. Точно костры вспыхивали и тут и сям, гудели, рылись в земле, взлетали красными кучками огня и, шипя, тухли. Шаталось от гула морозное небо, тряслись на корню домишки рабочей слободы, и улицы гнулись, вздрагивали, западая ямами, рытвинами, колеями.

А на баррикады шли опять солдаты. Дрались дружинники на ободранных пулями, шрапнелями, гранатами тонкостенных конках, на ворохах баррикадной рухляди—и не давали дорогу. Дружинники умирали, умирали солдаты, несли по ту и по сю сторону раненых санитары, бабы, сестры, а кромешный, жадный, задыхающийся огонь кидался-кидался-кидался из города на рабочую слободу. Горела Числиха, горела Кобылка, зажгли Богородицу-на-Подоле... Кричал и тушил снегом пожар сбегавшийся люд, тащил из огня скарб, ребят, петухов, куриц, свиней... Настигали на улицах трехдюймовки, шрапнели сундуки с бельишком, столы, кровати, зыбки, хлестал красный железный хвост—и трухой взлетало на воздух рабочее обзаведение. Железными горстями хватали разрывы людей и дробили как землю, как пыль, как дым. В „Совете рабочих депутатов“, в белых халатах, с красными на груди передниками от иода и крови, шатаясь, работали врачи. Санитары несли и несли дружинников затекавшими руками. Раненые лежали на полу, вплотную, на серых поповских половичках.

Под неумолимыми белыми кудрями шрапнелей, от стакана к стакану, шарахаясь от вылезавшего из земли огневого столба, будто дыбом вставала улица, падая и вытягивая вперед руки, держа над собой узелки, корзинки, крались бабы, ребята, старухи к баррикадам. То несли жены, матери, дети еду отцам, сыновьям, мужьям... Несли и не доносили: разрывало, переламливало надвое, на мелкую дробь, лежали по улицам красными обрубками, лохмотьями, скользкими последами... Шли другие—и ложились рядом. Шли третьи—закрывали пугливые

глаза, обходили, торопились, забывали, крались к дымом и порохом пропитанным папахам...

К ночи устало небо гореть и трепетать, устала содрогаться земля—и стала тишина над городом, над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами, как в лесной глуши, точно трудно дышал потеплевший воздух, не мог продышаться, и несло мокрой, липучей гарью.

Дружинники отдали Прогонную, Золотуху, Толчок. В темноте они тихо перебежали к бульварам. Слушали дружинники неясные, неуловимые настойчивые звуки ночи—была первая неудача—и хотелось услышать невозможное, хотелось не думать о Прогонной, о Золотухе, о Толчке. И всё ждали-ждали-ждали они, будто кто-то должен был притти, поднять их, кто-то должен был опять отнять и Прогонную, и Золотуху, и Толчок. И никто не приходил.

На заре дружинники услышали рожок горниста, и начался вчерашний невозможный огневой день. За баррикадами редело. Мишутка принес отцу пирог, и Тулинов со слезами закричал:

— Что ты, что ты, стервец, шляешься? Беги, беги у стенок домой! Так и скажи матери—колотить ее мало!..

За баррикады сыпались часто, казалось, в каждый маленький толчок минутной стрелки, тысячи жужжащих гвоздиков. Тулинов перестал стрелять. Он махал на Мишутку пирогом и гнал его.

— Скорее, скорее скачи, дурашка! Проползи, проползи за угол на брюхе!

У Мишутки был мокрый зазябший нос. Он съёжился в ватном латаном пиджачонке и весело и довольно оглядывал знакомых.

— Да, папка, я ничего не боюсь,—смеялся он,—я от матери пирог стащил—и дралова сюда. Мамка сама хотела нести. Я и не сказал. Поди, она тоже принесет.

Тогда старый Кубышкин поманил Мишутку пальцем.

— Миша, поди-ка сюда: чево отец только ругается. Я тебе пульку дам.

Мишутка прыгнул к самой баррикаде, и старик зашептал, суя ему вместо пули пустой патрон:

— Стрельнуть охота?

И Мишутка жадно шепнул:

— Дай, дедушка!

— Пошел! Пошел!—засмеялся Кубышкин.

Тулинов вскочил с места и затолкал Мишутку в спину, оправляя на нем развернувшийся шарф.

— Марш, говорят тебе, неслух!

Мишутка побежал открыто, спокойно, словно бежал он с ребятами из школы, не было баррикад, не было лизавших землю красных жаровен, не было этого гудящего, звенящего железом небесного колокола. Он отбежал немного, остановился и закричал:

— Папка! А мы с ребятами ходим на баррикаду к Покрову. Казака подстрелили! В башку ему попало!

И опять побежал. Олюнька, Аннушка, Фекла-Пегая качали головами.

— Э-э-х!—простонал Егор.

А потом пришла жена Тулинова. Шла она осторожно, по стенкам домов, наклоняясь, пригибаясь к земле. Принесла три пирога. Жальчиво поглядела на всех и разделила пироги мужу, Егору, Аннушке. Тулинов порылся у себя за пазухой и, взяв в обе руки по пирогу, протянул один обратно:

— Снеси Мишутке один в подарок. Не ем-де ворованных пирогов.

Дружинники засмеялись. Баба ударила руками по полушубку и обвела всех заморгавшими глазами.

— Был, что ли?

— Бы-ы л!

— Я во-о-т ему!..

Тут баба внезапно остановилась и с плачем выкрикнула:

— Детей-то хоть бы пожалели!..

Тулинов сердился в спину хныкавшей на ходу бабе:

— На веревке держи дома... Не пускай! Дело немаленькое!..

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах жила озорная рабочая челядь, и бегала она к отцам с пирогами, с хлебом, подавала пули, конопатила патроны, вылезала в щели и скакала по городу, нюхая и разузнавая там нужное. А бабы шарили глазами красную суматоху на улицах, шли к мужьям, несли табачишко, закутывали дружинникам на ночь головы бабьими теплыми шалями от простуды и жалели в смену на тощей кровати, прятали от ребят красные тесемочки наплаканных глаз.

И еще прошли три ночи. А днями заваривалось прежнее. И днем, на пятые сутки, перебежали с бульварных баррикад в нутро на Числиху, на Зеленый Луг, в Ехаловы Кузнецы.

— Сдаем, Егòра!—сказал Тулинов.

И Егор печально ответил:

— Сдаем, Тулинов!

Сдавали на всех баррикадах. Пожары рябиновыми рощами поднимались в разных концах. Уходили на смену дружинники и не приходили обратно. Из сажалки убежали попы, городовые, церковные старосты, коровье-здоровье. Обманула Пресня, матросы, Харьков, Сормово... Митрофанов с сундучком трусил мимо баррикад и кричал:

— На важное заседание! На важное заседание! Идет помощь, товарищи! Идет!..

Грустно бубнил Кубышкин:

— А я думаю, не с того конца начали... Сперва надобно было стакнуться с солдатней... Одним словом, рано поутру встаем, ребята... Привыкли... ничего и не получилось... Рано начали.

Олюнька сидела за спиной Сережки.

— Старик,—кричал Сережка,—ты смерти боишься?

— Кто ее не боится, кроме тебя?—перекидывался ответом Кубышкин.

— Олюнька... вон... тоже от меня не отстанет!

И Сережка оглядывался растерянными, боязливыми глазами на красный крест Олюньки. А та плакала, не вытирая слез.

И нанесло на баррикаду один толкучий слепой удар. Будто заворочалось в баррикаде огненное колесо, и его разорвало, и разорвало баррикаду, как смятую бумагу.

— Тулинов?—крикнул Егор в дыму, лежа с Аннушкой на земле и щупая ее теплое, живое лицо.

И пока рассеивался дым, Анс Кенинь ответил:

— Тулинова нет... Вон, голова лежит...

И сразу зарыдал Сережка:

— И старика... и старика кончило... Э-ей, Кубышка!

Сережка подергивался щеками, и словно разлиновали морщины лицо его.

— Сестрички! Сестры!—шально орал он.—На перевязку! Подвяжите килу у старика: к погоде болит!

В разошедшемся дыму дружинники увидели пустое шероховатое место. Была вскорчевана земля, валялись переломанные доски, щепа корзин и дыбком вставшие бревно на бревно. Дружинники зажмурили глаза: они не стали глядеть на красную слизь старого Кубышкина, на раскроенную пополам голову

Тулинова, на ноги его с передком брюха... По ним, спеша, стреляли дальние винтовки... Дружинники, как развернулся птичий хвост, кинулись к домам и перебежали под прикрытие еще стоявшей нетронутой баррикады.

Подтягивались в нутро Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов ткачи, железная дорога, кожевенники; баррикады убывали, как вода из дырявой бочки. „Совет рабочих депутатов" разместился по баррикадам. Был тут и Митрофанов со своим сундучком. Поп заглядывал в щель на барабанившего по стеклу товарища Ивана, уползали по лестнице раненые дружинники, врачи сидели за маленьким столом, и жадно-жадно пил один воду из графина.

На другой день, сгорая, засыпанная железными опилками шрапнелей, шлаком гранат, перебитыми в щепу бревнами, безногими столами, перепутанная проволокой, вскопанная ямами, будто провалились заделанные под фашинник старые колодцы, в стекле, в крови, в трупах, в маузерах, в переломленных, как лапы зверя, берданах, как человечьи кисти, смит-вессонах, в рассученных на тряпки красных флагах с одиночками дружинниками, куда-то и зачем-то тихо идущими в нахлобученных папахах, с запершимся в домах населением,—Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы сдались.

Егор нес домой на руках раненную в ноги Аннушку, торопился, плавала папаха на потном лбу, присаживался, уставая, на тумбочки, прислонялся к заборам, палисадникам—и опять шел... И не донес, и не мог больше поднять ее с земли... Егор печально оглядывался на кипевший от разрывов шрапнелей снег на Кобылке и застраняюще прикрывал собою Аннушку. А потом забарабанили громко, зовуще в раму позади, хлопнула дверь, и выскочил в одной рубахе Сашка Кривой. И не спрашивая, не глядя на Егора, будто они были всегда вместе, не расставались, Сашка подхватил Аннушку за спину, а Егор молча взял под коленки, подняли и понесли в калитку.

— Кати ко мне,—трудно заплетался Сашка Кривой,—у меня ёй монастырь. Я человек благонадежный. Куда пальнули? В ноги? Бегать была горазда.

Аннушку внесли в комнатушку и положили в уголок на чисто прикрытую клетчатым ватным одеялом койку. Егор наклонился. Аннушка позвала его глазами ближе и нетерпеливо шепнула:

— Беги, говорят, скорее!

И прижала его руку к лицу.

Трехрядка-гармонья висела на гвоздике над кроватью, над Аннушкой. Проплыла она перед глазами его всеми своими оскаленными белыми ладами, сборчатыми кромочками, жестяными наконечниками—Егор шатнулся к двери, дернул за руку Сашку Кривого, вгляделся в него—и выскочил за калитку...

Последними маузерами отстреливались ткачи на Зеленом Лугу. Спокойно и важно извивался красный флаг на высоком шесте. В узком конце Кобылки колыхалась, как паром на реке, земля: то въезжала в рабочую слободу конница.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Счет верен

— Свят! Свят! Свят!

Никита научился твердить это маленькое слово в морозные дни декабря. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вторую неделю колотили тяжелыми колотушками по мерзлой земле, и будто дрожал Федор Стратилат шатровой колокольней, и будто лязгали под зеленым замком ворота, сами себя открывая. А вечерами над городом красным рытым бархатом дымили облака, и несся оттуда скупой и ровкий гул криков. А то кричали пушки чугунными пастями, и, как из лопнувшей трубы, ухая, вырывались прямые струи огня, трещало дерево и обваливалось шелестящей щепой, сыпался густо камень, текли красным студнем облака...

— Свят! Свят! Свят!—шептал Никита.

Ночью было страшно и жутко, Никита не зажигал неугасимой лампады у Сосипатра Свистулькина. Он робко выходил к ограде, глядел на не затихающий десятый день город и тревожно настукивал колотушкой. Днем он рыл могилы за Федором Стратилатом. И каждую ночь в могилы привозили каких-то людей солдаты из города. Зарывали в углу, под ветлой, без отпевания и утаптывали ногами мерзляк. Утаптывал и Никита. Сережка не показывался, как забухали в городе по рабочей слободе чугунными кулаками пушки.

А потом вдруг пришел безгрохотный ранний вечер... Багровые облака качались и ввечеру, но заметно убывали, тоньшели, свертывались в мохнатый небольшой очаг, и поднявшийся

ветер задувал его. Никита прислушивался к тишине, не верил ей, топтал молчаливый снег, вкрадчиво расступавшийся под крепкой стелькой. И опять было, как год раньше, как двадцать лет раньше, и снег, и тишина, и холодок на щеках.

Тогда и прискакал на тонких ножках к воротам товарищ Иван... Никита не пустил его, толкнул сквозь решетины ворот в спину и закричал:

— Куда прешь—гляди в оба! Солдатня кажинную ночь! Оставайся, поди: в могилу закопаем! Фью! Гони задним ходом, мое дело сторона!

Товарищ Иван потрогал пенснэ и пошевелил дрогнувшими губами. Никита сердился:

— Черти полосатые, беда с вам!.. И тут нельзя... и там не подходяче. Кати, дурошлёп, чего трясуна дал, лугам на сенокосы... к стоговищам! Шалаши там есётка... И рыбалки пустые, мое дело сторона...

Товарищ Иван помигал глазками и повернул уходить. Тут снова закричал Никита:

— Да куда ты, да куда ты? Пошто опять в город? В ловушку захотел? Иди под погостом... дорога ровная: не запнешься! Не видать, говоришь? Ежели шкура дорога, увидишь! В заднем месте и то глаз засветит! Суматохе—труба! От одного убыли не будет. Пережди там... Порядочному человеку не пошто туда иттить... Один и подомовничаешь! Хлеб-то есть? Нет? Эх! Порядка в жизни нету у вас, мое дело сторона! На языке играть мастера, а оглянуться на завтрева не хватат разуму. Погоди тут! В штаны не наклади! Принесу пол-ковриги... У самого мало. Самому мне в город не ходил бы: своей смертью подыхать жалаю!

Товарищ Иван стоял, прислонясь к отодвинувшимся внутрь воротам с заиндевевшими полотнищами. Никита долго не приходил.

— Тут, што ли?—вылезая из темноты, спросил Никита.— Тут! Тяни лапу... Вот... бери. Держи крепче! Коврига без малова... Обойдется страженье, отдашь. Принеси, смотри! Мне кормить вашего брата не рука, мое дело сторона. Карман у меня не по карману... Можно деньгам... Приноси. Черти! Назвонили до дела! Серёги не видал? Жив ли, балаболка пустая? Носу не кажет! С солдатом дело иметь—не с Олюнькой кареводиться, мое дело сторона! Отчаливай, говорят, чего ворота трешь?

Товарищ Иван скользнул в темноту и пропал. Никита долго глядел, не видя, а только слыша торопливое похрустывание снега вдоль ограды... Он вздохнул и пошел, зазябший, на огонек в сторожке, раскачивая вялой колотушкой.

За полночь он прилёг. За полночь же зазвонили в звонок. Никита слез с печи, зажёг фонарь и побежал к воротам. Пьяными голосами шумели:

— Принима-а-й!

— Живность привезли!

— Шевелись!

Никита вгляделся и увидал за воротами солдат, вылезавших из троих саней. Привычно и сердито спросил Никита:

— А бумага есь?

— Есь! Не впервой! Открывай ворота!

Никита отвел железные ворота, встал к сторонке и поднял фонарь над головой. Тяжелые сани тяжело поползли вперед. Он заторопился вдогонку, освещая фонарем узкую, занесенную метелью дорогу. За церковью остановились.

— Сва-а-ливай, робя! Дальше некуда ехать.

— Перетаскаем вручную!

— Свети, Никита!

— Помога-а-й!

Никита подошел к саням. Солдаты сдернули брезенты. В санях лежали груды нагих мертвецов. Фонарь Никиты, дрожа в его руке, освещал небольшую полянку, захороволенную деревьями и крестами могил. Начали носить. Брали за голову и за ноги, легко снимали с саней и, шатаясь, относили с дороги.

— Чижолые какие!

— Мертвечина всегда тяжельше.

— Живой—он воздух выдыхает...

— К примеру, паровоз под парам не то што в ремонте. Другой вес. Так и человек.

— От движенья это.

Несли брюхатую женщину. Кряхтели. Напруживали икры. Едва распрямляли спины.

— Баба больно грузна...

— Титьки, как пудовики.

— Жирная су-ука!

— Пудов на восемь.

— Вот бы Никите с таким обзаведеньем бабу!

— Хи-хи-хи!

Перетаскали. Приседали к земле и шаркали ладонями о снег: мыли. Потом вытирали руки о штаны. Доставали кисеты. Садились на белую надгробную плиту и завертывали цыгарки. Никита начал считать мертвецов, тыкая в них пальцем. Он наклонил фонарь к лицам... И вдруг фонарь замотался в руке, рука распустилась, фонарь упал на снег, догорая умиравшим светом вбочку. Никита опомнился, схватил фонарь, покачал его, и фонарь опять загорелся полным огнем. Солдаты глядели в его сторону.

— Што, рыжий, знакомых ищешь?

— Плю-ю-нь! Приезжие все! На Числихе заграбастали. Не на-а-ши! Всех наших давно кончили!

— Сам и закопал, мать их курицу!

— Сколько нащитал, щетовод?

— Бумагу давайте!

— Опять бумагу, бумажная ты душа! Пошто тебе бумагу? В натуре представили. Вишь, какие сдобные!

— Как же без бумаги, мое дело сторона! Может, сами убили, а не от учрежденья?..

— Дай ему, Кирюха, путевку. Кажинный раз требует, могильная крыса!

— Чортов батрак!

— Я по закону,—возражал Никита.—С нас тоже требование предъявляют.

— Предъявля-я-ют!

Никита долго читал, прилипая глазами к бумаге.

— Надень очки, Никита, без очков ничего не выйдет!

Никита молча, отворачиваясь, пересчитал мертвецов, опять рассматривал бумагу у самых глаз, повертывал ее с одной стороны на другую.

— Ох-хо-хо! Грамотей! Грамотей!

— Ты зубом, зубом откуси бумагу-то!

— Прошше это!

Никита протянул бумагу обратно.

— Не по бумаге привезли, мое дело сторона!

— Как так?

— Одново не хватат!

Солдаты засмеялись, толкаясь на могильной плите плечами, руками, головами.

— Ах-ха-ха-ха-ха-ха!

— Што он, убег? Шалишь, брат! По грудям стреляли! Щитай лучше!

— Чево щитать? Сами щитайте. Я щитал. На одново— недочет. Не приму не вокурат, мое дело сторона!

— Вот лешой!

— В морду ему, щетчику: чево врет!

Солдаты принялись попеременно считать. Никита равнодушно светил фонарем.

— Десять! Десять! Десять!

— Как же, братцы? А было одиннадцать. И в бумаге одиннадцать. Теперь без одного. Куда он девался?

Солдаты затоптались на месте, читали бумагу, склоняясь головами в одну огромную о пяти вязаных барашках голову.

— Десять! Десять! Десять!

— Потеряли, должно, братцы! Надо искать. До публики надо управиться.

Метнули жеребий, кому ехать, кому стеречь. Вышло Кирюхе оставаться.

Никита довольно и наставительно сказал:

— Нельзя нашему брату без осторожности. Не по числу не приму, мое дело сторона!

Солдаты рассердились, закричали грозно и беспомощно:

— Молчи-и, сссволочь! Чево радуешься, рыжая пакля? По кумпалу тебя, штобы чердак в обратную сторону заработал!

— Мозгля!

— Кажи дорогу к выезду!

Сани зашипели, заёрзали на месте, прошелестели... Никита затрусил впереди.

Кирюха остался один. Пропал в темноте фонарь. Темнота надвинулась на Кирюху... Где-то рядом стояла церковь, росли из могил разноцветные кресты, росли деревья, лежали мертвецы на земле и под землей—и среди них сидел Кирюха на каменной плите. Вспыхивала его цыгарка красной каплей и шипела и попискивала. В пьяной голове Кирюхи, как в весеннем паводке, кружились, плыли, прыгали несвязные мысли, слова, лица, бродило вино... Вдруг шмыгнул из-за могилы какой-то зверь... Кирюха вздрогнул и охнул... Подобрал ноги. Застучал зубами. Съёжился. Сплющился. Ему показалось, будто со всего кладбища поползли к нему мертвецы, встал на карачки покойник под ним на дне могилы, вылезал где-то сторонкой и вот-вот

схватит его. У Кирюхи по спине катилась ледяшка, и волосам было тесно под шапкой.

— У! У! У! У! У! Ники-и-и-т-т-а-а! Ники-и-и-т-т-а-а!

— Э-эй!—отозвалось вдали.

— Поди сюда-а!

— Сича-а-а-с!

Было страшно слушать свой голос. Но уже качался между деревьев, будто всадник на лошади, фонарь Никиты.

Грустно и заискивающе сказал Кирюха:

— Оброб я тут один: отродясь так не бывало. Чорт ее знает от какой причины! Должно, кошка пробежала... Думал... помру.

— И помрешь... сколько угодно!

Никита подумал:

— Может, и не кошка?

— Кому кроме кошки? Нечистый дух, скажешь?

— Зачем нечистый дух! Душа человеческая. Душа около тела находится. Скучает по человеку. Ежели днем — она в стрижах. Душа в стрижей входит. А ночью—она сама, в своем обличье... Во-о̂-н сколько навезли!

— Души нет. Это все старики надумали.

— Да, надумали, держи карман, мое дело сторона!

— Кровь—главное, голова и брюхо.

— Еще што скажешь?

— Брюхо наподобие самовару али горшку со щам... Распороли брюхо—и шабаш. А голова как бонба. Трубочки там с мозгам. Чик—и готово. Я зна-а-аю.

— И ничего ты не знаешь! Поштo испугался, ежели в душу не веришь?

— Это от сумленья.

— То-то вот—и не говори понапрасну! А сумленье от чево? От души. Душа душе весть подает. Может, зря к расстрелу людей подвели, по злобе, мое дело сторона! Вот и намёкивает тебе душа.

— Нам што? Это не мы. Начальство в ответе. Не мы, так нас. Всякой это в ращет возьмет!

— А хто ружье наставлял? Кто метил-то? От ково смерть пришла, мое дело сторона, тому и запишется!

Кирюха задумался. Строго продолжал Никита:

— Убили... да и потеряли человеков спьяна!

Кирюха молчал.

— За что убили-то?

— Нам не сказывали. Поймали на Числихе да на Кобылке...

— Вина-то где достали?

— Дали.

— Для храбрости?

— Так полагается.

— Нагорит вам теперича, мое дело сторона!

— Нагорит.

— Сиди из-за вас всю ночь. А с какой такой обязанности? Сами не спят и людям спать не дают. Днем могилу рой, а ночью у могилы сиди. Не житье—ошейник. Много народу сгубили за понюшку табаку.

— Мало ли!

— Отец Павел, покойник, у нас был на кладбище до смуты. Как сичас помню, говаривал—мы, Никита, с тобой всем нужны, пока живы. Дело наше тихое и доброе—покойники степенный народ, только поменьше бы их. А и было-то в неделю—один, два покойника. А то и не одново. По весне, да по осенé, когда чихоточной шел, прибавлялось. Теперича кажинную ночь. Неизвестно, чей и откуда. Штушно принимай. И облают еще всякими словами, мое дело сторона! Тьфу!

Кирюха осерчал.

— Ты за сицилистов стоишь?

— Покойник без всякого званья щитатся—што манархист, што сицилист...

— Говори там! Хи-и-трой ты, Никита!

— Сам хитрой!

— Вò-он лежа-ат! Враги-и-и!

— Врагиии!

— Мертвые и то-о вредят!

— Вредя-я-т!

— Потеряли—теперь отвечай. В помойку бросить бы сволоччей, и дело с концом!

Никита плюнул и отодвинулся от Кирюхи. Кирюха насмешливо спросил:

— Дух от меня нехороший идет? А?

— Дух не дух, мое дело сторона,—отвечал Никита,— а только перед покойником прежде народ шапку снимал.

Никита повесил голову над фонарем и задумался. Кирюха закуривал другую цыгарку. От дымного перегару он долго

икал, кашлял, а потом отворотился за плиту и начал блевать. Никита зажимал рот рукой.

Ночь еще не ушла, но безлюдные улицы города были уже отчетливо видны. Солдаты всматривались в темные тумбы, в фонари, в каждую неровность мостовой. Кладь не находилась. Вино, кружившее головы, унялось.

— Напрасно, ребята, все улицы не покроешь!

— Может, не по тем и ехали? Ванька сбивался два раза. Ванька, ты припомни—где давеча блудили?

— Ладно... припомню!

— Чорта с два припомнит! Пьян был, как стелька!

— Из-за него под расстрел как раз угадаем!

— Под расстрел! Под расстрел! Под расстрел!

Солдаты молчаливо переглядывались.

И опять мчались. Опять искали. Бесплодно искали одиннадцатого.

— Надо кончать,—сказал Ванька.

И от слов этих пришел новый страх.

— Так как же? Как же, братцы?

Лошади были как намыленный человек в бане, сани останавливались. Тут, шатаясь, подошла старая проститутка с мокрым, заброженным подолом и закричала дико:

— Армия! Оптом даюю... ппо сифоо-ну!

И заголилась.

И сразу трое сказали жадно:

— Заменить!

— Заменить!

— Заменить!

Солдаты схватили проститутку, легко подняли, мотнулись в воздухе серые рваные ботики, и тело упало на днище саней.

— Не хххочу-у... не хххочу-у! —звонко выкрикнула проститутка.

Заворотили подол. Закрыли рот. Сели на нее. Лошади рванули от криков. Солдаты подпрыгивали на бившемся под их задницами живом человеческом теле, упирались ногами в борта саней, жадно держали... За городом осадили лошадей. Солдаты оглянулись по сторонам. Лязгнули штыки и прибили проститутку к днищу саней. Солдаты навалились на приклады грудью, захрустело дерево, забилась и застонала проститутка. Подержали недолго и с трудом отняли штыки от днища. Привезли на кладбище. Сбросили.

— Получай, Никита!

— Раздеть, что ли?

— Не надо!

— Вали так!

Рыжие, черные, белые мертвецы с выкатившимися полыми глазами, с черными дырами на груди и на животах, обожженными закипевшей кровью, с волосатыми ногами, со сведенными в грабли пальцами лежали на снегу. Нарумяненная проститутка в темно-серой шубке, в сбившейся на жидких волосах соломенной шляпе с желтыми полотняными розами, лежала в ногах, перегнувшись через бугорок чьей-то заботливо обдернованной могилы. Начали сваливать в яму. Тела шлепались одно о другое, укладывались рядком, тесно и дружно. Покрыли проституткой. Сбегали за лопатами. До поту закидывали и потом долго утрамбовывали ногами, пока не сравняли с землей. Никита помогал, нагребая густой и белый, как лебяжьи крылья, снег на могилу. Потом он помочил желтый карандаш о снег и крупными лиловыми буквами написал на бумаге:

„щӧт миртвицов вѐрин".

Уехали солдаты за церковь. Он не пошел закрыть за ними ворота. Так и стояли они до утра открытыми. К утру пошла с Чарымы метель. И ворота заносило. Никита остался у могилы. Он поставил между ног фонарь на снег и тихонько заплакал. И как плакал Никита, вспоминал он зарытых Олюньку, Аннушку, Феклу-Пегую, Кеню... Плакал он и о тех, кто безымянно лёг с ними.

К полдню приехало начальство. Раскапывали могилу, доставали проститутку, раздевали, допрашивали его. Никита смотрел раны. А потом привезли другие солдаты одиннадцатого — разрыли на улице из-под метельного снега собаки.

Никита взглянул на одиннадцатого, пошатнулся, кинулся к нему, упал на мерзлую грудь, вцепился, обнимая, и закричал на весь погост:

— Серёга! Серёга! Серёга!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На запасных путях стоял тюремный вагон. Егор глядел через решетку на тесно и темно запрудившие пути вагоны. Стеной встали они впереди и позади, стена двигалась, скрипели

колеса, сплющивались скрепы, направляющий свист, клокоча, кидался маленьким зверьком на рельсы—и вагоны замирали, вытягивались. Шла обычная ночная работа: составлялись дальние и близкие поезда. Сцепщики, небрежно махая фонариками, не глядя, совали руки меж вагонов и связывали их буферами. Машинист, зорко глядя на хвост состава, сдавал его... Паровоз осторожно толкался задом, будто крался, будто где-то в темноте стояла на путях хрупкая и нежная вещь, и он боялся раздавить ее... А там играл густой сигнальный рожок на стрелке. И опять по крышам вагонов рассыпался задевающий круглый свист.

Шуруя паром, сгибая рельсы, пробежал приземистый, широкоплечий, коротконогий трехглазый паровоз. Егор жадно наблюдал за подготовкой ночных поездов. После тесной, как шкаф, одиночки, после трех никуда не спешивших годов, в которые, будто забытое безмолвное пальто на вешалке, жил Егор, простая работа маршировавших цепями вагонов на просыхающей весенней земле казалась торжественной. Словно осенние корабли манифестаций на красных парусах тысяча девятьсот пятого года были эти проходившие мимо чернорабочие вагоны. Егор был с ними глазами, движеньями рук, чувствами...

Сторожившие солдаты сидели на грудке шпал против вагона и молча курили. Пахло пропиточным заводом от шпал. И этот запах был приятен Егору. И сквозь этот запах он видел рабочих, где-то в мастерских вырывавших у времени шпалы. И вагоны, и шпалы, и рельсы, и сигнальный рожок, и трехглазый паровоз, и сцепщики, и стрелочники, и машинисты, и он сам, и курившие солдаты-мужики сливались для него в великую объединенную рабочим фартуком семью. И эта весенняя и темная земля и как серебряными мельчайшими каплями смоченная крыша звездного неба служили ей.

От Зеленого Луга, с Числихи, от Ехаловых Кузнецов, из-за вокзала, тёк тихий и теплый ветер. Словно там жарко натопили, закрыли трубу, и тепло шло от домов, от улиц, от ночного дыхания спящих... Тепло было родное, волнующее, грустное...

Егор побежал, затрусил с фашины на фашину... Проточные канавки стояли перелитыми через края, будто кадушки под дождевыми трубами. Редкие огни, как редкие прохожие на ночных улицах, светили тусклыми кремневыми высечками. Налитая подземными водами земля туманила шаг. Только-только

отступило Чарыма с огородов, от задворных прудов, из палисадников, не успели расклевать рыбьи кости курицы в перегоревших под золотобровым лужицах, чайки путались местами, искали Чарыму на Кобылке—и не находили. А рабочая челядь скакала по грязной тяпушке намоин и чернила босые ноги простудой. На Коровинские мельницы спозаранку кряхтели с возами мохнатые битюги. Весело, весенне, ветрено размахивали рукавами мельницы...

Егор улыбнулся, втянул ноздрями ветер от Зеленого Луга, с Числихи, от Ехаловых Кузнецов, ветер, пахнувший нежным и сладимым дымом. В сердце тихонько с боку на бок перевалилась грусть. Так в половодье несет одинокую лодку на льдине далеко от берегов, а с кормы на нос, а с носа на корму бегают заяц с зайчихой. И по пути ли и не по пути ли, не спрашивая, несет их на льдине. Егор закрыл глаза и глубоко-глубоко-глубоко вздохнул.

В городе, на чистой половине, редко и протяжно звонили. Егор вспоминал названия церквей по колоколам, ошибался, запамятовал. И только один с прозвенью колокол узнавался над всеми забытыми колоколами. Звонил Никита близко за вокзальным Фроловским концом у Федора Стратилата на Наволоке, а может быть, звонил кто-нибудь другой, колокол был тот же, кладбищенский старый сторож от темного ночного ворога. Звонил Стратилат над Аннушкой, над Ванькой, над сторожкой, над поклончивой ветлой в луга, над товарищами, уснувшими без крестов под жирной стеблистой травой.

Сердце одичало и проныло жалостью, проплывшей в разомкнувшихся глазах и медленно и горько, как уходящее за острый мыс грузное судно. И, видно, с решетки скатилась по лицу крупная неотомщенная капля.

Был канун Георгиева дня. При Шемяке была в городе моровая язва. И вспоминали ночным молением каждый год пять веков моровые ночи. По улицам, тупикам, переулкам, поперек площадей, по мостам и переходам, по лавам всю ночь шли люди из церквей в церкви, в часовни... Читали паремии перед золотыми узорными иконостасами, полный свечной и лампадный и паникадильный свет лился в окна из церковных кораблей, а колокола, как в дозорных лоцманских будках, звонили протяжно тревогу.

Егор, жаднея и жаднея, в смутных сумерках северной ночи вглядывался в широкую дугу заводского красного обруча... И

глаза горько остановились. В середине Зеленого Луга желтела высокая новенькая каланча. Как насорили в глаза, замигал Егор, не хотел смотреть, а тянуло, а притягивало. Егор усмехнулся. Ходил над рабочей землей пожарный, остерегал деревянную Числиху, Ехаловы Кузнецы, а на земле, под пожарным, был участок,—и там остерегали, и там глядели решетками, сыщиками, городовыми. Егор скривил щеку. И еще родней, печальней, ближе пододвинулись к сердцу и Зеленый Луг, и Числиха, и Ехаловы Кузнецы.

„И каланча не худо, и каланча нужна“,—засмеялись мысли в голове.

Над чистой городской половиной, точно большие каменные горы, выросли из земли небоскребы: собор Софии в золотых касках куполов присел. Так обрастает широкоухие тополя молодой дубняк.

Егор только скользнул по городу, и опять запросились в глаза — заводский забор, трубы, черные кустики, идущие по поляне...

Напротив по платформе прошли в звонких сапогах жандармы. Под мышками они несли синие папки дел. Егор проводил их. Товарищ, глядевший в другое окно, вдруг засмеялся:

— Вот все, что осталось от революции. Несет под мышкой Егора Яблокова... и меня... и тысячи других...

Товарищ не стал ждать ответа, плюнул и отошел от окна. Он прошелся по вагону, шаркнул раздраженно сапогом по задравшимся заусенцам стертого пола и отчаянно простонал:

— Эх! Скорее бы отправляли! Стоим, стоим—и не знаем, чего стоим! И не знаем, зачем стоим. Так повезут, сто лет не доедем до Сибири.

Егор, не оборачиваясь, ответил:

— Куда нам торопиться? В Сибири, думаешь, о нас скучают? В Сибирь человек торопится!..

Егор опять покривил щекой. Товарищ растянулся на наре, устремился глазами в низкий, недавно покрашенный, пахнувший краской потолок, будто круглый трюм парохода, устало задышал, полежал немного и, шумя, повернулся к стенке.

— Чорт! Хоть бы повесили, мерзавцы! — пробормотал он себе в усы.—Такая тощища кромешная!

Из вокзала вышла девушка с серым пледом на руке и стала медленно ходить по платформе. Она сделала несколько дорожек и остановилась недалеко от солдатской цепи... Девушка постояла, помялась и тихо спросила у солдат:

— Политические?

Солдаты сразу рассердились и переложили из рук в руки винтовки.

— Чего надо? Проходи!—И засмотрели злыми, серыми, ненавидящими глазами.

Девушка испуганно смешалась, подалась назад, побагровела щеками, глаза сверкнули в глазах Егора близкими огнями—и она отвернулась, задумчиво отходя по платформе. Она села далеко от вагона на скамейку у стены вокзала—и не отрываясь глядела оттуда.

Солдаты тихо пересмеивали.

— Вертит хвостом, гляди как! Из благородных. Породистая!

— Как думаешь, девка али не девка?

— Может, двухснасная!

Солдаты еще раз засмеялись, застрожали вдруг глазами на решетки, и один насмешливо закричал:

— Калачей приносила?

Из вокзала выходили пассажиры. Платформа наполнялась.

— Скоро поедем!—кто-то сказал сзади.

Егор оторвался от далеких крыш Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов и разглядывал ходивших пассажиров. И только одни женщины завладели его глазами. Егор морщился, недовольно встряхивал волосами. Он долго овладевал собой, а рот открывался, а ноги переступали в беспокойстве, горячо сжимались одна к другой, жглись, и глаза желали ненасытным блеском.

Егор вспоминал другие дни... Дружинники смерзлись одной ледяной цепью за баррикадами, а на головы валилась железная стружка, вздувались красными сарафанами взрывы и копали позади забитую землю глубокими лопатами. И шли далеко гряды, как окопы... И всё не могли, не могли смести метлы утлые бочки, корзины, телеги, дрова, кривоглазые конки баррикад. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы защищали незащитимое, отбивали папахой чугунный замах... И не защитили... И опять нанесло ночным ветром через прутики решетки каплю сухую, как потухшая искра.

Засвежело в вагоне. И был он тесен и люден, как плот на перевозе. И оттого, что был он люден, Егор крепко сжал частокол решетки. Руки умели сильно сжимать и твердеть на железе. Товарищи укладывались спать. Будто в своих квартирах, они устало зевали, не торопясь снимали сапоги и скидывали халаты. Тогда солдат крикнул за окном чужим голосом:

— Сигай спать: нагляделся!

И другой солдат насмешливо спросил:

— Провожатых поджидаешь?

И оба враз сказали:

— Не будет!

Егор послушно спрятал голову, словно утонул в глубокой пазухе вагона.

Короткий, как выстрел, пришел сон, закрыл будто теплой шалью впавшие гнезда глаз—и они внезапно растворились... Товарищи поднимали головы с нар... Вскочил и Егор. Под вагоном били молотками так часто, будто один удар сваривался с другим, и из-под молотков выжималась тонкая полоса стуков. Под вагоном починяли буксы.

Пепельное зябкое утро отпотело на стеклах за решетками. И Егору захотелось скорее протереть его, захотелось скорее посмотреть на знакомые утренние места. Привезли на вокзал ночью. В полутемноте была видна только одна улица со скупыми огнями в домах. В гнилом шлюзе улицы быстро отвертелись дробные колеса, сверкнул вокзал широким хвостом огней—и снова камера на колесах с низким потолком, и, как конторская книга, окна исподлобья под железной маской решетки.

В голове было густо и больно от недопитого сна. На темени будто узлом связало кровь, и узел, паля, жал. Виски ёкали, и нельзя было коснуться их, словно под ощетинившейся кожей были наболевшие раны. Егора качнуло на ногах, потом качнуло вагон, он проволокся по пинавшей колеса стрелке, его отвели на главные пути и прицепили к поезду.

Ранняя платформа была почти пуста. Солдаты отрезали от широкого пола платформы большой край и не подпускали пассажиров. Егор жадно дохнул апрельский щемящий холодок.

Егор сбоку, от окна, скосил глаз на светлевшие полоски рельс, тянувших к мастерским. Вдали он увидел только одну

Коровинскую мельницу, махавшую ему длинными черными руками, и отрезок нового забора у мастерских. За кузовом вагона сами здания скрывались. Егор вдавился в решетку: удлинился забор, выступила пята еще одной Коровинской мельницы и красный бок трубы... По полянке к мастерским шли рабочие... Сердце Егора заколотило, побежало... Он вытягивался, будто узнавал походки, спины, пиджаки... Весенней ростепельной дорогой шлялся над полянкой дым из трубы—знакомый, близкий дым.

Были открыты глазам—Свешниковская мануфактура, заводы Марфушкина, Прилуцкого, а за ними другие, третьи, курившие трубами раннее утро. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы лежали в низине, и красный лес труб поднимался над ними черными набухшими кулаками верхушек. Стояла рабочая сторона на своем месте, под тем же не стареющим небом, на той же хлюпкой слободской земле, будто не было ничего позади, и ничего не изменилось за отковылявшие далеко годы, и никогда ничего не изменится.

Зарозовело раннее утро в слуховом вокзальном окне, и по трехцветному флагу над фронтоном проползла золотая змея солнца. И враз с нею в городе ударил густой медлительный большой колокол на Софии. Ему ответили на всех концах, в слободах, на окраинах, на кладбищах большие колокола... Соборный колокол повёл, за ним пошли, он раскачался в частый гремящий гул; подхватили, слились, утóлстили на приходах гуденье... Колокольный хор запел медными и серебряными валами в прозрачном и гулком и сквозном весеннем утре. Свешниковская мануфактура, маломерки запели нестройно и крикуче над звенящей крышей, спелись, смешались, вплелись вязью в колокольную зыбь. В вокзале будто сорвался с высоты пронзающий тревожный звонок, и, как второй звонок, закричал протяжно голос:

— Пе-е-р-вый звоно-о-к! Поезд отправляется на Москву-у!

Егора будто качало от звона; качало воздух, здания, небо, землю; и поезд, как длинные плоты на реке, на течении, тоже качался...

Отгудели большие колокола, дали дорогу колоколам часовым, подчаскам, повесочным, мелкой колокольной рыбешке... Старики передохнули, разбежалась челядь, изготовилась, поперебирала языками—и неумолкающим ливнем колокола брызнули, закружились хороводами в вышине, понеслись звенячими

парами, тройками, цугом, шестериками, затрубили певучими трубами облака—и в золотые тарелки ударило солнце... Большаки отставали, запинались, а потом разобрало, подбросило—и они бухнули, бабахнули покрывающими октавами. Казалось, над всем городом плескалось, шло валами, бурело звенячее Чарыма, плыли колокола-льдины, летали колокола-чайки, рос на берегах кустарник—мелкий колокольняк, на загнутых клювах валов трезвонили ширкунцы и бубенцы, и сам Никола Мокрый ворчал, ворочая соборным языком.

Славили колокола избавленье от моровой язвы в Георгиев день. Заслушался Егор, заслушались товарищи, залепили вплотную решетчатые окна, заслушались солдаты... Торжественно в золотом венце выходило праздничное солнце. Печально буркнул один солдат:

— В городу звонят не то што у нас в деревне поп с дьяконицей...

В чистую, нежнейшую звонь, в колокольную густоту прошипел балластный поезд и устало остановился на первых путях. Желтый мокрый песок, как щучья икра, лежал жирными пластами на платформах и в вагонах с отбитыми по низу стенками. На песке сидели мужики в рваных пиджаках. Лопаты были воткнуты в песок, как мутовки в квашне...

Давно в звоне городских колоколов был второй вокзальный звонок—Егор прослушал его.

И как остановился балластный, мужики, скучая, поглядели на тюремный вагон, пассажирский поезд вздрогнул, откачнулся назад, прополз шаг и пошел...

Егор быстро мелькнул глазами на Зеленый Луг, на Числиху, на Ехаловы Кузнецы, тоскливо заныло сердце, а рабочая слобода уже закрывалась от глаз широкой шляпой навеса.

Мужики с балластного поезда, прячась в глуби вагонов, один, другой, третий вдруг закивали лопатами, руками, картузами, сперва несмело и все смелей и открытей, а поезд уже убегал, раскачиваясь, будто бежала и раскачивалась улица на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

Тюремный вагон зашумел, белые руки высунулись промеж решеток и хватали свистевший свистульками воздух.

Колокола, заглыхая с каждым прыжком паровоза, словно напутствовали в дорогу.

Проезжали мимо депо. Гудок звал на работу. Через пути к депо шли рабочие с узелками, поодиночке, артелями,

останавливались и пропускали поезд. Из тюремного вагона махали руками. Рабочие всматривались, дружно снимали шапки, кепки, картузы, трясли ими высоко над головой и что-то кричали вслед.

Егор захлебнулся. В уши ударил колокольный звон изнутри, звон отчетливей и краше гудевшей Софии с приходами и концами. Он закричал в ветер, рабочим, вагону, городу, атавой прораставшей земле в этот скотий Георгиев день:

— Товарищи! Мы не одни! Мы не одни!

Москва—Быково
1925

ОГЛАВЛЕНИЕ


ЦЕНА 2 р. 30 в ПЕРЕП. 2 р. 80